5.1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

К 30-летию Победы над фашистской Германией

БАРБАРА ОЛЬШИНСКАЯ *(ПНР).* *Освобождение*

СОДЕРЖАНИЕ

Из поэзии французского Сопротивления

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ. ПЬЕР РЕВЕРДИ. ЖАН КЕЙРОЛЬ. МАДЛЕН РИФФО. АЛЕН БОСКЕ. ЛУИ ПАРРО *(Перевод Мориса Ваксмахера)*

Рассказы писателей ГДР

ГЕРМАН КАНТ. ГЮНТЕР ГЁРЛИХ *(Перевод с немецкого М. Федорова)* 10

ИРЖИ КРШЕНЕК — Дички *(Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной)* 24

АНДРЕ ПЬЕРРАР — С алым цветком в петлице *(Повесть. Авторизованный перевод с французского Н. Иванина. Предисловие Роже Шатоне* 82

Из поэзии Чехословакии

ЛАЦО НОВОМЕСКИЙ *(Перевод со словацкого Юрия Левитанского).* МИРОСЛАВ ФЛОРИАН *(Переводы с чешского Олега Малевича, Виктории Каменской, И. Инова, Тамары Жирмунской. Предисловие Бориса Шуплецова)* 146

МАКС ФРИШ — Назову себя Гантенбайн *(Роман. Продолжение. Перевод с немецкого С. Апта)* 157

К 70-летию со дня рождения М. А. Шолохова

КОНСТАНТИН ПРИЙМА — Гордость советской и мировой литературы (По страницам зарубежной прогрессивной печати) 193

Критика

Г. ИЛЬИНА — «Чтишь, поэт, свой долг?» 205

М. ЛАНДОР — Дороги Юга 209

Письма из-за рубежа

ЯН ФЕРЕНЧИК — Дело моей жизни *(Перевод со словацкого Л. И. Васильевой)* 215

Культура и современность

Заметки на полях

М. Туровская — «Гутенбергова галактика» сегодня и завтра. Г. Джугашвили — Двуязычие и культурные традиции. Т. Проскурникова — Фестиваль театральной Франции 218

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5
МАЙ
1975

СОДЕРЖАНИЕ

Публицистика

К 30-летию Победы над фашистской Германией
КАДРЫ ВЕЛИКОЙ ЭПОПЕИ

МАРГАРЕТ БОРК-УАЙТ — С фотоаппаратом на войне в России *(Фрагменты из книги. Перевод с английского И. Гуровой)* 228

ЖАН-РИШАР БЛОК — Репортажи из Москвы *(Комментарии, переданные по Московскому радио в 1941—1944 годах. Фрагменты из книги. Перевод с французского Л. Завьяловой. Предисловие Евг. Долматовского)* 242

Изобразительное искусство за рубежом

В. СКОПИН — Искусство Бернхарда Хайзига 255

Наши гости

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Артуро Услар Пьетри: диалог — прежде всего 256

Среди книг

Издано в СССР

Василий Росляков — Документ великого мужества. А. Путко — Ответ только один — Сопротивление. И. Бернштейн — Новый Чапек 260

Издано за рубежом

Л. И. Васильева — Страницы дружбы. М. Фридман — Мир, обретенный в бою. Губерт Кушник — Пять веков немецкой политической песни. С. Золотцев — Поэзия военного поколения 264

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 285

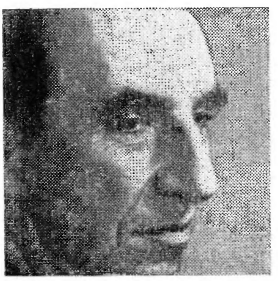
На цветной вкладке: работы художника из ГДР
БЕРНХАРДА ХАЙЗИГА

На обложке: РУДОЛЬФ ПРИБИШ (ЧССР)
Модель памятника Победы в Привидзи

© «Иностранная литература», 1975.

Из поэзии французского Сопротивления

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА



ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ

Париж

Париж, открытый город,
Твоя душа живая
Томясь исходит кровью,
Как рана ножевая.

И стук чужих шагов
Тревожит наши стены,
И на мерцанье Сены
Глядят глаза врагов.

Поэзия французского Сопротивления знакома советскому читателю. Стихи Л. Арагона, П. Элюара, Р. Десноса и ряда других выдающихся поэтов Франции неоднократно печатались и в советской периодике, и отдельными авторскими сборниками; внимание читателя привлекли также две антологии французской литературы Сопротивления: «Я пишу твое имя, Свобода» (составление С. Великовского. Москва, «Художественная литература», 1968) и «С Францией в сердце» (составление В. Козового. Москва, «Прогресс», 1974).

Публикуемые в этом номере стихи взяты нами из вышедшей в прошлом году в Париже книги Пьера Сегерса «Сопротивление и его поэты»; подробнее об этой работе см. статью Т. Балашовой «В центре спора — поэзия» («Иностранная литература» № 1, 1975 г.).

Как будто в яме черной,
Под окрики штыка
Струится удрученно
Французская река.

Века французской славы,
Отлитые в гранит,
Ваш облик величавый
Великий гнев таит.

Нависшая над вами
Невыносима тень —
И гаснет ваше пламя,
И меркнет ясный день,

И льется с неба мрак.
Ведь было бы изменой
Струить лазурь над Сеной,
Когда в Париже враг.

1942

ПЬЕР РЕВЕРДИ

Голосом чуть приглушенным

Охота начата В испуге бьются крылья
Забота палачей все сделать втихомолку
И у тебя в груди сплошная глыба льда
Прозрачная как небосвод в июне
В твоих глазах опавшая листва
И списки красные казненных накануне
Вдоль берега гуляет полумрак
Закат зловеще липнет к парапету
Ни огонька в глухих провалах окон
И чернота густая растеклась
Как кровь
И затопила город
Тревожный трепет осквернённых крыльев
Лишенных тупо
Права на полет
Бездушный ржавый скрежет смерти
Потом покой

Рука в перчатке глины
Рывок последний сердца
Последний вздох судьбы
Горит святое в очаге полено

1942

ЖАН КЕЙРОЛЬ

Вы спите еще?

Вставайте, хватит спать, опасность у ворот,
Луна в немой тоске скривила бледный рот.

Вставайте, пробил час! Не спите, ради бога!
Положен кем-то меч у вашего порога.

Вставайте! Смерть — в седле, зловещий стук копыт
Газетною строкой по улицам летит.

Вставайте, час настал, пора надеть кольчугу,
Петух уже давно кричит на всю округу.

Вставайте! Голосом ночных радиограмм,
Сеньор, я вас бужу в тревоге по утрам.

Вставайте! В этот час державною тропою
Медлительные львы проходят к водопою.

Вставайте, лестница готова у стены,
И лег на латы блик истаявшей луны.

Вставайте, в очаге взыскует пламя пищи,
Голодный пес внизу по закоулкам рыщет.

Вставайте! Задрожал от нетерпенья стол,
В надежде вздрогнул шкаф, и содрогнулся пол.

Вставайте, спать нельзя, восток огнем объят.
Вставайте, мой сеньор, иначе вас съедят.

1942

МАДЛЕН РИФФО

Девять пуль

Жан-Пьеру М., шестнадцати лет.

В моей обойме девять пуль.
Я отомщу за наших братьев.

А это трудно — убивать.
Особенно когда впервые.

В обойме было девять пуль.
Все получилось очень просто.

Тем парнем, что вчера стрелял,
Был я.

1944

АЛЕН БОСКЕ

Парашютист

Я опущусь с парашютом в самом сердце подпольных сражений,
у меня при себе будет все, чтобы ранить дороги,
калечить мосты, отравлять водоемы;
я научу партизан, как получше устроить засаду,
как бесшумно снять часовых
и как правильней спеть немудреный куплет пулемета;

я агентов противника буду ловить, как бабочку ловят фуражкой.
Каждый мой день будет кровью и кровью отмечен,
каждая ночь моя станет возмездия ночью.
Будет мой хлеб отдавать синеватым дымком перестрелки.
На рассвете однажды я лягу в траву, уткнувшись в свой пропуск
фальшивый.
Прежде чем в землю меня закопать, люди спросят: «А кто он такой?»
И никто им не скажет: «Он тот, кто сражался, чтоб чистыми
были дороги, чтобы птицы летали спокойно».
«Как его имя?» Не скажет никто: «Его имя — вот эта трава
и счастливые в поле ромашки».
И забудут меня,
но опять под откос полетят поезда,
и другие колонны солдат на дорогах других будут разорваны
в клочья,
в воду рухнут другие мосты, и другие у берега лягут
холодные камни, как убитые птицы пингвины.

1944

ЛУИ ПАРРО

1936 - 1944

От Мадрида до Сталинграда
Над взорванными городами
Сквозь годы сквозь дым и пламя
И орудийный гул
Над окровавленною Европой
Мост надежды шагнул

Годами закаты были
Разлучены с восходом
Но дальний пожар Кастильи
Отразили волжские воды
И вспыхнули сотни радуг
От Мадрида до Сталинграда

Под горестный стон гитары
Мы с товарищами прощались
И знали для них отрада
Перед смертью услышать снова
Два слова два имени славных
Мадрида и Сталинграда

Рабочие и крестьяне
Мужественные солдаты
Республиканской Испании
И гордой волжской твердыни
Вы сбросили с нас оковы
И вы свободны отныне

Вы нам возвратили право
Вместе с вами сражаться рядом
И снова сверкает гордо.
Нашей Франции слава
И в небе заря пламенеет
Мадрида и Сталинграда

1944

Рассказы писателей ГДР

Перевод с немецкого М. ФЕДОРОВА

ГЕРМАН КАНТ

Объяснимое чудо

Все это давным-давно известно. Все эти истории похожи на многие другие. Вроде бы совсем обычные. Они пришли мне на ум, заговорили во мне, когда я задал себе вопрос, с чего же все для меня началось, как родилась дружба.

С давних пор я верю, что безвозвратно уходит лишь малая частица происходящего с человеком в жизни. И воспоминания, которыми я собираюсь поделиться, еще больше утверждают меня в этом.

И ведь я говорю совсем не о провидении, предопределении и судьбе, я говорю лишь о жизненном опыте. Думается, мой долг писателя — сохранить это пережитое, пережитое мною и многими другими.

Некоторые события, о которых я намерен рассказать, почти совсем было стерлись из памяти. И только когда я отправился по собственным следам в далекое прошлое, они вновь ожили во мне, и я подумал, что они относятся к делу.

Дело это — дружба. Дружба с Советским Союзом, дружба с советским народом. И коль скоро дружба с чего-то начинается, то началась она, пожалуй, так.

В одно ноябрьское утро 1944 года — всего несколько дней назад я стал электромонтером, а еще через несколько дней мне предстояло стать солдатом гитлеровского вермахта,— в это ноябрьское утро я впервые в жизни переступил порог лагеря для военнопленных. Произошло это в Злате-Зюд под Пархимом. В лагере сломался насос, и мне, по возможности, нужно было устранить поломку.

Не помню уже, сумел ли я что-нибудь сделать, да это и не важно. Важны здесь две мои встречи с пленными.

Конечно, я и раньше видел пленных — в юности фатерланд предоставил мне для этого массу возможностей,— однако таких, как эти, я еще не встречал.

Сохраненные памятью картины — словно серый контур на сером фоне,— и все же время не стерло их яркости. Они подарили мне исключительное.

Они помогли справиться с бедой и жалостью к себе, которые чуть было меня не сломили, когда я сам попал в плен. А случилось это через несколько недель после того ноябрьского дня в Злате-Зюд. Этим картинам я обязан первыми проблесками чувства справедливости. Теперь я знал, как могло быть, что могло случиться, если бы дошло до возмездия: око за око, зуб за зуб.

Но я видел пленных советских солдат не только в их продымленной прозрачности, не только в их ужасающей действительности, перед лицом которой смолкала даже наглость восемнадцатилетнего мальчишки. В тот день я увидел там одно изображение, и странно, но образ этот запечатлелся в памяти гораздо убедительнее, чем жалкая действительность.

То был карандашный набросок размером с ладонь на одном из цилиндров насоса. Он был сделан недавно, автор очистил от грязи кусочек стенки, и вот передо мной четкие, точные штрихи на оцинкованной поверхности цилиндра.

Рисунок изображал молодого солдата в островерхом шлеме со звездой и в длиннополой шинели с винтовкой на плече. Он застыл как на посту, красивый и сильный.

Я понятия не имел об искусстве, но знаю, что это было произведение мастера. То был зов иной, более глубокой истины, которую реальность скрыла под слоем беды. То было воспоминание и в то же время предвидение; для автора оно стало опорой, а мне — созерцателю — нанесло весьма своеобразный удар: я воспринял заключенное в рисунке послание и испугался — ведь угроза была адресована мне. И с глубочайшим изумлением я ощутил, как во мне шевельнулось уважение, восхищение перед незнакомцем, перед моим плененным врагом, который с карандашом в руке защищался в этом аду против страха и отупения.

Я уже говорил, что не помню, починил ли я насос. Но одно знаю, и этого у меня никому не отнять. В тот день я начал устранять одно из нанесенных мне в юности повреждений: с тех пор я уже не был по-настоящему способен на презрение к врагу, которое мне упорно внушали, особенно если враг был родом из восточных краев.

Нет, рисунок не сделал со мной большего, но человек, знающий мир, в котором находился этот рисунок, и тот каменный век, в котором я вырос, поймет всю разительность этой перемены.

А дальше? Дальше все продолжалось, собственно говоря, так же, исподволь, не слишком бросаясь в глаза. В последнем военном январе я попал в плен, в Польше, к тем самым солдатам со звездой на шапке. Должно быть, я плакал бы, кричал и умолял, если б они захотели меня убить, но в одном уверен — я бы не удивился.

Ведь наши фюреры мрачно обещали: когда они придут, ты будешь убит! А между тем, прошагав от Злате-Зюд до Польши, я насмотрелся многого и понял, что у врага предостаточно оснований, чтобы в порыве благородной ярости стереть с лица земли и меня, и мне подобных.

А они вытащили из меня осколок, лечили и согревали мои ноги, пока не зажили обмороженные язвы, дали мне крышу над головой и одежду, накормили и заставили задуматься, очень серьезно задуматься.

Знаю, чудесное спасение рождает легенды, и еще знаю, что во всех легендах герои похожи друг на друга — и все же не могу (и не хочу) ничего менять. В моей истории есть советская женщина-врач, которая — хоть раны были явно пустяковые — забрала меня из колонны, потому что мое имя для нее было прежде всего именем немецкого философа... Есть здесь и часовой: он отвел руку с винтовкой, которую его товарищ весьма недвусмысленно сунул мне под нос. И еще один солдат, тот, кто на мосту через Варту в Конине так меня двинул, что в глазах потемнело, а когда тьма исчезла, я увидел, куда он смотрел: накренившийся, вмерзший в реку танк, а рядом словно распятый во льду, застывший, совсем еще юный солдат.

И еще: с мчащегося поезда в меня чем-то запустили, это что-то угодило по голове, и я на какое-то время по-настоящему потерял сознание. Очнувшись, я нашел снаряд — это был круглый хлеб, и мои товарищи успели его порядком обгрызть.

А уже в плену, в самом конце, я еще раз встретился со смертью, точно так же, как я встречался с советскими людьми. Мы меняли болты на железнодорожном полотне, когда — как это нередко бывало — возле нашего участка остановился эшелон. Освобожденные из фашистских лагерей пленные — кто знает, быть может, и из Злате-Зюд — возвращались через Польшу домой, в Советский Союз. Военнопленные и просто угнанные в Германию.

Один из них подошел к конвоиру, поговорил с ним и сказал мне по-немецки, что хочет взять кое-какие инструменты и я должен пойти с ним, а потом забрать инструменты назад.

Как это ни тяжело, придется сознаться, что я, глупо коверкая слова, завел один из тех разговоров, которыми стремятся завоевать благосклонность собеседника, не требуя от него при этом особого умственного напряжения. Я попросту заискивал перед ним, повторяя на ломаном немецком: «Ты ехать домой, ты чувствовать хорошо!»

«Да,— сказал он,— мне хорошо». А потом он и двое его спутников начали копать яму, достаточно широкую и глубокую, чтобы стать могилой двухлетнего ребенка. Эшелон стоял не очень долго, ровно столько, сколько нужно на скорые похороны, страшный плач женщин и мрачные взгляды мужчин. Ровно столько, чтобы отдать мне инструмент, а в придачу ломоть хлеба и кусок колбасы.

Эшелон стоял ровно столько, чтобы я на всю жизнь запомнил, что такое стыд.

Только поймите меня: я ведь тоже знаю, что наша дружба с давних пор уходит корнями в нечто большее, нежели вина и стыд, великодушие и прощение. Я кое-что знаю о политике и о ходе истории,

об интернационализме и социалистической взаимопомощи, о классовой борьбе и солидарности и о том, что мы теперь товарищи. Знаю, что рассказываемое мною давно стало для молодежи наших стран историей.

Но история — это часть жизни, она не умирает. И мы должны осознавать ее, если хотим сохранить ясность сознания.

«Земля, пропитанная кровью» — эти слова кое у кого слишком легко слетают с языка, и все же так оно и есть — наша земля действительно пропитана кровью. Это не речевой образ, а то, что есть на самом деле.

Быть может, тот, кто в канун тридцатой годовщины освобождения приходит на могилы советских солдат, знает, что у нас в стране более шестисот таких кладбищ. В одном только Берлине похоронено двадцать тысяч советских воинов; только за последние три недели войны Советская Армия потеряла еще триста тысяч человек.

Воображение не в силах охватить такую массовую гибель. Но гибель эта слагается из трехсот тысяч страшных частей, и сознание может разложить ее на эти триста тысяч кровавых смертей.

Во всяком случае, стоит мне заметить, что цифры и факты не доходят до меня, я поступаю именно так. Представляю себе кого-то одного, скажем, молодого учителя из Ленинграда или крестьянина с Дона. Прекрасное воскресное утро в июне сорок первого оторвало его от семьи и швырнуло в, казалось бы, бесконечную череду удушья и ярости, страха и боли, крови и холода, голода и жары, вони пожаров и смерти. Он вынес все — четыре года и две тысячи километров,— а потом на окраине Вернейхена, за церковью в Пренцлау, в деревушке на холмах Флеминга или на Франкфуртер-аллее его настиг смертельный удар; выстрел такого, как я, сразил человека, пришедшего освободить меня и таких, как я.

Я прекрасно понимаю, что и он, и большинство других, лежа под огнем таких, как я, в общем-то не особенно задумывались над моим освобождением. С чудовищной яростью они защищали свою жизнь, они хотели жить, враг напал на них, и они гнали его назад в логово, им было не до мыслей об освобождении врага.

И все-таки они его освободили.

Таков ход истории: связь и переплетение мотивов, смена ролей и функций, сложение беспредельных сумм. Те, на кого напали, поруганные и измученные, стали освободителями и освободили не только самих себя, но и нас. Мне кажется, мы поняли многое из того, что натворили в истории и что в ней произошло с нами. Поэтому дружба нашего и советского народов представляется нам столь удивительной. Конечно, события можно измерить, пересчитать, датировать, описать их причины и следствия — и тем не менее каждому, кто хочет охватить эти события во всей полноте, следовало бы усмотреть в них частицу чуда.

Чуда объяснимого и в этом смысле совсем не волшебного. Это исторический процесс, корни которого следует искать в идеях и принципах социализма.

В идеях и принципах — и во всем известных, вроде бы совсем обычных историях, похожих на многие другие.

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ

Открытие

Матиас проснулся и увидел в гостиной свет. Он взглянул на часы: маленькая стрелка показывала два. Почему так поздно в гостиной горит свет?

Матиас встал, прошел через переднюю и отворил дверь.

Отец спал за письменным столом, положив голову на руки, а руки — на таблицы, наброски и густо исписанные листы. В комнате пахло застоявшимся табачным дымом. Чай в чашке стал совсем черным и маслянисто блестел.

Матиас некоторое время постоял рядом, глядя на седеющие волосы отца, морщины на лбу и слушая его тяжелое дыхание. Отец задремал в неудобной позе, стул был жесткий, но для работы он предпочитал жесткие стулья — так, дескать, не заснешь.

Все спали: мать, сестра. Отец тоже спал. Вот так и спал. Интересно, когда же он заснул?

Свет настольной лампы падал на таблицы, наброски и густо исписанные листы.

Мальчик легонько потряс отца за плечо. Толку от этого было мало, он тряхнул сильнее, ощутил твердость отцовских плеч и удивился. Сколько раз он сидел на них, и они казались мягче самого роскошного седла. Отец поднял голову, заметил сына, но по всей видимости не сразу мог сообразить, откуда он взялся.

Однако насчет таблиц и набросков сообразил быстро. Под его тяжестью они сдвинулись, он тщательно их сложил, потом взглянул на сына, уже совсем проснувшись, и как-то странно улыбнулся.

— Значит, я заснул. Будто провалился куда-то.

— Уже два.

— Два? А в час я еще заваривал чай.

Отец встал, расправил плечи, потянулся.

— А ты чего не спишь? — удивился он.

— Так просто.

— Иди ложись, Матиас. Я тоже лягу.

Отец вынул сигарету из пачки, лежавшей на столе, рассеянно повертел ее и сунул обратно.

— Ни к чему. Пойду спать.

Он сказал это больше самому себе. Потом обнял мальчика за плечи и вывел из комнаты.

— Надо было мне чем-нибудь завесить лампу,— сказал он.

Свет в самом деле скоро погас. Была половина третьего.

Утром Матиас сразу прошел в гостиную. На письменном столе уже не было ни таблиц, ни набросков, ни густо исписанных листов.

Мальчик вспомнил, что отец собирался в другой город на конференцию: об этом говорили вечером. Увидев Матиаса возле стола, мать удивилась. Однако мальчик ни словом не обмолвился о минувшей ночи. Да матери такое и не в диковинку.

За завтраком обсуждали, как провести воскресенье. Если будет хорошая погода, можно прокатиться за город. Монастырь посмотреть — древний, разумеется, и живописно расположенный.

— Этот трухлявый сарай? — спросила сестра.— Получше ничего не нашли?

Вообще-то Матиас был согласен с ней, но мать сказала:

— Отец же давно туда собирался.

И тут Матиас вставил:

— А что? В монастыре, может, еще как интересно. История и все такое.

Сестра изумленно посмотрела на него, но промолчала, а мать сказала:

— Он очень обрадуется.

Эта мысль пришла Матиасу в голову после уроков. И как-то сразу сложился план. Теперь возражай сколько хочешь, он ни за что на свете от него не откажется.

Матиас занял свое обычное место у окна. Отсюда ему хорошо был виден сидевший за столом Бергман. Во время занятий учитель редко оставался на месте, он почти беспрерывно ходил — от парт к доске, от двери к окну.

Но сейчас был не урок, сейчас шло собрание. Учитель Бергман весь день на ногах — ясное дело, пора и посидеть, он ведь не так уж и молод.

Бергман развивал новую идею. Делал он это на свой лад, и слушали его с удовольствием: он как бы прял нить, и она не рвалась, тут хочешь не хочешь, а следуешь за ниточкой.

— Ребята! — говорил он.— За последний год мы с вами немало сделали: мы познакомились с тем, что такое настоящее революционное дело, разыскали людей, от которых услышали об их жизни и подвигах — и геройских, и скромных, незаметных. Мы почувствовали с вами, что значит храбрость, мужество, дисциплина, стойкость и твердая уверенность в том, что борешься за правое дело. Последнее для нас особенно важно. И с каким увлечением мы все это делали! Но теперь пойдем дальше, чтобы еще больше узнать о нашей истории. Изучайте жизнь отцов. Я говорю «отцов» в смысле возраста, вы понимаете, что́ я имею в виду. Вот, например, мастер Нойберт из железнодорожных мастерских. Вы все его очень уважаете, я знаю. Но ведь был же когда-то мастер Нойберт очень молод. И, вероятно, был солдатом. Как он стал мастером Нойбертом?

Бергман перечислил еще много людей того же возраста. Он назвал и директора школы фрау Торнов, и майора Шульца. Назвал и врача Штокхаузена. Его слова всех заинтересовали. Тут-то Матиасу и пришла в голову та самая мысль.

Отец вернулся с конференции только вечером следующего дня. Он устал, ел молча, неспешно, будто нехотя, выпил кружку пива. Каждому он что-нибудь привез. Этого отец не забывал никогда. Матиасу он вручил фламастер и папку, а в ней блокнот с гладкими белоснежными страницами и календарь на текущий год. Фламастер как по заказу, им так легко было писать. И мальчик подумал: не поговорить ли с отцом прямо сегодня?

На письменном столе царил порядок. Матиас это сразу заметил. Отец сидел за столом, просто сидел и поначалу даже не обратил внимания на сына; а может, подумал, что мальчику что-то нужно в комнате. Наверно, мысли его все еще были в другом городе, на конференции.

Там не все прошло гладко, решил мальчик, что-то случилось. По лицу видно.

Он помедлил и хотел было уйти. Но, может, отцу надо отвлечься?

Матиас оперся руками о стол и только теперь заметил зеленую папку с надписью: «К докладу». Отец взглянул на сына, взял в руки папку и, не глядя, положил ее обратно.

— Я тебе мешаю? — спросил мальчик.

— Нет. Пожалуй, нет.

— Знаешь, папа,— сказал мальчик,— я хотел с тобой поговорить. Только в спокойной обстановке, понимаешь?

— Ну что ж, садись,— предложил отец.

— Да сегодня, наверно, не стоит,— заметил сын.

— Почему?

— Ты не в том настроении.

— Верно,— проговорил отец.— Я немножко выдохся.— Он тихонько барабанил пальцами по зеленой папке.

— Тяжелая была конференция, да? — спросил Матиас.

— Вот именно,— ответил отец.— Отнюдь не торжественное заседание. Отнюдь. Было весьма жарко. Надо было лучше подготовиться. Наверно, стоило позавчера ночью сварить лучше крепкого кофе.

— Тогда в другой раз.

— Нет, подожди минутку,— сказал отец.— А о чем, собственно, идет речь? Ты что-нибудь натворил?

— Ничего я не натворил,— обиделся Матиас.— Ты должен мне рассказать о себе.— И он повторил то, что говорил на классном собрании учитель Бергман. Сказал про мастера Нойберта из железнодорожных мастерских — отец хорошо его знал, он ведь тоже там работал — и про врача Штокхаузена. Оба они были ровесники отца.

— Но я хочу узнать про тебя,— закончил Матиас.— Я подумал и решил выбрать тебя.

Он посмотрел через стол на отца. Ответа не последовало.

— Тебе эта идея не нравится? — спросил Матиас.

— Не знаю,— сказал отец.— Может, лучше все же взять мастера Нойберта или доктора?

— А я не хочу,— возразил мальчик.

— Так что же ты хотел бы узнать?

— Да много чего. Очень много.

— Значит, нам предстоит большой разговор. Тут надо собраться с мыслями.

— Я хотел бы знать, как все это началось. Ну вот то, что ты стал инженером, партийным работником. Это ведь как-то начиналось.

Отец помолчал. Потом сказал:

— Начиналось, конечно. И очень давно. Как подумаешь, будто вечность прошла.

На следующий вечер отец спросил:

— Может, поговорим сегодня? — Они были одни, и отец счел этот момент удобным для разговора.

Они уселись в кресла. Матиас прихватил с собой блокнот и фламастер.

— Это обязательно? — Отец кивком показал на блокнот.

— Я же должен кое-что записать.

— Пишет хорошо?

— Здорово,— ответил мальчик.

— А я не могу ими писать,— сказал отец.— Слишком сильно нажимаю, получается сплошная мазня.

— У меня хорошо выходит,— похвастался Матиас. Он чувствовал, что отец волнуется, и предложил: — Ты, может, закуришь?

— Пожалуй.

Отец вытащил сигарету, закурил.

— А теперь я расскажу тебе, как все начиналось,— сказал он.— Это было в марте сорок пятого, всего за несколько недель до конца войны... В твоем возрасте — то есть примерно в тринадцать лет — я думал: только бы война не кончилась раньше, чем меня призовут на фронт. Я хотел пойти добровольцем. Моя мать, твоя бабушка — ты ее не знал, она умерла от голодного тифа,— осторожно так старалась меня отговорить. Но куда там. Я рвался сражаться за Германию. Твой дед — никто не знает, где он погиб,— тоже не мог меня переубедить, он был на фронте. Правда, мать всегда говорила, что будь он дома, он бы мне показал! Но когда отец приезжал в отпуск, он меня, собственно, и не отговаривал. Он вообще во время отпуска мало говорил. И о войне — ни слова. Сказать по правде, меня это здорово разочаровывало. Отец только и знал тогда, что работал словно одержимый — приводил все в порядок, чинил велосипеды; он был слесарь. В ту пору это меня очень и очень удивляло.

Таким, Матиас, я был в твои годы. Может, таким же был и Мастер Нойберт.

Война добралась до нас очень скоро. Через несколько дней после моего семнадцатилетия советские танки уже обстреливали окраины нашего города. Мне не пришлось идти добровольцем — призвали в два счета. Наш город стал крепостью. Все города в Германии должны были стать крепостями. А такой приказ — все равно что смертный приговор. Но, к сожалению, почти повсюду назначили комендантов, которые относились к этому приказу очень серьезно. Кто был против, того вешали или пулю в лоб. Нашей роте пришлось присутствовать при одном таком расстреле возле ратуши. Меня стошнило, но приказ был приказ: ноги русского не должно быть на немецкой земле. О том, что немецкие войска уже побывали на Волге — стало быть, на русской земле,— я в то время не думал.

Я учился бросать гранаты, стрелять из фаустпатрона, обращаться с пулеметом; научился драться даже саперной лопаткой.

Прошло немного времени, и наш город превратился в осажденную крепость: советские войска наступали со всех сторон.

Я пробирался ползком через взорванные подвалы, вжимался в землю, когда над головой с воем пролетали тяжелые снаряды, видел, как горели и рушились дома, и узнал наконец, что такое страх смерти.

Иногда, в сравнительно тихие ночи, я слушал громкоговорители с той стороны фронта. Они призывали: «Прекратите бессмысленное сопротивление. Не идите на поводу у фашистских преступников. Вы хотите жить. Вы хотите домой».

Эти громкоговорители, этот безупречный немецкий язык я не желал даже слушать.

А потом настал тот холодный, пасмурный день в начале марта. Нашу роту снова направили на передовую. Большинство парней в роте были моими ровесниками. Мы заняли новый оборонительный рубеж. «Тут Советы разобьют себе башку»,— говорил наш лейтенант. Унтер-офицер Майерхоф получил особое задание. А Майерхоф был

наш инструктор, десантник. Говорили, что его выпустили то ли из госпиталя, то ли из военной тюрьмы.

Ты ведь слышал о «зеленых беретах», Матиас, об американских бандитах во Вьетнаме — так вот, Майерхоф был такой же, как они. Нам не обязательно было козырять ему, но вот стрелять мы должны были уметь, и гранаты бросать тоже. Мы его, конечно, побаивались, но и восхищались им. Майерхоф взял с собой пулемет, ящики с патронами, несколько связок гранат — и меня. Тащить все это пришлось мне, я был его второй номер. Лейтенант привел нас в подвал. Над нами был старый и еще целый жилой дом. Подвальное окно находилось прямо над землей, самый подвал был узкий и темный. Дрова и уголь владельцы уложили в аккуратные штабеля. У стены я обнаружил полку, на которой были закупоренные стеклянные банки, ржавый фонарь, велосипедная рама и прочий хлам. В дальнем углу стоял плоский деревянный ящик, набитый картошкой. Я удивился, так как картошки в крепости уже не хватало.

Майерхоф выставил пулемет в подвальное окошко и глянул на улицу.

— Отличное поле обстрела, Майерхоф,— сказал лейтенант.

— Да, ничего,— ответил тот.

— Тут-то они и захлебнутся,— заявил лейтенант.

— Только чтобы справа и слева от нас тоже не дремали,— недовольно заметил Майерхоф.

— Боеприпасы и продовольствие я подошлю,— успокоил лейтенант.

И мы с Майерхофом остались одни. Он оглядел банки и ударил одну об угол. По стене потек липкий сливовый сироп.

— Дерьмо,— сказал Майерхоф,— в этих домах ничего приличного не найдешь. Так уж они тут жрали.

Он рассказал, как однажды они окопались в фешенебельном квартале — там в погребах всего было полно. Консервированная гусятина, всякая колбаса, шнапс и вино.

— Уж те-то запаслись. Еще бы, с их связями да с деньгами. Мы даже не смогли все унести. Брюхо набили, а потом связка гранат — и готово.

Мне пришлось встать к подвальному люку. Поверх пулеметного дула я выглянул на улицу в промозглый день. Поле обстрела у нас было действительно хорошее.

Майерхоф протянул мне фляжку. Я глотнул шнапса. Он улегся на картофельный ящик и тут же захрапел. Я тупо смотрел на улицу. Дома на противоположной стороне выгорели — пустые глазницы окон, обожженные фасады. Оттуда должны были появиться русские. Тогда пулемету придется поработать.

Однако русских, по словам лейтенанта, пока еще там не было. Они должны были сначала наступать как в пустоте, а потом захлебнуться. Я устал, замерз и не знаю, сколько времени простоял вот так у пулемета. Внезапно загремели орудия. В последние недели я многого навидался, но такого еще не бывало. Я прижался к полу подвала, возле стены. И стена дрожала, да, дрожала, я это чувствовал. Вдруг все стихло. Слышался приглушенный, прямо-таки безобидный лязг танковых гусениц, рев казался детским криком, пулеметные очереди — отдаленным стрекотаньем.

Тут возле моих глаз выросли сапоги Майерхофа. Он стрелял из пулемета, тело его сотрясалось от выстрелов, рядом со мной звякали по полу латунные гильзы. Я поднялся, вскрыл ящик и подал Майерхофу новую ленту. Мне было видно его напрягшееся, искаженное лицо, указательный палец рвал гашетку.

Я скорчился рядом, и вдруг Майерхоф повалился на меня и тяжело придавил к полу, ударившись каской о стену подвала. Мне с трудом удалось выбраться из-под его тела. Майерхоф был мертв. Должно быть, был мертв. Я сидел на земле возле него, не в силах отвести взгляд. Много мертвых я уже видел, но так близко еще никогда. Мне еще не приходилось видеть смерть вот так, совсем рядом. Потом я подумал: теперь твоя очередь стрелять. Ведь Майерхоф мертв.

Поднявшись, я встал за пулемет и нажал гашетку, ощутив плечом боль от ударов приклада. Вскоре пулемет умолк. Лента кончилась. Я шагнул назад и хотел взять новую. Но тут резкий удар в бедро швырнул меня на землю. Будто кто-то со всего размаха треснул по нему палкой. Боль пришла после. Я увидел кровь, которая текла из дырочки на брюках, разорвал штанину, не глядя пихнул в рану индивидуальный пакет, взял пакет Майерофа и обмотал бедро марлей.

Плача от боли и страха, я дотащился до задней стены подвала и лег на ящик с картошкой. Мне стало дурно. И не было сил.

С улицы доносился грохот боя. Меня охватил страх перед русскими. Собрав остатки сил, я еще раз подполз к мертвому Майерхофу и взял его пистолет. Майерхоф глядел на меня застывшими, остекленелыми глазами.

Вернувшись на ящик, я запрятал пистолет в картошку дулом вниз, рукояткой к себе. Со взведенным курком. Спутанные мысли проносились у меня в голове.

Тут я и останусь, в темном подвале. Если русских отбросят, я спасен. В этом была вся моя надежда. А вдруг русских не отбросят? Может, они не найдут подвал. С какой стати они должны прийти именно в этот подвал? Тогда ночью я смогу выбраться. Надо копить силы. Мне знакома тут каждая улица, каждый двор. Я выберусь.

А если русские найдут подвал? Что тогда?

Буду ли я стрелять, пока не опустеет магазин? И одна пуля, последняя, останется для меня самого?

Я много раз слышал, что умирают именно так. И Майерхоф говорил об этом.

Однако боль в бедре усиливалась, губы пересохли. Лихорадка. А во фляжке один шнапс.

Подвальное окно потемнело. Я увидел русские сапоги, услышал тяжелое дыханье, чужую речь.

Забыв о боли, я стал на ощупь искать в картошке пистолет. В окно проскользнул солдат, наступил на мертвого Майерхофа и соскочил в подвал. На меня уставилось дуло автомата. Круглое отверстие приближалось. Над автоматом темнело лицо в каске.

Я поднял руки.

Вот и конец. Так мне подумалось, должно быть. Уже не помню. Но дуло опустилось. Лицо солдата было совсем близко.

— Капут, да? — сказал он и показал автоматом на мою окровавленную повязку.— Ду капут, дас зер гут [1],— добавил он.

Он крикнул что-то по-русски. В окошко пролез еще один солдат, помогая третьему, у которого была разрезана гимнастерка. Широкая повязка закрывала грудь. Двое товарищей поддерживали его. Раненого посадили на полушубок. Видно было, что ему очень больно.

Я заметил, как те двое покосились на меня. Догадывался, что они раздумывают, как со мною поступить.

Расстреляют? Отсюда из подвала стрелял Майерхоф, я подавал ему патроны, а потом и сам стрелял. Я неотрывно смотрел на них и

---

[1] Тебе крышка, это очень хорошо *(искаж. нем.)*.

в их глазах не читал ничего хорошего. Тот, что стоял передо мной, поднял автомат.

Я опять поднял руки.

Раненый что-то тихо проговорил и отрицательно покачал головой.

Но у меня еще был пистолет. Я мог бы стрелять, дорого продать свою жизнь.

В двух шагах от меня раненый, хрипло дыша, прислонился к стене подвала. Они положили автомат ему на колени. Дуло смотрело прямо на меня.

Солдат, первым спустившийся в подвал, подошел вплотную ко мне.

— Ду, фашист. Ду ецт гефанген. Ферштанден? Никс думхайтен. Ферштанден?[1]

Они, оба эти солдата, опустились на колени и поцеловали раненного. Он был старше их обоих, тех, что снова ушли из подвала на улицу. Шум боя становился слышнее.

И вот я остался наедине с раненым. У него на коленях автомат, а у меня пистолет в картошке.

Если бы началась контратака, я бы мог с ним разделаться. Да, так я и думал. В сумраке лицо раненого было едва различимо. Вероятно, он видел меня лучше, так как на меня падал свет из окна.

Неожиданно у меня закружилась голова. Должно быть, от потери крови, от напряжения, смертельного страха. Нужно побороть себя, не показать врагу своей слабости.

И вдруг раненый сказал:

— Как ты еще молод. Сколько тебе, собственно, лет?

Он сказал это обычным голосом, на языке, который я привык слышать с детства. По выговору он мог бы быть уроженцем нашего города. Я забыл о слабости. Я знал — это немец. Один из тех, кто нас предал, работал на врага, говорил по радио, призывая нас сдаваться. На этом немце была русская форма.

Эх, если бы пуля из майерхофовского пулемета оказалась более меткой. Да, вот о чем я думал в тот момент.

— Так сколько тебе лет? Говори уж.

— Так точно. Семнадцать,— ответил я.

— Ты из этого города?

— Так точно.

— Зачем ты все время говоришь «так точно»?

— Вы же меня допрашиваете. Я в плену.

— Верно. В плену. И радуйся, а то мог бы получить, как твой унтер-офицер. Так сказать, под занавес.— Раненый закашлялся и схватился руками за грудь.— Ты рад, что война кончается?

Я не ответил, но подумал, что война и в самом деле кончается. До сих пор я никогда не думал о конце. Но за стенами нашего подвала война пока не кончилась, перестрелка стала еще более ожесточенной.

Раненый бросил взгляд в окно, поэтому мне стало видно его лицо, напряженное и мрачное.

Я осторожно нащупывал под картошкой пистолет, ладонь отыскала шершавую рукоятку.

— Скоро все кончится,— сказал раненый.— Уже недолго осталось. А они все стреляют и стреляют. Такие, как ты, стреляют до последнего патрона. Во что вас превратил Гитлер? Эй ты, почему вы деретесь как одержимые?

---

[1] Ты, фашист. Ты в плену. Понятно? Без глупостей. Понятно? *(искаж. нем.)*

Страх куда-то исчез, и я сказал:

— А почему вы с русскими? Вы же немец.

— Я всегда был с ними. Умом и сердцем. Сейчас тебе этого не понять. Но ничего, скоро поймешь. Я на правильной стороне, а ты нет. Кто у тебя отец?

— Мой отец погиб,— с горечью ответил я,— да, да, погиб.

— А кем он был до войны?

— Слесарем.

— Здесь, в городе?

— Так точно.

— Где он работал?

— На заводе у Лемке.

Допрашивающий меня на минуту смолк.

— И я работал у Лемке. Давно. Потом они упрятали меня в тюрьму. На много лет. Я тоже был слесарем. И опять им стану. Теперь уже скоро.

Кажется, я приподнялся, несмотря на боль. Так невероятно было, что этот человек в русской форме работал у Лемке. Значит, он ходил в те же ворота, что и мой отец. И город он, должно быть, знает не хуже меня. Знает все закоулки и ведет русских. Впрочем, многое, наверно, забыл, раз давно здесь не был.

— Куда тебя ранило? — спросил он.

— В бедро.

— Навылет?

— Не знаю. Ничего я не знаю.

— Болит?

— Да, да,— сказал я, и мне вдруг стало страшно, словно кипятком обожгло.— Я же тут сдохну! Истеку кровью! Заработаю столбняк! — орал я.

— Спокойно,— сказал человек у стены,— спокойно. Нас скоро отсюда заберут. Пока еще нельзя — слышишь, как стреляют. Уж они нас не забудут. Андрей обо мне не забудет.

«Но обо мне Андрей забудет,— думал я,— может, еще и прикончит. Ведь я враг».

Я опять стал ощупью искать пистолет. Автомат на коленях у раненого уже не смотрел прямо на меня. Закурив сигарету, человек несколько раз затянулся, закашлялся и тут же скорчился от боли.

— Вам нельзя курить,— сказал я,— при вашем-то ранении.

Он отшвырнул сигарету и посмотрел на меня.

— Ты, конечно, прав. Мне уже не помочь,— с трудом выговорил он.

А я думал: какое мне, собственно, дело. Пусть его подыхает от своей сигареты. Пусть кровью захлебнется, если у него легочное ранение.

Как-то вдруг я почувствовал, что начинается лихорадка. Волны жара сменялись ознобом. И еще был страх, что я умру здесь, в этой дыре. На улице по-прежнему стреляли как ошалелые. Тут раненый сказал:

— Ты когда-нибудь задумывался над тем, как это будет, когда перестанут стрелять? Разумеется, тебе нужно отсюда выбраться. Твое место дома.

Я молчал, ощущая ладонью рукоятку пистолета. Раненый приподнялся и наклонился в мою сторону:

— Ты весь дрожишь. Черт побери, хоть бы они уж перестали сопротивляться. Тогда мы давно бы выбрались отсюда и лежали бы на белых госпитальных койках. На, выпей!

Он с трудом подполз ближе, протянул мне фляжку. Я жадно глотнул горького чаю.

— А теперь вот это,—сказал раненый.

Первый раз в жизни я пил водку. Слезы выступили на глазах, но стало легче.

— Ну вот,— сказал раненый.

Он сидел возле меня на корточках, хрипло дыша. Его лицо было совсем близко. Видно было, что он немолод. Или его старили усталость и небритая щетина?

По-моему, он улыбался. Автомат остался у стены, и он уже не мог дотянуться до него.

— А что вы будете делать, когда все кончится? — спросил я и сам удивился. Мои пальцы все еще касались пистолета. Нужно было только поднять его и спустить курок. Раненый глотнул водки.

— Если выдержу,— медленно проговорил он,— дела хватит. Нам в Германии придется начинать сначала. Это будет непросто. Ты же видишь, как тут все. Все исковеркано. И начинать придется с людьми вроде тебя. Быть может, это будет труднее всего. Но вы молоды. И в этом наша надежда. Вы должны быть с нами. Это самое главное.

Я слушал его и думал: а если сейчас выстрелить? Тогда конец его мечтам.

Он посмотрел на меня и сказал:

— У меня тоже есть сын, твой сверстник.

— Где же он? — поинтересовался я.

— Не знаю,— глухо ответил он,— может, тоже торчит в таком вот подвале. Может, стреляет. Может, и в живых его нет.— И вдруг он крикнул: — Неужели вам еще мало?!

На меня опять накатила дурнота. На этот раз я бы с ней уже не справился. Я услышал голос раненого:

— Парень, да ты ведь сознание теряешь. На, глотни. У меня еще вот таблетка есть.

Он влил мне в рот обжигающую водку. Приподниматься ему было трудно. Я видел красную звезду на его шапке. Он налил в помятую кружку до краев чаю, бросил туда таблетку. Склонился надо мной. Я выпил.

— У меня тут пистолет. В картошке,— вдруг сказал я и показал на место рядом с собой. Он взглянул на меня. Медленно сунул руку в картошку, вытащил пистолет. Осмотрел его и, достав обойму, отшвырнул к мертвому Майерхофу.

Он глядел на меня, я на него.

Потом он отполз назад и сел, как раньше, положив на колени автомат.

Я лежал спокойно, не пряча от него глаз. Шум боя на улице слабел. После долгого молчания раненый сказал:

— Знаешь, если все будет хорошо, из тебя еще может что-нибудь получиться.

Тогда я еще не мог представить себе, что из меня получится, не за что было зацепиться. Но то, как он это произнес, этот немец в русской форме, было мне по душе. И этого я не забыл.

Я засыпал, таблетка начала действовать. Проснулся я, когда в подвале уже были русские, услышал русскую речь. Я видел, как раненый, который по-прежнему выпрямившись сидел у стены, показал на меня.

Вместо ноги у меня, казалось, была раскаленная болванка. Когда меня подняли, я чуть не закричал и потерял сознание.

Очнулся я в советском полевом госпитале. Спросил о немце, который носит их форму. Таких было несколько, но моего никто не знал.

Вот так и началось, Матиас.

Отец умолк. Матиас так ничего и не записал.

— А теперь я выпью водки,— сказал отец и налил стакан до краев.

— Ты его больше никогда не видел? — спросил мальчик.

— Никогда,— ответил отец,— ни в плену, ни потом дома. Я часто спрашивал о нем. Даже сейчас, когда мне случается попасть в другой город, пытаюсь навести справки. Но так его и не нашел. Наверно, и не увижу больше.

— Интересно бы узнать, как его звали,— сказал Матиас. Отец выпил водку.— А насчет тебя он был прав. Из тебя что-то получилось. Он был бы доволен,— сказал мальчик.

— Думаю, он уже тогда знал, как все будет. И был бы мною доволен. Думаю, да...

■

ИРЖИ КРШЕНЕК

Дички

РОМАН

Перевод с чешского Н. ШУЛЬГИНОЙ

I

Из трактира Йожа Дрозд возвращался домой с разбитым лицом. Он был пьян и, как всякий пьяный, по-своему куражился: то костил весь белый свет, то угрюмо молчал, вслушиваясь в звуки собственных шагов, пока наконец не приткнулся в ивняке у ручья и не затянул песню высоким, чужим голосом.

По окатанным камням шумно плескался ручей, из рассеченной брови, не утихая, шла кровь. Дрозд сорвал ивовый листок, залепил ранку над глазом. Держась за пружинистые ветки, дотянулся до стремнины, ополоснул лицо и напился.

Небо над зубчатыми верхами гор уже заметно посветлело, когда Дрозд подымался по гнилой стремянке на поветь — летом он там отсыпался. Сквозь навалившуюся дрему он еще слышал клокочущий петушиный крик, брех цепной собаки, но тут же как был — в мокрых башмаках, с присохшим у глаза листком — захрапел, дыша табаком и сивушным перегаром.

Только к девяти старый Дрозд выбрался из своего логова. Он перекинул через плетень холщовую рубаху и, распространяя похмельный дух вокруг себя, на четвереньках подполз к ручью у самого строения. Долго и жадно пил и только потом умылся. Торчащие усы обмякли... он задумчиво ерошил их и все поглядывал на форель, что косяком тянулась против течения.

Низкая упругая хвоя клонилась над водой, желтели высокие тополя, темнели ели. Тополя эти высадил он, Йожа Дрозд. Выкопал их в деревне, выдолбил мотыгой неглубокие лунки, подбросил к корням перегною, собранного из-под хвои... Ишь как они вымахали, его тополя, давно самого переросли. Сразу видать: его земля к себе тянет, тополя — солнце.

Дрозд нашарил в кармане штанов окурок цигарки, затянулся и тут же зашелся в кашле — еще когда доставал рубаху с плетня, все

© Jiří Křenek, 1973.

плевался ржавой слюной да кашлял. Застланное тучами небо повисло над домом, собиралось ненастье.

Из хлева показалась Дроздова жена. Он взял у нее подойник.

В горнице было сумеречно. Два крохотных оконца скупо освещали просторное помещение. Беленая печь с полукружным сводом для выпечки хлеба, треногим каганом и высоким опечьем заслоняла от света почти половину горницы. Там еще стояли буфет, стол да резная лавка.

Покопавшись в ящике, Дрозд достал полуслепое зеркальце. Поглядел на себя с интересом: тьфу, ну и рожа — губы распухшие, щеки в ржавой щетине.

Дроздова поставила на стол миску капустной похлебки.

— Молоко будешь?

Старый молчал.

— Луговину под Вершком не мешало бы выкосить. Совсем зазеленела.

Старый усердно жевал.

— Ганка-то где? — с полным ртом спросил он немного погодя.

— В управу вызвали.

— В управу? — прогудел Дрозд.

— Назад поедешь — к Яну не забудь завернуть,— напомнила мужу Дроздова.

Она стояла на коленях у плиты и подкладывала буковые поленья. Глаза у старого на миг вынырнули из-под сети глубоких морщин, скользнули по согнутой спине женщины.

Сивый мерин без понукания слушался Йожу Дрозда. Только хозяин тихо присвистнул — ломовик взял вправо, причмокнул — и легкая повозка покатила по дороге.

— На лесопилку, Цыно,— буркнул старый Дрозд скорей самому себе. И, привалившись на козлах, заснул как убитый.

В лицо пахнуло жаром. Паровой локомобиль с шипеньем ворочал тяжелыми красными маховиками, широкие ремни, обегая их, со свистом уходили под пол.

— Ну как оно, отец? — встретил его молодой Дрозд. В руке он держал масленку наподобие чайника.

Старый в ответ пробубнил что-то невразумительное и взглянул на машину.

— Загоните-ка вашу клячу да валяйте к нам,— посоветовал ему помощник кочегара.

Йожа Дрозд вынул кисет из кошачьей кожи.

— Премного благодарны,— отозвался парень. На лоснящемся лице его забелели зубы.— С этого вашего зелья и муха бы сдохла.

— Слышь, Михал,— обратился старый к сыну, заворачивая цигарку.— Ганку-то, стало быть, в управу вызвали.

— Да... карточку получит,— снова подал голос помощник.— Порядок нужен. Каждому по карточке в зубы. Баранам — синие, курицам — зеленые, а самые большие да лучшие — недоумкам...

Михал дернул плечами. Он сел на лавку у станка с зажимами и, не спуская глаз с машины, словно бы сторожил ее тихий с присвистом ход. Пол в машинном отделении дрожмя дрожал, с вороха опилок и щепы за топку относило труху.

Томаш, помощник Михала, обтирал руки промасленной тряпкой, лицо его в отсветах пламени медно блестело.

Вдруг до них донесся гул моторов. Михал поднялся, поглядел на шоссе. Из-за поворота вынырнул мотоцикл. Это был заляпаный се-

рой краской «BMW» [1], из его коляски торчало дуло пулемета. Второй, третий... затем мост яростно загудел под гусеницами бронетранспортера.

На шоссе поднялся столб пыли — он недвижно застыл и грязно-серой пеленой напрочь заслонил движущиеся машины. Непрерывная вереница тяжелых вездеходов, набитых солдатами, низких боевых машин, как бы настороженно прижавшихся к земле, противотанковых пушек — все это слилось в одно грохочущее серое видение.

— Все едут и едут,— бросил Томаш.

— Чтоб им в пекло доехать,— отозвался молодой Дрозд.

Старый молчал.

II

Гане Дроздовой было семнадцать. Волосы и глаза ей достались от матери. Детски-голубые, точно незабудки, глаза и на удивление черные волосы, тяжелыми косами брошенные на спину. Но от покорливости, от глубокой преданности матери, вверившей свою судьбу мужу, в дочери не было и следа.

День был на исходе. С ручья тянул студеный ветерок, напоенный запахом тлеющих кореньев, листьев и опустелой земли. Ручей под Дроздовым домом разлился топкой заводью, и ее гладь пестрела палым ясеневым листом. Ельник похмурел, от корней струились в небо молочно-белые испарения.

Дрозд воротился из леса. В мокрых, грязных резиновых сапогах вошел в горницу. Гана мыла пол. Старый разулся, пнул сапоги в сени. В грубошерстных носках прошелся по горнице, полез в ящик за табаком и с минуту глядел, как дочка, согнувшись над полом, усердно драит каждую половицу, как ее загорелые локти снуют в спором ритме работы.

Гана отжала насухо тряпку, вытерла выскобленные половицы, подлила в ведро горячей воды. Старый свернул цигарку, но так и не прикурил. Ему как-то не верилось, что эта девка — его дочь. Эх, где то далекое времечко, когда он из-за таких-то вот девок сшибался в кровь.

Дрозд провел ладонью по ржавой щетине и, как всегда в такие минуты, его потянуло в трактир. Кабы не эти ее именины — кто знает...

Он прокашлялся и наконец прикурил. Повалил густой, смрадный дым.

— Ну и вонища,— заметила Гана.

— Сходи-ка в чулан, пошуруй там за мельницей,— попросил ее Дрозд.

Она воротилась с запыленной бутылкой. Старый вытащил из буфета стопку.

— Хочешь?

Она завертела головой.

В миске на печи подымалось тесто.

— На, попробуй,— неожиданно ласково предложил ей отец.

Ганка едва пригубила.

— Тьфу, какая гадость. И как только вы пьете!

Вошла матушка Дроздова. Поставив подойник на прилавок у печи, спросила:

— Что, дочку добру наставляешь?

Дрозд налил рюмку жене.

---

[1] Мотоцикл немецкого производства — Bayerisch Motor Werke. *(Здесь и далее — примечания переводчика).*

— Ты, дочка, глянь-ка на мать. Зелье само в нее вскочит.

— А ты что думал, старый дурень? — расхрабрилась Дроздова. Взяла рюмку и разом ее опрокинула.

— Еще маленькую?

— Благодарствую! — усмехнулась она.

Дел у нее — непочатый край. С работы скоро воротится Михал. Ян тоже обещался прийти. И не один, а с женой. Та была городская и как-то сразу и надолго не пришлась Дроздовой «ко двору». Между ними возник холодок с первого же дня, как только сын ввел жену в дом.

Тогда эта самая Милада пошарила глазами по горнице и будто на заморскую диковину уставилась на стародавнюю печь.

— Как вы здесь только живете? — простодушно спросила она.

У Дроздовой занялось дыхание. Живо вспомнилось ей, как ладили они эту избу — молодая пора молнией вспыхнула в памяти. Никто лучше ее не знал, какой кусок жизни унес у них этот дом, и все-таки здесь прошли дни их короткой и горячей любви...

Ян понял: слова жены задели мать за живое. Еще мальчишкой, роясь однажды в бумагах, он вычитал, из какой богатой усадьбы мать была родом. Уж ему-то было известно, что только ради отца пошла она на горе и нищету.

Теперь Милада ждала ребенка, и Ян втайне надеялся, что его появление на свет растопит материнское сердце.

Впрочем, вместе они жили недолго. Когда освободилась квартира при лавке Франзла, молодые перебрались туда, занялись своим делом, и жилось им вовсе не худо.

Михал пришел совсем затемно. Поглядел на вымытый пол.

— Разуться, что ли?

— Будь добр,— ответила Гана.

Брат налил в рукомойник горячей воды. Он долго и основательно мылся, а старый, пребывая уже в добром расположении духа, не сводил с него глаз.

— Гвозди и те бы сожрал,— заявил Михал, растирая льняным полотенцем широкую спину — мышцы по ней так ходуном и ходили.

— Уж ты-то знаешь, что такое голод,— проворчал Дрозд.

— А я что говорю?

— Сухой картошки и то у нас не было.

— Что же, недурно, кабы к ней еще кусок мяса,— ввернул Михал.

Вошла принарядившаяся Гана. На ней была светлая юбка и вышитая кофта, волосы она заплела в косы, завязав их красными лентами.

— А Ян когда придет?

Дроздова поставила на стол пироги.

— Лавка есть лавка,— буркнул старый.

— При республике ты небось вокруг лавок с виселицей ходил,— напомнила ему жена.

— Только в которых обмеривали да обвешивали,— уточнил Йожа Дрозд.

Перед верандой затявкала собака.

— Все воруют,— успел вставить Михал, сморщив горбатый нос.

Янова жена была бледна, живот высоко вздернут. Старая тотчас подхватила ее и подвела к скамейке.

— Поскользнешься, далеко ли до беды,— вздыхала она, краем глаза поглядывая на невестку.

— Да я берегусь, мама,— сказала Милада.

Ян сел и вздохнул.

— Вот мы и в сборе,— сказал старый.— Вся семья вместе — так и душа на месте. А то как же. Подкинь полешек.

Если Михал весь удался в отца, то Ян скорей был материнской породы: невысокий, с бледным лицом, усеянным веснушками, точно маковыми зернышками. Близко посаженные голубые глаза, светлые брови, маленький нос и округлый подбородок придавали его лицу женски-робкое выражение. И как бы сообразно своей наружности он никогда не повышал голоса — впрочем, это происходило еще и потому, что он чуть заикался, когда говорил быстрей или громче.

Семейство Дроздов уселось к столу. Старый во главе, по правую руку — Ян, по левую — Михал. Молча ели куриное хлебово и тушеное мясо. Только когда Дроздова выставила на скатерть пирог и самогонку, мало-помалу разговорились. Женщины примостились в сторонке и тихо шептались, а за столом остался Дрозд с сыновьями.

Ян вынул пачку сигарет.

— Ишь ты, первый сорт! — удивился Дрозд.— У торгашей, стало быть... вот полюбуйтесь, каким куревом господа лавочники балуются.

— Да...— отозвался Михал.— Зато вот мы картофельной ботвой дымим.

— Табак кури,— сказал ему старый.— В табак небось нельзя...

— Очень даже можно, тата,— спокойно перебил отца Ян.— Давеча я купил кило из-под полы, так туда мореной свекольной ботвы накрошили...

— Значит, ты и табаком торгашишь?

Ян пристально глядел на огонек керосиновой лампы, тонкие длинные пальцы его мяли дымящуюся сигарету.

— Не знаю, как и справиться одному,— сказал он тихо и невозмутимо.

— Другие справлялись, и ты справишься. Здоровье береги, не хворай... за этим гляди. Ничего не бывает вечно, даже война.

— Работать надо. С разговоров сыт не будешь,— заключил Ян.

— Военные деньги что клочок бумаги,— откликнулся старый.— Видал я таких в первую мировую: чего только не таскали с собой. У которого в мешочке к шее привязано было, у которого в рюкзаке... скорей консервы выкинет, а часы там, золотишко либо еще какую дрянь таскает с собой. И к чему все? Шарахнет пулей — враз сковырнешься, что твой поросенок.

— А мне сдается, война не скоро кончится,— заметил Ян.— Делаю свое дело. Политикой не занимаюсь, торгую и торгую честно, каждый скажет.

— Россия — земля большая,— сказал старый Дрозд. Самогон както сразу ударил ему в голову.

— А разве я говорю — маленькая? — возразил Ян.— Да что с того? Большая, маленькая — я-то здесь живу, не в России.

— Едешь неделю, другую, а все Россия да Россия...

— И чего это вы мне толкуете? — полюбопытствовал Ян.

— Я тебе ничего не толкую, говорю, что на деле есть,— пожал плечами старый.— Когда война, все равно, где живешь, запомни это, Ян. И все равно тоже, кого первого прихлопнет — еврея ли, мадьяра. Дернут где-то там за веревочку — и ни тебе дома, ни тебе лавки. Беды никому не желаю, даже неправому...

— Я, что ли, желаю? — спросил Ян.

— Навели тут свои порядки, расправились с евреями да цыганами, теперь за нас примутся,— вмешался в разговор Михал.— Насчет этого можно не сомневаться...

— У кого кнут, тот и погоняет... Лошадь это хорошо поняла.

— На то она и лошадь,— снова отозвался Михал.

— А человек — он лошадь и есть. Так спокон века заведено, тут ничего не попишешь. Я тоже, было время, думал — весь мир переверну. Черта с два перевернул! После первой мировой сдавалось — все по-иному будет. Сколотили мы виселицу, ходили по деревне, приневоливали лавочников божиться, что не будут больше народ обдуривать. Они божились, а мы и уши развесили, думали — наша взяла. Вот-вот, дескать, начнут землю делить, бедняк по справедливости свое получит. Боже праведный, ну и болваны мы были! Явились жандармы, хвать по башке дубинкой — только и видели эту самую справедливость... Который оттяпал одно, который другое, и все пошло-поехало по-старому: «Пейте в долг, любезные, а мы в книжечку запишем, приписочку сделаем...» И зашныряли вкруг дома судебные приставы, а сборщики вносили долги в поземельные книги. Да чего вы мне тут толкуете? Много вы о жизни знаете! А ведь это была несправедливость, и еще какая! Да, перешиб я дубинку, как же...

Михал молчал, Ян с сигаретой в тонких губах сутулился над керосиновой лампой.

— Не тронь ближнего, ближний не тронет тебя,— сказал он.— Чего зря говорить...

— Пришел Гитлер,— продолжал старый.— И на тебе, полюбуйся!

Он невольно понизил голос:

— И опять все как было: откроешь рот, получишь по зубам. Выдержать надо, перебиться — все равно кто-нибудь да одолеет его. Не я, не вы, так русские, американцы... всем миром скрутят его...

— Кабы все так говорили, никто бы с ним не совладал,— буркнул молодой Дрозд.

Старый глянул на сына.

— Так-то оно так, Михал. Ты, парень, чумовой, совсем дикий. Я точь-в-точь такой же был, да и нынче-то не больно переменился — по крайности, мать так говорит. Но одно я знаю, и знаю точно, потому как на войне был: словами да голыми руками против силы не попрешь. И вовсе не нужны разные там автоматы, простого ружья хватит — враз заткнешься. Ладно еще, коль у них один автомат, а у тебя два. Коль у них одна пушка, а у тебя три — это бы еще лучше. На войне-то оно совсем иначе бывает, чем когда в трактире сидишь да языком чешешь. Хаживал я на эти собрания: только и знают, что балабонят да разных людей поносят. Народ, республика, справедливость, равенство, братство! А был там еще один, так тот все твердил, что, начнись война, рабочий в рабочего, крестьянин в крестьянина, словак в словака ни за что стрелять не будут,— батюшки-светы, ну и разговорчики были, разве что за шкаликом и годились. А когда ты воюешь, когда задницу припечет — по-другому, все по-другому оборачивается. Помню, в Италии гнали нас в штыковую атаку...

Михал махнул рукой.

— Да ты не отмахивайся... не отмахивайся,— зашипел старый Дрозд.— Гнали, и мы шли прямо на штык, как миленькие. А кто был там впереди, ну кто? Такие же голодранцы, такие же бедолаги, как мы, а то кто же еще? Но уж коли держишь в руке ружье, коли прешь... а кругом тебя — фью-фью... нет тебе ни словака, ни немца... только о себе и думаешь. Лишь бы шкуру свою спасти. Заприметишь того самого, который на тебя лезет, уж издали знаешь, который твой, и нету тут выбора — либо ты ему, либо он тебе штыком в пузо. И жалости нет к нему никакой — хоть бы семеро по лавкам дома у него оставалось, вот она какая война. Ты что твой зверь лютый... Не ты убьешь, так тебя прикончат. Оно, конечно, за рюмкой на цветастой скатерти легко говорить. А как туда загремишь, тут уж не

кричишь благим матом: «За родину, за республику...» Вот так-то, Михал. Там одно знай себе канючишь: «Мама родная!» Она тебе и родина, она тебе и республика...

— Стало быть, по-вашему, батя, все в наилучшем виде на свете,— сказал Михал и сморщил нос.

— Ну, не криви ты это свое рыло, не криви,— бросил старый.— Какое там, к черту, в наилучшем виде? Думаешь, я такой олух, ничего уж не смыслю. Смыслю — вот потому-то и не выйду с топором на дорогу, чтоб шарахнуть торгаша какого по черепу. Кому от этого польза? Меня — в каталажку, а заодно, верно, и тебя, Ян, и бабу твою... Известное дело, за одного ихнего десять здешних в ответе. Я-то знаю, что наши в Сербии вытворяли, вы небось тоже знаете, что немец делает тут и в России. Руку подымешь, а петля, глядь, уж на шее. Думаешь, тебе кто спасибо скажет? Ни одна собака про тебя и не вспомнит... может статься, после войны — это судя по тому, чья возьмет,— тебя и выволокут на свет божий и установят тебе памятник за государственный счет. Либо памятник, либо по морде тому, кто о тебе помянет,— это уж как дело обернется...

— Стало быть, сидеть и ждать, как оно обернется,— заключил Михал.

— А ты, может, знаешь что поумнее? — спросил сына Йожа Дрозд.

Они хлестали самогонку, опорожняя кружку за кружкой. Ян сидел весь пунцовый.

— Вот тоже и с этим Франзлом,— махнул он рукой.— Скажете, пожалеть бы человека надо. А я вот другое знаю. Я б уж давно на свои ноги встал, кабы не платил ему за аренду таких бешеных денег. У него уже звезда на пиджаке была, помните, а он все ходил по деревне с этой своей облупленной кубышкой. Зайдет, бывало, в лавку, с добрых эдак полчаса шарит по всем полкам глазами, верно, спички и те пересчитывал, и все только: «Черт-те что, взгляни-ка вот сюда, Дрозд... ну разве это по-честному, нет уж, черт возьми, это не дело», господи, чего только я не наслушался. А как задницу ему припекло — враз все переменилось: «Добро, Ян, добро... это... это (Ян заикался)... это дело». А после извольте выслушивать, да... Яну Дрозду не след было соваться в эту Франзлову лавку, не к лицу это. Вот те раз — не к лицу. А что же тогда к лицу? Пойти на дорогу камни дробить, а в лавке пусть другой хозяйствует. А может...

— Да... нечего было тебе соваться в это дело. Никто тебя не приневоливал,— сказал старый.

— Значит, пусть все достается другому?

— Это уж не твоя забота. А тебе нечего было...

— Почему это мне нечего было? — Ян почти кричал.— Что здесь, по-вашему, дурного, несправедливого? Ну, скажите мне — что? Мало я там спину гнул? Небось знаете, я с того чуть чахотку не заработал, ишачил там допоздна, а ради чего, ради кого? А то, может, моя вина, что он еврей, а немцы как раз евреев хватали? А ежели б они чехов хватали, пошел бы Франзл в эту лавку? Что вы мне на это скажете? Сами знаете, пошел бы, бегом бы побежал да еще и руки потирал бы от радости. Никакой радости я от этого не испытываю,— взволнованно заключил Ян.— Одни заботы... заботы и толки всякие. Пересудов, разговоров не оберешься, а как кому туго придется: «Ян, дай в долг, внеси в книжку, Ян помоги...» Вот какое дело, голубчики! Как там у вас: пришла беда, держись жида, прошла беда — пни в зад жида... Прости, Милада, я дело говорю. Пока война, держись Дроз-

да... Яна Дрозда, пройдет война — вилы на Дрозда... Думаете, не знаю...

— Да, паскудный мир,— согласился старый.— Навалится на человека, и шабаш.

Ян, словно бы чуя, что младший брат в чем-то с ним не согласен, поворотился к отцу.

— Всюду одно и то же. И у Михала, и у вас. Эта самая лесопилка чего там варганит? Куда идет этот лес? В тех самых ящиках на фронт что катит? В конце-то концов не все ли равно — капуста там либо гранаты, ведь все на фронт, все для немца. А эти ваши поставки куда идут, кто жрет ваше масло, вашу муку? Кто работает — им помогает, кто не работает — того за решетку, а то и вовсе в расход... А сколько тех и сколько этих? Ясное дело, после... после кому-то придется расплачиваться. Не всем, конечно, может только кое-кому, иначе люди начисто извели бы друг друга. Я не говорю про всяких там предателей, про тех, кто продался им,— пусть те и ответ держат. Да вот беда, все мы им запродались — и нас столько, что могу без греха сказать это. Миллион — десять раз по сто тысяч! Так было и будет. Все молчат и вкалывают, вкалывают и чего-то выжидают. Что тот, что другой — все одно,— уточнил Ян таким тоном, словно брат с отцом не понимали его.

— Я делаю ровно столько, чтобы меня не сцапали,— оправдывался Михал.

— Велика важность,— обрубил Ян.— Сам знаешь, ради них никто пластать на себе рубаху не станет. Но это никакая еще не заслуга.

Старый сплюнул крошки табака, застрявшие промеж зубов.

— Люди есть люди,— сказал он.— Один предает, другой выжидает.

— А третий за винтовку берется...— вставил Михал.

— Да что о том толковать, чудила ты, Михал,— промолвил старый, будто знал, что сын это скажет.— Когда тут пусто,— он постучал себя в грудь,— никто тебе не поможет, даже святые угодники. Это каждый сам для себя должен решить — подсказки не жди. Только люди-то все разные, и тут у всех все по-разному...

— Ерунда! — в сердцах отмахнулся Михал и оглянулся на женщин. Милада что-то рассказывала матери, мать кивала ей в ответ, а Гана жалась на скамеечке у ее ног.— Ну, а ты? — спросил он.— Ты-то как живешь?

— Я? — удивилась Гана.

— А кто же? Кому нынче семнадцать стукнуло?

— Как живу... Жила бы, кабы не ваши разговоры.

— Дело говоришь, сестра.

— В мои семнадцать я уж семь лет батрачил,— заговорил старый Дрозд.— И кормился сам... Сам! — Он многозначительно поднял палец.— Ежели б ел, что давали, давно бы с голодухи подох. Но я умел постоять за себя. Сливки в погребе, рыбка в реке, на буке голубей тьма, да бурчаком [1] украдкой, бывало, побалуюсь — из погреба крюком бутылки таскал. Приходит однажды хозяин, глядит на меня и говорит: «Ну, оголец, ты совсем окосел. Испытаю я тебя, как купец козу. Ну-ка стань на одну ногу». «Что ж, можно и стать,— говорю,— даже с большим удовольствием». Поднимаю это я ногу — и хлоп врастяжку, бог ты мой, ну и бурчак — пригибает меня к земле, подняться не дает. А хозяин знай себе суковиной умащивает. Ну, думаю, так дело не пойдет. Открыл я рот да как вгрызся ему в палец на ноге...

[1] Молодое легкое вино.

Милада улыбнулась, в истомленных глазах старой Дроздовой тоже вспыхнула какая-то искорка.

— Ну и отец у нас,— сказал Михал.— Родиться не успел, а уж коров пас.

Перед домом глухо затявкала собака. Эту рыжую, тощую, волчьей стати псину старый Дрозд еще щенком приволок в рюкзаке откуда-то из самой Словакии... Хозяин умолк и растворил окно. Из горницы повалили клубы дыма, от сквозняка тревожно забился язычок огня в керосиновой лампе. Задул ветер, сиротливо зашелестели мокрые листья в кроне каштана, и только по-прежнему однозвучно плескался ручей.

Вдруг послышалась тихая музыка.

— Музыканты,— ахнул от удивления старый.— Так я и знал: война не война, а они все равно придут...

Он выбежал и радостно приветствовал гостей.

— Входите да посмелей. Какого черта... Вам говорят...

Молодой Томаш с гармонью на ремне скалился старому прямо в лицо.

— А лаворовица [1] у вас найдется, дядя?

— Ну, ну, не батогом же мне вас в горницу загонять,— шумел старый. Он, конечно, за честь почитал, что они пришли отметить день рождения дочки. Как-никак, а его плоть, его кровушка.

Дрозд тащил музыкантов в горницу, а те по старинному обычаю упирались; ветер захлопал дверями на веранде.

Гана встала. Покачивая бедрами, вышла в темные сени. Только взялась за железную дверную скобу, как кто-то обхватил ее за талию. В лицо ей пахнуло жарким дыханьем.

— Спятил ты, что ли? — вскрикнула девушка.

Томаш стиснул ее, будто клещами. Она поворотила голову, рука парня слегка сдавила ей грудь.

— Опомнись...

Грудь кололо, точно острыми иглами, лицо пылало — парень наматывал на запястье ее косу.

— Опомнись... Так, да... Оте-ец!..

Она выскользнула из его рук, увертливая, словно ласка, и убежала в горницу.

«Все повторяется, все,— подумал старый Дрозд, завидя входящего Томаша. Ему вроде жалко стало молодых, хотя он вовсе не слыл уж таким сердобольным.— Свинячье дело эта война... свинячье, мерзкопакостное дело...»

Дрозд поднял кружку и разом хлебнул остаток самогону. Черная тоска, словно бездна, поглотила его душу.

III

Павелковы жили на отшибе. Рядом с домом протекал полноводный ручей, старый Павелка этим воспользовался и соорудил водяную мельницу. Да не больно-то с ней преуспел: сооружение было хлипкое, жернова тяжелые — один драный помол выходил. Пришли немцы — мельницу опечатали, но вскоре разрешили молоть понемногу. Так и стучала водяная мельница, работая на имение.

Старик со своей семьей успевал обслуживать мельницу да еще и хозяйствовать на своих двадцати мерах [2] земли. Две дочери — во-

[1] Род сливовой самогонки, получившей название от таза (лавор, *чешск.*), в котором ее варят.

[2] Старая единица измерения, равная 0,1918 га.

семнадцатилетняя Магда и четырнадцатилетняя Мария — всегда были при доме, а сын Томаш подсоблял, когда приходил с лесопилки. К тому же, зная толк в машинах, умудрялся поддерживать обветшалое мельничное устройство. По правде говоря, старому Павелке настоящая работа была уже не под силу. На склоне лет пристрастился он к книгам и долгими часами бубнил из них что-то по памяти. Обзавелся даже какой-то толстой книгой в кожаном переплете... и еще собирал травы. Люди говорили, что старик, видать, с ума спятил, не без того...

С оккупацией жизнь на «Павелковой мельнице» — так прозывали строение — мало чем изменилась. Вода в ручье бурлила, рассохшееся водяное колесо уныло постукивало, время текло... Редко когда прогромыхает перед халупой ломовая телега, доверху груженная мешками с зерном. Хозяин оторвется от библии и тут же снова уйдет в свои думы. Обо всем заботилась старая Павелкова с дочерьми.

На Магде, стройной, точно ивовый прут, миловидной, сердечной девушке, с волосами цвета спелой ржи и глазами, как небо, не раз и не два с восхищением останавливался мужской взгляд. Долгий путь к дому она никогда не совершала одна — стоило ей только повести глазом. Сознавала ли она свою силу? Скорей всего, сознавала: улыбка, движения, походка — все говорило об этом. Но и умысла здесь не таилось. Она была, верно, из тех, кто сам не знает, чего хочет, кто носит в себе тоску, как чей-то далекий зов... и, тоскуя, робеет при этом.

Почти за месяц до прихода войск великогерманской империи в деревне «хоронили бас»[1] — люди пили, танцевали... ну, а уж где танцуют, Магда всегда тут как тут.

Молодой Дрозд пришел на гулянье с большим опозданием. Заказал себе пива у стойки и стал поглядывать в зал, где все слилось в один крутящийся вихрь.

И вдруг он заприметил эту необычную с виду девушку. Не то чтоб он не знал ее вовсе — нет, его удивило, до чего она изменилась за те несколько лет, как покинула школьную парту... Красота Магды так ошарашила молодого Дрозда, что у него язык к гортани присох. Дружки-приятели что-то кричали ему, кто-то хотел с ним чокнуться, но Дрозд словно был не в себе.

Впрочем, прошла минута, и решение было найдено. Найдено по-дроздовски. Он вошел в зал и, не обращая ни на кого внимания, пригласил Магду на танец. Да и что в этом было особенного! Откуда ему было знать, что у Магды в зале уже есть ухажер. И не какой-нибудь там завалящий, а сам молодой Больф из усадьбы, известный горлопан и задира, с мясистой, красной физиономией, от которой так и разило спесью богатея: уж этот своего не упустит, всего добьется, чего не пожелает,— на то у него и мошна... При виде эдакой спеси старый Дрозд всегда выходил из себя: «Эй вы, толсторылые, целуйте меня в задницу, бедность не порок».

Молодой Дрозд подошел к Магде, позвал танцевать, а Больф тем временем у стойки отсчитывал какие-то деньги приятелям. Когда он воротился в зал, Магды и след простыл. Он прищурился (выпито уже было изрядно) и стал ее выглядывать... Э-э, да вон она скалится этому голодранцу Дрозду прямо в самую рожу. А Дрозд, эдакий отцовский вылупок, морщит горбатый нос и прижимает Магду к себе.

Францек Больф подошел к стойке и указал на Дрозда своему дружку — тот всегда встревал за него во все передряги. Парень сме-

[1] Старинный обычай похорон какого-либо музыкального инструмента в последний день масленицы, перед великим постом.

рил Дрозда с ног до головы и, взвесив в мгновение ока все свои шансы, тут же отступился.

— На этого не пойду.

Францек опрокинул рюмку ржаной водки.

— Подонок!

Не медля, он втерся в толпу танцующих и схватил Магду за локоть.

— Чего надо? — взъершился Дрозд.

— Не твоего ума дело,— ответил Больф.— А ты поди сюда,— бросил он Магде.

Он и договорить-то не успел, как уже летел кубарем через весь зал,— спиной задел чей-то стол, на грязный пол брякнулись рюмки с водкой, пивные кружки. Музыканты наспех стали складывать свои инструменты, люди окружили Михала плотным кольцом. То был своего рода судейский состав, строгий, но справедливый.

Побледневший Больф отдал старикам свой большой складной нож — у Дрозда ничего подобного не оказалось. И противники стали сходиться.

Но тут, должно быть, молодой Дрозд рассудил, что не худо бы пиджак снять. Случись, пострадает — другого-то нету. Потом и рубаху скинул — тоже на полу не валяется. Теперь всем стало видно, как потрудилась котельная над телом Дрозда. Выпрямился парень, и мышцы, ровно бы стальные пружины, ходуном заходили у него на спине, как бильярдные шары задвигались бицепсы под загорелой золотистой кожей. Старик Фабиан, когда-то первый забияка, пожирал Михала глазами, потом, взглянув на противника, хмыкнул: «Кхе, кхе!»

То, что он увидал, сулило знатную заваруху. Эта драка быстро не кончится и, уж конечно, надолго останется в памяти.

Больф втянул голову в плечи и, набычившись, мелкими шажками направился к Дрозду.

— Ну, Дрозд... что же ты,— крикнул кто-то.

Михал обернулся, словно не разобрал, чего хотят от него. Это была промашка. Больф взметнулся и сильной, жилистой рукой обхватил шею Дрозда. У парня потемнело в глазах. Пол под ним зашатался. А Францек сжимал и сжимал ему горло. Дрозд посинел, у него перехватило дыхание. Противник гнул его к полу, и он брякнулся на колени. Хорошо еще, что при этом изловчился схватить за запястье руку, железным кольцом сдавившую горло, и стиснуть ее.

Все, что затем последовало, было точно в диковинном сне. Кольцо вокруг горла вскоре ослабло, и Михал осознал, что сжимает Францековы пальцы, а тот извивается в каком-то танце и ревет, ну прямотаки зверем рычит от боли.

— Пусти его... руку-то ему отпусти, Дрозд! — вопил старик Фабиан.

И Дрозд охотно отпустил бы ее, да вот чудо — ему это никак, ну просто никак не удавалось. Должно быть, пальцы свело судорогой и разжать их было невмочь.

— А-а-а! — вопил молодой Больф, корчась от боли у ног Дрозда.

Люди подскочили, пытались вырвать парня из тисков Дроздовой лапищи. Били по пальцам, визжали.

— Ты что, ты что делаешь, Дрозд?!

Такой странной драки они еще на своем веку не видали.

Минутой позже судорога все же прошла, длинная рука Больфа повисла плетью. Тут он опять было ринулся в бой, но старики придержали его.

Молодой Дрозд напялил рубаху, немного оправился; а рука у Больфа меж тем вспухла пышным караваем. Только потом Дрозд

узнал, что перешиб парню пальцы,— что-то и впрямь хрустнуло, когда он их сжал.

Думал, Больф станет сводить с ним счеты. Но тот отступился. Впрочем, Дрозду тогда все было нипочем.

— Чумовой ты, Дрозд,— сказали ему старики у стойки.— Выпитый отец. Ты только взгляни на свои кувалды. Доведут они тебя до беды, так и знай. Нет в тебе никакого понятия, парень. Сдавишь кому в шутку горло и загремишь в Илаву [1]...

— Не ваша забота,— ответил им молодой Дрозд.

С невеселыми мыслями подался он к дому. То-то обрадуется старый, когда узнает про все, то-то разговорится...

Вдруг он услышал за собой шаги и обернулся. Это оказалась Магда. В шерстяной клетчатой шали, на голове — платок.

— Чего тебе? — проворчал Дрозд.

— Ничего,— ответила девушка.— Ты что ершишься?

— А ты чего ко мне пристаешь?

— Я к тебе пристаю?

— А кто же... Ступай домой... Из-за тебя все вышло.

Так и перебранивались всю дорогу. Михал в тот раз проводил ее до самой мельницы. Эта ночь врезалась ему в память — подо льдом журчал ручей, с нависших веток мохнатого ельника тихо ссыпался снег. Потом он стал все чаще захаживать на мельницу, но чувство свое таил про себя, носил его глубоко в сердце и ни за что на свете не открылся бы. Странно все было, странная это была пара, странные отношения. Хрупкая синеглазая девушка и мрачный, грубый забияка Дрозд со сросшимися густыми бровями над кривым, горбатым носом.

От всего этого в душе его была невообразимая смута. Все было неопределенно, он ни в чем не был уверен. Твердо знал только одно: если кто посягнет на Магду — он того разом прикончит. В этом он был твердо уверен.

Осенними утрами деревня окутывается мглистым маревом. В двух шагах и то ничего не видать, ломовые зажигают фонари на возах и сторожко ведут своих лошадей по осклизлым дорогам. Горы чернеют. К полудню, когда «мглы», как тут называют туман, рассеиваются, дымка стоит только за Дроздовым строением. В ручье тянутся против течения косяки форели, раки хоронятся в красных корнях верб. Потом яснеет широко окрест. В индиговом небе плывут дикие гуси, ветер шелестит сухой метелицей, вороньи крылья листают книгу поздней осени.

Молодой Дрозд сидел у самой Павелковой мельницы с Томашем, братом Магды. Мельница работала вхолостую, верно, блаженный старик запустил ее, чтобы только самому потешиться. Черное дубовое колесо неторопливо вращалось, поток шумно плескался и, стремительно падая вниз, убегал за строение.

Мария, сверкая загорелыми икрами на раскидистой дикой яблоне, трясла ветки, и желтые, твердые, кислые, как щавель, дички падали на лужайку. Магда собирала их в плетеную корзинку и относила в дом. Мать ладилась шинковать капусту — и у Дроздов да и у всех в округе в нее клали дички.

Михал поднялся, подошел к лотку колеса, подставил ладонь под струю. Мимо прошла Магда с корзинкой.

---

[1] Город на левом берегу реки Ваг, где с 1855 г. в средневековом замке размещалась тюрьма.

— Хочешь?

Он взял плод, сунул в рот вместе со стебельком, разжевал. От едкой кислоты дичка и горечи разгрызенных косточек свело челюсти. Он сглотнул слюну и усмехнулся.

Опускался тихий вечер. Они молчали, глядя, как под колесом брызгами расплескивалась вода.

Мария слезла с яблони, подбежала к скамейке и руками, пропахшими корой, сзади обняла Михала.

Он поднял ее за худенькую талию и перебросил через лавку. Красная юбка задралась, обнажив крепкие загорелые икры.

— Тебе чего, малявка?

Никто б не сказал, что это Магдина сестра, что ей всего лишь четырнадцать. В ней больше уже было от женщины, чем от девочки. Какая-то женская дерзость. Ее злило, что к ней никто еще не относился серьезно, и она платила за это чересчур откровенной развязностью. Глаза у нее были большие и круглые, с золотистыми искорками, волосы не убранные, но и не трепаные, груди острые, вызывающие, а ноги на диво длинные, голенастые.

— И как только можно жить с таким кривым носом, непонятно,— бросила Мария молодому Дрозду.

— Катись отсюда,— рявкнул на нее Томаш.

— Погоди-ка.

Она попыталась выправить Михалу нос.

— Ради Христа... отвяжись,— снова окрысился Томаш.— Причесалась бы лучше, кикимора.

— Дались тебе мои волосы,— отбрила она брата.— О своих печалься. Будь у меня такие, давно бы в кофей спичек настругала.

Томаш шлепнул сестру по заду.

— Отстань! — взвизгнула она и, показав ему остренький язык, удалилась пританцовывая.

— Эка шалава...— проворчал Томаш.

Молодой Дрозд скрутил цигарку.

— Плевать я на них хотел,— продолжал Томаш разговор, прерванный Марией.— По мне, так все равно.

Дрозд поскреб загорелое, словно потрескавшееся лицо.

— А по мне, нет?

— Ты машинист, а я всего лишь кочегар...

— Все одно.

— Ежели взлетим на воздух...

— Не взлетим. Эта машина все выдержит, они это крепко знают. Чего зря говорить.

— Да уж с полгода, как ее на слом пора. И против инструкции это, всякий знает...

Молодой Дрозд сорвал стебелек.

— А чего же ты кипятишься, раз говоришь — все равно. Будто не знаешь, что все плюют на инструкции. Война — дело важное, ясно тебе? Victoria! В результате влепят тебе саботаж.

— За что?.. За то, что...

— Спросят тебя, как бы не так...

За разговором они даже не заметили, что совсем смерклось. Старый Павелка остановил мельницу и стал молиться. Опустившись на колени перед железным заржавленным крестом, сложив сухие, жилистые руки, он смиренно бил поклоны, и голова его двигалась в монотонном ритме. В доме Павелкова гремела горшками. Серая наезженная дорога, исчезавшая в лесу за строением, становилась чем далее, тем чернее.

Старик молча проследовал мимо парней. Михал тоже встал, заглянул в хлев. Магда доила корову, молоко звонкими струями било в жестяной подойник.

— Ну, я пошел,— уныло сказал молодой Дрозд. Это была его любимая фраза. Произнес он ее, верно, в тысячу первый раз. Ничего поумнее до сих пор не приходило ему в голову.

Магда улыбнулась.

— Хочешь попить?..

Она подала ему подойник. Он послушно напился парного, пенистого молока и, возвращая подойник, подумал: «Вот возьму и поцелую ее. И ничего не случится, ровным счетом ничего».

Ее пухлые, влажные, чувственные губы будто сами просили этого. Он стиснул челюсти.

— Ну, прощай.

— С богом.

Выйдя из хлева, Михал напрямик через лес заторопился к дому. Идти он мог с закрытыми глазами — с самого детства все здесь было хожено-перехожено. Он прикрывался от хлеставших по лицу веток и сердито хмурился. В его суровой дроздовской душе словно не оставалось даже места для чувства. Других он явно знал лучше самого себя.

Михал остановился, на ощупь свернул цигарку. Где-то глубоко внизу бурлил ручей, где-то гулко затрещали сросшиеся стволы ельника. Он уж было собрался снова пуститься в путь, как ему вроде послышалось ворчанье собаки. Михал насторожился. Откуда бы тут взяться собаке?

— Halt! — раздался повелительный возглас. Молодому Дрозду все вмиг стало ясно. Следом за собой он услышал шаги.

— Подыми лапы.

Парень послушался. «Документов нету»,— мелькнуло в голове.

— Вот так и топай... топай!

С руками над головой зашагал он по лесной тропе. Вспомнил о Яне и облегченно вздохнул — приведут его в комендатуру, как-никак она над Яновой лавкой. Ян его и...

Он даже додумать не успел, солдат сзади неожиданно и резко пнул его ногой.

Острая, внахлест боль пронизала лодыжку. Кровавые круги заплясали перед глазами. Михал едва удержался, чтобы не растянуться плашмя. Опершись о ладони, он напрягся и встал — в ладони впились мелкие камешки, хвоя. Выпрямляясь, разглядел за собой силуэт солдата с собакой на поводке.

— Лапы кверху! — взревел тот.

Михал затрясся от лютой слепой ненависти. Втянул голову в плечи, каждый шаг отдавался в лодыжке жгучей, режущей болью. Они вступили на мостик из елового кругляка. Метрах в двух от парня обрисовывалась поленница молодого нарубленного бука, приготовленная, должно быть, к отвозке.

Темно стало у Дрозда в глазах. Он рванулся, схватил буковую чурку и, замахнувшись, крутнулся вокруг своей оси, будто взметенный вихрем. Точно он не знал, куда угодил, но что не промахнулся — понял. Собака взвыла (солдат, падая, верно, увлек ее за собой), вырвалась и прыгнула к горлу Дрозда.

Михал ударил во второй раз. С перешибленным позвоночником собака рухнула в балку.

Молодой Дрозд склонился над солдатом. Тот хрипел и тянулся к пистолету. Дрозд взмахнул кругляшом, чтобы ударить снова, да вышла осечка. Не смог, духу не хватило.

Отобрав у солдата пистолет и автомат, Дрозд сбежал к ручью. «Признал он меня или нет?» — терзался он. Течение сшибало его с ног, он скользил по окатанным камням, падал, но боль в ноге уже унялась. От холода, страха, тревоги зуб на зуб не попадал. «Нет, не признал меня, не признал. Он свое сполна получил, это уж точно»,— внушал он самому себе.

Михал с минуту бежал против течения, потом взлетел на крутой каменистый берег, снова спустился к ручью, пока наконец не оказался в деревне. Автомат стучал по спине, сердце вот-вот готово было выскочить из груди. Свесившись над ручьем, он жадно пил ледяную воду. Сполоснул лицо, вброд перешел мелкий затон, в изгибе ручья под сплетенным корневищем вербы спрятал автомат. С пистолетом в руке напрямик пересек лес, пробрался по узкой лощине к кормушке для зверей и уселся на пень, обмазанный солью-лизунцом.

«Завтра его найдут, станут искать, кто подшиб его либо вовсе прибил». Его волнение потихоньку улеглось, и он теперь снова был в состоянии спокойно подумать.

Он разулся, вылил из башмаков воду, отжал носки. Растер посиневшую набухшую лодыжку.

«Прибить его надо было,— заключил Дрозд.— Так бы оно лучше. Раз уж так получилось, надо бы его...»

Обогнув лес, он пробрался к лесопилке с тыльной стороны, перемахнул через забор и вдоль подсобной колеи подошел к котельной. Подлез под пилу и, продираясь сквозь путаницу ремней и трансмиссий, по железному трапу проник в машинное отделение. Здесь он был дома, здесь чувствовал себя в безопасности. Он зарылся в груду сухих стружек, но до рассвета так и не сомкнул глаз. Сжимая в кармане рукоять пистолета, настороженно вслушивался, готовый вскочить в любую минуту. Но кругом было тихо, никто не показывался.

IV

Старый Дрозд скинул облезлый вещевой мешок и с облегчением опустился на лавку.

Дроздова поглядела на мужа исстрадавшимися, усталыми глазами, покосилась на мешок и вздохнула:

— Ох, и влипнешь ты через эту контрабанду.

Дрозд отмахнулся:

— У зеленозадых руки коротки.

Здесь и впрямь не было особого зазнайства. На границе со Словакией старый знал каждый камешек. Хуже дело обстояло со словацкими гардистами и жандармами. Их он опасался. Они тоже знали этот край как свои пять пальцев и ни с кем не миндальничали.

Дроздова запрятала подальше контрабандный табак, сливовицу, сахар.

— Ян заходил,— сказала она.— Тебя спрашивал.

— Мал запищал, так старые кости скорее в гости,— проворчал Йожа Дрозд.

Он брякнулся на койку и тут же захрапел. От него за версту разило водкой.

Вошла Гана, в волосах у нее торчала сенная труха. Завидев спящего отца, она невольно понизила голос.

— Сарай протекает,— объявила она.— А дождь опять собирается.

Мать молча кивнула, обтирая мокрой тряпкой шинковку для капусты. Гана стала таскать в горницу блестящие тугие кочаны.

Когда старый проснулся, перед женщинами уже высилась целая гора нашинкованной капусты, и они шелушили лук.

Старый влез в тулуп и зашагал к Яну. Тот сидел в конторке позади лавки, погруженный в счета.

— Вы, отец?

Он сунул руку под стол, вытащил бутылку. Дрозд усмехнулся.

— Самогонка... из бурака... Тьфу...— крякнул он, отодвигая жестяную кружку.

— Слава богу, хоть такая есть,— как бы мимоходом бросил Ян.

Отложив счета, он прижал их пепельницей литого стекла.

— Придешь домой — угощу получше,— сказал старый. Потом достал из кармана большую пачку черного словацкого табака и свернул крученку толщиной в палец.

— Опять вы туда ходили, отец.— Ян ткнул пальцем в стену.— Схватят вас, всех под монастырь подведете. Неужто у вас совсем разума нет?..

— Я здесь дома,— спокойно ответил старый.— Они — нет.

— Это вы ловко сказали,— улыбнулся Ян.— Что ж, ступайте туда... наверх, растолкуйте им это...

— Русские им и без меня растолковывают,— ответил старый.— Тебе-то что от меня надо, Ян? — спросил он прямо.

— Да я уж говорил, что надо! Чтоб вы бросили это дело, пока не поздно, и не делали вид, будто все ладно.

Он умерил голос.

— Сами рассудите, отец. Милада после родов еле на ногах держится. Пугливая стала, только зашуршит где, она уж к люльке кидается, сама не своя. В толк не возьму, что это с ней происходит, никогда ничего подобного не было, и вдруг сразу. Я уж и с доктором советовался, он только плечами пожимает: дескать, само пройдет, такая чувствительность послеродовая, ну... такая... наговорил с три короба, поди разбери, что к чему...

Старый озирался по сторонам. Не впервой он здесь, а вот всякий раз, как зайдет, испытывает странную неловкость, точно самому себе кажется вором. Ян говорил, старый слушал вполуха, а мысль неотступно твердила: нет, не след было Яну лезть в эту лавку, не след. Может, сын по-своему и прав, вроде бы и возразить ему нечего: в самом деле, не он, так другой бы нашелся, а там, глядишь, и третий — в этом старый не сомневался,— но как ни рассуждай, а от гнетущего чувства вины не избавишься.

Вся грязь со стен этой каморки ровно бы выплеснулась и на него, старого Дрозда. Это ощущение не оставляло его ни на миг, и невдомек ему было, как это Ян не казнится подобными мыслями. Ведь это его сын, его кровушка! Что же так испоганило, искорежило его душу?

Он заприметил на столе у Яна костяной складной нож. Протянул руку, взял вещицу и долго разглядывал, покуда Ян увещевал и пугал его.

«Ио-а-хим Франзл»...— старый читал по слогам крохотные черные буковки на складничке. Иоахим — чудное какое-то имя...

— И еще скажу: больно много вы пьете, отец,— продолжал Ян.— За своим языком последили бы... Ляпнете что в трактире — пиши пропало. Они ведь спуску никому не дают, сами знаете. Нрав у вас вздорный, скажет человек слово, и вам уже кровь в голову ударяет, глаза наливаются, как у пса бешеного. Слышал я, как вы в верхнем трактире за пикетом куражились: «Целуйте меня в задницу с вашим Гитлером». Так ведь, точно знаю... «целуйте в задницу»

говорили... а сколько людей это слышало... вам еще чертовски повезло, что...

Старый Дрозд знал Франзла как облупленного. Пройдоха был редкостный — отца родного мог бы с легким сердцем обжулить. Цепкие глазки загорались несказанным блаженством, когда удавалось облапошить кого хоть на геллер. Геллер тут, геллер там — вот этак годика за два, глядишь, и сколотил себе капиталец, какой в деревне никому и не снился. И вдруг, бац — всему крышка, ни капитала, ничего. Что ж, как пришло, так и ушло, только вот каким манером это ушло, старому Дрозду было решительно не по нутру. А то, что во всей этой заварухе с Франзлом замешано еще и его имя,— было совсем уж погано. Будь Яну хоть шестьдесят, а ему за восемьдесят, все равно: он отец Яну, а Ян ему сын — вот так ясно и прямо сознавал он своей нехитрой душой, что он в ответе за Яна. И повтори Ян хоть в сотый раз свои доводы — старый знал одно: сын непременно отдаст Франзлу лавку, когда тот воротится после войны со всеми домочадцами. Стереть все, что было, выбросить, как ненужный сор, начать все сызнова — только в этом он видел спасение. Ведь нынче такие понятия, как совесть, честь, стыд, утратили всякую ценность, более того, кое-кто в гору пошел именно потому, что растоптал и осрамил их; тем ревностнее он, старый Дрозд, оберегал в себе самом эти понятия. Есть такие, что вовсе не нужны, у других срок короткий, а которые живут вечно... во все времена... их-то и надо держаться в эту паскудную пору, на них опираться. Остаться человеком... Вот до каких премудростей дошел старый Дрозд.

Дешевый табак потрескивал и чадил. Ян растворил окно.

— Коли у вас разум весь выдуло, кому-то ж надо быть умным. А если вам все равно...

Старый отложил складной нож, в дверях показался приказчик.

— Ну... я сейчас... чего глаза вылупил... занимайся своим делом,— нетерпеливо одернул Ян приказчика.— Так вот что, тата, поостерегитесь, прошу вас... войдите в положение. Не о вас только речь... поймите.

Старый взял шапку, пожелтевшим ногтем загасил окурок.

Он проследовал за сыном в лавку; там Яна ожидали два солдата.

— Уж два дня, как приготовлено для вас,— профессионально улыбнулся Ян, протягивая солдатам объемистый сверток.— Видрзен...

Старый Дрозд стоял в дверях и глядел, как бесформенные фигуры солдат, закутанные в шинели, исчезают за поворотом дороги, как быстрый поток зловеще гудит вдоль узкого речного корыта и, пузырясь грязной пеной, убегает куда-то в широкий мир. Он как бы взвешивал в уме слова Яна. Только сейчас он мог спокойно этим заняться. И, как всегда, поймал себя на мысли, что в рассудительности сыну не откажешь. Только вот странная получалась картина. Ян говорит обо всем так толково — вроде бы и возразить нечего. Перехватывает малость, конечно, расписывает все больно мрачными красками, а, впрочем, кто знает. Вполне возможно, они и поверили бы, что только старый Дрозд промышляет запретным товаром, но ведь даже такое опасно. Все равно отдуваться пришлось бы Яну. А кому же еще, как не Яну? Так и скажут ему: ежели отец у вас оказался эдаким фруктом, то и вам, Дрозд, негоже занимать такую важную должность, убирайтесь-ка вы из лавки подобру-поздорову. Так и сделают, это уж как пить дать, размышлял старый Дрозд.

Ян хлопнул его по плечу.

— Так что... отец?..

Настроение у него вроде бы улучшилось.

— Известно что,— хмыкнул старый.

Ян стоял, повернувшись к ручью.

— И откуда столько воды берется,— проронил он в задумчивости, провожая взглядом мутные струи.— И все-то лучшую землю уносит. Уносит куда-то, верно туда, где она и не нужна никому. Может, на минутку заглянете наверх?

— Сказать по чести, и не знаю,— ответил старый.

Не очень-то ему хотелось к Яну. В этой квартире он всегда чувствовал себя неприкаянным, и не только потому, что некогда тут обретался Франзл. Неуютно ему было у Яна. Так и не свыкся он с городской обстановкой, с вязаными салфетками, кружевными занавесками, с полированной мебелью, тоскливо ему было в этой квартире, стоило присесть — сразу же начинались страхи, не спутал ли чего, не уселся ли там, где и сидеть-то воспитанному человеку не полагается. Словом, старому было у Яна совсем невмоготу.

Искоса, через плечо глядел он на сына. И в кого только уродился этот малый? Чудной характер, с вывертом... сам черт в нем не разберется. Ишь, косится в сторону, глаза пялит куда-то, опять, верно, о чем-то мозгует. То он веселый, то враз на него тоска нападает или, что оно, собственно, такое... Может, заботы какие, боязнь разориться? Ясное дело, в долг дает... должен давать, а то как же, да ведь ежели мужики берут, женки долги выплатят, и опять все по новой идет. Собачья, окаянная жизнь.

Были бы деньги, отдал бы старый Яна в ученье: котелок у него варит, а уж выдержки что у еловой ветки. Гнешь ее, гнешь, ан не сломится, где там. Отпустишь — вмиг распрямится...

Старый Дрозд чуял, что из Яна вышел бы недурной грамотей, и столь же ясно было ему, что Михал никогда крупной шишкой не станет. Ладить с людьми совсем не приучен — стиснет зубы, наморщит нос, глаза кровью нальются. Этот, конечно, не снес бы даже того, чего Ян натерпелся от Франзла. Помыкания, издевки — Яну всего вдоволь досталось. Михал, окажись он хозяином, гору своротит, а еще ловчей своротит ее, коли сделает это по своему разумению, как его душа пожелает. Будь в нем меньше стыда, давно бы против отца родного пошел.

И тут вдруг снова старый Дрозд явственно осознал свою ответственность за семью. Гана, что ж, одно слово — девка. Ежели еще и пригожая — а уж Ганке пригожести не занимать,— выскочит замуж; и попадись ей хороший парень — забот никаких. Тот Павелков оголец вроде бы сто́ящий. Вином особо не балуется, работящий, когда-нибудь выплатит сестрины долги — мельница за ним останется, а это, что ни говори, состояние. Только бы не удался в старого Павелку — ох, и намается тогда с ним Гана на склоне годков. Ходит эдак старик вкруг дома — растяпа растяпой, только под нос что-то бубнит. Только все блеет козлом, а повсюду пусто, ни души... Да что толковать, срок Ганке еще не вышел. Она с Томашем, ежели что, так уж после войны, а тогда все, все по-другому будет.

К лавке катила пекарская машина. Из черного баллона с древесным газом вовсю валил пар, она свернула к дому — Ян с пекарем перекинулись двумя-тремя словами.

Старый чувствовал, что он уже лишний, что со стороны даже может казаться, будто ему что-то надо от Яна. Это уж совсем его допекло. Он нахлобучил шапку по самые уши и широким привычным шагом, сгорбившись и чуть подавшись вперед, точно за спиной у него торчал мешок с запретным товаром, двинулся в путь.

Бросать надо эту контрабанду, ясное дело, бросать. Да вот в Словакии сестра у него, замуж туда вышла, бедует, как и он, и всегда ему рада. Он туда всегда ходил, так почему бы нынче ему не ходить?

Уж не потому ли, что Тисо провозгласил свое государство? Или потому, что это заказано? Ох, каких только запретов не знавал старый Дрозд на своем веку — смотря по тому, кто был хозяином и какие у него были вкусы. Ничего, как придут, так и уйдут, а он, старый, остается. Остается и его сестра. Только она одна и жива из его прежней семьи, только одна. А случается, что и на такого, как Йожа Дрозд, нападает тоска, и какая еще неуемная. И он идет. Идет три, пять, десять часов кряду. Все заботы побоку, на уме только одноразъединственное — убить в себе эту тоску, задушить ее, свидеться с близким человеком, поглядеть ему в лицо, в глаза, перемолвиться словечком. И когда наступает такой час для старого Дрозда, нет силы на свете, которая помешала бы ему отправиться в путь. Даже Ян запретить ему это не волен. Да и что он, собственно, может ему запретить? Еще чего не хватало! Кто ходит через границу, он или Ян? Старого начинала разбирать злоба. Стоило ему расстаться с Яном, как он нашел десятки доводов против него. А когда все по полочкам в голове разместилось, понял: больше всего Яна лавка волнует, а до всего прочего ему полдела. Лавку бы удержать, да в лавке самому продержаться, а там хоть трава не расти... войну пересидеть, ладить со всеми, угождать то тем, то другим, каждому прислужить, каждому потрафить... вот тебе и хлопот никаких. Да еще хороший нюх иметь, как у жандарма Галамы. Служил при Австро-Венгрии, оружие ему оставили и при республике, оно и сейчас у него. И все тот же велосипед у сукиного сына, с фиолетовой двойной рамой и надувными шинами. Кого только не пораскидали, не позасадили, а Галаме на все начхать. Знай себе служит. Господам честь отдает, простого человека дубинкой охаживает, так-то все оно и вертится. И Ян тоже — нынче даже слышать о Франзле не может, а когда Франзл был паном, стоило тому пикнуть — Ян тут как тут. А посмел бы иначе, от него бы мокрое место осталось...

Мир и впрямь вонючая падаль, размышлял старый Дрозд. Дохлятина на меже. Черви и мухи кишмя кишат, больший пожирает меньшего, сильный слабого — справедливости никакой. Всяк тебя горазд обобрать, разорить, облапошить — хорошего человека днем с огнем не сыщешь. Никто за тебя не вступится, попал в беду — не пожалеют, воды испить и то не подадут. Был бы у человека характер, изловчился бы, выскочил бы из собственной шкуры да и сказал себе: что ж... раз ты так, то меня уволь...

Оно, конечно, бывает, встретишь человека справедливого, да опять же такой он невидный, ничего и изменить не в силах. Ни к чему-то он со своей справедливостью не пришел, никакого положения не добился, только что можжевельником да муравьями командует. Краюшку хлеба подаст, напиться предложит — на большее не потянет.

Ясное дело, разница есть — один ли человек или семья у него, думал старый. У Яна своя правда, ничего не скажешь... Тут уж не станешь о себе только печься. Ну, засадят они меня, эка важность!.. Засадить-то засадят, да ведь и отпустят когда-нибудь. А вот ежели из-за меня загремит безвинный, не причастный к тому человек — это дело нешуточное.

Да неужто эти немцы такие выродки, что и... Гм... гм... А ведь башковитый народ, работящий — есть чему у них поучиться... на выдумку шустрые... книжки читают, грамотные... С чего это только они так одичали...

Злоба на Яна прошла, вместо нее подступила злоба на немцев. Гады они, поганое племя, твердил он про себя. Черт бы их драл.

С особой ясностью понял он вдруг, что это они заварили всю

кашу, только от них все его незадачи с Яном. Это уж точно: не будь оккупантов — не связался бы Ян с этой треклятой лавкой... Открыл бы, возможно, собственное дело... и стало бы тут еще одно торговое заведение... под вывеской: «Ян Дрозд — бакалея»... а там бы и посмотрели, к кому пойдут люди. Это было бы по справедливости, не иначе. Может, Ян и чудной парень, с вывертом, да разве таких мало? Не дурные они, эти люди, зря никого не обидят. А вот настанет худое время, година кривды, ненависти и вражды, и, глядишь, просыпаются в них этакие скрученные гаденыши, растут мигом, расползаются, а когда сподручно — и жалят. Потом суди-ряди, старый Дрозд, ищи виноватого своей дурной пьяной башкой, смекай так и этак, в чем тут загвоздка.

До чего все непросто — двух людей, близких душой, и то не сыщешь на всем белом свете. Все запуталось, переплелось, как корни в каменистой земле, только одно яснее ясного: во всем повинны они. Все зло от них происходит, все с них начинается. Пришли с дрянью и всю дрянь разворошили в людях. Даже в Яне — человеке не их, а дроздовской породы. Все дозволено, даже самое подлое... ничего не заказано... и стыдиться не приходится, наоборот, выставляй всю грязь напоказ...

Мимо него прошел патруль. Молодые нагловатые солдаты шумно переговаривались, на старого Дрозда и не взглянули.

Они тут как дома, подумалось ему. Они повсюду дома. Весь мир прикарманили, усеяли его как саранча.

И на смену злобе пришло ощущение полной безысходности и отчаяния.

V

Было два часа пополуночи, но у Дроздов не спали. Старый в истертом овчинном полушубке таскал воду, дрова, Дроздова с дочкой канителились у плиты, Михал гремел чугунками в кладовке.

Старый заметно нервничал. Он то и дело выходил на крыльцо, пытаясь высмотреть что-то в темноте, шарил глазами в сторону леса и тропы, что стлалась меж дикими черешнями вдоль глубокой лощины, занесенной первым снегом.

В жарко натопленной горнице было как в бане. В печи что-то гудело и трескалось, вода в чугунках потихоньку закипала, со дна подымались крохотные пузырьки.

— Черт-те что,— ворчал старый.— Того и гляди, Михал, придется самому свинью кончать.

— Да явится он,— отмахнулся Михал. Его совсем другое заботило: оружие было надежно припрятано за стропилами отцовского дома, но от страха он еще не избавился, хотя вроде бы ничего не происходило. В деревне поговаривали, что кто-то зашиб в лесу солдата, раненый дополз до шоссе, где его чуть не переехал ветеринар,— на этом дело и кончилось. В домах обысков не было. Только военные стали обкладывать деревянные срубы мешками с песком да на дороге, как никогда ранее, зашныряли патрули. Связано ли было это с тем солдатом или нет — никто из деревенских поручиться не мог. Носились слухи про партизан, но о них ведь толковали с первого дня, как появились тут немцы.

Молодой Дрозд так ни с кем и не поделился. Через несколько дней у него немного отлегло от сердца, но открыться он не открылся даже Томашу, единственному человеку в котельной, которому до конца доверял. А когда снова накатывали страхи и становилось невмоготу, он забирался на чердак и возился там с трофеями. Часа за

два мог уже на ощупь разобрать автомат до последнего винтика, а потом собрать его... да и пистолет тоже. Оружие первоклассное, почти новое, и на чердаке за стропилами ему было вовсе не худо. Молодой Дрозд так мечтал об оружии! А нынче, когда оно досталось ему, не знал, что с ним и делать.

— Ежели я сказал в два, то и прихожу в два,— кипятился старый Дрозд.— Не то, так его перетак, возьму топор да и...

— И что?

— Шмякну свинью — и вся недолга. Мало я боровов спровадил на тот свет! Такого хряка...

— Да уж,— отозвалась Дроздова от плиты.— Как в тот раз с Ондреем. Оглушили свинью, а потом пилой пилили ей голову.

— Нализались мы тогда оба,— признался старый.— Разве это работа?

Дрозд вздохнул и уселся на лавку. Он уже всерьез подумывал о том, что делать, коли мясник не придет. С таким мужиком всякое может статься. Ремесло свое знает — это каждый скажет, но и пить тоже мастак. Не хуже, чем свинью колоть, точно эти два «уменья» были меж собой неразлучны...

Может, старый и сам бы справился, кабы дело было не «черное». Свинья и пикнуть не должна — вот в чем закавыка. Двух-то он не припас — одну для себя, а другую для немца.

Рыжий, волчьего вида, кобель заворчал.

— Цыц,— крикнул старый.— Ну, слава те господи!

— Вот видите,— сказала Гана.

Мясник обметал веником высокие папучи [1]. На голове у него точно прибитая сидела шапка собачьего меха, из кожаного ранца торчал острый нож.

— Почтенье всем,— громко поздоровался он. Сивухой от него разило как из лавора.— Идти трудно,— не без намека сказал он старому.— Сделаешь неловкий шаг, и ты уж в дерьме.

Дроздова подала мужикам самогон в жестяных кружках.

— Спасибо тебе, Каченька, спасибо,— вежливо прошамкал мясник. Он хлебнул горячего питья и обрядно вытащил кисет с самосадом. Пес настороженно принюхивался, мясник сунул ему в морду шапку.

В глотке у пса заклокотало гулкое ворчание.

— Умная псина,— похвалил мясник.— Сразу смекнул, что шапка из дружка-приятеля сделана.

— Канифоли нет,— сказал старый Дрозд.— Наковырял я тут смолы.

— Сойдет, Йожко, сойдет.

Он набил трубку табаком, сунул в печку лучину и, когда она занялась ясным, золотистым пламенем, прикурил.

От плиты клубами валил пар. Дроздова то и дело доливала выкипавшую воду.

— Мне лучше было верхом идти,— в который уж раз объявлял мясник.— Низом — немцев тьма.

— Русские им скоро шею своротят...

Эту парочку никто бы не посмел потревожить — их время еще не приспело. Только добрых полчаса спустя они поднялись и, загадочно поблескивая глазами, уставились на плиту. Тут мясник вдруг всполошился:

— Вода-то, поди, уже вся выкипела, а мы сидим да сидим. Горшок для крови...

---

[1] Теплые войлочные башмаки.

Старая Дроздова вытащила из буфета тяжелый бокастый каменный горшок, накрытый суровой салфеткой. Молодой Дрозд недобро улыбался: один удар — и свинье конец, думал он самоуверенно. Разок хрястнуть...

— Соли подсыпь,— распорядился мясник.— Не скупись. На ней не разбогатеешь.

Он еще отсыпал соли из просмоленной деревянной солонки, чтобы кровь не свернулась, и только потом стал рыться в мешке.

В кожаном потертом чехле у него хранились ножи, как у брадобрея бритвы. Он вытащил сравнительно небольшой нож с желтоватым черенком и провел острием по запястью.

— М-да,— крякнул старый Дрозд. Нож, точно бритва, снимал с руки черные волосы.

— Золинген есть Золинген.

Они вышли из дома. Старый, матушка Дроздова с горшком, мясник и Михал. Зеленью отливало лунное сияние, поблескивал за строением снег. Дроздова поставила горшок на приступок и отворила низкую воротницу хлева.

Навстречу хлынуло облако пара. Пеструха повернула голову и глянула на Дроздову большими чистыми глазами. Черные кролики засеменили лапками и бросились врассыпную.

— Кинь ей там чего... Ну...— шепнул мясник, пряча за спиной блестящий тяжелый топор.

Старая Дроздова кинула свинье в корыто кусок бурака и отвела глаза в сторону — она не смогла бы убить даже кролика.

Мясник не спеша, потихоньку, чтоб не напугать животину, отворил воротца закуты. Он ворошил подстилку из еловой хвои до тех пор, пока не нащупал под ногами устойчивый кругляковый настил. Свинья как-то неловко вся подобралась, голову опустила в корыто и с чавканьем хрупала бураком.

«Жрет,— подумал молодой Дрозд, равнодушно, без малейшего волнения глядя на животное.— Жрет и забот не ведает, ей все нипочем. А жмакнет по башке топор... удивится небось, что ж это, что ж это за дела такие...»

В последнее время он понял, что страх лучше всего разгонять эдакой нагловатой развязностью. Когда выходило лучше, когда хуже. На этот раз он тоже было попробовал, но, едва взглянув на топор в руке мясника, испытал неприятное чувство. Точно на него снова все навалилось. Он знал ровно столько же, сколько эта скотинка,— так же вот ждал, как все обернется. И вдруг его осенило — куда бы лучше всегда иметь пистолет при себе. Оружие вселяет уверенность, а уверенность разгоняет страх и бессилие.

Наконец животина попятилась, мясник обеими руками взмахнул топором. Свинья подняла голову, заморгала черными оплывшими жиром глазками, и топор тут же со свистом опустился прямо промеж глаз. Свинья повалилась, даже не пикнув.

— Ты чего там! — прикрикнул старый на сына.

Михал опомнился, подскочил. Они схватили свинью за дергавшиеся ноги и налегли на нее все вместе.

Мясник кончиком ножа обозначил на коже животного крест и тысячекратно повторенным движением, спокойно и плавно, всадил нож по самый черен. Свинья дернулась, старый Дрозд придавил ее всем телом. Окровенелый нож, описав дугу в мышцах свиньи, с трудом вышел наружу; мясник, зажав пальцами широкую рану, крикнул:

— Горшок!

Матушка Дроздова опустилась на корточки, из раны животного фонтаном брызнула вспененная кровь и хлестнула ей на передник. Руки у нее затряслись, но она вмиг овладела собой. Кровь прошла сквозь передник и впиталась в юбку.

Шпарили свинью в лохани, смолили щетину. Скребки и ножи так и мелькали в руках.

Работа спорилась. Трудились молча, к делу были привычны, разговоры вели только за стопкой. Когда молодой Дрозд собрался на лесопилку, самое трудное было уже позади.

Гана рубила лучшее мясо на колбасу. На свинью, покуда та была «в целости», глядеть не могла, а потом ей уже ничего не мешало. Старый то и дело вырастал перед домом и наставлял собаку, обожравшуюся до того, что почти волочила по снегу свое мешковидное, как у налима, брюхо:

— Сторожи, морда ты эдакая...

Пока мясник заготовлял коренья, от кружки отказывался; но уже кровяную и ливерную колбасы набивал с изрядным усилием — руки тряслись, язык так и трещал без умолку:

— Была там у меня одна... Трактир имела и залу... ей-ей, такую залу даже в Праге не сыщешь. Знай себе твердит: останься да останься, уйдешь, что, мол, со мной будет? Тоска, да и только. А я ей говорю — солдатское дело такое: топай и все тут, не то жандарм враз заявится, а она опять — я тебя схороню, после войны поженимся...

А Дрозд свое:

— Так оно... право слово, так. Дикие они, эти бабы, скажу я тебе. Тоже все — останься... останься...

— Ну и остался бы,— не отрываясь от дела, откликнулась Дроздова.

— Человек не собака. Ту привяжешь к конуре, нальешь в миску и...

— А тебе в жестяную кружку.

— Да... да... тут гляди в оба,— опять завелся мясник, погружая волосатые лапищи в кровавое колбасное месиво.— Горлышко у бутылки узкое, а сквозь него все до капли выльешь—фьюить, и готово.

Под вечер молодой Дрозд привел в дом Томаша Павелку. Горница вся была выскоблена, все прибрано, только запах майорана, перца да вареного мяса еще напоминал о том, что тут происходило. Старый Дрозд с мясником без передышки пили, Гана, раскрасневшись от жары и работы, дотирала последние горшки.

Молодой Павелка тоже приволок бутылку — знал, что старый из тех, кто при случае больше следит за бутылкой, нежели за дочкой. Он вертелся вокруг матушки Дроздовой и выхватывал у нее работу из рук — ничего поумнее придумать не мог.

— Это какое-то проклятье нашего рода,— признал старый Дрозд, любовно глядя на бутылку.— Отменная штуковина. Наш дедушка, дай им бог вечное блаженство, шли как-то с ранней обедни и почили под елочкой. Поговаривают, водка им в голову кинулась,— ну, что тут скажешь, выпито было изрядно, а по мне, так все равно удивительно. Должно быть, с плохого пива случилось, не иначе. А родитель? Накрошит себе хлеба в ржаную водку и наладится в лес...

Мясник сосредоточенно чистил трубку куском медной проволоки, прикрепленной к кисету кошачьего меха. Потом продул чубук— в нем аж пискнуло — и плоским пальцем стал набивать трубку ботвой.

— Так что ты сказал, Йожко? Я тоже вот. Правду говоришь, правду. Эти желторотые думают — мир перевернут, ан ничего-то не выйдет, дерьмо одно. А отчего все? Да оттого, что они безмозглые бараны, а мир продувной да паскудный...

— Верно... мои слова...

Молодой Павелка вставил:

— Вы этой отведайте, моей...

Они словно ждали, когда он нальет им. Подозрительно оглядывали его и все брюзжали:

— Что вы знаете... Ничего-то вы не знаете...

Никто уже не принимал их всерьез, молодой Павелка налил и женщинам. Уговаривал, пока они не выпили.

— Еще стопочку,— предложил он старой Дроздовой.— Тетушка, ну как... либо вам не по вкусу? Это же не лаворовица.

Старая Дроздова наотрез отказалась.

— Тогда ты... Давай...

— Фу,— улыбнулась Гана.

Она была на редкость привлекательна. И словно знала об этом. Сейчас чуть побледнела, но и того, что в ней догорало, было достаточно, чтобы у молодого Павелки заблестели глаза.

— Ладно строить из себя,— прогудел брат.

— А что? Не нравится и не буду...

— Еще рюмку должна выпить, не то...

— Ну и умная эта коняга... поумней человека,— поучал мясника старый Дрозд.— Взглянет на тебя — сразу чуешь, что она свое знает. Свое, а может, и того более. Она все знает — и когда Гитлер сдохнет...

Молодой Дрозд подсел к отцу, сложил руки на столе, Павелка вертелся вокруг Ганы.

— Пуля-то крохотная, а откинешь копыта, что те порося...

— Потому как летит шибко, в этом-то и...

Молодой Дрозд потянулся. Матушка Дроздова вышла за дверь— скотина не ждет. Пока они тут языки чесали, ее маленькие натруженные ладони справили всю самую черную работу, а сколько еще дел впереди. И так каждый божий день, праздник не праздник, воскресенье не воскресенье. Это вроде бы само собой разумелось, как и то, что день сменяется ночью или что старый глушит горькую.

У Ганы тоже дел по горло. Но сейчас работа ей не в работу — впрочем, такое в последнее время бывает нередко, она и сама толком понять себя не может. Часто ее одолевает желание поспорить, надерзить, даже матери... Правда, потом самой становится тошно. Вот ведь: легко сбросила с себя детские башмачки, а во взрослые влезть вроде не хочется.

Она понимала: влезть в них — значит прежде всего окунуться в те отношения, в которых жило семейство Дроздов, в те странные, веками сложившиеся отношения, когда женщина могла делать лишь то, что дозволял ей мужчина, и ни на толику больше. Старый Дрозд не был тут исключением. Она чувствовала, что может перечить, язвить, огрызаться, даже может разрешить себе куда больше своих одногодок — ведь она насквозь знала отца; но именно потому так ясно и сознавала пределы своей строптивости. Перейти их, ослушаться небрежного на вид отцовского «сделай то, принеси это, сходи туда» было просто невозможно, недопустимо... было так же невероятно, как если бы в трескучий мороз зацвела на дворе их старая липа. И все потому, что она женщина. Михал и Ян могли позволить себе что угодно — отец с ними считался, она же должна была идти по стопам матери, точно была рождена для такой участи.

И странное дело — братья тоже втянулись в эту игру. Она и им казалась естественной, особенно Михалу — ведь сестра больше была у него на глазах.

Но Гана противилась этой участи. Ей вовсе не улыбалось, подобно матери, с тихим смирением нести свой крест. В Гане скорее текла дроздовская кровь. Разве ее вина в том, что у нее свои представления о жизни — о своем месте в ней, о своем счастье? Старый вроде не сознавал этого. А ей хватило бы малого — доброго слова, ласки...

На такое у Дрозда никогда не случалось времени, да и случись оно — разве такое мыслимо? Ласково обряжают корову, жалеют лошадь, одним словом — скотину. Она имеет точно вычисленную ценность, а человек, да к тому же еще и баба?

Какая бабе цена?

Вот и вздумалось ей, по крайней мере, отыграться на молодом Павелке. Любила она его, нет ли — ей одной это было известно. Но натерпелся от нее парень дальше некуда.

Она как бы женским чутьем распознала, что в этих отношениях крепко стоит на ногах, а отец — тот и не думает вмешиваться. Во всяком случае, до сих пор так получалось. Ничего-то он ей не выговаривал, не приказывал, не советовал — вот она живо и применилась к этому. Молодой Павелка, ладный, улыбчивый малый, собрался было завоевать Ганкино сердце по-своему. Все шутил, зубоскалил, а как оставались вдвоем — язык к гортани присыхал, он весь покрывался потом и все его помыслы сводились к одному: взять то, что почитал своим, ему положенным. Взять грубо, резко, безоглядно; так, как возделывают каменистое поле, как разбивают ломом спекшийся уголь... И словно ей хотел доказать, что нет иного пути. Впрочем, не его вина в том — так поступали и раньше, так поступают и его сверстники... Каждый живет своим умом, а ум наказывает: можешь что урвать — урви, схватил — не упускай. И не в пример Михалу молодой Павелка не знал тут удержу.

Едва только Гана очутилась в сенях, он сгреб ее своими лапищами. Девка и охнуть не успела. Он сжал ее правой рукой, чуть не переломив в позвоночнике, а левую просунул за пазуху. В лицо ей пахнуло жарким дыханием.

— Гана... Ганичка,— выдавил он из себя.

Она рвалась из его объятий, но он держал ее так, что и слова не вымолвишь.

— Не дури... ну...

— Ступай к себе...— шептал он.— Я обожду, потом постучу... ступай...

— Пусти... ты что...

Он все норовил поцеловать ее. Зубами впился в губы. Она ощутила вкус крови. И вдруг все поплыло перед глазами.

— Да... да...— обещала она. Пол зашатался под ногами, но тут молодой Павелка расслабил руки, и она вырвалась.— Ну и полоумный,— выдохнула она. Грудь жгло, словно она обстрекалась в крапиве.— Совсем одурел!

— Ступай к себе...— повторял Томаш, как будто ее слова имели хоть какое-то отношение к делу.

Заскрипели сенные двери, она живо нагнулась к лохани. Вошел брат Ян. Молодой Павелка подтянул гачи, Ян засветил карманным фонариком.

— Потуши,— недружелюбно буркнул Томаш.

В горницу вошли все разом. Ян оглядел комнату, как бы определяя, все ли в порядке, и только потом поздоровался. Старый Дрозд

смерил сына налившимися кровью глазами. Ничего хорошего этот взгляд не сулил.

— До сих пор карточки клеил,— оправдывался Ян.— А солдат — полна деревня.

Он уселся на прилавок у печи, от еды отказался. Обведя родную горницу усталым взглядом, вытащил из кармана две пачки викторок [1] и положил на стол.

— Хоть немного капусты с кусочком мяса,— упрашивала сына мать, но он только покачал головой. В свете керосиновой лампы лицо его казалось белым как полотно.

Мясник взял сигарету, молодой Павелка что-то шепнул Михалу на ухо.

— Ну что уставился,— обрушилась на мужа Дроздова.— Что глаза пялишь?

После прихода Яна в горнице установилось какое-то странное напряжение. Это и уловила своим безошибочным материнским чутьем старая Дроздова. Дрозд-отец не произнес ни слова, Ян взял наконец горстку капусты, картошку и кусок жареного мяса, приправленного луком и чесноком. Йожа Дрозд свернул цигарку толщиной в палец, мясник затянулся викторкой.

Гана со своего места — с табуреточки у печных дверок — глядела на молодого Павелку, который о чем-то снова толковал брату, размахивая руками. Будто ничего и не было, думалось ей, будто вообще ничего не случилось...

Но что-то влекло ее к этому парню, в самом деле влекло. Этого не объяснишь, не означишь, но было что-то такое, что мешало ей долго сердиться на Томаша. Она и впрямь решила — возьмет и пойдет спать. Пойдет, а когда Томаш к ней постучится, встанет и покажет ему язык сквозь оледенелое окно. Но тут же отругала себя за эту выдумку — уж слишком детской она показалась.

— И тут хлесть кнутом кобылу по ногам,— раздался голос старого Дрозда, и матушка Дроздова облегченно вздохнула.— Ну, малость мы выпили, потолковали, как водится меж приятелями, а он возьми этот кнут да как вытяни кобылу. Очухался я, а он уж с коляской у моста. Вскакиваю я на повозку, хватаю вожжи...

Старый Дрозд возбужденно затянулся, от цигарки заклубился черный, вонючий дым.

Ян дернул плечами.

— Трудно вам, мама. И они вот тоже до самой ночи орут... Дитя просыпается... сами знаете, солдатня... в четыре часа ночи барабанят в дверь, давай, мол, в лавку, за водкой... Все одно к одному...

— Все ж таки скоро конец,— успокаивала сына Дроздова.— Что ни вечер, господа бога молю, чтоб не оставил нас своими милостями. А тата только и знает — пьет... ведь не пил он так раньше, а как немец пришел, слова разумного не услышишь. Я уж и Михалу говорила. Ни с того ни с сего возьмет да и запропастится эдак дня на три — и все у Каролинки...

— Я ему тоже сказал... все ему сказал, а он точно воды в рот набрал... Все думает, что... только не так это, мама! Подвалили новые, собак у них целая свора. Обыски будут, это уж точно, в каждый дом влезут, да к тому еще и ночью, а ежели что — красного петуха враз подпустят. Знаете, я ведь кое-что слышу. Случись еще раз, как с тем человеком...

— С каким человеком?..

— А вы ничего не слыхали? Солдата пришибли. Собаку ухлопа-

[1] Немецкие сигареты с изображением буквы V (Victoria).

ли... пекари привезли солдата этого в кузове — нашли его на дороге, дополз и лежал там плашмя. Теперь у нас все собираются, совещаются. В подробностях это дело расследуют, я-то знаю. Люди прямо с ума посходили... всю деревню погубят. Это же безумство какое-то.

— Господи, царица небесная,— вздыхала старая Дроздова.

— А попробуйте сказать ему что,— шептал Ян матери.— С него как с гуся вода, только и переливаешь из пустого в порожнее. А напьется, так и вовсе... Шумит в трактире — мол, целуйте, немцы, вместе с вашим Гитлером меня в задницу... Вы же знаете, что за это бывает. Достаточно там одного... да что одного... достаточно и того, кто на отца зуб точит,— и конец. Какой прок от этого, к чему...

— А все вино... зелье окаянное...

Ян махнул рукой.

— Он уж от него не отступится...

— В который раз говорю ему... отец... поплатишься ты через эту водку. Сосед наш, Кирилл, рассказывал, как он из-под снега его откопал. Шел он как-то с последнего поезда, луна на небе, что твоя жемчужная пряжка, и видит бугорок какой-то. Такой это бугорок обочь дороги. Ну, подходит к нему. Снег разметает, а там тата засыпанный. С добрых полчаса отхаживал его, еле доволок до наших сеней, а знаешь, как отблагодарил его старый? Клял, ровно пса рыжего, столько грязи на него вылил — и в корыто не вместится, мол, что ты за мужик, коли до сих пор не женился,— это он Кириллу-то говорит,— коли бабу не завел и все такое прочее... Кирилл за то время ухо отморозил, сморщилось оно, как строчок какой, а этому-то — мать ткнула пальцем в сторону мужа,— этому, думаешь, стало что... ровным счетом ничего... поутру наварила я ему, как положено, капустного хлебова, а в восемь он уж с Цыношем на вырубке был.

— Я положил в сенях немного сахару,— сказал Ян.— Схороните получше, а то сгоните на лавоповицу...

Старая Дроздова кивнула.

— Не такой он был, Янко, ей-богу, не такой. Шальной, правда, всегда был, дикарь бешеный, но чтоб так пить — никогда. Говорил все, как с войны пришел, что, мол, последняя, больше войне не бывать... в трактир хаживал, выпьет два шкалика и обратно домой. Ведь мы тут все собственными руками подняли и долги уплатили, ты-то знаешь — за мной же ничего не дали... Родитель мой, упокой, господи, душу его, когда услышали, что мы... хотели на вожжах в конюшне повеситься... Да, он и впрямь не был такой, это война его так скрутила, она... ровно бы что надломилось в нем, ничего-то его тут не удерживает — ничегошеньки. Ходит вкруг дома, ходит, что тебе старый Павелка... А ведь он человек справедливый...

— Да к чему оно все... к чему вся эта его справедливость, когда он в водке захлебывается,— перебил Ян.— Ладно, был бы убогий или еще какой, а то ведь ему не так уж и худо живется. Ну... разве худо вам, мама? Так чего... чего же ему, собственно, надо... справедливость там, несправедливость...

Старая Дроздова молчала.

— Лошадь поить-кормить надобно, что человека, что лошадь,— закрякал снова мясник.— Когда я в ученье был, телячью кровь пил. Прихожу раз в шинок, хозяин и говорит: вон. А я — нет. Он обратно: вон, долг, мол, не платишь. Хвать жердину да обеими руками замахивается. А я у него эту жердину как выхвачу да с ним вместе и выкинул к лешему. Так-то вот. Никто за него не вступился. А такой-то, как ты... кхе... каждый...

— Да что я... что я...— перешептывался молодой Дрозд с товари-

щем.— У меня другие заботы. Это твое дело. Не стану я ей говорить...

— А я бы дома сказал...

— Плевать я на это хотел. Ты, Томаш... и впрямь... Я бы осерчал на тебя... К Магде не лезь... Наболтаешь ей что...

— Чокнутая она все же... ты гляди за ней в оба...

— А мне-то чего глядеть?

— Ладно... Я просто так. У нашей Магдочки нрав — избавь бог. Но девка она из себя видная, ничего не скажешь,— вмиг перевел разговор молодой Павелка и сверкнул глазами в сторону Ганы, которая, засветив хлевный фонарь, что-то читала в старом отрывном календаре.

— Ты о себе позаботься, а уж я о себе подумаю,— проворчал молодой Дрозд. Он терпеть не мог такие разговоры. На что бы лучше — взять да и припуститься напрямки через лес к Павелковой мельнице. Добежал бы, перевел дух, а там и назад поплелся, как паршивый пес. Это он умел, как умел потом и казниться. Когда Томаш стал увиваться за Ганой, молодому Дрозду только и оставалось, что удивляться — как у того все само собой получается. Чудно все оборачивалось. Видит бог, он желал Томашу добра. Как-никак, он ему товарищ. Желал ему добра и был бы рад-радехонек, кабы эти двое нашли общий язык,— ведь он вроде и за сестру был в ответе.

— Каждый человек,— прогудел старый Дрозд, подняв кружку.— Каждый человек...

Он явно хотел что-то сказать, но кружка оказалась пустой и прервала ход его мыслей. Дрозд полез ковшом в горшок, а там — ни капли. «Странное дело, странное»,— сквозило в его взгляде. Глянул на мясника — тот уже сидя спал, потом на Михала, Томаша, скользнул глазами по плите — там тоже вроде бы все в порядке — и, наконец, его слезящийся, усталый, однако же подозрительный и злой взгляд остановился на Яне. Дроздова не заметила этого. Она слушала сына, облокотясь о беленую печь.

Глаза отца точно ожгли Яна. Обернувшись, он встретился с ним взглядом.

— Мы здесь все в сборе, как и следует быть,— объявил старый и облизал сухие губы.

— Возьмите сигарету,— сказал Ян. За все то время, что они лежали на столе, старый Дрозд и не глянул на них — все настырно пыхтел своим черным самосадом.

— А ты, Ян... ты ступай...

— Никуда он не пойдет,— звонко сказала мать.— Тебе бы только всех куда-то гонять. Час поздний, спать пора.

— Ты, Ян,— повторил старый,— ты ступай займись чистым делом, понял?

Это было как гром среди ясного неба. Даже Дроздова того не ждала. Думала, отец посылает Яна в лавку опять же за водкой.

— Ну, иду... иду...— поднялся Ян.

— Никуда ты не пойдешь,— загудел старый.— А будешь сидеть и слушать, что тебе старый отец скажет. Ты — Дрозд и будешь заниматься чистым делом. Хоть на лесопилке, хоть в лесу. А из лавки уйдешь.

— Ну... ладно... ладно,— бормотал Ян. Бледное лицо его пошло красными пятнами.

— Язык у тебя без костей,— вмешалась опять матушка Дроздова.— Иди спать, покоя от тебя нету. Хлещет весь божий день с утра до вечера...

Всю свою силу она призвала в эту минуту; отец встал, широко расставив ноги.

— Ты, мать, помолчи. Пойдешь, говорю, хоть в лес, хоть на лесопилку. Это тебе старый отец говорит. А не пойдешь — вон с моего порога. Катись ко всем чертям, слышишь...

— Ты что же, полоумный, делаешь, зверюга экая... Родного сына из дому гонишь,— запричитала Дроздова.— Садись, Янко, садись...

— Мне уж все равно пора... пора уж... не трожьте его... не трожьте... Я... я...

— Что? — заорал старый и ухватился за кружку.— Кого это не трожьте?.. Чего не трожьте? Вон... когда будешь честно...

Он замахнулся, Ян весь передернулся, но тут вмешался Михал и сгреб старого своими ручищами.

— Что такое... что такое... какая муха вас укусила?

— Пусти меня... говорю... пусти,— хрипел старый, и усы у него воинственно топорщились.— Здесь я хозяин... и я...

— Все при вас остается,— спокойно заявил Михал.

— Не принимай к сердцу, Янко, все это винище... зелье окаянное... совсем одуреет с него, по миру пойдет... господи боже мой... когда же мученью конец?

Михал крепко держал отца, тот вырывался и орал вслед Яну:

— Запомни, Ян... порога моего не переступишь, запомни это...

— Дядя... дядя... опомнитесь,— увещевал Йожу Дрозда молодой Павелка.

Ян остановился в дверях.

— Оставайтесь с богом.

— Проваливай к чертовой матери.

Мясник спал, Гана, закусив губу, опять склонилась над календарем.

VI

Убоину старый Дрозд поместил на время в рассол, чтобы как следует пропиталась и обрела положенный вкус. Потом взял инструмент и спустился в глубокую лощину позади строения. Он шагал вдоль запорошенного ручья к лесу и внимательно озирался. С макушек черных пихт глазами-бусинками настороженно следили за ним сойки. Едва он поравнялся с ними, одна издала упреждающий крик — по этому знаку в кронах деревьев шумно захлопали крылья, и стая отлетела в безопасное место.

На дне лощины он остановился, снял черную баранью шапку и задумчиво поскреб в волосах. Откосы здесь такие крутые, что на них не удержишься. Рыжая глина, в которой, точно жилы на трудовых, надсаженных руках старого Дрозда, выпирали корни приземистых елок и можжевельника, крошилась и вместе со снегом тихо оползала в ручей.

Старый нацепил шапку на елку, плюнул на ладони и приступил к делу. Он рыл на откосе мелкий желоб, сгребая под себя ошметки промерзшей земли — и вскоре снял потертую куртку, оставшись в одной фуфайке из косматой овечьей шерсти. Там, где желоб кончался, он разровнял в гальке площадочку, а внизу у ручья выкопал неглубокую ямку и вымостил ее плоским голышом. Работа у него спорилась, да и камня тут было хоть завались.

Потом старый Дрозд натаскал мелкого окатыша. Выкладывал им вырытый желоб и площадочку на откосе — трудился с особым усердием. Когда все было основательно вымощено, он засыпал камень глиной и как следует ее утрамбовал. Работой вроде бы остался дово-

лен. Придирчиво оглядел свое творение, бросил мотыгу и пошел к дому. Воротился он с несколькими почерневшими досками и принялся сколачивать некое подобие будки. Работал старательно. Коптильня должна иметь хорошую тягу, иначе дым может выдать ее. Подводный дымоход надо проложить достаточно длинный, чтобы дым охлаждался и мясо не подгорало, а коптилось потихоньку, до сочного розового цвета — в этом старый знал толк, тут никто ему не советчик. Коптильню он всегда топил буковыми дровами и можжевельником — тот придает мясу особый вкус. Правда, дыму от него много, и это привлекает внимание. Поэтому старый и выбрал самое глубокое место в лощине, среди деревьев — дым рассеется меж еловых веток. Война не война, а мясо должно прокоптиться на славу, как в доброе мирное время. Так старый Дрозд сводил счеты с войной.

Управился он до полудня. Для пробы вздул огонь, дал ему разгореться, подложил несколько можжевеловых полешек. Повалил плотный, белый дым и так зачадил, что у старого засвербило в носу.

Он вскарабкался наверх — посмотреть, как все это выглядит. С того места, где стояла коптильня, подымалась струйка легкого белесого дыма — старый Дрозд довольно огладил пальцем усы.

— Добро,— объявил он в горнице.

Жена не сказала ни слова.

— Все приспособлю и под вечер начну,— размышлял вслух старый — на него точно нашла особая словоохотливость.— К утру должно быть готово.

Кряхтя, стащил он через голову фуфайку, кинул ее на лежак и, вытянув руки, затрещал суставами.

Гана штопала отцовы носки; старый растянулся на лежаке, сунув под голову фуфайку.

— С голоду не помрем,— заметил он.— Обо всем позаботиться надо. Обо всем,— убеждал самого себя.— В рот ничего само не вскочит. Ворона и та должна по белу свету летать да клювом стучать, абы раздобыть что. Лень дело гиблое, а мотовство еще того пуще.

Они знали это уже наизусть.

— Наша бабушка, упокой, господи, душу ее, всегда сказывала: мотовство утром пузо набьет, в обед огрызки сгрызет, потом подъедает, что в уме припасает, а ужин из пустой миски хлебает...

Веки его отяжелели, слова потонули в протяжном бормотании; старая Дроздова сняла с плиты картошку и слила воду.

Когда Дрозд пробудился от легкой дремы, он увидел обеих женщин рядом. Они о чем-то шептались, но так тихо, что понять их при всем желании было невозможно. С минуту он наблюдал за ними, потом поворотился на бок и закашлял.

Они точно напугались. Игла в руке Ганы задрожала, мать уронила на пол картошку.

Старый встал, подтянул гачи, нагнувшись, поднял картошку и бросил в горшок.

В чулане он связал бечевой длинные шматы сала и мяса, перебросил через плечо. В коптильне развесил все на железные крюки в два ряда, следя за тем, чтобы между полосами оставались промежутки,— только так дым мог окутывать мясо со всех сторон.

В сарае он наколол дровишек, в лощине срубил несколько кустов можжевельника. Искололся весь, острые иголки протыкали даже задубевшую мозольную кожу ладоней: красными крупинками обозначились на них капельки крови.

Только убедившись, что воздух чистый, старый Дрозд чиркнул спичкой. Сухие ветки затрещали, закурились дымкой, огонь занялся.

Он подложил сухих полешек, прикрыл топку камнем и направился к будке.

Тонкий слой земли, которым были присыпаны камни над желобом, чуть дымился. Старый отворил дверцы коптильни. Дым голубоватыми кольцами обвивал пласты сала и мяса и выходил сквозь щели в досках наружу. Дрозд подставил к дыму ладонь. Все шло как надо. Земля взяла у дыма тепло. Он снова закрыл дверцы, подложил в огонь сколько требовалось, чтобы копченье «вспотело». Еще до сумерек оно обрело розоватый цвет, и Дрозд граблями попритушил пламя — пусть мясо немного «отдохнет».

— Дело идет на лад,— заявил он дома жене.

Взял облезлый кожух и бутылку самогона.

— Неужто всю ночь сидеть собираешься? — отозвалась наконец Дроздова.

— А иначе разве прохватит как следует?

— Тебя-то прохватит.

Он вытащил пробку из бутылки и отхлебнул малость. Протянул жене, та отказалась. Покрутился еще в горнице, а как стемнело — его точно ветром сдуло. Сидел он на чем-то вроде подстилки из хвои, глядел задумчиво на потрескивавшее пламя и, потягивая самогон, предавался размышлениям.

К ночи прояснело. Сияние луны пробивалось сквозь гущину веток на самое дно лощины, отбрасывая зеленоватые полосы, в ее свете лицо Дрозда отливало металлом.

Где-то далеко была деревня, где-то за дальней далью была война. А тут на Дроздовом хуторе никому до нее нет дела, только с макушек черных пихт тихо ссыпается снег и морозный, искристый месячный свет расписывает кроны тушью таинственных теней.

Дрозд даже не заметил, как к нему подошел Михал. Ненароком подняв голову, он увидел над собой лицо сына в сполохах огня.

— Как дела-то?

Старый повел плечами и подбросил дровишек. Михал, опустившись на корточки, глядел на огонь. Отец протянул ему бутылку.

— Та самая, из Словакии? — спросил сын, пробуя водку.

— Эге.

— Ну и пойло. Сколько за нее отдали?

— Сам небось знаешь, что не за так,— сказал старый.— С дороги что-нибудь видно?

— Не... Я ничего не видал...

Старый Дрозд закашлялся. Ни ему, ни Михалу говорить не хотелось, хотя и было о чем. Оба про себя это знали. И в доме все знали, но никому вступать в разговор не хотелось. Делали вид, будто ничего не случилось,— только вид делали, а, поскольку притворство никогда не селилось под дроздовской крышей, всем было не по себе. Вот потому-то старому и пришлось упиться до чертиков, чтобы выложить то, что выложил он в тот самый вечер. Выложил? Нет — все это словно взорвалось в нем, выплеснулось из него... оно должно было выйти наружу, иначе бы он подавился непомерным куском. И решил он это по-своему, как умел, как считал нужным — взял да и упился. Тут уж не скажешь: не ведает, что творит. Он все соображал, самогон вовсе не притупил его мысли: когда поутру пробудился, как живого увидел перед глазами бледного Яна и снова услыхал его тихое: с богом. И настолько он знал еще сына, чтобы понять, что это значит.

— Глянь-ка, не много ли жару подбавил? — попросил Михала старый.

Михал вскарабкался к коптильне, цепляясь руками за промерз-

шие ветки и взбивая башмаками снежную пыль. Под вечер сильно подморозило, и дорожка, натоптанная старым Дроздом, совсем заледенела.

— Добро,— крикнул Михал отцу, который сгорбившись сидел у очага.— Пожалуй, и подложить можно...

Он присел на корточки и, точно на лыжах, съехал в лощину.

— Ступайте домой,— предложил он,— я послежу.

Раздался хруст — старый Дрозд переломил о колено можжевеловый сук.

— Не больно-то жирная свинья была,— сказал он.

— Простую тварь и ту не враз опознаешь.

— Хотя бы таких было побольше.

— Только бы капуста у нас не померзла. Подкатит стужа, гвозди из дранки повылезут...

— Еще чего.

— Не скажите. Бочку обернуть мешками бы надо, картошку перекрыть чем... Тряпки-то эти в хлеву вокруг двери вы прибили, что ли?

— Эге.

Старик завертывал цигарку. Табак высыпался меж заледеневших пальцев.

— Старик Ургач замерз,— сказал Михал.— Либо утоп. Нашли его у плотины... в лед вмерз...

— Да что ты... когда?

— Утром.

— Не слыхал, чтоб звонили по мертвому,— как-то недоверчиво отозвался старый.

— А как звонить-то, ежели колокол свезли.

— Значит... м-да... Ургач, значит, отмучился,— проворчал старый и снял шапку. Отрешенно держа ее в пальцах, продолжал: — Хороший мужик был.— Он надел шапку.— Ремесло знал. Люди потешались над ним — мол, пьет все, но то, что он сделал...

— Не так уж и пил. Терновку разве что...

— Эх, сынок, этот-то уж вволю налился,— возразил старый Дрозд.— Смолоду хлестал так, что легкие покорежил. Сливками отпаивался. Его то выкидывали с работы, то сызнова брали. В Италии побывал, ремеслу обучился, золотое и червонное стекло выдувал. Все деньги в шинке просадил,— добавил старый Дрозд.— У него брат есть, Людвик, так тот еще до первой мировой перебрался в Америку. Поди, тоже помер...

— М-да...

— Того тоже жизнь по головке не гладила. Казначействовал в каэсче [1]. Хороший мужик был, да ребятишек полон дом. Восемь, что ли. А разве двое рук стольких прокормят? Приехал как-то инспектор, парни в трактире рассказывали, Людвик передал ему кассу, тот подсчитал, и что же ты думаешь? Ни единого геллера недостачи! Какие-никакие деньги в ней все-таки были, а в доме нагота-босота, но ни геллера себе не присвоил. Справедливый был мужик. Любил в пикет сыграть и, когда водилась деньга, тянул помаленьку «Лесную жемчужину» — была такая зеленая водка,— да все скорей из-за баб. Ух очень охоч был до них...

В очаге что-то треснуло, взметнулась золотисто-красная искра и, словно падучая звезда, опустилась на снег.

Молодой Дрозд ладонью огладил щетину на подбородке. Старый потянулся к бутылке, с минуту держал ее горлышком у рта, точно раздумывал, пить или нет,— потом уж в ней забулькало.

[1] Коммунистическая партия Чехословакии (KSČ), основанная в мае 1921 года.

— Ты, Михал, поди, думаешь, я пью много, а? — спросил старый, бережно устанавливая бутылку в снег.

— Ваше дело,— отозвался Михал. Он выудил из кармана смятый, замасленный окурыш, пальцами взял уголек и прижег.

— Думаешь, ясное дело,— продолжал старый Дрозд.— А как же не думать, ежели это так. Пью... как бог свят... пью...

— Говорю, не мое это дело,— повторил Михал.

— Раньше я не пил столько, бог свидетель. Один пьет, потому как за душой ничего, другой — потому, как дано ему много. А я ни потому и ни по этому. Всегда голозадый ходил. Когда господь раздавал — меня не видал. Купили мы корову, не успел я даже спрыснуть покупку, как ее и в помине не было. Мать пустила Пеструху в клевер, дождь пошел, она вздулась вся — и конец, снова мы голь перекатная. А мать, значит, возьми да и схоронись от меня. Иду в хлев, лежит там Пеструха — брюхо во, кличу... Катери-и-на, это, значит, матку твою... пусто, ни души, тогда снова кричу... выходит она из чулана, глаза напухли, веревку несет. Тянет мне эту веревку и говорит: «Йожа, бей меня, бей этой веревкой, да еще намочи ее прежде: это я Пеструху сгубила». Вот так-то вышколили нашу матушку в этой знаменитой усадьбе, такие были там выродки да лихоимцы. Когда что было хозяину не по норову, он челядь веревкой хлестал — хоть парней, хоть девок, а ребятишки — те должны были сами ему веревку тащить да еще и упрашивать: тата, татенька, напроказил я, так вот богом прошу, выдери меня как сидорову козу. Человеколюбец, ничего не скажешь, и такого прочили в старосты, потому как заколол барана и выставил пятидесятилитровую бочку. Велика важность! Да такое он мог выставлять хоть каждое воскресенье — было с чего. Ну... пью... свое-то уж точно выпью, господь простит мое согрешение. Бывает иногда тошно на душе, хуже не придумаешь, и как встанет все в памяти, к горлу подкатит — не продохнуть, ровно кто поводьями шею затягивает. Когда родился Ян, мать говорит: возьмем дите, пойдем помиримся, как-никак он отец мой. А я вспомнил, как твоя бабушка лежали на полу... нога перешиблена, что старая кочерга... ну, перекувырнулись они, с табурета упали... Я бегом к Тршетинам, прошу... хозяин, сделайте милость... ведь наши немало гнули спины на его поле... позвольте коней запрячь... как же, позволил... на тележке волокли мы бабушку до деревни, нога разбухла, ровно подойник, полиловела вся... да, вишь как... его рысаки и нищая баба — нешто одно с другим вяжется? Сперва решил я было нарвать в роще вороньего глаза да и подкинуть ночью лошадям в ясли. Но разве лошади в чем виноваты? Вот я и говорю матери: Катерина, мира не жди — не будет его между нами. Ежели хочешь, мирись, а что до меня, так с топором только — кое-кто иного мира не ведает. Вот и узнал я, Михал, как оно бывает на свете, узнал, стало быть, почем фунт лиха. Ни от кого ничего не жди, Йожко, сказал я себе. Не жди и не верь. Бедный помог бы, да нечем — у богатого кнут недалече. И хоть перевернись оно вверх тормашками, ничего не изменится — покуда свет стоит, будут в нем справедливые и несправедливые, и справедливым-то всегда спать на стерне, а тем, другим — на отаве. Вот и сказал я себе: Йожко, леший с ним, с этим паскудным миром, пусть его ко всем чертям катится. Что есть в тебе самом, того никто не отымет, следуй этому, не обижай справедливого и так живи, чтоб умирать не было тошно. Мне, Михал, не потребуются ни пастыри, ни Священное писание, и хвати меня на этом самом месте кондрашка, не придется мне хитрить перед самим собой. Человек я, конечно, с придурью, шалый и дикий... одним словом — Дрозд. Но что знаю, то знаю, этого у меня никто не отымет...

— Пьете, потому как немцы Яну лавку приписали,— отозвался Михал.— Знаю...

Старый не ответил, нагнулся, взял полешко, подложил в топку.

— И все равно не стоило так! — продолжал Михал.— К чему? У Яна своя башка на плечах, сам небось во всем разбирается. Я ему от себя тоже сказал — и насчет того, что в деревне толкуют про все эти сборища у него. На лесопилке тоже полно разговоров про это, когда идут мужики пополудни, от самой дороги все слышно. А мы что, знаем только — пьют там. Одно скажу: после войны Яну туго придется, никто его охранять не станет, никто за него не заступится. Что ж, сами знаете, ничего тут не изменишь, идет как идет. Неужто думаете, Ян верит, что они победят? Черта с два верит, не такой уж он полоумный. И тянись это десять, двадцать лет, все одно когда-нибудь кончится, и уж, во всяком разе, не на их улице будет праздник. А узнаете вы про это, когда наш Ян вместе с ними манатки сворачивать станет. Да вряд ли и у них заступу найдет. И они на него наплюют. Своих забот будет вдосталь. Как пришли, так и отвалят, а Яну только что веревка останется. Это я вам говорю. Они — одно, Ян — другое, вы-то это не хуже меня знаете. Чужой есть чужой, а свой есть свой. Чужой только кое-что знает, свой — все, ему не прощается. Но все равно, он и у нее на совести — у Милады. Духа ее не переношу, обвела Яна вокруг пальца, совсем его околпачила. Пугается, Ян говорит, спать не может — и дите, мол, тоже. Прислуга этого... этого... ну их главного, сидит с ребеночком, пеленки стирает, убирает, а Милада рядится, стряпает им, знаем небось...

Старый Дрозд ногтем сколупнул большую, пожелтевшую мозоль.

— Деньги сгубили его, не она,— сказал погодя старый.— Мамон гнет, так и сон неймет....

— Ян не единственный,— успокаивал Михал отца.— Таких немало на свете.

— Может, и так. Наверняка даже,— признал старый.— Только никого из них не зовут Дроздом. Я в точности помню, что сказал тогда, не запамятовал. Что сказал, то и будет, с Яном все расчеты кончены...

Михал грел над очагом закоченевшие руки.

— Ну и что? Ничего ведь тут не изменишь.

— А мне все одно,— буркнул старый Дрозд.— Я свое сказал, и точка.

Михал передернул плечами. К чему все эти разговоры, отца все равно не переспоришь.

Луна выкатилась из-за бугристых облаков и залила лощину серебристым зеленоватым сиянием. Ели почернели, снег вспыхнул тысячами светлячков. Белый дым лениво полз вверх по откосу, горько и пряно повеяло можжевеловым духом. У строения визгливо взлаял пес, где-то далеко заныл гудок паровоза, и снова все замерло, лишь сонно плескался ручей подо льдом, омывая струями ледяные капельники, он то звякал бубенчиками, то пел как пастуший рожок. Ветви, опушенные снегом, покорно клонились к земле, и словно заблудшие в белой безбрежной пустыне ежились у огонька двое.

Они сидели молча, каждый думал о своем. Только время от времени подымалась рука и описывала круги над огнем, точно в каком-то заклинании. На старого, казалось, напала дрема. Склонив голову, он втянул ее в плечи, руки скрестил под тулупом. Может, и впрямь спал — кто знает. Вдруг раздался тихий хруст сушняка над лощиной, он вздрогнул, глянул на сына, сидевшего рядом у очага, а потом увидел, как по откосу скатываются вниз снежные комья.

Михал вопрошающе поглядел на отца, тот завел за спину руку и сжал топорище.

Серна, подумал было старый. Он опустил топор и поднялся, не сводя глаз с откоса. И тут снова раздался странный звук, затрещали ветки, точно сквозь них продирался неловкий, крупный зверь, что-то глушно упало, и из ельника потихоньку, как бы с неохотой, выкатился какой-то предмет. Похожий на необструганную колоду, обмерзшую снегом, он где-то посередине откоса остановился, немного ополз и снова, только уже поперек, продолжал свой путь, пока не исчез под сенью ельника над ручьем, оставляя позади в снегу глубокую борозду.

Михал взял топор и перешел ручей. Там, где кончалась борозда, на заснеженных камнях лежало что-то без движения, наполовину огрузнув в снег.

Молодой Дрозд отложил топор и разгреб снег. Из-под снега выпросталась грубая залатанная куртка с костяными пуговицами, какой-то платок или бинт вокруг шеи, заиндевелые волосы...

По лицу человека текла кровь.

VII

Было два часа пополуночи, когда они приволокли его к дому. Михал нес его на плече, точно мешок с картошкой.

— Боже милостивый! — вскинулась сонная Дроздова.

Они расстелили на полу одеяло и положили на него человека. Оттаявший снег быстро впитывался в подстилку, в свете керосиновой лампы лицо неизвестного сделалось совсем пепельным. То, что он не здешний, стало ясно с первого взгляда. Но особо об этом не думали. Стащили с него разбитую обувку, из шерстяных, вконец изодранных носков, точно какое-то чужеродное тело, торчали лиловые вспухшие пальцы.

— А ну-ка! — крикнул старый.— Тащи его в сени!

Его снова подняли и положили на каменную стлань сеней. Ездовой фонарь ронял на неизвестного медово-желтые блики, старый с сыном снегом растирали ему отмерзлые места, Дроздова в горнице варила чай из сушеного малинового листа.

Разбуженная шумом Гана накинула поверх рубахи шерстяную шаль и, стуча зубами от холода, высунулась из своей каморки.

— Живо под перину! — загудел старый, едва завидев дочку.— Сорока любопытная...

Тут он вдруг вспомнил, что оставил в овраге самогонку. Опрометью бросился туда, подкинул полешек в полупритухший очаг и пустился назад, яростно размахивая бутылкой.

Он попытался было влить в рот обмороженному глоток самогону, но никак не мог изловчиться. Зубы больного были крепко стиснуты. Пришлось разжимать их ложкой.

— Да ты его тут вконец заморозишь! — причитала Дроздова, беспомощно снуя из горницы в сени и обратно.— Голова садовая...

— А у тебя какая,— огрызнулся старый.— Перетащишь его в тепло, совсем загубишь. Ты только глянь, на что он похож...

Человек был кожа да кости. Лицо, исхлестанное и ободранное острыми ветками, было вроде молодое, без единой морщинки, но жалкое, истощенное тело казалось совсем дряхлым. Под серовато́й кожей резко обозначились ребра, живот весь обвис складками, колени вспухли — когда его приподняли за руки, суставы заскрипели, словно ржавая пружина. Волосы были светлые, почти что белые,

легкие, и усы совершенно такие же. Бровей, казалось, нет вовсе — до того они были неприметны.

Когда старый, наконец, изловчился и влил ему в рот капельку крепкого, раздался слабый стон.

— Видала? — проворчал старый.— Еще чуток потерпи, парень.

Под шумные причитания Дроздовой он как бы обмыл беднягу снегом. Делал это так основательно, что у самого онемели ладони,— без помощи Михала, верно, и сам бы обморозился. Только потом он перенес больного в горницу и распорядился, чтобы топили как можно меньше. Больной уже беспрерывно стонал, изредка открывая детски ясные, голубые глаза, и все силился приподняться.

— Лежи,— гудел старый.— Слышишь?

Обмороженный прохрипел что-то и откинулся на перину.

— Не миновать ему горячки. Все хвори на него навалятся, а главное горячка,— молол старый без умолку.— Эх, медку бы сейчас...

Старая Дроздова развела руками.

— Да где его возьмешь, медок-то?

— А того разве нету, из еловых отростков?

— Того-то?

— Ну...

У Дроздов делали «мед» из молодых еловых отростков. Собирали их по весне, покуда хвоя была еще мягкой, почти что прозрачной, засыпали сахаром в склянке, ставили на окно на солнцепеке.

Пахучий медово-желтый сироп лечил, по мнению старого Дрозда, всякую хворь.

Дроздова замешала в малиновый чай ложки две елового сиропа, старый долил кружку самогоном.

— Опоишь ты его, старый дурень,— напустилась на мужа Дроздова.— Только и знаешь — каждого водкой накачивать.

— Ни в жизнь ему это не повредит. А коли русский, то и подавно,— возразил старый.— Не суйся ты в это дело. Ну... давай пей...

Он кормил больного, как дитя малое, и только все выспрашивал:

— Кто же ты есть? Чех... моравец... мадьяр... Ну?

Неизвестный молча кивал.

— Он все вместе,— сказал старый Дрозд.

— Не приставайте,— осек Михал отца.— У него своих забот хватает.

Он вышел в сени, запер дверь на ключ и задвинул засов.

Из каморки выглянула Гана.

— Что... что случилось?

— А я почем знаю. Какой-то малый с откоса сверзился, аж до ручья до самого. Сидим мы это у коптильни...

— Схожу в горницу.

— Чего ты там не видала? Ступай спать.

— Еще чего, спать. Погляжу на него.

— Ступай,— брат скрипнул зубами так, как умеют только Дрозды.

— Дурень,— отплатила ему сестра и хлопнула дверью.

До самого утра топтались они вокруг больного. На лице его все явственнее проступал подозрительный румянец.

— Мама...— сипел он, стуча крепкими широкими зубами.— Мама...

Вдруг старый Дрозд вспомнил о мясе и кинулся из дому. Уже на дворе шибануло в нос чадом. Он стремглав добежал до лощины, коптильня как раз дотухала, на всю котловину несло горелым шпигом.

— Пропади ты пропадом,— сплюнул Дрозд и зло взъерошил усы.

Вскарабкавшись к полусгоревшей будке, он пнул ногой дымящиеся доски и повернул восвояси.

В горнице больной по-прежнему бредил. Старый сверкнул на него глазами.

— «Мама — мама!» А там... наверху полсвиньи как не было.— Он ткнул черным, закопченным пальцем в потолок.— Одни шкварки остались...

Михал вскинулся:

— Нашли о чем плакаться... Лучше бы вы о другом подумали,— он указал пальцем на постель, где стенал неизвестный.— С ним-то что будем делать? Пораскиньте-ка мозгами...

— Ну, тут уж будет полный порядок.

Михал отплюнул к плите табачную крошку.

— Да о чем же вы думаете, отец? Мясо, видите ли... шкварки,— повторил он.— Да ради всех святых, опомнитесь,— вскричал он таким голосом, что даже мать, испугавшись, окинула его внимательным взглядом — так могла взглянуть только она.— Забыли разве, что война? Самогонка, что ли, совсем вам голову задурила? Как бы нам самим да с этой лачугой не заделаться шкварками. Понимаете вы или нет?

— Михал! — окликнула его мать.

— Но ведь это же правда, мама,— повторил он поспокойнее.— Смотрите, никому, тата, вы слышите, никому ни слова,— предостерегающе наставлял он старого.— Ни Яну, никому, это я вам говорю.

И снова на него навалилась прежняя тяжесть. Он поглядел на мать: опершись спиной о печь, она водила глазами по цветным изображениям святых угодников, развешанным над столом. Потом взгляд его остановился на лице, на губах больного, которые все еще беззвучно шевелились.

Может, впервые в жизни ощутил он с такой отчетливостью страшное бремя, имя которому — ответственность, может, впервые узнал, каково угодить в ловушку, откуда нет выхода. А внутренний голос шептал: это же так просто, ничего, в сущности, не произошло — ему все равно ведь не выжить... Отнеси его куда-нибудь в лес, засыпь снегом — для него самого это лучший исход... хотя кто знает, что вообще он такое...

Он ненавидел этого человека, с ним опять воротились прежние страхи, как в ту бессонную ночь, когда он, лежа в опилках и сжимая потной ладонью рукоять пистолета, вздрагивал от малейшего шороха.

Впрочем, во всем виноват отец со своей коптильней; не выстрой он ее там, ничего б не случилось. Мать тихо молилась, старый молчал, горницу наполняло хриплое дыхание больного. Молодой Дрозд зло поджал губы.

— Ну что,— зашипел он на отца.— Чего вы притихли? Чего молчите? Что будете делать?

— А ты? — наконец отозвался отец.

— Отнесу его в лес,— заявил молодой Дрозд.— Из лесу пришел, в лес ему и дорога. Не то нас...

— Ну, отнеси,— сказал отец, сверкнув желтыми белками.

— Вот и отнесу. Сразу... еще до работы. Ежели у вас в голове труха, кому-то ж соображать надо. Что проку от ваших разговоров? Пошли бы в село да прочли там на доске объявления.

— Ну неси его,— повторил старый.— Чего ж ты ждешь?

— Оправится... к своим пойдет,— тихо подала голос мать.— Михал... Йожа...

В дверях показалась Гана.

— Не спится мне.

Она торопливо пересекла горницу и подошла к матери, точно нуждалась в ее защите. Молча окинула взглядом больного, губы ее были плотно сжаты. Михал с отцом стояли друг против друга, глаза их метали искры.

— Больно вы хитры, тата,— взорвался Михал, отступив на шаг.— Всегда вы были больно хитры. Разговоров с три короба, а толку чуть. Все-то как-нибудь утрясется, да? Само собой как-то наладится — знаем мы. А ты чего?..— обрушился он на сестру.— Я же тебе сказал...

— Отстань от нее,— приказал Дрозд-отец. Глаза у него чуть притухли.— Оставь девку в покое.

Он сел на лавку так, чтобы больной был у него на виду, и стал свертывать цигарку.

— Кто это? — тихо обратилась Гана к матери.

— Не чади тут,— прикрикнула Дроздова на мужа.— И ты, Михал, смотри не опоздать бы тебе...

Михал придвинул стул к отцу.

— Гляньте-ка, тата...

— А я только и делаю, что гляжу,— прервал его старый Дрозд.— Все вижу.

— Тем лучше,— продолжал сын.

— Чего тебе надо? — неприязненно проворчал Дрозд.

— Да не так чтоб уж и много...

— Мое слово ты уже слышал.

— Не бухтите... Сами небось знаете, что...

— Я ничего не знаю. Закинь его на спину и волоки.

— Сами закиньте на спину,— опять взорвался Михал и поморщился.— Давайте здраво рассудим. Тут и впрямь ему оставаться нельзя. До первой проверки, а там всем крышка.

— Пока еще тут ни одной не случалось.

— Именно потому. В деревне одна за другой. Кто может сказать, когда заявятся? Постучат в дверь, и готово. Наш черед близок — чует мое сердце. Нельзя ему тут оставаться, поймите же, коли у вас не весь ум еще вышибло. Неужто хотите, чтоб нас всех извели?

— Знаешь, что я скажу тебе, Михал? — скрипуче, точно пила, отозвался старый.— Вот что скажу. Взвали его на спину, отнеси в лес. А как его туда доволокешь, положи к той кормушке либо еще куда, дух переведи, покури маленько, потом взвали опять на спину да тащи назад. Тогда ужо потолкуем, как человек с человеком.

Когда Михал воротился под вечер домой, больного в горнице уже не было. Никого в ней не было. Он плеснул себе в миску капустной похлебки. Жевал хлеб, с трудом ворочая куски во рту... Весь день только и делал, что обмозговывал неожиданную перемену в их жизни, да все впустую: думай не думай, путного не придумаешь.

Одно только ясно — человек этот в доме оставаться не может, не то беда неминучая. И вдруг пришла мысль: а не заглянуть ли к Яну в лавку, выложить все начистоту? Брат знает толк в таких делах, убеждал он себя, пусть и решает. Как-никак, а с немцами ладит... Нет, такие отчаянные дорожки заводят в тупик. Открыться Яну — все равно что выдать немцам этого человека, тут сомнений быть не могло. Но пуще всего опасался Михал отцовской беспечности. Вот уж за кого поручиться нельзя, полушки бы на него не поставил — наверняка проболтается. Он начинал думать, что старый вообще не отдает себе отчета в том, что приключилось, какая опасность нависла над домом. Держит себя так, словно речь идет лишь о том, чтобы перевязать раны больного, напоить-накормить, обиходить его.

Эта удивительная уверенность старого, его почти равнодушное спокойствие совсем сбивали с толку Михала. Похоже, отца больше заботило пропавшее мясо, чем все остальное.

Не в пример ему Михал читал газеты, да и на лесопилке кое-что до него доходило. Уж он-то живо может представить себе, что случится, если... перед глазами неотступно стояла мать, ее исстрадавшееся лицо, руки, сложенные в молитве. Может, она и понимает, о чем думает он, что его тревожит! Может быть... но даже в этом Михал до конца не был уверен. Он вспомнил, что утром мать явственно приняла отцовскую сторону. Он и ее переставал понимать. А что, собственно, имел в виду старый, когда говорил: «взвали его на спину да тащи назад», что он хотел этим сказать?

Его вдруг охватило ощущение какого-то бессилия. Тут ничего не схватишь своими задубелыми ладонями, все ускользает меж пальцев, не за что уцепиться, не за что удержаться, остается только ждать и ждать, что будет дальше.

До полудня в машинное отделение наведался сам управляющий, судетец, с никелированной свастикой на шляпе... Спросил Дрозда, как дела. Оглядел справно работавшую, смазанную машину, тронул начищенные поручни и вышел вон. Вот кому не худо живется, подумал молодой Дрозд, хотя сам с наслаждением бросился бы на него и задрал бы, как рысь зайца. Этот-то точно знает, на чем стоит и что его ожидает, если дела переменятся. Томаш Павелка, как всегда, улыбался и рассказывал анекдотики. Ему вообще все хиханьки да хаханьки. Война для него «просто умора», немцы — злой дракон из сказки, который пожирает принцесс... Но где-то там на Востоке Иван-богатырь уже замахнулся мечом... Молодому Дрозду оставалось только самому себе удивляться: два месяца, как повстречался он с немецким патрулем, и за эти два месяца и одну-единственную ночь словно бы состарился на десять лет. Куда подевалось желание прихвастнуть или хотя бы обмолвиться словом, тут даже самый верный товарищ не принимался в расчет. Он был взвинчен до крайности, ни о чем другом не мог думать, даже чуть не поранился у машины.

Михал сам не знал, что это было: особый вид страха или что-то другое,— как-никак он был не из робкого десятка. И все-таки до ужаса боялся вдруг очутиться лицом к лицу с ними, беззащитный, беспомощный, как малое дитя, будто милости ожидающий выстрела. Будь он один или хотя бы вдвоем с тем человеком — еще куда ни шло. Оружие у него есть, и он умеет с ним обращаться. Но тут мать, сестра, этот блаженный старик — чудной, непостижимый человек,— то он твердит, что одними речами штыка не упредишь и все долгие годы войны ухитрялся смерть обойти, то вдруг сам привел ее в дом, решившись вверить всю семью и того неизвестного в слепые руки судьбы.

«А вдруг ничего не стрясется, человек встанет на ноги, а там, глядишь, отцу удастся переправить его через границу»,— думал Михал, возвращаясь с работы. Эта мысль показалась ему разумной, но какой-то половинчатой. Хоть она и явилась, облегчения он не испытывал.

«Отец, поди, меня трусом считает,— с горечью рассудил Дрозд.— Э, да пускай думает что угодно, я сказал ему ясно, нечего из-за этого человека подыхать нам всем, как паршивым собакам. Небось сам говорил — жить надо, перетерпеть все, выдержать. А теперь вот будто мы поменялись местами».

Вдруг ему вспомнилась Магда, ее ласковое лицо, словно живое, встало перед глазами. Как бы она поступила? Что бы сказала? И ему страсть как захотелось увидеть ее, перемолвиться хотя бы словечком...

Пусть все — даже родимая мать — от него отвернулись, но она... она-то сумеет понять, она скажет: «Ты поступил справедливо». Кому же, как не ей, поведать о том, что с ним было тогда, и о том, что случилось сегодня. Ей верил он беззаветно. Все от него отшатнутся, а она останется с ним — это было так же верно, как то, что он живет на земле.

Всегда делалось светло на душе, когда еще издали Михал углядывал низкую, накренившуюся к земле стреху родного дома, срубовый амбар, хлев, обитый дранкой, а нынче шел он домой, точно смертник — в свою камеру.

Отец из себя героя строит. Ясное дело, гложет его: Ян в еврейской лавке сидит, снюхался с немцами — вот он и хочет смыть этот позор, самому себе доказать, что не все Дрозды одним миром мазаны. А во что обойдется эта игра — ему и горя мало, лишь бы себя потешить. Хоть бы остерегались, собаку бы посадили на привязь, чтоб гавкала, так нет же, куда там, будто ничего и не случилось. Что называется — головой в петлю...

Михал вышел во двор, мать была, верно, в хлеву — навозня курилась. Он бросил в собачью конуру тряпку, в чулане высмотрел моток толстой железной проволоки. Отмерил шагами расстояние от конуры до веранды и несколькими движениями сильных пальцев переломил проволоку.

Когда он приколачивал скобу к дверной притолоке веранды, из хлева показалась мать.

— Что задумал?

— Ничего, собака тут будет,— ответил.— Куда его дели?

— Кого?

— Гм... ну, этого...

— Отец перенес его к Гане. Вроде огневицы у него. Только и кличет по-своему: мама... мама...

— Мог бы и в горнице оставаться,— проворчал молодой Дрозд.— Все одно, что в лоб, что по лбу.

Он подозвал пса и навесил цепь на протянутую проволоку.

— Тут сидеть! — цыкнул он и, прихватив в горнице шапку, направился к Павелкам.

Томаш еще не вернулся, дома была одна Мария.

— Куда все подевались? — спросил он, сметая у плиты снег с папучей.

— Один там, другой сям, а третий в ином месте,— сказала меньшая сестра.— А Магде ты совсем опостылел. Нечего к ней таскаться, так и велела тебе передать...

— Премного благодарны,— проворчал молодой Дрозд.

Он сел у окна, поглядел в сторону леса. У Павелков он чувствовал себя лучше, чем дома. По крайней мере сегодня. Косогор, занесенный снегом, быстро темнел, за домом тенькали синички.

— Чего читаешь?

— Календарь.

— А про что там написано?

— Про самолучшие вещи.

— А какие такие твои самолучшие вещи? О чем они?

— О разном,— ответила девочка.— О чем хочешь.

— А Томаш где?

— Откуда мне знать. Еще не воротился. Самому небось лучше известно, где он.

— Вот еще!

— А ты не прикидывайся. Он у вас пропадает, а ты у нас. И чего бы это вам не поменяться местами?

— Ну и балаболка... все-то ты знаешь.

Томаш в трактир заглянул, осенило Михала. Должно быть, сидит там, где ж ему еще быть? Опрокинет стаканчик-другой и наладится к Дроздам. На это у него смекалки хватает, в этом ему не откажешь. Придет, и Гана все ему выложит. Эта мысль просто напугала его.

Тут вошла в горницу старая Павелкова. Только он успел с ней поздороваться, заявилась и Магда. На ней был грубошерстный черный свитер, из-под пушистого платка выбивались косы.

— Озябла,— она улыбнулась молодому Дрозду.

Он насупился.

— Что дома? — полюбопытствовала старая Павелкова.

— Слава богу,— ответил Михал.— А чему быть? Все одно и то же. Сегодня день, завтра день, так и крутится...

— Верно... а дел все не убавляется,— пожаловалась Павелкова.— Снегу пропасть. У вас там тоже, поди, столько навалило?

— Да уж за снегом дело не станет.

— Только б ручей до дна не застыл,— пропела Павелкова.— Да вроде не должно...

— Не застынет.

— За ту пору, что мы здесь, он уже дважды застывал. Приходилось топить снег для усадьбы. Ну и намаешься, покуда горшок воды наберешь. Не-ет, ваш-то ручей не замерзнет, нет уж, ваш из лесу течет.

— А ваш разве нет?

— Наш-то от родничка.

— Все одно.

Он скупо цедил слова, терпеливо дожидаясь, пока Магда освободится от домашних дел. Потом шмыгнул к ней в маленькую светелку об одно оконце, оглядел постель с пышно взбитыми перинами в белых пододеяльниках, распятье с фарфоровым Христом и уселся на рундуке с дровами. Тут было его место.

Девушка молчала, спицы в ее тонких пальцах так и посверкивали. В такие минуты молодой Дрозд легко забывал обо всем на свете. Потому, наверно, пришел и сегодня.

Он поскреб подбородок и хрипло заметил:

— Ну и собачьи времена... скажу я тебе...

Она наградила его светлой улыбкой. Он был прав — сегодня день, завтра день, так и крутится...

VIII

— Гана! — крикнул Ян.— Ганка!

Она шла от деревни. Голова повязана материнским платком, под ногами похрустывают ледышки.

Ян встретил ее, словно век не видал. Чтобы подняться наверх, ей пришлось пройти через лавку. Радостно взволнованный, раскрасневшийся, он ввел ее в горницу и усадил, точно редкого гостя. Даже взял у нее платок и шаль — впрочем, Ян всегда был внимателен к женщинам. И для сестры не делал исключения.

— Где малышка? — спросила Гана. В комнате было жарко натоплено, в массивном книжном шкафу золотились корешки толстых томов.

— Спит рядом. Милада вот-вот придет. Что будешь?.. Знаешь, сварю-ка я тебе чаю, настоящего, не какого-то там малинового или липового. Ты где была?

— А...— повела плечами Гана.— У доктора.

— А что с тобой? Случилось что?

— Нет, ничего. Мамке мазь и эти капли. Неужто все прочитаешь? — с любопытством спросила она, оглядывая книги.

— Еще чего! — засмеялся Ян.— В большинстве тут немецкие...

— Ты ведь знаешь немецкий.

— Какое там знаю. Что нового дома?

— Все по-старому. Ничего.

Ян сел напротив и внимательно поглядел ей в лицо.

— Да ты уж совсем взрослая стала.— Он опять улыбался.— Скажу-ка тебе...— На дороге зазвенели колокольцы в конных упряжках.— А отец что... все так же? Через границу-то ходит, поди?

— Думаю, нет,— ответила Гана.— Знаешь, ведь... намело там, он, верно... весны дожидается...

— А мама?

«Что это он все выспрашивает?» — подумала Гана.

— Все так же. Ты ведь знаешь.

— Все дела да дела,— заключил Ян и задумчиво поскреб подбородок.— Не взглянешь на малышку?

Он повел ее в спальню. В деревянной кроватке спал младенец, прижав кулачки к самому подбородку.

— Господи... растет-то как быстро,— сказала сестра, с нежностью глядя на ребенка.— Какая же она славная.

— Видела б ты, что она вытворяет,— тихо смеялся Ян.— Иной раз сил нету выдержать...— Он покачал головой, и лицо его и глаза затеплились мягким светом.— Она ночь в день обратила. Ну и кутерьма, представляешь себе! Днем спит как сурок, зато ночью такое выделывает, ужас. Хожу по лавке, что твой дух святой... привидение точно. Голос у нее, батюшки, у этой Катеринки! Звонкий такой, точь-в-точь мамкин...

Несмотря на случившееся, Гана по-прежнему доверчиво относилась к старшему брату. Когда он жил еще дома, они с полуслова понимали друг друга. Он никогда не грубил ей, не в пример Михалу, обращался с ней, точно с лучшим другом, так ей по крайней мере казалось.

Суровость отца и грубость Михала нередко ее обижали. Бывало, она и всплакнет, а когда приходилось особенно горько, даже не к матери, а прямо к Яну бежала. Еще когда Ян жил в ее комнатушке, он все время читал и выписывал что-то из книг, но для нее всегда находилась минутка-другая. Она и теперь не сказала бы, что Ян изменился. Напротив, скорее Михал стал другим. Но после того, что случилось, она никогда бы не решилась прийти к Яну сама. И не потому, что отец прогнал его из дому, отрекся от него, а потому, что совестно было перед ним. Хоть вины за собой она не чувствовала, а совестилась, как если бы чем-то оскорбила, нарушила, предала это тихое согласие между ними. И сейчас опять убеждалась: Ян все тот же. Ласковый, спокойный, улыбчивый, какой-то даже робкий.

Она поглядела на него, улыбнулась.

— Чего улыбаешься?

— Ничего... просто так... Господи, да ты ведь седеешь. Погляди-ка.

Она пригнулась к нему, схватила за волосы и р-раз — в ее пальцах остался длинный серебристый волос.

— Ну ты и чудила! — повертел он головой.— Что ж, краситься прикажешь? Седею... ясное дело... и ты когда-нибудь станешь седой. А в таких патлах, как у тебя, здорово будет заметно.

Он принес из кухни фарфоровую пузатенькую чашку с пахучим чаем.

— Есть хочешь?

Она покачала головой.

— Хотя стоит ли спрашивать! — Ян предался воспоминаниям.— Ведь ты никогда не хотела есть. Что крику было, когда тебя есть заставляли! Бог ты мой, время-то как летит, прямо скачет.

Гана взяла тонкими пальцами тяжелую серебряную ложку. Задребезжал звонок. Ян поднялся, вышел в кухню — даже в комнате было слышно, как он с кем-то разговаривает.

— У тебя здесь и телефон?

— Ну это такой, знаешь... в лавку,— объяснил брат.— Вот видишь, как получается... Мясо-то уже накоптили?

— Да... только вот половина сгорела,— сказала Гана и отхлебнула горячего чаю.

— Неужто... да как же это случилось, господи боже? Не иначе, как отец напился да и уснул. Дивлюсь я...

— Почем я знаю,— Гана пожала плечами, в ней что-то вдруг шевельнулось. Ну и дура я, сказала она себе. За малым не выболтала.

— А что ж еще? Тата напились... соображения у них никакого... я все время говорю. Всему есть граница. Бедная мама...

— Ты же знаешь — она ему свое сказала,— приврала Гана. Ей было неловко, ужасно неловко, и, как бы осознав, что краснеет, она склонилась над чашкой.

— А чему удивляться,— продолжал Ян.— Круглый год она только и снует что из хлева в горницу, из горницы в хлев. Чего зря говорить. Ты думаешь, откуда эти болячки на руках... из тепла в холод, с холода в тепло. Тебе, поди, кажется, у меня зуб на тату? Какое там! — оправдывался он.— Поверь... даже за то... вот даже за то не попрекаю его... Напьется — язык болтает, а голова не знает. Конечно, он хлебнул горюшка вволю, всего натерпелся, нынче-то я уж могу умом пораскинуть, сравнить... Но водка, эта водка проклятая... Доведет она его до могилы, увидишь. Самогон-то уж варит небось?

Гана покачала головой.

— Чудно,— продолжал Ян.— Ничего, скоро начнет, за этим дело не станет. Как только снегом дороги туда заметет... А ведь из этого лавора жуткое пойло, яд сплошной,— объяснял Ян, точно сестра могла разобраться в таких делах.

Гана молчала. Она знала: отец всегда тянулся больше к Михалу, чем к Яну. Эти всегда находили общий язык — даже новый жилец им не помеха. И чего только не нагляделась она дома! Воротился как-то отец из трактира, всех разбудил, кончилось тем, что сшиблись они в мертвой схватке с Михалом. А утро пришло — дружно хлебали варево и языком балабонили как ни в чем не бывало. В другой раз еще пуще схватились они — от отцовской праздничной вышитой рубахи одни клочья остались, лицо у Михала все в кровавых ссадинах было — так отец впился когтями. По пояс вязли в снегу, старый сипел: «Вот врежу тебе, поганец, как свинью оглоушу...» А Михал свое: «Попробуйте только, тата, ну...» Гана кричала: «Мамка... мамка!» А они как сошлись, так разом и огрузли в снег, только их и видали, ведь оба-то почти на ногах не держались.

Со временем Гана свыклась с этими стычками, как свыклась и с тем, что Михал все заметнее пренебрегает матерью. Уж так повелось в этом доме: все решали они — чистокровные кривоносые Дрозды, с такими корявыми лицами, точно кто выстругал их второпях из дубовой колоды, а огладить забыл... А вот все даже отдаленно тршетинское они ни в грош не ставили.

Привыкла Гана к тому, что Ян всегда держался особняком, точно его и в доме-то не было. Придет, поздоровается и незаметно шмыгнет в свою бóковушку. Как неприметно умел улизнуть от отцовского ока, так неприметно и тихо женился— без шумной попойки. Старому Дрозду, привыкшему к иным свадьбам, это опять же пришлось не по нраву.

Гане даже трудно было представить себе, чтобы Ян когда-нибудь смог относиться к отцу, как Михал. Это просто было немыслимо.

Правда, в последнее время и Михал сделался какой-то другой — словно запало что в душу. Ворчлив стал, обидчив, часто вставал из-за стола и шел в сени поглядеть, закрыта ли дверь... отцу отвечал невпопад, точно все время думал о чем-то. Даже стал походить на Яна: тот тоже, бывало, упорно глядит сквозь окно куда-то в лощину, только для него это было обычным, он всегда такой был, а ведь Михал другой!

Узнав, что брат обхаживает Магду, Ганка опешила. Что же та в нем нашла? — дивилась она. Ведь он даже танцевать как следует не умеет... она раз попробовала, чуть не на одной ноге к дому скакала.

Гана понимала: достанется ей дома на орехи, коли узнают, что была у Яна. Правда, никто ей этого не заказывал — о Яне в доме просто не говорили, будто его и не было вовсе,— но в душе она чувствовала — добром бы это не кончилось, и решила молчать. А что, ежели ее выдадут? Люди-то видели, как шла она через лавку. Ну да ладно, тряхнула она головой, пускай говорят.

Вскорости пришла Милада. После родов она чуть раздалась, но по глазам видно было, что до конца не оправилась.

— А, это ты? — удивилась она.

Гана сразу поняла, что Милада знает про ссору.

— Я шла из деревни,— сказала она, почувствовав снова неловкость. И поднялась.— Ну, мне пора. Дома крику не оберешься, надо идти...

— Успеешь. Посиди еще чуть. Дома от тебя ничего не убежит.

— В другой раз,— обещалась Гана и сразу вся сникла, посерела лицом.— Непременно зайду...

— Кланяйся маме,— напомнил брат.— Может, заглянет когда. Я...— он запнулся,— я не поганый...

Это слово будто хлестнуло ее по лицу.

Провожая сестру, Ян в коридоре что-то сунул ей в руку. Взглянула — апельсин.

— Боже! — ахнула она и сразу превратилась в ребенка.— Ой, как пахнет...

— Съешь,— улыбнулся Ян.— Не тревожься... все будет ладно... все добром кончится...

Он словно самого себя хотел убедить в этом.

Старый с Михалом переругивались у кухонного стола.

— Ох и дошлый вы, тата,— кипел Михал.— Ловко обмозговали все дело. Вижу, насквозь вижу...

— Ты, конечно, все видишь, еще бы,— усмехнулся старый Дрозд.

— Не ворчите.

— Я ворчу? Я? — вскинулся тот угрожающе.

— А кто же? Вы, ясное дело,— твердо стоял на своем Михал.— Слыхали мы ваши побасенки: «меня никто не накроет», слыхали...

Он глотнул водки и поставил бутылку перед отцом.

— Вы лучше в оба глядите, это я вам говорю. С выпивкой, считайте, завязано, слышите? Покуда русский в доме, на выпивке — крест. А то она вам боком выйдет, ясно?

Перегнувшись через стол, он дохнул старому в лицо самогоном.

— Главное тебе про это помнить,— ввернул старый и пальцем огладил ус.— Я-то знаю, что делаю.

— Вы все знаете,— той же монетой отплатил Михал отцу. Лучше всего у него с отцом шла беседа, когда у самого в голове малость гу-

дело. Пустое дело — водка, но она и ему приносила облегчение.— Не копти вы это дурацкое мясо...

— А что! С капустой оно вовсе не дурно,— перебил старый.

— Все одно на шкварки пошло. Досталось господу богу...

— Это он виноват,— помрачнел старый Дрозд и ткнул пальцем в стену.— Кончится война, заплатит за это да и за щетину в придачу.

— Отродясь такой ерунды не слыхал,— похвалил старого сын.— И впрямь прост, как дрозд...

— Ну так что... как делу-то быть? — старый Дрозд потянулся к к бутылке.

— Это вы меня спрашиваете?

— А кого же? Мух на потолке?

— Что ж, скажу. Все делать, чтоб поскорей он оправился. А как оправится, прихватите его с собой и валяйте, понятно... прямиком в Словакию. Оставите его у тетки и...

— Что ты пройдоха — знал. Но чтоб такой шельмец — не догадывался.— Дрозд-отец глядел на сына с восхищением.

— Есть в кого. Так и решим. А то, может, скажете что поумнее?

— Откуда мне знать? — Старый Дрозд насторожился. Слова сына не давали покоя. Всего, правда, он не упомнил, но то, что Михал сказал о лагуче и шкварках, крепко засело в мозгу. Об этом не мешало и поразмыслить.

— Ты-то как думаешь? Ведь они и впрямь нелюди? — продолжал он, поглядывая прищуренным глазом на сына. У него так получалось, точно он сам себя спрашивал, наперед зная ответ.

— Вам бы только зубоскалить,— глухо отозвался Михал.— А как к пузу дуло приставят — все как рукой снимет.

— Какое еще дуло?

— Самое обыкновенное... ничего особенного,— объяснил сын.

— Ох... матерь божья, пресвятая богородица,— повздыхал старый Дрозд.— Слышь, Михал... А что, ежели положить его на сани, запрячь мерина да и махнуть к доктору? Так, мол, и так, нашли в лесу, пусть с ним доктор и канителится, как знает. Небось его это забота, как есть его. Пусть спрячет парня. Дом в два этажа, целый полк туда влезет.

— Гм,— хмыкнул Михал.

— Вишь как оно получается... я-то дошлый, да и ты, стало быть, не промах. Ты не так убог мозгами, а я не так стар годами. Верно говоришь... Жить надо... много ли проку с того, что шмякнешься, как хряк под топором.

— Вроде бы так.

— Он, леший, должно быть, дым чуял или еще чего, вот и приперся. Я ходил туда, там все как на ладони видно. Шел он, да то и дело падал, ровно пьян был как стелька. К жилью тащился — на это каждому бы смекалки хватило, да вот не рассчитал, что овраг там такой. Когда у нас в ручье еще угорь водился, брал я его на жука. Согну булавку, наживлю жука на нее, а как стемнеет — хлесть жуком в воду... А раз я...

— Ой, заливаете, тата...

— Еще чего, заливаю. Вытянул я, значит, этого угря, длинный он, как змея. Я уж у самого дома был, как он сорвался с крючка и айда. Свечу фонарем, где там... не поверишь, схватил я его у самого ручья. На ощупь впотьмах до самой воды топал. Нет чтоб в другую сторону, не-ет, он эту воду чуял, что собака — кость. И человек тоже. Жилье чует...

— Какое там жилье...— буркнул Михал.— Мясо чуял. Жилье! Когда коптите, по всей округе несет.

— Все одно. Жилье ли, мясо ли. Одно тянет другое. А что с такого человека возьмешь, ничего тут не поделаешь!

— Да разве мне от него чего надо?

— А мне, что ли, надо?

— То-то и оно,— заключил Михал и потянул к себе бутылку.

Гана так и застала их за бутылкой. Открыв сумку, выставила на стол пузырьки.

— Что доктор сказал? — спросил Михал.

— Ничего,— сухо ответила девушка и захлопнула сумку.

— Тоже выпивоха дай бог,— как бы невзначай бросил старый Дрозд, разглядывая пузырьки.— Уж он-то на своем веку нахлебался. Привезли как-то Франзлу водку, а он тут как тут — на машине мимо катил. Притормаживает и говорит: «Это что у тебя в той бутыли? Налей-ка». Франзл налил. Он выпил и говорит: «А в той, граненой?» Франзл опять, мол, то-то и то-то, а он свое: «Ну, чего же ты медлишь?.. Наливай». Эдак много раз подряд повторялось, а Франзл знай себе наливает да наливает. А этот представляешь, что выкинул? Нахлебался из всех бутылей и даже «целуй меня в зад» не сказал, включил скорость — только его и видели. Разлюбезный Франзл с горя сам до того упился, что два дня кряду в лавку носа не казал. Так-то оно: что ни больше барин, то хуже долги платит... А это что такое?

Он сощурился на пузырек, точно сова при ясном солнышке.

— От воспаления это,— Гана растирала над плитой озябшие руки.

— Вот это мы ему и дадим,— решил старый, принюхиваясь к бутылочке.— Черт-те что... сивухой несет... слышишь, Михал, ей-ей, сивухой...

— Ну...

— Все в лучшем виде. Такого бы небось и в России не нюхал,— заверил старый Дрозд.— По всему видать, он верит нам, а это честь немалая опять же. Хороший мужик.

— Пока не троньте его,— тихо вставила Гана.— Пусть сам проснется.

— Дрыхнет без просыпу,— дивился старый.— Мужик молодой, а все дрыхнет да дрыхнет. Неладно это. Растормошить бы его. Худо, когда кто без просыпу спит...

Старый взял у сына бутылку.

— Помаленьку да потихоньку,— сказал он, любуясь ее оскудевшим содержимым.

— А чего бы ему не спать? — отозвался Михал.— Залили в него куриного варева, вот и дрыхнет.

— Да, не дурна кура была,— признал старый Дрозд.—Зимой и то неслась. Из такой-то варево самолучшее. А он хороший мужик. Может статься, и вспомнит. В России. Кончится война, он и скажет: «Был я в одном дому там, уж было под святыми лежал, а они дали мне куриного варева».

— Говорит, как река льется,— вставил Михал.

— А что?.. Не так, что ли?.. Так... Человек, бывает, и вспомнит. Надо держаться рядком. Человек с человеком. С русским-то завсегда столкуешься, с немцем — не очень. Русский скажет «мама», немец — mut'r, иди пойми его. А такой молодой скоро оправится, что твоя кошка. Увидишь, по весне соберемся в Словакию к тетке...

— По весне?

— А что?.. Не может он тут до весны побыть, что ли? Случись что, метнется в лес — и дело с концом.

— Об этом и думать забудьте.

— Поди-ка, поймай в лесу мужика — не поймаешь,— стоял на своем старый.— Дело тебе говорю. Хороший он мужик. Толковал я

тут с ним, когда давал ему это куриное хлебово,— говорю, брат, откуда ж ты это топаешь? А он ни-ни, только что-то пришепетывает и так это пальцем в воздух тычет. Далеко ли, близко ли, спрашиваю, а он указывает, мол, далеко, страсть до чего далеко... и при этом, представь, такое у него выражение сделалось, что меня даже тоска прихватила. Представляешь, до чего ему больно, обморозился-то как... Но он и не пикнет, только уж когда совсем невмоготу — твердит свое «мама... мама...». А малый он ученый, не наш брат, не-е, это я точно знаю...

— Чего вы только не знаете...

И они снова сцепились. Оставшуюся водку честно разделили по стопкам... Гана поднялась и тихо вошла в свою комнатушку.

Беленький проснулся. Его детски чистые голубые глаза выплыли на белый свет, голова шевельнулась, потрескавшиеся, обметанные лихорадкой губы что-то зашептали.

Гана дрожащими руками чистила апельсин, то и дело оглядываясь на двери. Сладкая, душистая влага сочилась меж пальцев.

— Это тебе,— тихо предложила она больному.— Слышишь...

Капли сока, увлажняя сухие губы, растекались по лицу, покрытому испариной.

— Бери... ну же,— твердила она.

И сердце зашлось невыразимой печалью...

IX

Ну и снегу навалило, ровно бы и войны нет на свете. Идет да идет, все пуще и пуще, словно господу богу угодно прикрыть всю эту нечисть, все людские страдания, унижения... Зимой дарует он снег, летом водополье, уносящее верхнюю землю... Только и остается — молиться или сжимать кулаки.

А снег все идет и идет, тихо слетает тяжелыми хлопьями, цепляясь за черные ветви диких черешен, терновника; халупы совсем исчезают в этой белой пустыне, крохотные оконца робко жмурятся на божий свет.

Метет и метет, говорят люди. А немцам уж так не фартит, как прежде. Поделом им, пропади они пропадом... А вместе с ними и войны — ведь больше всего кому от них достается? Ясное дело, бедному люду. Паны меж собой всегда сумеют поладить...

Слава те господи, Иисусе Христе... во веки веков аминь, тетенька... а у молочной замерзла цистерна с пахтой, а того мужика, что солдата зашиб, сказывают, словили.

Люди, право слово, совсем лишились ума.

Воронье слетается к халупам, значит, жди оттепели, потом опять стужа ударит, дранка вся скорежится, как спичечный коробок,— ведь метет и метет.

Плугари едут — ну теперь, слава богу, хоть ребятишки смогут до школы добраться. Четверик здоровенных меринов — шерсть на них так и курится — тянут деревянный обшитый сталью плуг, за ним остается намертво утрамбованный снег. Мужики ведут под уздцы своих лошадей — черные бараньи шапки на головах, в руках кнуты.

— Ноо... эй...

Бубенцы в упряжках вызванивают, с копыт прыскает снег на все стороны.

Господи, ну и катят сани у старого Дрозда — дорогу-то вон как ему разгребли. Чудной этот Йожа Дрозд, храни его бог и помилуй, чудной. Баранья шапка надвинута почти к самому горбатому носу, на руках рукавицы добротной шерсти, на плечах зеленая шуба, подбитая

белым барашком, да еще натянул суконные галифе и высокие строченые папучи — как же не катить ему, черту!

Он так и сверлит своими глазищами, будто каждого слопать готов, что ж, ему живется не худо — один сын в еврейской лавке сидит, другой на лесопилке вкалывает, а бабы за него дома хозяйствуют. Небось, когда с той войны заявился, только и были при нем что усы да голая задница, а нынче, конечно, может стучать кошелем по трактирной стойке. Так-то, люди добрые, который наживается, мошну себе набивает, а который — хоть до самой смерти гнет спину, а все... Э, да что толковать-то.

Вот каков Йожа Дрозд с опушки. И избу срубил на отшибе, от людей подальше, приткнул ее к оврагу и лесу — зимой тепло, летом холодок... от большой воды никогда никакого урону. Словом, живет и не тужит, ровно бы и войны нет на свете.

А Михал все вьется вокруг Магды с мельницы. Ну этот весь в отца, будто из одной плахи вытесаны, этот не хуже Яна знает, что делает. И еще потом старый ворчит: видите ли, ему плохо живется. Плохо-то плохо, да только кому другому... Э, да что толковать-то.

В управе Дрозд выхлопотал бумагу на мешок отрубей.

— Привет, Йожа, тебя еще в твоем овраге не засыпало?

Самогонка огнем проходит по горлу.

— Эта, видать, картофельная, Йожа?

— Да вроде бы так.

Старый вдумчиво огладил ладонью колючий ус. Погрузил отруби на низкие навозные сани, тихо сквозь зубы присвистнул, мерин сразу взял рысью.

Перед низким деревянным строением зяб караульный, снег садился на автомат, отливавший матовым блеском. Немец не немец, все одно... зима, она для всех одинакова, она — единая правда на свете. Она да смерть — других правд почитай что и нету.

У трактира старый Дрозд снял с лошади удила и надел ей на морду холщовую сумку с овсом. Сжимая в руке кнут, вошел в заведение и, поморщившись, принюхался.

— Из управы, Йожа?

— Да вроде бы так.

Вознице положено в трактир заглянуть, пусть даже в шубе и припрятана фляга. А может, как раз потому. Старый спросил себе чаю.

— Еще тебя там не засыпало, Йожа?

Ручка радио, на ней захватанный бумажный кружок: за слушание вражеских передач — расстрел... замызганные стопки, протухшее пиво.

М-да... а трактирщика опять унесло... и мужики, того и гляди, подымутся, только двое солдат в углу под вешалкой калякают. Это уж точно: коли сыну не доверяешь, не станешь и отцу доверять — одна кровь как-никак. А может, ему, старому, только мерещится, бог знает, как оно на самом-то деле. У каждого своих забот вдосталь, вон на управе объявления понавешаны, кому нынче до разговоров...

На что лучше русскому. Сам от боли крючится, а улыбается, будто все ему нипочем. Да и как тут не улыбаться: старый, знай, растирает ему ноги, посиневшие пальцы отходят, и жар мало-помалу унимается. Вот уж этот чертов рус... и впрямь — не было печали, так черти накачали... Да и разве могло быть иначе, ежели ставишь халупу у самого леса в лощине.

Михал парень толковый, башковитый — все знает, это уж точно. На управе так и написано... которых суд за укрытие врагов рейха приговорил к смерти, сегодня казнены...

Михал знает... и старый знает, конечно, только вот русский не знает, да его дело десятое. Жить хочет, поправиться и жить, а ему, старому, разве не охота... Да и кому не охота... Как все запуталось, чудная какая-то война на селе. На фронте все по-другому, там проще. Убьешь — живешь... не убьешь — сам скапутишься. И совесть не мучает. А тут что будешь делать? Загубить человека... оттащить его в лес, не то кинуть как мешок с отрубями на навозные сани... Чертов рус!

Чай отдает самогонкой да как-то весь помутнел. Еще бы, не сливовица небось, а лавороница... ух, и яду в ней всякого.

Тишина да снег — снег да тишина, на замаранной стене досадливо тикают часы. У такого молодого все заживет, все как есть. Крепкая кость. Снеси голову и та прирастет. Пальчищи-то у тебя, брат, черные, ровно картошка зимой в худом погребе... черт меня догадал у оврага халупу поставить, попутала нечистая сила.

Слава те господи хоть за снег за этот. Только б мело, только б все замело, кто полезет в такое ненастье... и псина злая на привязи, на домашних и то ворчит, еще бы, кому такое придется по нраву, ежели к воле привык...

А вообще-то странная эта война, и впрямь странная. Вроде не грабят, в дома не залазят, их не трогаешь, и они тебя не тронут. А вот не сдашь поставку, тут же зацапают, это как пить дать, но так спокон веку бывало, да, видать, по-другому не будет. И по карточкам все добудешь, все работает, все на ходу, не то что после той первой. Мда... которого не трогают, а которого гонят, как паршивого пса. За укрытие врагов рейха... ну, а что это... враг рейха... кто же немцев жалует? Евреев сгребли, но таких, как наш Франзл, в деревне тоже не жаловали, что в них хорошего было? Может, в газетах и пишут про это, да кому же до этого... ох, окаянное дело.

Михал говорит — до всех доберутся... больно речист, особо когда под мухой. Как так — до всех? А кто работать станет, ежели до всех доберутся, да и куда девать такую прорву людей?

У Яна бы спросить, уж он-то знает...

Старый угрюмо насупился. Сощурил глаза и разом опрокинул в себя полуостывший чай.

На кухне стучат ножи, воняет луком, в окнах за пыльными занавесками озоруют снежные хлопья. А эти солдаты все о чем-то шушукаются... ну и порядок... Война, а солдаты в трактире рассиживаются... Да, не видать победы ихнему Гитлеру.

Лениво, как черви, ворошатся мысли в мозгу, самогон отдает мочой, паршивый табак крошится в пальцах. Все на ходу, всего вдосталь, а как-то погано, неладно, тоскливо, на все легла какая-то тень, как бывает в густом бору в полдень. И видно вроде бы плохо, и дышится с натугой, что-то все душит, а что — не ведаешь сам. Квелое все кругом, и человек, и весь божий свет, а лекарства нету, не сыщешь такого... только и осталось, что пить и спать, спать и пить...

Вьюжить перестало, мерин по брюхо огрузает в рыхлый снег. Где-то глубоко внизу наезженная санная колея, глубоко под снежным паводком скрипят ссохшиеся шипы.

— Эй... эй.

Попона на лошадином хребте курится паром, вон уже глянула халупа своим темным верхом, и голубоватый дымок столбится к низкому хмурому небу — добро пожаловать, хозяин, господь милостив, Йожко, ты уже дома. Ты все получил, все заведения на ходу, никто не сказал тебе слова худого. Как и всегда, ты все можешь, все на свете, только сдавай в срок поставку и не смей укрывать врагов рейха.

Беленький, должно быть, уж спит. Эдак около полудня обычно он спит, легчает ему. Над строением вьется стая голодных ворон, рыжий волкообразный безымянный пес (кличут его либо «ты», либо «пшел») задирает к небу свой мокрый щипец и глазеет, глазеет на эти снующие черные пятна, а из его тощей груди рвется наружу раскатистое ворчанье.

Еще бы, кому в охоту проволочная петля на шее, но-о... эй, ведь мы уже дома, пшел, молчать, как вытяну кнутом...

Дома все по-другому.

— Гитлер профукает войну, не иначе, коли вояки его по шинкам рассиживают,— заявил в горнице старый Дрозд.— Где Гана?

Дроздова сняла с плиты тяжелый чугунок.

— У русского.

— А снегу-то навалило в деревне, четверик плуг тащит.— Старый взял из ставца буханку хлеба и отрезал изрядный ломоть.

Дома мрачных мыслей как не бывало.

Он посыпал хлеб солью и стал неторопливо жевать. Дроздова бросила в чугунок горсть толченой черной соли.

— Заглянул бы к нему. Парень мне что-то опять не нравится. Не знаю, отец, не знаю...

— А что опять?

— Вроде как задыхается. То и дело встать норовит... все в окно указывает — туда... туда.

— Какое еще «туда»? — проворчал старый.— Стоит из дому нос высунуть и...

— А ты только и знаешь лавоповицей его накачивать,— напустилась на мужа Дроздова.— Ругаюсь с тобой, ругаюсь, а все без толку, хоть кол на голове теши. Хилый он, одна кожа да кости! А ты ему водку в рот, смолу на ноги. Нешто лошадь лечишь?

Она быстро замешала поварешкой.

— Не всякий похож на тебя... не всякий твоей породы. Загубишь его. И все-то бубнишь ему, все-то выспрашиваешь, да разве он может ответить? Не тронь ты его, мы уж сами его обиходим — ты вон там хлопочи,— она кивнула в окно.— В сарай налило, соломорезку засыпало... а ты нет чтоб взять кусок кожи да подлатать подпруги, где там! Одно знаешь — кто он да откуда... Казак, видишь ли...

— Ну и что?.. Разве не может быть казаком? Чего тут худого, что спрашиваю? Мне знать положено, кого в доме держу. Да знаешь ли ты, откуда он бежал, из какой дали притащился, что он только выдюжил? Ничего не знаешь, а я уже знаю, все знаю, я его понимаю.

— Ну ты, ясное дело. Ты да Михал — два сапога пара. Сперва к кормушке волочить его собирались, а теперь чуть не последние портки готовы отдать. Дикари бешеные...

Старый поперхнулся. Покраснел, далеко отплюнул крошку хлеба, закашлялся.

— Такой уж ты весь. Козел дышлый. Хлеба себе и то не намажешь — ждешь, чтоб я совала все тебе под нос...

— У нас, вестимо, не то что у Тршетинов,— крякнул Йожа Дрозд.— Хлеб да вода — мужицкая еда. Ежели и мазали чем хлеб, так еловой рогатиной, да все по спине больше. И в солдатчине тоже...

— Ах, боже милостивый,— завздыхала старая и сморщила нос, ну точь-в-точь по-дроздовски.— Опять у тебя эта лавоповица в брюхе булькает. Ужо она нутро тебе выест.

Такой Дроздова еще не бывала. Обычно молча управлялась со своими делами. Но тут и она почуяла, что не все ладно в доме. Разобраться в том не могла, а отчего не могла — толком тоже не знала. Вот и вздумала защищать что-то, сама не ведая что.

— Да... в солдатчине...— упирал на свое старый Дрозд.— Пузо мое не умащено панской жратвой, горюшка хлебнул я по ноздри.

— Знала б я, что ты такой бешеный, хорошенько бы подумала, прежде чем... Небось, когда вокруг нашей усадьбы крутился, другой был. Каченька сюда, Каченька туда... Боже святый, какая же я дура была! Гол был, как осиновый кол, портки с тебя сваливались, только что усы одни...

— Моих усов не касайся,— огрызнулся, правда уже поспокойнее, старый Дрозд и снова потянулся к ломтю. Нарочно долго и усердно посыпал его солью. В тепле водка враз кинулась ему в голову, и было ему на редкость хорошо.— Дак ты ко мне сама приставала, окно отворяла и все такое... не так разве?.. Мне эта ваша усадьба — пха!.. Чиркнешь спичкой, и готово. До того лихо было — только и оставалось, что взять вожжи да привязать их в конюшне на крюк, как тот ваш бедняга батрак. Вы всегда на ферму брали придурков,— не переставал язвить старый, кося глаз на жену,— у которых даже слюни текли. Такой-то ведь зверь до работы, я-то вашего разлюбезного родителя насквозь видел, только он меня, Йожу Дрозда, так и не раскусил...

— Так то ж ты! — повела глазами Дроздова. Щеки у нее пылали.— Лучше тебя никогда никого не было...

— Этого я не говорю. И однако же, Ян, за которого тебя сватали, ну, этот накачал водкой старого Тршетину, и не то чтоб сивухой,— а каково нынче Яну? Ферма, того и гляди, рухнет ему на голову, а он с мышами беседует и, верно, уж совсем одурел — ходит по лесу и ест дикие ягоды, от которых даже птицу воротит...

— А мне что до Яна? — прервала его Дроздова.— Таких, как ты, у меня могло быть по пяти на каждый палец. Дура была, бог видит, совсем безголовая.

— Ну, а чего ж тогда жалуешься? Я с тобой тоже не больно-то в выигрыше.— Он осклабился, вокруг глаз веером пошли морщинки.— Когда погнали тебя с усадьбы, много ли за тобой дали? Ни ломаного гроша, ни слепой полушки. И кто тогда был рядом? Кто с тобой шел верно по жизни? Я! Да, я...

— Этого еще не хватало, чтоб ты меня осрамил,— заметила старая, сгибаясь над корытом.

— Да...— протянул Дрозд и покрутил головой.— Не все одним миром мазаны, мужик мужику рознь. Сама небось знаешь, каков белый свет и кто в нем обретается.

— Ну я бы тебе показала,— звонко сказала Дроздова.— Уж я бы с тобой разделалась.

— Что бабы стервы, это я знаю,— старый поскреб подбородок.— Никогда не ждал от них добра. Ни от кого никогда не ждал, кстати,— поправился он.— И нынче тоже не жду. Случись со мной что... никто б кружки воды мне не подал. Подохни, сказали бы, и ты бы так, верно, сказала...

Дроздова ничего не ответила, да и сам он, видно, ответа не ждал — он продолжал как ни в чем не бывало:

— В каждом человеке бес сидит. Притаился и ждет. И в мужике и в бабе. В каждой притом. Но в мужике этот бес наверху где-то, а в бабе — в самом нутре, что еще хуже. Вот тут оно и сказывается, бабье коварство. Баба все улыбается, улыбается... все вьется с ухмылкой вокруг мужика, а другого под периной хоронит. Нет уж, такое не по мне. Либо так, либо эдак, а чтоб и так и эдак сразу — нет уж...

Матушка Дроздова локтем отворила дверь, старый встал и взял у нее корыто. Протоптанной дорожкой двинулись они к хлеву, Дроздова, не зная куда девать руки, крепко прижала к подбородку платок.

Старый натаскал сена, помог жене управиться с работой и, только когда та подсела к Пеструхе и сжала в коленях теплый подойник, как-то беспомощно стал в сторонке и, скользя взглядом по почерневшим стропилам хлева, увешанным кружевом паутины, тихо сказал:

— В трактире со мной никто и словом не перемолвился...

Но она не расслышала. Из туго налитых сосков Пеструхи брызнуло молоко, и жестяной подойник запел на все лады...

X

Дроздова изба торчит у оврага, будто там спокон веку стояла. Приземистая, рубленая, ловко справленная, она сведена в одно подворье с хлевом и амбаром... просторный двор с навесами для телег и хозяйственной утвари спускается по склону к лесной тропе — когда льет, вода бежит по двору, огибая халупу, стекает в овраг... не подмочит, не попортит. Свищет вьюга, ломает верха елей и пихт над лощиной, а с Дроздовой избы еще ни дранки не слетело. Все проносится мимо по-над оврагом — да, Дрозд и впрямь ловко выбрал местечко. И в воде нужды нет, ручей даже в сушь не пересыхает, а замутнеет после дождя, достаточно часу-другого, чтоб гладь его вновь засверкала как зеркало. И вода-холодянка уж как в нем хороша... В самое пекло напьешься, и то зубы ломит.

Конечно, не худо бы выкопать хранилище для воды там, наверху, проложить трубы, а то ведь сколько ведер приходится старой Дроздовой таскать по натоптанной крутой тропке. Ничего, все будет после войны, и водопровод будет, и электричество — вот когда Дрозды заживут... а нынче у них другие заботы.

С того самого дня, как Дрозд прочел по складам кроваво-красные объявления на управе, он стал ходить вкруг халупы, как лиса, выслеживающая поживу. Вроде бы что-то искал, а найти не мог... Он облазил чуланы, подолгу стоял в сарае, в раздумье оглядывая ржавые цепи, клинья, топорища, пинал башмаком утоптанную землю, потом выходил и долго бродил по снегу в подворье... знать, что-то крепко засело у него в голове — он хмурился, топорщил усы.

Долго скрытничал старый, но однажды вечером не выдержал, открылся Михалу. Сын молча выслушал, потом сказал:

— Да, видите как... все-то вы, отец, бухтели, все-то хмыкали да покрикивали — «русские, русские», а нынче, когда один у нас оказался, не знаете, что и придумать. Да будь эта яма хоть на пять метров вырыта, овчарка враз все унюхает. Не так они глупы, как вам, умному, сдается... Куда все сложнее.

— Ну а ты что посоветуешь?

— Молиться, и только,— напустил туману Михал.— Чего еще остается? Чтоб он поскорее встал на ноги, спасибо сказал да и убрался подобру-поздорову. Чтоб нам целехонькими пережить это. Вы скажете, господь все видит, да, точно видит, даже и то, что мы в дерьме по уши.

— Дурацкие речи... Слушать тошно,— недовольно проворчал старый.

— А ваши-то, ваши...

— В доме ему оставаться негоже,— продолжал отец.— На душе у меня свербит...

— Ну суньте его в яму, через неделю он ноги протянет,— сказал Михал, как отрезал.— Слабый он, зимой тепло ему требуется, сытный харч, уход. Будто сами не знаете.

— Ну, знаю! Что с того? А заявятся, куда его денешь?

Молодой Дрозд призадумался.

— Одно скажу вам — овчарка все равно вынюхает.

— Ну уж овчарка. А они, может, придут без собак. Тогда, почитай, и не учуяли бы следов,— прикидывал отец.— А что, если объяснить ему толком, может, он...

Михал нахмурился.

— Пустое, тата, пустое...

Они поднялись и пошли поглядеть на больного. Выпростав руки поверх перины, он недвижно лежал и глядел на черные потолочные балки, точно что-то читал по ним. Когда скрипнула дверь, он с натугой поворотил голову, и на его потрескавшихся губах обозначилась мучительная улыбка.

— Ну что, браток, как поживаешь? — спросил старый Дрозд и уселся на расхлябанный стул, придвинув его к постели. Молодой Дрозд стоял и глядел в окно.— Ну что, как там у тебя... Не робей, все будет хорошо. Надо только есть получше, понимаешь... кушать надо, а то не знаю... не знаю...— качал головой Йожа Дрозд.— Нечего тебе унывать, твои товарищи вот-вот Гитлеру шею скрутят, вот так...

Он на себе показал, как это делается, беленький опять улыбнулся.

— Да нет... ты не думай, что я тебе собираюсь шею свернуть,— объяснил старый.— Мы-то с тобой столкуемся... А ну-ка покажи?

Он притронулся ко лбу больного и враз ощутил задубевшей ладонью влажную горячую кожу.

— Видишь. Уж коль ты от них смылся, больше ты им не достанешься. Только ешь побольше, слышишь?.. Кушать надо. Ничего не поделаешь, брат. Глянь-ка, худо у тебя заживает, и потеешь ты, и дышишь натужно... а все с голодухи, верно тебе говорю...

Больной снова слегка улыбнулся.

— Ишь, улыбается,— бросил старый сыну.— Чудна́я порода.

— Думаете, он вас понимает? Как бы не так! Вы-то по-ихнему только и знаете — кушать да кушать...

— И этого хватит. Вечером перебинтуем, брат, понимаешь... перемотаем, и баста. И побреемся,— отец Дрозд прошелся ребром ладони по шершавой заросшей щеке.— У меня бритва «Золинген». На что, на что, а на бритвы немец мастер...

Во дворе он сказал Михалу:

— Редкая порода, факт. Улыбается да улыбается, иди пойми: плохо ли, хорошо ли ему. И молодой какой... сколько годов-то ему? Иль оттого, что беленький? Сбивает это. Баба тоже, которая светлая...

— Знаете что? — Михал задумался.— Не перетащить ли нам его к Павелкам? Они-то и вовсе на отшибе, немцем там уж точно не пахнет. Старый во всяких травах и снадобьях разбирается, на Томаша положиться можно, да и на всех...

—М-да...— с сомнением покачал головой отец.— Не сказал бы, что ты это ловко...

— Что так?

— Видишь ли, Михал, такие дома всегда на примете. До того они незаметные, что сразу в глаза бросаются. Сам рыскал в поле, знаю, у солдата нюх такой есть. А они солдаты что надо, не думай... висельники, конечно, оно так, но солдаты самые что ни на есть окаянные.

Уж я-то знаю, где б ему было лучше всего. У Яна... чего уж там... у него, и нигде боле. Сунуть бы его прямо немцу под нос. У Яна ни одна собака о нем не пронюхала бы...

— Придет же такое на ум...

— Это я так, к слову. Был бы наш Ян человеком...

— А что он... собака?

— Да разве он человек. Ни брат, ни сын. Пустое место,— отрезал Дрозд-отец, всем своим видом давая понять, что это дело решенное, и ни толковать, ни спорить об этом он ни с кем не намерен.

— Думайте что хотите, а у Павелков ему было б не худо,— настаивал Михал.

— Переправить бы его при случае на лесопилку, туда, вниз, а после...— размышлял старый Дрозд.— Да видишь ли, за ним уход нужен. До чего ж паршивое время, товарища и то не раскусишь. В такую годину из человека прет всякая пакость. Ты-то уж Томашу наболтал что?..

— Скажете тоже...

— Ну, ну,— предостерегающе хмыкнул старый.— А то после, ежели, не приведи бог, что случится, так...

— Вам только хорошее в голову лезет...

— Лезет не лезет, чего там,— огрызнулся отец.— Сам заварил— сам и расхлебывай.

Михал надкусил яблоко. Оно хрупнуло... он закривился. Гана рвала полотно на бинты.

— Только бы оправился, а там и горя мало,— прикидывал старый.— Чуть что, метнулся в лес — и дело с концом. До весны бы продержаться... Весной оно куда веселей. Так ты думаешь, ежели выкопать яму поглубже, пес все равно вынюхает?

— Обученный пес все унюхает,— подтвердил Михал.— Он на людей натаскан, понятно? Укажут пальцем на вас — он и вцепится в глотку.

— Можно бы поверх чеснок высадить. Нюхнет чесноку, и шабаш. Я думаю, Михал, мы с тобой яму-то выкопаем. Двум мужикам это раз плюнуть. Сколотим ему нары, полочку, каменку поставим, чтоб затопить мог...

— Говорите, точно здесь ему век вековать,— возразил Михал.

— Фронт далеко, перейти его не так-то просто.

— Нечего было попадаться,— бросил Михал, и Гана насторожилась.

Старый погладил пальцем ус.

— Ты чисто жандарм говоришь.

— Разве он виноват? — тихо отозвалась Гана.— Когда взорвалось, он и повалился замертво, а опомнился — там уже немцы. Всех расстреляли. Только немногих, которые помоложе, оставили, а после отвезли...

Старый Дрозд подозрительно уставился на дочку.

— Ишь, чего ты только не знаешь...

Гана залилась краской, глаза потемнели.

— Он улыбается, а ему тяжко. Уж так тяжко,— повторила она, почти всхлипывая, точно решилась вступиться за парня.— Боится он...

— Чего? — взъерошился старый Дрозд.— Нас, что ли, боится?

— Что вы, тата. Он за руки боится. За пальцы. Вдруг не заживут...

— Дались ему эти пальцы! — проворчал Михал.— Тут как бы глотку не чикнули, а он о пальцах толкует.

— Ну и что? — вскинулась Гана. Она рванула кусок полотна — раздался резкий треск.— Кабы ноги, говорит, это еще полбеды. А руки, пальцы ему непременно нужны. Он, если хотите знать, на скрипке играет...

— На скрипке? — ахнул старый Дрозд.

— Но не так, как старый Бортл. Он по нотам играет... С этого и живет... в больших залах играет, где народу полным-полно... всякие трудные вещи. Откуда мне знать...

— Черт-те что! — изумился старый Дрозд. То, что сообщила дочка, совершенно его огорошило. У него просто перехватило дыхание.

— Он эти пальцы покалечил, когда еще с поезда соскочил. А потом их вдобавок ознобил...

Скрипка как-то совсем не вязалась с их теперешними заботами. Когда в горницу вошла Дроздова, старый тут же и выпалил:

— Эй, Катерина, парень-то... слыхала, кто этот парень... На скрипке играет.

— Ну и что? — спокойно отозвалась матушка Дроздова.

— Как это что? Да ничего, просто так...— старый будто даже обиделся, что жена не удивилась.— Играет, ну... черт подери... всякие трудные вещи. Не то что старый Бортл. По нотам...

— А вы вроде с ним столковались,— заметил молодой Дрозд, скосив глаза на сестру.

Она промолчала.

Под вечер старый Дрозд отправился в деревню. Сунул в карман кожуха колбасу, в другой — флягу. Весь день стояла оттепель, а теперь слегка подморозило, над лесом выкатилась луна, круглая, как каравай. Последние ломовики возвращались с лесопилки, тихо поскрипывали сани, из ноздрей меринов, с их спин, покрытых шерстяными попонами, валил пар. Деревня замерла, не слышно было даже бреха собак, наезженные колеи искрились в лунном свечении.

Старый добрел до конца деревни, еловым веником обил папучи, дверь в сенях заскрипела.

— Чертова дранина!

— Привет, Ян.

— И тебе, Йожа.

Бортл сидел на табуретке и перепачканными руками прошивал подошвы войлочных башмаков. Старый Дрозд метнул глазом по окрашенным в зелень стенам конурки. Все три скрипки висели прямо перед его носом. Молча выложил он на стол колбасу, обернутую промасленной газетной бумагой.

— Присаживайся.

Бортл был старый холостяк — сообразно этому выглядела и вся обстановка. Йожа Дрозд снял кожух, повесил его на гвоздь, вбитый в балку, Бортл глядел на посетителя, как на заморского зверя.

Старый Дрозд уставился на лампу под самым потолком, сплошь засиженную мухами.

— Хорошая штука это электричество,— заметил он.

— Мудреная больно, но штука хорошая, это ты верно заметил,— поддакнул Бортл, кивнув патлатой головой. Человеком он был щуплым, юрким, пропахшим капустой да холостяцкой похлебкой. В мирное время цены ему не было, а пришла война — ремесло его оказалось ненужным. Старый Дрозд был здесь второй раз за всю свою жизнь.

— Мудреная, говоришь? — недоверчиво спросил Дрозд.

— Еще какая! Сунь туда пальцы — белого света невзвидишь,— ответил Бортл и кивнул на розетку.

Тут вдруг замигала лампочка.

— Кузнец запустил свою кувалду,— объяснил Бортл, заморгав глазами за круглыми стеклами.

— Дорого обошлось?

— Да как тебе сказать,— развел руками Бортл.— За так оно не бывает. Тут всякой всячины до черта накручено, но что здорово, то здорово,— похваливал он электричество.— Повернул штуковинку — засветилось, опять повернул — погасло.

— Затемниться бы тебе получше, раз такой свет...

— Э, да ладно...

— А выгорает много?

— Когда как. Ловко все это придумано. Там, значит, в сенях, такие часы, в них колесико, оно-то все и подсчитывает, шельма. Повернешь, а оно уж бежит. Хочешь взглянуть?

Он поднялся, отер пальцы о миткалевые штаны и повел гостя в сени.

— Поверни.

Старый осторожно повернул выключатель, сени залило теплым светом.

— Видишь это колесико? На нем такая красная линия,— объяснял Бортл взволнованно.

Старый Дрозд внимательно оглядел счетчик. И впрямь — все как сказано.

— А остановить его нельзя?

— Хе, кабы можно было,— сокрушенно вздохнул Бортл.— Мудри не мудри — ничего не получится, видишь: вот пломба. Погасишь свет — колесико остановится.

— Чистая дьявольщина! — заключил старый Дрозд.

Они воротились в горницу, Дрозд выставил на стол бутылку.

— Ну, а ты как? — спросил Бортл.

— Да тоже вроде этого колесика,— задумчиво ответил Дрозд, примериваясь к скрипкам. Черная, что висела под образом богоматери в серебряной ризе, как-то особо ему приглянулась.— Ты-то вон хоть сыграешь,— издалека начал он,— возьмешь в руки скрипку — вот тебе и музыка...

— Да вишь, как оно получается,— так же настороженно, даже, можно сказать, недоверчиво ответил Бортл,— не больно-то весело стало на свете, а раз не весело, так и нужды нету в скрипке...

— Так, так,— закивал Дрозд.

Выпили, Бортл рыгнул и протянул старому Дрозду свой кисет из кошачьей кожи.

— Что за желтый табачок-то? — подивился старый.

— Мореный, в трубе морю, кофеем заливаю.

Старый встал, подошел к стене и осторожно коснулся струн черной скрипки. Инструмент задрожал, тоскливый звук резанул слух.

— Это струна ми,— со знанием дела сообщил Бортл.— У скрипки четыре струны.

Он поглядел на Дрозда, точно хотел убедиться, хорошо ли тот его понял, и, верно опасаясь, как бы малое число струн не разочаровало гостя, тут же добавил:

— Четыре струны, а сыграешь на ней все что душе угодно.

— Надо же,— прогудел Дрозд.— Такая чепуховина, две досочки да еще кой-чего, а играет... — Он бережно взял своими ручищами чер-

ную скрипку и взглянул на нее против света.— И весу-то в ней никакого.

Бортл молчал.

С барышником толкуй о лошадях, с бродячим музыкантом — о скрипке, это правило старый Дрозд усвоил давно, да вот особого проку до сих пор ему от этого не было.

Он и скрипка — уж больно далеки они друг от друга... он, впрочем, и держал ее так, на отлете. Скрипка в руках, а в душе смута и неуверенность... Выскочи из скрипки сам черт, Дрозд, казалось, и тому бы не удивился. А уличный музыкант Бортл? Тот и вовсе ошалел, заметив, с каким интересом относится гость к скрипке. Поначалу он было подумал — Дрозду понадобилось подошвы подшить, не иначе... А тут, нате...

Дрозд, наконец осмелев, попробовал было ковырнуть ногтем скрипку, точно хотел удостовериться, что она на самом деле из дерева.

— Что ты, что ты! — вскричал Бортл и выхватил скрипку.— Ты в своем уме, Дрозд? Нельзя так, приятель. Скрипка — струмент деликатный, а ты его ногтем... — ворчал он.

Он повесил скрипку на гвоздь.

— Еще ковырнешь там-сям... Это тебе не контрабас там какой или геликон.

— Ну да я так,— покаянно повел плечами старый Дрозд. Он налил Бортлу стопку.— Черт знает, что в голову лезет,— досадовал он на себя.— Скрипка... и кой леший дернул меня...

И он невольно проникся уважением к этому всклокоченному, пропахшему плесенью и сапожным клеем человеку. И кто бы мог подумать о нем? С виду такой, что и лошадь перед трактиром посторожить не доверишь, а на вот тебе, в скрипке разбирается, тут уж ему не откажешь, в скрипке этот кисляй толк знает.

— Так ты, стало быть, и это... ноту знаешь? — спросил Дрозд, когда тот успокоился.

— А это смотря по тому, которая? — поддел гостя Бортл.— Ведь их до черта,— он отмахнулся рукой, как от назойливой мухи.

— Ну такая... самая обыкновенная,— совсем смешался Дрозд. Опять у него из-под ног земля уплывала. Не привык он возиться с такими делами, ох, не привык...

— «Обыкновенная нота»,— ехидно хохотнул Бортл.— Ну, ты и скажешь, Йожа. Нота, она не обыкновенная, а половинная, к примеру, или четвертная. В целую ноту входят две половинные...

Странное это было учение, такое же странное, как и Дроздовы шалые, беспокойные мысли. В конце концов он решился пойти напрямик. И как всегда, выручила самогонка. Когда бутылка опорожнилась ровно наполовину, Бортл был уже тепленький — весь раскраснелся, уши так и подрагивали.

— Сыграй, а? — попросил старый Дрозд.

Бортл вскочил и сорвал скрипку с гвоздя. Он скривил лицо, заулыбался и вдруг принял какую-то смешную, дикую позу, прижав подбородком скрипку и отрешенно уставившись в стену, точно был в горнице совершенно один. Потом нажал на смычок, взметнулось облако канифоли, и скрипка тут же визгливо запела.

Филута Бортл играл «Где родина моя»[1], потел, пыжился, вроде бы даже прослезился и искоса все поглядывал, какое впечатление производит игра на старого Дрозда.

---

[1] Чешский национальный гимн, музыка Ф. Шкроупа (1801—1862) на слова Й. К. Тыла (1808—1856).

Кончив играть, Бортл многозначительно приложил палец к губам.

— Тихо,— шепнул он упреждающе, будто старый Дрозд некстати расшумелся.

В беленой печи тихо потрескивало, временами в потолочине скрипуче отзывался жук-точильщик.

Лицо гостя выражало что-то такое, чего Бортлу было вовсе не понять. Сжимая скрипку мозолистой, закопченной ладонью, он смущенно переминался с ноги на ногу, как вдруг Дрозда прорвало.

— Продай мне вот эту,— прогудел он.— Черную... Сколько за такой струмент?..

— За эту песню можно три года схлопотать,— предостерег музыкант Дрозда.— Это не какая-нибудь чепуховина. Такая она, эта песня...

И опять молчание. На лице старого не дрогнул ни один мускул; серые, с прищуром глаза смотрели сквозь стену горницы куда-то далеко-далеко.

— Эту черную...

И вот, в поздний час, средь белой пустыни обозначилась черная точка, медленно подвигавшаяся к лесу. Кто-то брел по лужам лунного света, проваливался в суметы и, снова подымаясь, упрямо продолжал свой путь.

Это был Йожа Дрозд. Осторожно, держа на почтительном расстоянии от груди, нес он черную цыганскую скрипку, обернутую газетной бумагой, обвязанную веревкой, а из бездонной глуби вселенной равнодушно глядел на него холодный рыбий глаз месяца...

(Окончание следует)

АНДРЕ ПЬЕРРАР

С алым цветком в петлице

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с французского Н. ИВАНИНА

Памяти
Василия Порика
и его товарищей,
погибших во Франции
за свободу

На севере Франции поезда бегут по унылой плоской равнине, где туманы, серое небо и дождь, где шесть месяцев в году поет свою неумолчную песню ветер. То заунывная, то ласковая песня эта хорошо знакома на длинной плоской равнине, изрытой разработками, испещренной поселками с низенькими домиками из красного кирпича.

Здесь расположен Энен-Льетар. Французская энциклопедия отводит ему всего несколько строк: население — 22 552 человека, угольные шахты, металлургические заводы, старинный центр графства, основанного в 1579 году Карлом Эльзасским, великолепный собор в романском стиле со скамьями XVIII века.

Здесь, в этом краю, спит сын Союза Советских Социалистических Республик — спит, окруженный миллионами французов, друзей его родины, которые будут до скончания времен охранять его покой.

В Энен-Льетаре нет горделивых, увенчанных снегом гор, нет густых лесов. Это огромная равнина, которая берет свое начало где-то на севере России и тянется до самого Па-де-Кале, до блекло-зеленых вод, отделяющих Францию от скалистых английских берегов. Равнина эта пересекает Польшу, Германию, Бельгию, и одинокий путешественник, оказавшийся в сумерках на ее бесконечных дорогах, наверно, еще слышит отзвуки гремевших здесь битв. Недаром в энциклопедии сказано: «Энен-Льетар сильно пострадал во время войны». Следовало бы сказать — «во время войн», ибо первая война бушевала здесь в 1214 году. С тех пор на этой северной равнине не раз гремели бои. Вся земля здесь усеяна могилами. Куда ни шагни — могила. Крестьяне, обрабатывая землю, то и дело натыкаются на человеческие кости.

Но в энциклопедии речь идет о второй мировой войне, хотя когда проезжаешь по этому исстрадавшемуся краю, трудно отличить следы первой мировой войны от второй. Многие женщины, потерявшие мужа в 1914—1918 годах, говорили, обливаясь слезами, прижимая к груди сынишку: «Этого не должно повториться!» А потом, всего лишь через два десятка лет, этого сына сразили у них на глазах пули нацистов.

Да, Василий Порик, советский человек, погибший во Франции ради свободы двух наших народов, лежит здесь, в этом краю огромного мужества и великого трудолюбия, среди своих. Это страна Мориса Тореза, чьим именем названа набережная в одной из величайших столиц мира — Москве. Это край генерала Шарля де Голля, первого главы французского государства, который ввел в свое правительство коммунистов.

Василий Порик, сражавшийся вместе с нами, французами, за освобождение нашей страны, расстрелянный 22 июля 1944 года в Аррасе и награжденный посмертно званием Героя Советского Союза, для нас не иностранец. Да и вообще это слово не имеет смысла в краю шахт, где под землей на глубине 500, 600 и даже 700 метров трудятся люди разных национальностей. В дни мира, как и в дни войны, для всех этих людей особый смысл имеет слово «братство». Мы повторяем его в надежде, что на земле не будет больше войн, с желанием сделать все, чтобы наши дети знали войну лишь по учебникам истории.

Но мы не должны забывать и о героях, отдавших за нас свою жизнь. Их имена напоминают нам о необходимости быть бдительными, ибо мир — это тоже своеобразная битва и порой довольно жестокая,— битва, где есть и свои предатели и малодушные. Сегодня, когда перед нашими надеждами открылись более радужные перспективы, мне хотелось бы обратиться к молодым советским людям и поделиться мыслями, которые возникают у меня в связи с событиями, записанными на скрижалях истории моей страны и вашей родины.

Однажды — было это уже давно — в маленьком французском селении появился молодой человек с алым цветком в петлице. Это был советский человек, который никогда больше не увидел своей страны. Он отдал жизнь, борясь за свободу рука об руку с французскими товарищами, и навсегда остался среди них.

Так начинаются были. Так начинается и эта быль. Со времени гибели Василия Порика в Советском Союзе родились миллионы людей. Но он по-прежнему жив: пули фашистских карателей, сразившие Василия Порика в Аррасе, обессмертили его — он не может постареть, алый цветок в его петлице никогда не увянет. Присмотритесь к нему. Может быть, он сумеет объяснить вам то, что не удается нам: у него ведь нет седины в волосах.

Но тут мне прежде всего хочется сказать о том, что значит Россия для нас, французов. Она вдохновляла многих моих земляков во время великой битвы с фашизмом. Недаром, когда в повести Андре Пьеррара француз Жюль встречает Василия — первого в его жизни русского человека, он тотчас приходит ему на помощь, не думая о грозящей опасности, о кишащих вокруг гитлеровских жандармах. Что движет им? Это простой шахтер, который и школы-то, наверно, не кончил, не говоря уже об университете, но он твердо знал, что Советский Союз — надежда человечества. И при виде русского у него бешено заколотилось сердце.

«Но нет,— думает Жюль,— это не старческий недуг! Это — от возбуждения, от радости, от того, что наконец-то и он может сделать что-то важное! Возможно, он всю жизнь ждал именно этой минуты. Русские для него так много значили... Вот и в эти тяжелые дни в России держались, не покорились! И надо все сделать — да, все,— чтобы помочь этим русским выстоять!»

Волнение Жюля, простого француза, при виде советского человека вызвано еще и тем, что Морис Торез называл «гениальным инстинктом масс». И хотя среднему французу, даже коммунисту или сочувствующему коммунистам, СССР, эта огромная страна, такая непохожая на нашу, представляется чем-то загадочным, инстинкт подсказывает, что это — страна друзей, а жажда дружбы позволяет почувствовать друга издалека.

Россия... Это слово в душе француза рождает удивительно чистый отзвук, пьянящий, как запах полевых цветов, принесенный весенним ветром. Надо сказать, немало способствовало этому знакомство с книгами русских писателей. Нравится нам и звучание русского языка. Но, конечно, не лингвистика определяет дружбу между народами, не она определяет политические симпатии.

Не один Жюль столкнулся во время войны с советскими людьми. Миллионы французов — военнопленные, гражданские лица, депортированные по политическим и расовым причинам или же отправленные на принудительные работы,— общались с советскими военнопленными на территории распухшего гитлеровского рейха.

Повесть Андре Пьеррара начинается в туманное февральское утро 1943 года, когда в маленький французский городок прибывает поезд с советскими военнопленными, которых везут на принудительные работы. В этой связи следует напомнить один исторический факт. Советских военнопленных сначала содержали в гитлеровской Германии, а потом их стали перебрасывать на рудники северной Франции, поскольку у гаулейтера Заукеля не хватало рабочих рук, чтобы «ковать победу». Но восемьсот двенадцать русских, которых привозят во французскую провинцию, где разворачивается действие повести Андре Пьеррара,— это лишь маленькая частица гигантской машины, существовавшей рабским трудом. Немало таких поездов прибывало из других стран в фашистский рейх — поездов, увозивших с насиженных мест жителей целых деревень, среди которых были и почти слепые старики, и тяжелобольные, и умирающие, и юноши, и девушки, и дети, и даже матери с грудными младенцами на руках. У кого достанет голоса поведать о безмерности этого преступления, совершенного под небом нашей планеты? У какого писателя достанет таланта рассказать страшную историю заводов фашистской Германии, замешанную на крови и слезах не только мужчин, но женщин и даже детей? Совсем недавно в печати появилась фотография двух молодых людей в роскошно обставленном доме — они счастливы, богаты, довольны собой. Это наследники крупного промышленника, нациста, у них около ста заводов и миллиардное состояние. Личной ответственности за преступления, которые совершались на этих заводах, они, естественно, не несут — ведь в ту пору, надо думать, их и на свете-то еще не было,— но пришло ли им хоть раз в голову посчитать, сколько могил вырыто возле заводов их отца, если эти могилы еще сохранились?

Мы, простые французы, не сколотили миллиардных состояний, но мы обогатились куда больше, куда значительнее. Мы, и я в том числе, обрели в плену, на заводах фашистской Германии, новых братьев и новых сестер — русских, о которых раньше знали

только понаслышке. До тех пор мы и не представляли себе, что в таких условиях — в условиях фашистской ночи — люди могут петь.

Ход истории оторвал, разумеется, не только меня, а и многих молодых французских провинциалов от родной земли. Соучастники гаулейтера Заукеля отобрали у этих людей родину, родной город, родную деревню. И вот металлургов, парикмахеров, булочников, студентов, художников, строителей из Нормандии, Бургундии, Прованса, Лангедока, Аквитании повезли в Германию. Среди них немало было и крестьян, которые никогда в жизни даже Парижа не видели — знали лишь свой клочок земли, свое поле или свой виноградник да пять или шесть окрестных деревень. Они никогда не слышали грохота пушек, разрывов бомб, никогда не видели жителей другой страны, не знали ни слова чужого языка. И на фашистских заводах они столкнулись с русскими, с людьми удивительного мужества и несгибаемой воли, боровшимися за самые высокие идеалы человечества.

Тогда, в ту страшную пору, когда мы считали, что весна на земле наступит еще не скоро, мы встретили людей, подобных Василию Порику. Эта встреча французов с русскими и описана в повести Андре Пьеррара. Борьба, которую вел Василий Порик и его французские товарищи, это не вагнеровская драма, в ней нет ничего сверхъестественного, нет рыцарей в серебряных латах, нет Священного Грааля, нет чудес. Действие разворачивается в местах самых обычных — маленькие домики, маленькие кафе, неприметные улочки. Люди плохо одеты. «Och, mein Gott [1],— говорили оккупанты,— до чего же французы грязные!»

Недавно по французскому телевидению показали кинорепортаж, найденный в нацистских архивах. Кинохроника подтверждает, с каким презрением относились к нам оккупанты. Однако простые люди вроде Жюля воздвигли потом на земле своей страны свыше ста тысяч монументов павшим, а гитлеровцы не воздвигли ни одного: фашизм был наголову разбит.

Герои Андре Пьеррара являют собой лучшее, что есть в человеке. Настоящее. И рассказ о советском парне с алым цветком в петлице обладает одним несомненным достоинством. Это быль, это свидетельство событий военных лет. Правдивость рассказанной истории чувствуется с первых же строк: место действия, даты, герои, обстоятельства — все точно. Естественно, что Андре Пьеррар не мог воспроизвести все детали, иначе его книга превратилась бы в архивную хронику. Как романист, он имел право на художественный вымысел — не будем уточнять, воспользовался ли он им в полной мере или нет; он имел право изобразить и героев, и факты, и ситуации такими, какими их себе представлял. И все же книга настолько близка к реальности, что производит впечатление журналистского очерка.

Однако это — художественное повествование. Персонажи повести Андре Пьеррара — это герои в полном смысле слова, их поступки естественны, просты, порой даже нескладны, но им веришь. Они живут в буднях борьбы, их действия неизменно отличаются прямотой и в то же время величием, причем величием не индивидуальным, не эгоистичным,— они являются носителями особого величия, которое пронизывает всю их жизнь, величия пролетариата, величия антифашистской борьбы. Это строители будущего общества, а не просто разрушители гитлеровской претензии на мировое господство. Перефразируя название, которое Михаил Ромм дал своей картине «Обыкновенный фашизм», мне хочется сказать, что этих людей отличает обыкновенный героизм, ежедневное и ежесекундное мужество; они безостановочно, используя любые возможности, движутся к цели, невзирая на чудовищные препятствия и трудности. Герои Пьеррара из той породы людей, которые не считают борьбу оконченной вместе с победой и которые не станут довольствоваться званием «бывшие борцы».

Если вдумчиво прочесть эту повесть, становится ясным, почему русский народ сокрушил Адольфа Гитлера и почему он объединяет вокруг себя столько союзников и столько друзей.

Мы — обычные люди. Мы — такие, какими изобразил нас Андре Пьеррар. И хватит с нас злобы, ненависти, презрения, издевательств, провокаций, порождаемых войной.

...Ну, что ж!.. Знаешь, Василий, как бы нам, живущим сейчас, хотелось показать тебе всю Францию, показать тебе народ, ради которого ты отдал жизнь! Франция вроде бы и не такая уж большая страна, но чтобы хорошо узнать ее, поверь, не хватит одной жизни, столько у нас разных «медвежьих углов», столько селений, есть и поля пшеницы, и высокие горы в вечных снегах, на юге растут пальмы и мимозы, а о берега Бретани злобно бьет бушующее море.

Но в Энен-Льетаре тебе посчастливилось увидеть главное — ты увидел дружелюбие наших людей и их труд.

Понимаешь, ведь мы жили бы ничуть не хуже, если бы наши Альпы были менее высокими, наше солнце менее жарким, а вино менее крепким. Но мы не могли бы жить без чувства собственного достоинства, без свободы и мира, которые ты помог нам вернуть, человек с алым цветком в петлице.

РОЖЕ ШАТОНЕ

---

[1] О, господи! *(нем.)*

Глава I

Никакого вокзала тут и в помине не было — лишь железнодорожная платформа, да чуть ниже ее, у спуска с насыпи, прилепилась будка с подслеповатым окошечком билетной кассы. Впрочем, у этого подобия станции было название — Салломин. Доктор Франсуа де Курсель зябко притопывал по дощатому настилу и, кося глазом на офицера из вермахта, хлопал рукой об руку, подергивал плечами и всем поведением своим выказывал, как ему холодно,— только бы не выдать бившую его внутреннюю дрожь.

По обеим сторонам полотна выстроились солдаты. Было в самом деле морозно. В белесой ледяной дымке не наступившего еще утра солдаты при свете тусклого фонаря казались двумя черными изгородями — только присмотревшись внимательно, можно было увидеть, что изгороди эти вовсе не черные, а зеленовато-серые, цвета военных шинелей.

«А ведь я здесь как вестник смерти: этих живых мертвецов, которых вот-вот привезут сюда, ждет только смерть!..» — подавив вздох, подумал де Курсель. Крупное, как у всех фламандцев, лицо его, наполовину скрытое коричневым шерстяным шарфом и поднятым воротником пальто, выглядело довольно нелепо под старомодной фетровой шляпой.

Шел 1943 год. На дворе был февраль, и весь этот шахтерский район, словно замороженный, затянуло инеем и туманом.

Де Курсель оказался на станции неожиданно для самого себя. Часа два тому назад в госпиталь святой Барбары явился немецкий офицер и потребовал, чтобы врач немедленно отправился с ним на станцию встречать «русский поезд».

— Но нельзя же осматривать больных под открытым небом, да еще зимой...— рискнул возразить де Курсель.

— Вы будете осматривать их на перроне,— решительно отрезал офицер.— Можно сожалеть об этом или нет, но много времени дело не займет. Вы не успеете даже озябнуть...

Де Курсель почувствовал, что вот-вот взорвется, но усилием воли сдержался. И все же он попросил старшую сестру приготовить помещение для осмотра больных. В ответ на это офицер лишь снисходительно пожал плечами. А через несколько минут они отправились на станцию.

...В утренней тишине послышались чьи-то тяжелые шаги — кто-то большой и грузный поднимался по лестнице, ведущей от служебной будки на платформу. И вот уже рядом с де Курселем и немецким офицером вырос начальник станции — французский железнодорожник с красным фонарем в руке.

— Сейчас поезд придет,— сообщил он.— Предупредили из Билли.

Прозвучали слова команды. Солдаты по обе стороны колеи подтянулись и замерли. У де Курселя даже зазвенело в ушах от наступившей тишины — он слышал лишь, как потрескивают телефонные провода и стучит его собственное сердце.

Вот-вот должен был показаться поезд, и де Курселя охватили угрызения совести. Совсем недавно после мучительных разочарований он снова поверил в возможность победы над гитлеровцами. А ведь долгое время — чего греха таить — мысли о том, как идут дела у русских на обширном Восточном фронте, не вызывали у него особого оптимизма. Все складывалось в пользу врага. И вдруг эти русские, к которым он относился с таким скептицизмом, стали поворачивать ход войны!.. А сейчас он увидит тех из них, кому война принесла, пожалуй, наиболее страшные испытания. «Само горе едет с ними,— по-

думал он,— горе, которое пленники тянут за собой из беспросветной тьмы гитлеровских лагерей... И от меня, кто знает, теперь в чем-то зависит их участь!»

Загудели рельсы. Послышалось натруженное пыхтение паровоза.

Начальник этой захудалой станции был высокого роста, с красным обветренным лицом. Де Курсель заметил, как порою неприязненно, а зачастую и злобно поблескивали его глаза. Остальную часть лица скрывал натянутый до самого носа воротник синего свитера и надвинутая на лоб форменная фуражка, так не вязавшаяся со всем прочим одеянием... Начальник станции подошел к краю платформы и замахал красным фонарем. Из тумана, словно два огненных глаза, показались фары паровоза, постепенно приблизились к станции и, наконец, замерли.

Доктор сам не мог бы сказать, отчего в эту минуту по щеке его скатилась слеза. То ли от мороза, а может быть, от того, что в памяти вдруг промелькнули отошедшие уже в прошлое, но незабываемые эпизоды войны: не оправдавшая надежд линия Мажино, паническое отступление мая—июня 1940 года, разбомбленный и все же державшийся Лондон, семьдесят дней обороны Одессы, неожиданное поражение немцев под Москвой зимою 1941 года, блокада голодающего Ленинграда, высадка союзников на территории Алжира и Марокко в ноябре 1942 года и вот — всего каких-нибудь двадцать четыре часа тому назад — победа под Сталинградом...

Офицер заметил слезу на щеке де Курселя, и тот смущенно пояснил:

— Глаза стали слезиться на холоде...

Нацист был прямой, тощий, и де Курсель только сейчас обнаружил, что одна рука у него висит как плеть. Тем не менее держался офицер надменно, отчужденно, и ничто в его жестком лице не указывало, слышал он доктора или нет.

Он лишь с издевкой кивнул в сторону прибывшего эшелона и, чуть повысив голос, чтобы перекрыть скрип тормозов поезда, заметил:

— Вот они, русские богатыри, мосье! Можете полюбоваться вблизи.

Железнодорожник круто обернулся, и доктор увидел его горящие от ненависти глаза. А тот, не скрывая иронии, произнес:

— Не прошло и двух дней после второго февраля, так ведь, доктор? Следовательно, русские пленные с берегов Волги, наверное, начнут прибывать к нам позже?

Де Курсель обмер: нацисты крайне жестоко расправлялись с теми из местных жителей, кто хоть чем-то давал понять, что знает о событиях под Сталинградом. Но, к счастью, возле поезда уже началась суета. Из первого вагона выскочил фельдфебель. Он подбежал к стоявшим на перроне, вскинул руку в гитлеровском приветствии и протянул офицеру несколько листков. Тот осведомился по-немецки:

— Сколько пленных в наличии?

Фельдфебель заученно отчеканил:

— Более или менее здоровых — семьсот двадцать три.— И почему-то осклабился. Послышался долгий нарастающий гудок встречного поезда, и лишь когда состав промчался мимо, фельдфебель продолжал: — Больных — восемьдесят девять, итого: восемьсот двенадцать!

— Откройте вагоны с нашей стороны, но чтобы пленные не смели двигаться до новой команды,— спокойно распорядился офицер и тут же добавил: — Если кто сойдет на платформу без приказа, стрелять!..

Конвоиры, которые командовали двумя шеренгами по обе стороны полотна, повторили приказ.

— Вот видите, восемьдесят девять больных — это не так уж мало,— обратился к офицеру де Курсель.— Я не берусь обследовать их на морозе. Поймите меня правильно, я же врач, а не ветеринар.

— Говорите по-немецки, доктор! Вы же знаете немецкий,— потребовал офицер.

— Да в этом ли сейчас дело? — мягко парировал де Курсель.— Вам отлично известно, что я выучил язык вашей... ваш язык... А пока я предпочел бы вернуться в госпиталь святой Барбары и осматривать больных там.

— Ни с места! — выкрикнул офицер. Но приказ относился уже не к де Курселю.

Пока между офицером и доктором шел разговор, фельдфебель с помощью двух солдат открыл дверь первого вагона, и оттуда на платформу вывалился скорчившийся человек. Прогремели три выстрела: серо-зеленые шеренги точно выполняли приказ.

Доктор кинулся к лежавшему на платформе человеку.

— Идиоты! — крикнул солдатам офицер.

Он сразу понял то, что секундой раньше обнаружил врач.

— Ваши солдаты стреляли в труп,— сказал де Курсель, поднимаясь с колен.

— Вполне возможно,— пожал плечами офицер.— Но в вагонах еще восемьдесят восемь таких. По сути это уже покойники. Если вам угодно удостоверить их смерть, извольте. За тем мы вас и вызвали. А все остальные у нас только здоровые и пока не нуждаются в медицинской помощи.

— Понятно...— помолчав, пробормотал де Курсель.— Что ж, я, пожалуй, все-таки останусь, мосье.

Один за другим щелкали висячие замки, скрипели, грохотали отодвигаемые двери, и всякий раз фельдфебель выкрикивал — сначала по-немецки, затем на ломаном русском языке:

— Не двигаться! Ждать приказа!..

И на какое-то время наступала тишина, мертвая, гнетущая...

В первом вагоне доктор де Курсель при помощи фонарика, который железнодорожник повернул так, чтобы свет падал внутрь, увидел лишь сваленных в кучу мертвецов. Врач пошел дальше, ко второму вагону. Оттуда донесся кашель пленных.

Но не успел он остановиться, как рядом снова возник офицер. И сразу же, печатая точно на параде шаг, к ним подошел фельдфебель.

— К разгрузке все готово! — отдав честь, сказал он.

— Вагон за вагоном, как обычно! — распорядился офицер.— Приступайте!

Фельдфебель отошел и зычно крикнул — сначала по-немецки, затем по-русски:

— Выходить по одному и садиться в кружок. Капо — впереди!

И высадка началась. Во втором вагоне находились женщины. На одних были юбки и рваные куртки, на других — просто мешки с проделанными для головы и рук дырами, ноги обмотаны тряпьем. Исключение составляла одна лишь капо: на ней были мужские туфли, желтые туфли горожанина, некогда, возможно, даже элегантные и все же слишком для нее большие. Из вагона вышло уже человек пятьдесят. Последней в дверях появилась женщина с опухшим лицом. Как и на многих других, на ней был лишь мешок, который она стыдливо придерживала обеими руками. Короткой мешковины не хватало, чтобы прикрыть ее наготу, и женщина вынуждена была обнажить исхудавшие плечи. Она стояла в дверях и плакала.

Капо, уже успевшая сесть на землю, ободряюще крикнула:

— Прыгай! Да прыгай же, Галина!

Несмотря на опухшее лицо, видно было, что женщина эта очень хороша собой — высокая, стройная. В конце концов она неуклюже прыгнула и, повалившись на бок, принялась истерически всхлипывать. Де Курсель стремительно шагнул к ней и сразу заметил, с каким страхом и ненавистью смотрят на него остальные женщины. Но он не успел согнуться над больной, как офицер прикоснулся к его плечу и с усмешкой произнес по-немецки:

— Мы потом отыщем ее, доктор, если она приглянулась вам. Но сначала пусть пройдет дезинфекцию.

Де Курсель даже опешил от такого цинизма, но лишь молча пожал плечами.

«Вот что делает с людьми война,— подумал он.— Ведь этот офицер интеллигентный человек. Наверняка он обожает своих детей, тревожится за их будущее... Вполне возможно, что у него самого есть дочка, которой столько же лет, сколько несчастной русской... А сейчас он — мерзкое животное, и я. не колеблясь, раздавил бы его как мокрицу, хоть я и христианин и все во мне восстает против насилия...»

Теперь и из других вагонов стали выгружаться люди. Казалось, платформу наводнили калеки, являвшие миру самые отвратительные приметы войны: ввалившиеся от голода, обведенные чернотой глаза, рубцы на теле, грязные повязки, прикрывающие раны, обезумевшие взгляды...

Откуда-то снова появился фельдфебель.

— Если позволите,— угодливо и вместе с тем хвастливо затараторил он,— я принял поезд в Кёльне уже неделю тому назад и хорошо знаю людской состав. Должен вас поставить в известность, что среди них есть один тип, которому давно пора переломать ребра.

— Что ж ты постеснялся? — усмехнулся офицер.— Кстати, грузовики уже поданы к станции. Вот он покажет,— гитлеровец ткнул пальцем в сторону железнодорожника,— где стоят машины. Женщин увезете последними. Надо же дать возможность этим рыцарям полюбоваться на своих красоток.

— Есть! — подобострастно воскликнул фельдфебель и, снова отдав честь, повернулся к сидевшим на земле пленным.— Эй, Василий! Поди сюда! А ну, давай, давай сюда, Василий! И не забудь: руки на голову!

По платформе четко, гулко зазвенели шаги. Едва пленный показался из тумана, де Курсель сразу увидел, что на ногах у него разные сапоги, штаны на нем из дерюги, а левый рукав полосатой куртки оторван. Вокруг длинных густых волос туман образовал как бы нимб. Лоб перерезала не то ссадина, не то небольшая рана. Но самым поразительным в облике этого человека был рот — губы улыбались, а в зубах, словно бросая вызов царившему вокруг произволу и насилию, пленник держал веточку бирючины с уже набухшим бутоном.

«А он не похож на остальных»,— подумал врач.

Меж тем железнодорожник вдруг ударил себя по лбу и не без радостного удивления воскликнул:

— Узнали? Да это же Максим!..

Но де Курсель не мог оценить этого небольшого открытия, так как не видел известного советского фильма о Максиме, шедшего еще до войны. Он даже и не слышал о такой картине.

— Что это ты жуешь? — спросил у пленного фельдфебель.

— Мы ведь во Франции, верно? — ответил вопросом на вопрос человек, которого гитлеровец назвал Василием. И добавил не без скрытого вызова: — А во Франции рано наступает весна, фельдфебель!..

— Вот, полюбуйтесь! — повернулся фельдфебель к офицеру.— Выплюнь, сейчас же выплюнь! — приказал он.

Василий медленно вынул изо рта веточку, но тут же с улыбкой воткнул ее в петлицу своей рваной куртки.

И слова его, подхваченные женщинами, которые сидели поблизости, уже передавались, как эстафета, дальше и дальше: «Мы во Франции... мы во Франции».

— А ну поднимайтесь! По одному! — дал команду фельдфебель.— Бабы пока остаются на месте. А ты, Василий, тоже стой, и ни шагу, не то худо будет.

На платформе нескончаемой лентой выстраивались пленные, и фельдфебель усердствовал то тут, то там... Улучив удобную минуту, доктор шепнул железнодорожнику:

— Мы молчим, а надо кричать!

— Нет, не кричать, а действовать,— отозвался тот.

И как бы желая подтвердить слова делом, он подошел к Василию, который, казалось, безучастно стоял в стороне, а на самом деле внимательно поглядывал вокруг.

— Послушай,— зашептал железнодорожник,— передай остальным...

Василий посмотрел на него — не столько недоверчиво, сколько испытующе и, хотя ничего не понял, чуть придвинулся к этому французу, уловив в его интонации нотки дружелюбия, которые он впервые услышал на чужой земле.

— Сталинград... Понимаешь меня: Сталинград!..— с опаской поглядывая вокруг, твердил железнодорожник.— Фашистам — капут! Двадцать дивизий — капут!

Он попытался пояснить свои слова жестами и, чтобы освободить руки, поставил фонарь на пол раскрытого вагона. Красно-белый свет его упал на груду распухших трупов и словно пробудил запах разложения, который в эту минуту ощутили вдруг все.

— Двадцать дивизий! — продолжал шептать железнодорожник.— Фон Паулюс — капут! Красная Армия, камрад!

Вот теперь Василий уловил смысл незнакомых слов, он закивал головой и незаметно улыбнулся железнодорожнику.

Тем временем доктор шарил по карманам, желая хоть что-то оставить этому, с первого взгляда понравившемуся ему русскому, но так ничего и не найдя, сорвал с шеи шарф и протянул Василию.

Пленные уходили с платформы. В самом конце вереницы изможденных людей шел худенький человек невысокого роста с узким лицом. Он наклонился было к еще сидевшей Галине, но солдат замахнулся на него прикладом, и пленный беспомощно зашаркал дальше.

В конце концов настал черед женщин. Они с трудом спускались по обледенелой железной лестничке. И когда последняя из них — Галина — исчезла в темноте, Василий взвалил себе на плечи лежавшего на платформе мертвеца и двинулся следом за остальными. Они были удивительно похожи эти две головы — живая и мертвая. Прежде чем ступить на лестничку, Василий мягко провел свободной рукой по волосам умершего.

Теперь и врач, обменявшись с железнодорожником крепким рукопожатием, пошел вслед за пленными.

■

Барак в лагере Б. Сюда пригнали около сорока русских пленных. Почти все они, едва оказались под крышей, тут же рухнули на нары,

а иные прямо на землю, даже не позаботившись пристроить свои жалкие пожитки. Многие тут же забылись глубоким сном.

Несколько минут спустя появились двое бельгийцев с пистолетами на боку и хлыстами в руках.

Как все подлипалы, откормленные бельгийские штурмовики выказывали даже больше садистского рвения, чем сами немецкие оккупанты. Это были рексисты — члены ультранационалистической организации, основанной в Бельгии Леоном Дегрелем, последышем Гитлера и ярым поклонником его расистской идеологии. Из них немцы набирали местную полицию, главной задачей которой была борьба с движением Сопротивления. Из них же вербовались и солдаты на фронт. Но лишь часть рексистов руководствовалась, так сказать, идеологическими соображениями, в большинстве же своем это были просто-напросто разного рода подонки, доведенные до крайности отсутствием заработка. Впрочем, заодно с ними действовала и так называемая «золотая молодежь» из Брюсселя, Гента и Антверпена. Все они вызывали у честных людей такое же презрение и ненависть, как дарнановские молодчики в Южной зоне Франции. А поскольку северные департаменты Франции находились в ведении Большой брюссельской комендатуры, рексисты, действуя в контакте с эсэсовцами, чувствовали себя там как дома.

— Встать! Раздеться догола! — крикнул один из рексистов.

— Повтори им по-русски,— посоветовал второй.

— Ты что, спятил? Если я начну упражняться в этом языке,— и рексист выразительно мотнул головой куда-то в сторону,— меня мигом пошлют ползать с автоматом по русскому снегу. Ничего, сейчас увидишь, как они понимают наш язык.— И он повторил приказ: — Раздеться догола! Будет осмотр. Ясно?

И кинувшись к одному из лежавших на нарах пленных, содрал с него куртку. Всем сбросить одежду, всем — жестами пояснил он. Пленные стали подниматься, стягивать с себя куртки, штаны.

— Зачем тебе это вдруг понадобилось? — вяло поинтересовался напарник.

— Надо назначить капо!..

— Ну так и назначай...

— Э-э, да ты, видно, совсем зеленый, Симон. Капо — это старший в команде. Они его должны бояться не меньше, чем нас. А он должен верно служить нам. И если он окажется слабак, они мигом запугают его, а то и просто уничтожат. Вот почему из всех я выбираю самого крепкого и даю ему жрать больше, чем остальным. И у меня в шахте капо не работают. Я делаю их надсмотрщиками. И, поверь, есть такие, что на них можно положиться больше, чем на некоторых из нас.— И он вновь повернулся к пленным.— А ну, шевелитесь! Я должен посмотреть, остались ли еще у кого-нибудь приличные мускулы.

Начался осмотр. И рексист, как барышник на конной ярмарке, стал щупать бицепсы, хлопать людей по ягодицам, заглядывать в рот. По ходу дела он изощрялся в доступном ему остроумии:

— Ну, ты-то не соблазнишь даже самую дохлую француженку... А твои кости не годятся даже для удобрения степей дяди Джо — наверняка останутся здесь...

Пленные не знали французского языка и хмуро молчали, а если до некоторых и доходил смысл этих шуточек, они делали вид, что не понимают их. Наученные горьким опытом, они вели себя так, чтобы не дать ни единого повода для побоев и новых надругательств, а главное, настолько они устали и измучились, что думали лишь о том, как быстрее отделаться от рексиста, чтобы хоть немного соснуть. Лишь немногие оказались в состоянии снова натянуть на себя тряпье.

Рексист уже заканчивал «осмотр» и со все возрастающей досадой твердил:

— Трупы! Ни одного стоящего парня! Сплошные трупы...

В эту минуту дверь распахнулась и на пороге барака появился Василий. Солдат с силой втолкнул его, но пленный удержался на ногах.

— А ну, иди к остальным! — приказал солдат.

— Ага, наконец-то нашлось что-то любопытное! — почти с восторгом воскликнул рексист, оглядывая голую мускулистую руку Василия.— Лучшего и ожидать нельзя. Откуда ты такой взялся? С неба, что ли, упал? — И без колебаний предложил пассивно топтавшемуся рядом напарнику: — Давай назначим этого парня — пусть он будет капо в бараке. Впрочем, его и над всем лагерем поставить бы можно.— И уже обращаясь к Василию, спросил: — Ты ведь хочешь стать капо? Да, Иван? А по-настоящему как тебя звать?

Все это он произнес по-французски, и Василий в ответ даже бровью не повел. Тогда рексисту пришлось перейти на ломаный русский:

— Твоя быть капо! Да? Твоя довольна?

Все пленные, как один, повернулись в сторону Василия. И он, лихорадочно прикидывая в уме все «за» и «против», искал в их пристальных взглядах ответа, как быть. Ведь его с ними многое тесно связывало, и есть уже общий, притом немалый, опыт совместной борьбы с невзгодами фашистского плена. Устремленные на него взгляды он понял с первой секунды, да и не могли они ничего другого ему сказать, кроме того, что Василий чувствовал сам: предложение рексиста открывало не только для него, но и для всех пленных хоть какую-то надежду, пусть маленький, а все же просвет в их судьбе.

— Ну так как же? — торопил его рексист.

И тогда Василий, выпрямившись и стараясь правильно произнести слова, отрапортовал по-французски:

— Капо Василий здесь!

Рексист хотел было скрепить уговор рукопожатием, но Василий сделал вид, что не заметил протянутой руки.

— Что же, значит, решено! — сказал рексист.— Меня зовут Леопольд. Теперь нам придется работать вместе. Думаешь, просто будет заставить двигаться эти тени? Так что давай лучше дружить... Ну, пожми же мне руку, Василий!

И тогда Василий с такою силой сжал ему руку, что рексист сморщился и чуть не закричал от боли. Однако он быстро овладел собой и растянул губы в улыбке.

— Ей-богу, я сделал правильный выбор. Ладно, теперь шутки в сторону! Распределяй их по нарам. Пока у вас праздник: пусть поспят, а потом и похлебку дадим...

И оба рексиста вышли из барака. А Василий опустился на землю и уткнулся головой в сплетенные руки.

Один из пленных, по имени Михаил, человек с узким, отмеченным оспой, изможденным лицом, подошел к Василию. У него был высокий лоб и серые выразительные глаза, которые умно и проницательно смотрели вокруг.

— Ты правильно решил,— только и сказал он.

Они с Василием не так уж давно знали друг друга — всего лишь с той поры, когда в распределительном пункте для пленных на Рейне Василий навлек на себя гнев начальства. Он отбывал наказание в карцере вместе с другими непокорными, и к ним бросили человека с обезображенным, избитым лицом. Все остальные попали в карцер тоже после жестоких избиений, но Михаил был попросту близок к

смерти. И если он в конце концов остался жив, то лишь благодаря Василию, который даже в этих нечеловеческих условиях сумел выходить умиравшего товарища. Уже позже выяснилось, что они были почти земляками — из Винницкой области.

До войны Михаил собирался посвятить себя музыке и учился играть на скрипке. Но война сломала все его планы.

В карцере земляки подружились. Скоро Михаил убедился, что у Василия рука не только добрая, но и тяжелая. Когда в какой-то момент один из узников, обезумев от голода, заявил, что готов прислуживать немцам, лишь бы кончились эти муки, Василий, рассвирепев, избил его. В карцере воцарилась гнетущая тишина, и тогда Михаил первым сказал, что Василий правильно сделал.

После того как их выпустили из карцера, Василий и Михаил продолжали поддерживать контакт — в той мере, в какой позволяли обстоятельства тяжелой лагерной жизни. Михаил познакомил Василия с Галиной. В самые беспросветные минуты гитлеровской неволи к молодым людям — Галине и Василию — пришло светлое чувство любви.

Василию очень было по душе умение Михаила использовать малейшую возможность для борьбы с поработителями. Это Михаил невесть каким образом узнавал о том, что на Восточном фронте советские войска и партизаны дают отпор фашистам; любое его сообщение, как эстафета, передавалось из уст в уста и внушало пленным надежду, преисполняло их стойкости. И именно Михаил горячо убеждал Василия создать среди пленных боевую организацию, на первых порах хотя бы комсомольскую ячейку...

Глава II

Наступил апрель 1943 года. На караульной вышке, с которой хорошо просматривался лагерь Б., как и положено, стоял немецкий солдат и изнывал от того, что так медленно тянется время. Он покосился на часы — еще только два часа дня! — и в который раз окинул взглядом открывавшуюся сверху унылую картину... «Хоть это, конечно, лучше, чем попасть на Восточный фронт»,— подумал солдат, но уж больно ему все здесь опостылело: и эти темные отвалы, и круглые башни теплоцентрали — присосавшиеся к земле чудовища, над которыми и днем и ночью стоит смрад,— и высокие мачты электропередач, словно бы подпирающие туман, и грязные черепичные кровли рабочего поселка. Оттуда, снизу, шел глухой гул, порой доносился скрежет металла, а то и вой сирены, но нет-нет да и наступала вдруг обманчивая тишина, и тогда можно было подумать, что вообще на свете царят мир и покой. Даже ему, солдату, охранявшему лагерь, не очень-то было ясно, что происходит внутри этих замысловатых и загадочных сооружений, а в общем-то чего особенно раздумывать — хорошо уже и то, что вокруг не бушует настоящая война!

Солдату было скучно — не развлекало его даже созерцание русского паренька лет семнадцати-восемнадцати, привязанного к столбу у подножия вышки. Проходившие мимо пленные тоже не смотрели на юного мученика.

Но вот к столбу подошли Василий и Михаил. Одеты они теперь были уже куда приличнее, чем в то морозное утро, когда впервые ступили на французскую землю. И хотя трудно было бы сказать, какого цвета и какой формы была прежде шапка Михаила, все же этот видавший виды головной убор надежно защищал голову от ветра и холода. А Василий, словно бравируя тем, что не боится ничего на све-

те, подставлял ветру густые, разделенные более или менее ровным пробором волосы.

— Ну, мне все ясно! — промолвил Михаил, поглядев на паренька.— Ты правильно поступил, Василий, другого выхода не было...

Тем временем Василий, обойдя столб, развязал веревки.

— Ступай к себе в барак! — приказал он пареньку.— И вот еще что: три дня будешь отдавать мне половину своей пайки хлеба. Ровно столько, сколько ты умудрился спереть! Да не реви ты! Сам воровал — сам и будешь каяться...

— Что ты понимаешь?! — потирая затекшие руки, вызывающе бросил паренек.— Хлеб я отдам, а чтобы каяться — не жди, не буду!

— Я и не жду! — беззлобно усмехнулся Василий.— Меня только удивляет, чего ты ревешь, раз ты такой храбрый? Да еще на глазах у этого фашистского попугая...— И Василий кивком головы указал на вышку, откуда со скучающим видом посматривал на них часовой.

— Ты-то хуже любого попугая, ты лютый волк! — огрызнулся паренек.— Тот надсмотрщик, когда я хлеб брал, может, и не заметил бы, а ты рад стараться! Выслужился!..

Василий и Михаил только весело переглянулись, и это вызвало у паренька новый взрыв досады и негодования:

— Ты ведь такой же русский, как и мы, и над русскими свою власть показываешь... А мы считали тебя товарищем...

Василий ответил не сразу.

— А я и должен быть лютым... волком! Я ведь капо здесь, а капо добренькими не бывают, за это их хорошо и кормят, и товарищей у капо не может быть! Заруби это себе на носу. И другим скажи, когда зайдет разговор...

Произнося это, Василий не смотрел на обозленного паренька — взгляд его, странный и отрешенный, скользил по облакам, которые медленно плыли в весеннем небе...

— Неправда! — возмутился паренек и показал на Михаила.— У тебя есть любимчики, вот этот — ты же относишься к нему как к товарищу!

И снова в глазах у Михаила мелькнула смешинка.

— Ошибаешься! — твердо отрезал Василий.— Он мне не дружок и не товарищ. Это всего лишь мой помощник. А теперь давай сыпь отсюда!

Паренек медленно побрел прочь. А Михаил, глядя ему вслед, тихо обронил:

— Молодец! Разыгрываешь роль как по нотам.

Василий не спеша смотал веревку и, рассеянно похлопывая ее концом по сапогу, сел спиной к столбу, прямо на землю.

— Чуешь, чем в воздухе запахло? — тихо произнес он, незаметно для самого себя перейдя на родной украинский.

— Ты хочешь сказать, что соки забродили? — вперив сузившиеся глаза в землю, вопросом на вопрос ответил Михаил.

И оба вдруг разом заулыбались. К ним шла Галина. Она теперь тоже выглядела иначе. На ней были военные брюки, мужская куртка, темно-каштановые волосы прикрывал вылинявший платок.

Словно и не заметив Михаила, она с ходу укоризненно бросила Василию:

— Зря ты так обошелся с парнишкой. Ведь он совсем еще сосунок... Правда, дело у меня к тебе другое.

— Я тебя слушаю, голубка! — внимательно посмотрел на Галину Василий.

— Мне нужен пропуск за проволоку. В город.

— Когда?

— Завтра утром.

— Исключено... На будущей неделе — пожалуйста. Но... не раньше.

— Ишь какой начальник стал! А мне надо именно завтра. К тому же, ты ведь говорил, что отпустишь... А теперь чего уперся?

— Галина... любовь моя...— с улыбкой начал было Василий и тут же умолк, только шутливо пригрозил веревкой.

— Лучше уж не грози,— улыбнулась в свою очередь Галина,— чего-чего, а счеты свести успеем. Так ты серьезно не отпустишь меня в город? А почему?

— Вполне серьезно.

— Ну, почему же?

— Нельзя — и все,— сказал Василий, чуть повысив тон и этим давая понять, что разговор окончен.— Пошли, Михаил!

— А ты тоже хорош! — только теперь обратилась Галина к Михаилу.— Другой замолвил бы словечко. Так нет же.

Михаил лишь пожал плечами.

Галина проводила долгим взглядом удалявшихся мужчин, потом посмотрела на безоблачное весеннее небо и невольно улыбнулась. Часовой на вышке принял эту улыбку на свой счет и закричал по-немецки:

— Эй, куколка, как тебя звать?

Но Галина вместо ответа побежала прочь.

А внимание часового тем временем привлекла дорога: снизу донесся глухой топот ног. Часовой приставил к глазам бинокль и увидел вдали колонну военнопленных, возвращавшихся под охраной рексистов из шахты. Пленные были тоже одеты получше, чем раньше, но сейчас, после изнурительной работы, еле волочили ноги от усталости.

В лагере был заведен твердый порядок: пленных выстраивали перед воротами гуськом и затем по одному впускали в железную калитку. Первым шел капо, который вел счет остальным, громко выкрикивая их номера. Сейчас он сообщил итоговую цифру Михаилу, который в лагере выполнял обязанности учетчика. Позади Михаила стоял человек в штатском, подтянутый, хорошо одетый. Это был переводчик, судя по всему — из белоэмигрантов. Он держал в руке листок с номерами, под которыми числились пленные, и, поставив карандашом очередной крестик, кивком головы указывал, кому надо выйти из цепочки. Провинившихся на работе отводили в сторону и назначали так называемое «малое наказание» — лишали похлебки. В этот день их оказалось шестеро — поглядывая с неприязнью на переводчика, они сумрачно выстраивались за его спиной.

Остальные шли к навесу, под которым находилась кухня. Рексисты ели сидя, не выпуская из рук оружия. Пленные — стоя.

По другую сторону перегородки Василий, став рядом с поваром, следил за раздачей пищи. Процедура эта, впрочем, была краткой и предельно однообразной: каждый получал свою порцию и тут же отходил. Но вот Василий вдруг остановил руку повара:

— Слишком много!

Пленный, однако, уже успел схватить миску и, лишь искоса взглянув на Василия, жадно набросился на еду.

— Ну нет, этот номер не пройдет! — Василий в один миг перемахнул через загородку, выбил из рук пленного миску и, сгребя его в охапку, стал выталкивать из-под навеса.— Сейчас ты у меня наешься!

— Ну и силища же у этого капо! — хихикнул кто-то из рексистов.— Настоящий турок!

Тем временем место Василия рядом с поваром уже занял Михаил, и выдача похлебки продолжалась.

Когда капо и его жертва очутились на дворе, так что сидевшие под навесом уже не могли их видеть, Василий разжал руки, и пленный, переведя дух, неожиданно зашептал:

— Ну, как? Теперь уже скоро?

— Тихо!.. Терпение, браток! — процедил сквозь зубы Василий.— Если не сумеем перебить команду, никуда не убежим.

Пленный, которого звали Иваном, был из Суздаля. Выходец из былинного русского города, он и выглядел как истинный русак: голубые, будто северные озера, глаза; тело широкое и крепкое, хотя сейчас это и не очень было заметно. Возможно, виной тому были чересчур уж запавшие виски и тонкие губы, то и дело кривившиеся в едкой, саркастической усмешке, да длинные пальцы, на которые он как раз и смотрел с этой своей усмешкой,— изуродованные, в ссадинах и незаживающих ранках. По профессии он был электриком и до войны считал себя человеком сугубо штатским. В 1940 году, когда ему исполнилось 30 лет, он закончил вечернее отделение института и только стал инженером, как пришлось идти защищать родину. В Ленинграде у него осталась жена, которая сразу же после объявления войны пошла работать в госпиталь медицинской сестрой, и еще — восьмилетняя дочка. Живы ли они обе? Откуда он мог теперь это знать?! Но Иван часто рассказывал о них Василию и всякий раз думал: неужели произойдет чудо и он когда-нибудь увидит своих любимых?.. Попав в плен где-то под Смоленском, он стал человеком мрачным, обозленным, ко всем недоверчивым, люто ненавидевшим врага. Впрочем, едва первых военнопленных доставили в 1942 году в лагерь Б., как именно вокруг Ивана стали сплачиваться те, кто не утратил надежды выбраться из неволи. Поначалу он наотрез отказался работать на гитлеровцев и незамедлительно попал в карцер, где только чудом не умер. Иван не скрывал своей ненависти к подонкам, которые властвовали в лагере, и можно было только удивляться тому, что он до сих пор еще жив. Василий, едва попав в лагерь, сразу же заметил эту прямолинейность Ивана и без обиняков сказал ему:

«Если хочешь сражаться, перво-наперво надо выжить... Иван Евгеньевич, ты сам идешь в лапы к смерти...»

«Я не такой предатель, как ты! — взорвался Иван.— Все наши презирают тебя, мерзавец!»

«А я сознательно пошел на то, чтобы меня считали таким, чтобы люди плевали мне в лицо... Однако я ненавижу гитлеровцев не меньше, чем все другие и чем ты, Иван. И еще я хочу увидеть их поражение — так хочу, что для меня цель, как говорится, оправдывает средства. Так вот: чтобы свести счеты с фашистами, мне понадобятся электрики, поэтому ты будешь у меня сыт. Одной рукой я буду отбирать у тебя миску с баландой, а другой давать тебе вдвое больше. Вот и разбирайся, какая тактика лучше, а пока — не смотри на меня с такой ненавистью!»

Постепенно Иван почувствовал к нему доверие, и они стали соратниками в нелегкой борьбе. И вся эта сцена с похлебкой была давно ими продумана в мельчайших деталях — она должна была послужить своеобразным паролем, а точнее: сигналом к побегу. Вот почему, едва Василий выволок своего товарища из-под навеса, как Иван пришел в трудно сдерживаемое возбуждение: значит, наступил этот день, о котором они так много думали и к которому так тщательно готовились.

Василий потянул товарища в барак, где был отгорожен закуток для капо. С грохотом швырнув на пол табуретку, Василий скороговоркой тут же спросил:

— Так ты видел Клебера?

— Нет,— развел руками Иван.— Он с утра занимается страховкой.

— А, черт!

Наступило молчание. Василий выхватил из рук Ивана миску, ударил ею сначала о стол, а затем что есть силы швырнул в окно.

Вслед за звоном разбитого стекла послышался дружный хохот рексистов: когда один пленный дубасит другого, это ли не веселье?!

— Ну и силен же этот Василий! — только и вздохнул кто-то из военнопленных.

Тем временем Василий шепнул Ивану:

— Ну что ж, упускать возможность нельзя и бежать все равно придется сегодня. Ничего не меняется! Ключ добуду я! Значит, вечером... Ну а Клебер? Придется искать его уже после.

— Хорошо,— кивнул головой Иван.

— Отлично, договорились. А теперь отбывай наказание и заделывай окно. Попозже получишь свою баланду и в придачу хлеб.

■

Когда над лагерем сгустились сумерки, окно уже было заделано — но не стеклом, а картоном. Впрочем, это, видимо, не смущало знакомого уже нам рексиста Леопольда и капо Василия. Ноги их обдавал жаром электрический камин, лица раскраснелись — шла азартная карточная игра.

Сражались они, правда, молча, но оба то и дело кидали друг на друга острые, испытующие взгляды, пытаясь угадать, какой ход может сделать противник. Лагерь спал. Воспользовавшись часами вечернего отдыха, Леопольд обучал Василия хитроумной валлонской игре, именуемой «бесстыдник». Два стакана и початая уже бутылка вина свидетельствовали о том, что Леопольд явно благоволил лагерному капо, которого он так удачно выбрал из толпы истощенных пленников. Покуривая трубку, рексист снисходительно поглядывал на Василия, но играл рьяно.

— Много уже времени? — неожиданно поинтересовался Василий.

— Да нет, еще только без пяти семь,— махнул рукой увлеченный игрою рексист.

— Что ж, иду с червей...— решительно объявил Василий.

Леопольду стоило большого труда скрыть ликование: ведь у него на руках был как раз червонный туз, да в придачу десятка той же масти. И помимо козырей — еще трефовый туз и король. Все это внушало рексисту уверенность, что теперь-то он уж непременно выиграет. «Э-эх, и опростоволосился же ты у меня»,— с торжеством подумал рексист, а сам с нарочито глубоким вздохом проговорил:

— Ну что ж... рискнем...

Леопольд накрыл червонную девятку своей козырной десяткой и, уже не скрывая ликования, выложил на стол козырного туза.

— А я-то думал, что ты сильный, капо! — сказал он.

— Я и есть сильный... и притом — главный капо в лагере...

— Ты-то! — расхохотался Леопольд, взмахнув в воздухе, точно дубинкой, трефовым тузом.— А ну, руки на голову!

Василий растерянно развел руками и нарочито медленно поднял их вверх.

— Вот что происходит даже с сильным капо, когда голова плохо думает,— нравоучительно заявил рексист.— Капут, капо, капут, вот что! — И стал собирать карты.

Василий как-то странно улыбнулся. И такой недоброй была эта улыбка, что рексист, заметив ее, насторожился. Но Василий снова повторил свой вопрос:

— Так который у нас теперь час?

— Ровно семь.

— Значит,— вдруг поднялся Василий,— время пришло!

— Какое время? Что за дичь ты несешь? Или расстроился, что проиграл? Потерял веру в удачу?

— Нет, отчего же. Просто я хочу показать вам еще одну игру. Сами увидите, что игра прелюбопытная. Только вам придется пониже пригнуться к столу!..

— Да ну тебя, Василий! — отмахнулся рексист.— Правда, вообще-то я люблю фокусы. Но ты ведь еще не отыгрался... а у нас времени хоть отбавляй.

— А вы все-таки посмотрите! — настойчиво произнес Василий.

«А почему бы и не посмотреть?» — вдруг подумалось Леопольду. Не так-то просто двадцать четыре часа в сутки возиться с обессилевшими людьми. Устав от собственной жестокости, постоянных окриков и брани, необходимости твердо и гулко печатать шаг, может же он сейчас позволить себе хоть на время расслабиться! Вообще-то есть, конечно, и другие способы развлечься: вино, женщины... Однако с девками здесь, во Франции, не так-то просто: сколько известно случаев, когда они затаскивали своих кавалеров в такие места, откуда не каждый выбирался! Немцев они, правда, побаиваются, но с рексистами сводят счеты, дают волю ненависти. Ну, а в Брюссель к своим девочкам когда еще попадешь — разве что удастся получить долгосрочную увольнительную. Все равно: будь доволен, что хоть в этом лагере получил власть. Все лучше, чем рисковать жизнью на войне... А сегодня он тут и вовсе самый главный начальник: раз в неделю он дежурит и волен поступать как хочет...

Так раздумывал Леопольд, пока Василий старательно тасовал карты. Делал он это как заправский фокусник, а рексист снисходительно улыбался — интересно, чем удивит его хитрый капо? Василий же то разворачивал карты веером, то вновь собирал в колоду и, словно желая создать иллюзию циркового трюка, танцующей походкой подошел к приемнику, из которого лилась какая-то лирическая мелодия, и усилил звук.

— Видите эту карту?! — на ходу спросил он.

— А как же? Червонный туз!

Василий продолжал, раскачиваясь, как в танце, двигаться вокруг стола.

— А эту?

— Снова червонный туз!

— А вот сейчас... Минуточку... Не оглядывайтесь... Раз... Два...

Обогнув стол, Василий оказался позади рексиста и, не медля ни секунды, набросился на него. Трубка Леопольда упала на пол. Карты разлетелись в разные стороны. Василий схватил рексиста за горло. Через некоторое время, почувствовав, как затекают руки, он на мгновение разжал пальцы, но тут ему показалось, что жертва его приоткрыла глаз, и он снова сомкнул стальное кольцо. От напряжения лоб Василия покрылся испариной... Наконец, он отбросил рексиста на спинку стула. Трясущимися, онемевшими пальцами достал из кармана рексиста ключи, отстегнул пистолет, затем взял его форменную фуражку и хотел было надеть, но то ли ему вдруг стало противно, то ли она оказалась мала — только Василий в сердцах отшвырнул ее в сторону. Потом затолкал в шкаф неостывший еще труп, выключил свет и быстро вышел из барака.

Шагал он внешне спокойно, не позволяя себе торопиться. Возле железной калитки, пригнувшись, его поджидали Михаил и Иван.

И хотя тратить время на разговоры было нельзя, Василий торжествующе зашептал:

— Вы уже здесь? Красавчик прикорнул в шкафу. Можете убедиться!

— Ты что, рехнулся! — перебил его Михаил.— Мы же верим тебе... Бежим! И скорее!

— Давай, давай,— подхватил Иван.— Пока не подняли тревогу!

Василий быстро вставил в замочную скважину большой ключ, и железная дверца тотчас отворилась. Один за другим все трое выскочили наружу, тщательно прикрыли за собой калитку и, прижимаясь к стене, пригнувшись, двинулись в темноту. Через минуту-другую на пути их оказался ров, и они, не разгибаясь, соскользнули в него.

На четырех вышках по углам ограды стояли часовые. Вокруг было тихо — ни звука, ни шороха. Неся караул, солдаты думали о своих семьях, о родных местах и, с трудом отгоняя сон, невольно позевывали.

■

Ранним утром о дерзком побеге уже знали во всех селениях, находившихся вблизи лагеря Б.,— и в Дрокуре, и в Энен-Льетаре, и даже в Билли-Монтаньи. Атмосфера всюду была настороженная, тревожная.

Серую дымку раннего утра прорезали движущиеся лучи прожекторов, установленных на сторожевых вышках лагеря. Они шарили по кустарникам, ползли дальше к железной дороге, но все было тщетно.

По улицам шахтерских поселков медленно разъезжали грузовики с солдатами. И даже обыкновенная кошка, неосмотрительно выбежавшая на мостовую, тотчас была сражена пулеметной очередью. Любой из жителей, появившийся на улице, сразу попадал в окружение зеленых мундиров и подвергался тщательному допросу. Женщину с детской колясочкой и ту остановили, обыскали и обнаружили... пять картофелин.

Возле кафе в Марокканском квартале Энен-Льетара с велосипеда спрыгнул человек лет двадцати пяти. Подойдя к стойке, он спросил хозяина, как проехать по нужному ему адресу. Тот машинально посмотрел на руки посетителя с тонкими кистями и длинными пальцами, сразу видно — не из рабочих. Но в кафе этом бывали люди всякие, к тому же хозяин, немало напуганный происходящим, даже рад был возможности отвлечься и поговорить.

— Вряд ли вы сумеете, мосье, сейчас проехать. Из лагеря бежали какие-то русские, и весь квартал оцеплен солдатами.

Пьер — так звали человека, оставившего у входа свой велосипед,— удивленно вскинул брови, затем вдруг спросил, где тут уборная. В те годы на севере Франции уборных в кафе еще не было, и Пьеру пришлось отправиться на двор. Уединившись, он извлек из карманов несколько листов бумаги разного формата и тут же один из них со штампом «Французские франтиреры[1] и партизаны» изорвал в клочки. Точно так же он поступил и с некоторыми другими документами. Бросив их в унитаз и тщательно проследив за тем, чтобы все клочки смыло водой, он некоторое время обдумывал, куда спрятать несколько оставшихся листков, видимо особо важных. В конце концов он положил их в клеенчатый пакет и заткнул сзади за брючный ремень.

«Как все-таки сказываются слабости в организации нашего дела,— подумал он.— Силы разобщены, а связь оставляет желать лучшего...

---

[1] Вооруженные отряды Сопротивления, созданные под руководством компартии и действовавшие на территории Франции во время немецко-фашистской оккупации.

Но так или иначе через неделю ответственный за наш сектор уже будет знать все детали операции... если, конечно, я сумею передать по цепочке необходимые данные. Только вот сумею ли? Ведь меня, точно глупую муху, запутавшуюся в паутине, в любую минуту могут прихлопнуть. И зачем черт меня понес именно сюда? Побоялся ехать прямым путем из Энена в Ленс... Можно, конечно, попытаться переждать у кого-нибудь из друзей — ведь их у меня тут немало. Впрочем, задерживаться нельзя, да и доверяться опасно. Документы мои, конечно, сработаны отлично и все же — на чужое имя. Значит, хочешь не хочешь, а надо пробиваться дальше...»

Приняв это решение, он быстро прошел через кафе на улицу, вскочил на велосипед и помчался по намеченному пути. А уже через минуту-другую Пьер понял, что прямиком угодил в ту самую паутину, которой так опасался: на перекрестке его задержал патруль СС.

■

Клебер поджидал Мари у перехода через железнодорожное полотно. На вид ему можно было дать лет тридцать. Шахтер по профессии, он так и выглядел — широкий в плечах, кряжистый, со смуглым, точно впитавшим в себя угольную пыль лицом. Мари, жена его товарища, шахтера, была женщина энергичная, удивительно живая и подвижная для своих сорока лет.

— Держи! — торопливо сказал ей Клебер и протянул пакет в фирменной упаковке, на которой значилось: «Почти как кофе».— И смотри не мешкай! Бумага промасленная, и если пакет вовремя не развернуть, можно все испачкать.

— Будет сделано, Клебер. Спасибо! — И, кивком головы указав в сторону лагеря, она спросила: — Кстати, скажи-ка, что это там у них стряслось?

— Русские сбежали из лагеря. Только бы им набрести на друзей! Во всяком случае, если тебе что-нибудь станет известно, ты знаешь, где меня найти.— И он многозначительно подмигнул.— В агентстве по социальному страхованию!.

И по тому, как оба улыбнулись, нетрудно было заключить, что тут крылось нечто совсем другое.

А тем временем эсэсовцы заканчивали обыск Пьера. Они проверили содержимое его карманов, тщательно ощупали грудь, живот, но к пояснице сзади даже не притронулись. Пьер стоял белый как полотно. Но вот старший из эсэсовцев махнул рукой и разрешил ему следовать дальше. Ноги у Пьера были точно ватные — казалось, он ни за что не сможет сесть на велосипед. Сам не веря своей удаче, он все же взобрался на сиденье и, с трудом нажимая на педали, поехал прочь.

■

Мари вернулась к себе. Дом, где она жила со своим мужем Жюлем, с улицы ничем не отличался от других: и стены, и окна, и дверь, да и мансарда — все было обычным, таким же, как у соседей. Но внутри обнаруживались весьма любопытные особенности. Нельзя сказать, чтобы Жюль заранее продумал план расширения своего жилища, но уже давно он собственными руками соорудил за кухней небольшую пристройку, затем удлинил ее с помощью террасы, а несколько лет спустя к дому прилепились сначала одна кладовка, потом другая... К одной из них примыкал крохотный зимний садик — здешние жители именовали так обычную веранду, которую почти целиком обвивал буй-

ный плющ. Добавьте к этому курятник и непременную голубятню — и вы сможете представить себе, какие лабиринты скрывались за ничем не примечательным фасадом этого домика и сколь неистощима была архитектурная фантазия хозяина, который сумел на целых шестьдесят метров удлинить свое жилище, да еще оснастить его погребом и чуланами для хранения всякой утвари.

Мари проследовала через все эти владения и, уединившись во второй кладовке, развернула полученный от Клебера пакет. Внутри оказались небольшие листовки для расклейки, на которых типографским шрифтом, набранным явно вручную, были напечатаны броские слова: «Люди доброй воли! Помогайте всем, чем можете, русским военнопленным!» И под этим подпись: «Национальный фронт».

С минуту Мари стояла и с улыбкой смотрела на кипу листовок. Потом вытащила из угла ящик с гвоздями, разгребла их и положила листовки на дно.

■

Утром в лагере Б. все работы были отменены. Военнопленные стояли в шеренгах возле своих бараков. Вокруг них носились рексисты. До предела взвинченные происшедшим, они, не раздумывая, пускали в ход хлыст, если кто-то стоял недостаточно вытянувшись или им мерещилась на чьем-то лице насмешливая улыбка. А некоторые русские и впрямь улыбались, вернее — не без злорадства переглядывались при виде сумятицы, которую вызвал побег их товарищей. Теперь-то безусый паренек, который накануне стоял привязанным к столбу, простил грозному капо перенесенное наказание и, как ни сдерживался, нет-нет да и улыбался во весь рот. Заметив это, рексист наотмашь ударил его хлыстом. В ответ паренек вызывающе запел:

И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда и нигде не пропадет!..

В воздухе снова взвился хлыст. И тогда из шеренги женщин, стоявшей неподалеку, раздался голос Галины:

— Будь разумней, малыш! Замолчи!

На этот раз хлыст просвистел уже над ее головой.

Рексисты вымещали свою злобу и досаду на всех, кто давал к этому хотя бы малейший повод. Даже капо и те расплачивались за дерзкий побег. Еще вчера они обладали властью над остальными военнопленными, а сегодня все десять капо оказались привязанными к столбам. Среди них не было только одного — Василия!

Дознание шло в конторе лагеря. Сюда пожаловали и эсэсовские офицеры, и рексистское начальство. Вызвали старшего рексиста, отвечавшего за порядок в лагере. Тут же был и переводчик в дымчатых очках.

— Нет, это просто неслыханно! — распекал своего подчиненного один из рексистских начальников.— Вы лично отвечаете за то, что этому русскому здесь потакали. Подумать только: наш человек во время дежурства по лагерю устраивает кутеж вместе с пленным, которого нужно стеречь больше, чем всех остальных вместе взятых! Сейчас же собирайте свои пожитки и марш на Восточный фронт!

— Теперь слушайте вы! — обратился к переводчику эсэсовский офицер.— Вам тоже не уйти от ответственности, если среди этого сброда вы не найдете тех, кто помогал беглецам.

— Мне лично кажется,— уныло развел руками переводчик,— что у этого капо не было сообщников, кроме тех, которые бежали вместе

с ним. Я уверен, что он очень хитро и тщательно сам все подготовил. Эти два месяца в лагере он не зевал. Только его сюда привезли, он уже стал думать, как выбраться отсюда. Это... это настоящий черт! И отличный актер к тому же!

— Кто назначил его главным капо?

— Тот, кто больше всех пострадал от него. Покойный...

— Тогда поделом ему! — заключил главный рексист.

— Но этот русский еще жив! — заметил по-немецки офицер СС, обращаясь к одному из своих подчиненных.— Ничего, гестапо его найдет. Надо во что бы то ни стало его поймать, предупредите, кстати, местную полицию.— Затем, перейдя на французский язык, нацист сказал переводчику и рексистам: — Он будет пойман и повешен! А пока... имейте в виду: если вы сейчас же не согнете в бараний рог всех остальных, пеняйте на себя! Дурной пример заразителен, и случись еще что-нибудь подобное, вам тоже несдобровать! Помните: я вас предупредил! Вы за это отвечаете!

■

Жюль арендовал участок земли, на котором выращивал картофель. В этот весенний день, решив прочистить сточные канавы, он лопатой выгребал из них густую черную грязь, грузил на тачки и отвозил метров за пятьдесят на пустырь. Канава была довольно глубокая, да и в ширину не менее двух метров, так что пришлось перебросить через нее мостки и балансировать на них с тачкой.

Каждый раз это требовало от Жюля немалых усилий, и не мудрено, что, с трудом удерживая равновесие на прогибающихся мостках, он и не заметил, как над канавой появилась голова Василия, повязанная коричневым шарфом. В свою очередь, беглец, в мгновение ока оценив обстановку, предпочел тут же снова спрятаться под мостки.

Жюль как раз возвращался с пустой тачкой, когда услышал рокот мотора. Он оглянулся и увидел мотоцикл с коляской. Не подав вида, что заметил полевых жандармов — а их было трое,— Жюль невозмутимо продолжал свой путь и, только когда во второй раз послышалось «Halt!» [1], остановился.

— Ты не видел русских? — спросил один из жандармов.

— Так ведь у нас тут Франция, а не Россия!..— сощурив глаз, начал было Жюль.

— Идиот! — оборвал его немец.— Русские бежали из лагеря. Ты их не видел?

— А откуда я знаю, кто русские, кто нет.— И уступая природному любопытству, тут же спросил:— А сколько их? И как они сбежали?

Сидевший в коляске гитлеровец — судя по погонам, какой-то чин — передернул плечами, презрительно смерил взглядом Жюля, но тем не менее пояснил:

— Трое. Один низенький и двое рослых. Если что-нибудь узнаешь, немедленно доложи в жандармерию!

И мотоцикл помчался дальше.

— Так я тебе, гадина, и пойду туда! — подталкивая свою тачку на мостки, вслух проворчал Жюль.

И тотчас услышал, как кто-то окликнул его:

— Папаша! Эй, папаша!..

Жюль вздрогнул, резко обернулся и чуть сзади, почти у своих ног, увидел голову Василия. Машинально он приложил ладонь к губам. И, только убедившись, что мотоцикл уже исчез из виду, показал три пальца и спросил:

[1] Стой! *(нем.)*

— Вас трое?

— Да,— кивнул головой Василий.

— Понятно,— в свою очередь закивал Жюль.— Одну секунду...

Вытолкнув тачку на другой край канавы, он присел на ручку, скрутил цигарку и, с нарочитой медлительностью раскуривая ее, больше знаками, чем словами, пояснил:

— Вы — ждать пять минут! Ждать, понятно? Мой — патриот! Мой пойдет за платьем. Понимаешь, надо платье!

И для вящей убедительности потряс полами своей куртки, комично оттопырил в стороны синие полотняные штаны. Наконец, убедившись, что его поняли, он подхватил тачку и быстро побежал к дому.

Бежал он так быстро, что стал задыхаться. Положение было крайне рискованное, но Жюль, как это бывает с людьми в критические минуты, вдруг вспомнил совсем другое: доктор велел ему не волноваться, беречь сердце... А, плевал он на праздные советы! Подумаешь, сердце! Ну, постучит кровь в висках... что с того?!

Казалось, внутри у него сейчас все взорвется — воздуха не хватало, дыхание со свистом вырывалось наружу. Но нет, это не старческий недуг! Это — от возбуждения, от радости, от того, что наконец-то и он может сделать что-то важное. Возможно, он всю жизнь ждал именно этой минуты! Русские для него так много значили... Жюль бежал, неистово подталкивая тачку. Русские! И пролетали в его воспаленном мозгу годы юности — 1917 год, породивший новую веру, веру, которая, несмотря ни на что, жила в нем всю жизнь. Он твердо был убежден, что несправедливость и неравенство на земле должны исчезнуть. И если не всюду это получалось, все же была на земле Россия, была надежда. Вот и в эти тяжелые дни в России держались, не покорились! И надо все сделать — да, все,— чтобы помочь этим русским выстоять!

Одним словом, Жюль был из тех, в ком неведомо для многих окружающих сочетались два человека. Один был простым рабочим, исправно рубил в шахте уголь, своими руками делал все, что требовалось в нехитром домашнем хозяйстве, да и внешне ничем не выделялся среди остальных, а другой — тот был мечтателем, глубоко сочувствовал всем переменам, порожденным на нашей планете русской революцией, и непоколебимо верил в новую Россию. Верил и... почти никогда не говорил об этом. Наверно, потому, что все в его роду — и братья, и родители — были людьми малоразговорчивыми, дело у них спорилось в умелых руках, а вот язык не очень хорошо был подвешен. Но сейчас — нет, никакими словами этого не выразишь! — Жюль вдруг понял: наступил самый значительный момент в его жизни!

И он бежал к дому, подталкивая пустую тачку,— бежал так быстро, насколько позволял нажитый в шахте силикоз. Ему не хватало воздуха... он задыхался, кашлял, хрипел — и все же бежал.

И когда он столкнулся возле голубятни с Мари, та даже ужаснулась:

— Да ты с ума сошел! Что случилось?

— Тихо, тихо...— зашептал в ответ Жюль. С трудом переводя дыхание и держась за грудь, он вплотную придвинулся к жене.— Ты только подумай, Мари, как нам повезло!.. Трое русских бежали из лагеря... и все у нас... вон там! Но в лагерной одежде им даже из канавы нельзя вылезти. Нужно во что-то их переодеть, Мари!

Те, кто плохо знал Мари, наверно, удивились бы, увидев, как бесстрастно и спокойно восприняла она это не простое известие. Несмотря на свою экспансивность, эта женщина умела владеть собой. И она лишь деловито заметила:

— Не так-то это легко, Жюль, одеть нынче трех человек. Но делать нечего, пойдем посмотрим, что там у тебя осталось.

Немного погодя Жюль снова отправился со своей тачкой к канаве. Со стороны могло показаться, что он везет золу. Однако под ее тонким слоем лежала мешковина, а на дне тачки — кое-какая одежда. Подойдя к мосткам, Жюль тихо объявил:

— Вот и я! Вы здесь, ребята?

В который уже раз над канавой появилась голова Василия. Не теряя ни секунды, Жюль вытащил из тачки перевязанные бечевкой вещи и протянул беглецу.

— Это — раз! — пояснил он и извлек еще два узелка.— А это — второй... И, наконец, третий! Переодеваться! И быстро!

И Жюль снова, как минут десять тому назад, опустился на тачку и невозмутимо занялся самокруткой. Не успел он раскурить ее, как у ног его уже лежали лохмотья, в которых пленники проделали сложный и полный превратностей путь от лагеря до этой спасительной канавы. Смахнув рассыпанные крошки табака в кисет, Жюль быстро сунул его в карман и швырнул на дно тачки сброшенную беглецами одежду. Убедившись, что из золы не торчит ни единого лоскутка, Жюль внимательно огляделся вокруг. И затем, выпустив изо рта табачный дым, тихо скомандовал:

— Теперь пошли! Выбирайтесь оттуда и двигайтесь за мной!

Когда Василий и Иван вылезли и посмотрели друг на друга, оба невольно покачали головой — до того они нелепо выглядели. А при виде Михаила, утонувшего в перепачканном грязью воскресном костюме Жюля, все так и прыснули. Однако издали всех четырех вполне можно было принять за шахтеров, решивших в свободное время поработать на огороде.

Нарочито неспешной походкой, но зорко глядя по сторонам, они двинулись к дому. Теперь уже тачку толкал Василий, остальные шагали рядом. Жюль, впрочем, шел чуть-чуть впереди.

— Карашо! Все карашо!..— желая ободрить своих спутников, повторял он на ломаном русском языке.

А Василий, подмигивая товарищам, всякий раз говорил по-русски:

— Вот она Франция, ребята!

Он знал всего несколько французских слов и сейчас, желая как-то выразить свою благодарность Жюлю, высыпал их все:

— Друг... много... много... хорошо...— И широким жестом приложил руку к сердцу.

Мари ждала их у порога дома. Но лишь когда беглецы оказались во второй кладовой, она молча по очереди обняла каждого, затем властно объявила мужу:

— Ты ничего не видел и не слышал. Понял? И в наши дела больше не впутывайся!

Жюль мог бы ей возразить. По крайней мере, на этот раз. Но он, как и все в его роду, привык молчать. Не говоря ни слова, он вышел в соседнюю комнату и прикрыл за собой дверь, как это делал всякий раз, когда к жене приходили какие-то люди, которых она называла «нашими». Жюлю оставалось лишь догадываться, что кроется за всем этим.

Глава III

Давно уже в доме, а точнее на кухне, никто не мог бы определить по внешним признакам, день сейчас или ночь. Круглые сутки на окне висело тщательно пригнанное одеяло, и даже в яркую, солнечную погоду внутри горел свет.

На севере Франции в простых семьях кухня служит людям и столовой и гостиной — так уж издавна повелось. Это вовсе не значит, что в доме нет столовой. Наоборот, самая парадная комната как раз столовая. В ней все блестит и сверкает — лучшая в доме мебель, посуда, тщательно натертый воском пол... Но пользуются ею лишь в большие праздники, скажем, на Новый год, в ярмарочное воскресенье или по случаю крестин, дней рождения и других торжеств.

А на кухне — под рукой все предметы будничного обихода, и вообще от плиты до обеденного стола несколько шагов. Ну, а поскольку женщине всегда хочется по возможности создать уют, хозяйка давно уже перенесла сюда любимые вещи: выигранную в лотерее золоченую кружку или, например, часы с кукушкой—зеленая птичка прежде каждый час выскакивала из своего домика над циферблатом и куковала столько раз, сколько показывала малая стрелка, да вот как-то одного юного гостя настолько заинтересовала эта механика, что часы теперь стоят. И все равно они служат украшением кухни, как и два-три календаря, рекламирующие цикорий или кофе под репродукциями полотен Ван Гога и Матисса.

...Окно заштопано с помощью одеяла. Мари хлопочет у плиты: жарит картошку. Жюль сидит возле приемника, ловит нужную волну, и когда, преодолевая помехи, настраивается на Лондон,— война сразу напоминает о себе. Правда, трое русских, не понимая, о чем идет речь, никак на это не реагируют. Михаил и Иван играют в самодельные шахматы, а Василий, с головой уйдя в изучение словаря Ларусса, тщательно перелистывает страницу за страницей, вглядывается в иллюстрации, делает на листке бумаги какие-то пометки, а потом повторяет шепотом подписи под рисунками, стараясь получше запомнить слова.

Но вот он встал и, сверяясь со сделанными записями, громко произнес несколько слов по-французски,— Жюль и Мари так и покатились со смеху: уж больно потешный у Василия акцент.

Однако Василий не обиделся и не огорчился — он продолжал упрямо повторять записанные на листах бумаги слова, дотрагиваясь до разных предметов или жестом давая понять, что тех вещей, которые он называет, под рукою нет. И тогда, время от времени искоса поглядывая на плиту, Мари брала на себя роль учительницы: она сама показывала Василию те или иные предметы и называла их, четко разделяя слова на слоги. Василий уже выучил, как будет по-французски «нож», «хлеб», «картофель», «скатерть», «крюк», «кастрюля», «тарелка»...

В дверь, выходящую на улицу, кто-то постучал, и все тревожно переглянулись. Но Жюль, предварительно посмотрев на будильник, сделал успокаивающий жест.

— Это Клебер! — уверенно сказал он и пошел открывать.

Клебер, однако, оказался не один. И то, что он привел с собой человека, которого никто не знал, вызвало среди присутствующих некоторое замешательство.

— Не беспокойтесь,— поспешил уточнить Клебер.— Это человек свой. Серж из Военного комитета.

Серж был невысокий, худенький, если не сказать — просто тощий, с очень смуглым лицом... Зажимы, стягивавшие его брюки у щиколоток, свидетельствовали о том, что он, видно, немало времени проводит на велосипеде.

— Вы случайно не говорите по-русски? — на своем родном языке спросил его Михаил.

— К сожалению, нет,— развел руками Серж, хотя сам его ответ свидетельствовал о том, что вопрос он понял.— Однако учиться русскому надо,— продолжал он, обращаясь уже к своим соотечественникам-французам,— знать хотя бы некоторые слова. Ведь из лагеря

могут выбраться и другие русские. Мы надеемся, что их будет все больше и больше.

Хотя беглецы не понимали этих слов, они внимательно слушали, что говорил Серж, и ждали, может, кто-нибудь попытается разъяснить смысл сказанного.

— Ну, переводчица,—обратился к Мари по-французски Клебер,— скажи им, что у меня есть поручение от некоей Галины...

Стоило ему назвать это имя, как все трое русских переглянулись.

— Галина просила передать,— продолжал Клебер,— что послезавтра она может получить пропуск на рынок.

Мари попыталась это перевести, но ее запас русских слов оказался настолько ограниченным, что никто из беглецов так ничего и не понял. Со вздохами все уселись за стол. И заговорили наперебой, жестами иллюстрируя свои слова, перебивая друг друга. Но тут уж вообще ничего нельзя было понять. И тогда Василий вновь потянулся за словарем и своими листками с записями. Мгновенно наступила тишина: все напряженно следили за его попытками разобраться в словаре.

— Галина... лазарет... капут?! — наконец раздельно произнес он.

Хозяева решительно замахали руками, и русские вздохнули с облегчением.

Находчивее всех оказался в конце концов Серж. Вооружившись карандашом, он изобразил на большом листе бумаги лагерь со сторожевыми вышками, барак; в центре его нарисовал женщину, затем в отдалении набросал контуры рынка. Лагерь русские распознали сразу, а вот понять, что перед ними рынок,— не могли. Тогда Серж заставил Мари встать и положить перед собой несколько картофелин, а сам, вынув из кармана две-три монетки, протянул их хозяйке, затем положил продукты в сумку. Все сразу стало ясно, и русские первыми дружно рассмеялись. Остальное уже было проще: Серж провел на бумаге стрелку от барака с женщиной к рынку, а наверху крупно вывел дату.

Беглецы оживленно заговорили.

— Как же я сразу не догадался? — воскликнул Василий.— Ведь Галина еще у меня просила пропуск в город.

— И все же что-то тут не то! — возразил Иван.— Они теперь, без сомнения, отменили все пропуска.

— Но ведь прошла уже неделя...— вставил Михаил.

— Галине я верю,— как бы рассуждая сам с собой, тихо сказал Василий.— Она — настоящая комсомолка и не способна на предательство.— И с трудом подбирая французские слова, спросил у Клебера: — Галина... знает? — Василий ткнул пальцем себе в грудь, затем кивнул в сторону своих товарищей.— Наш... здесь?

— Нет, нет! — Клебер понял вопрос. И он выразительно поднес палец к губам.— Я молчал. И Сергей не знает. Оккупанты всем говорят: русский — пиф-паф!

— Эта женщина может быть очень полезна,— высказал свое мнение Серж.— Вам нужен связной, а в таком деле женщина не так приметна да и легче ей выкрутиться. А потом надо же кому-то вам готовить, стирать белье... Объясни им, Мари.

И на этот раз из объяснений Мари, сопровождаемых усиленной жестикуляцией, тоже большого толка не получилось. Совершенно запутавшись, она в конце концов показала на Сержа и объявила:

— Он — большой командир! Он говорит: Галина — бежать!

И с трогательной комичностью она замахала распростертыми руками, словно изображая птицу.

Рассмеявшись, русские закивали головой: да, теперь они поняли!

— И еще одно,— продолжал Серж.— Всем вам оставаться здесь опасно. Придется разъехаться!

— Ну, уж это я переводить не стану,— решительно заявила Мари и, как бы желая подчеркнуть свое несогласие с таким решением, отошла к плите. Казалось, ей теперь ни до чего не было дела, кроме картошки, которую она даже с некоторым ожесточением переворачивала на сковороде.

Но вот ужин готов, и все уселись за стол. Ели с аппетитом, хотя и в эти минуты не теряли времени зря. Выяснилось, что один из висевших на кухне календарей может сослужить пользу. На нем была воспроизведена карта района Па-де-Кале. Календарь перетащили на стол, и при помощи карты Серж с Клебером быстро сумели объяснить беглецам, что Василий должен остаться у Жюля с Мари, а для Михаила приготовлено другое убежище — в Мерикуре. Что касается Ивана — «Интеллигента», как его окрестил Клебер,— то его поселят неподалеку вместе с ротатором, работавшим на бензиновом моторчике. Таким образом, если как следует пораскинуть мозгами, можно будет печатать листовки—и на русском и на французском языке, в зависимости от надобности. Очевидно, удастся что-то придумать и для того, чтобы бежавшие из лагеря русские могли встречаться друг с другом в Билли-Монтиньи раза два в неделю. Кстати, с лагерем Б. уже налажена неплохая связь через Клебера, которому помогает не вызывающий пока у гитлеровцев и рексистов каких-либо подозрений Сергей. Связным между ними будет некий Пьер, а Галина, про которую тут снова вспомнили, станет связной у русских беглецов. Если же побег Галины не удастся, эту роль возьмет на себя одна молодая француженка по имени Изабель.

По мере того как французские друзья излагали этот тщательно продуманный план, лица у русских светлели. Уже одно сознание, что вдали от родины, в чужой для них стране они встретили не только единомышленников, но и настоящих заботливых товарищей, грело и воодушевляло. Все они не раз глядели в лицо смерти и знали, что даже в самые тяжелые минуты человек сохраняет веру в жизнь и способность радоваться. Поэтому никто не удивился, когда Василий вдруг вскочил, подхватил Мари и высоко поднял ее почти к потолку этой маленькой и такой гостеприимной кухоньки.

■

На рынке в Энене, как всегда, было шумно и оживленно. Ведя под руку хорошенькую семнадцатилетнюю блондинку Изабель, принарядившийся Клебер не спеша переходил от прилавка к прилавку. А совсем неподалеку, рассматривая для виду продающиеся галоши, их уже поджидала пара из лагеря Б.— Галина и Сергей. Заметив русских, Клебер заулыбался — этакий жизнерадостный гуляка, веселый шутник-француз! Представьте, он вовсе не прочь поменяться с русским дамами, а потому он подтолкнул к Сергею Изабель, сам же бесцеремонно обнял Галину за плечи и двинулся с нею вперед. В общем, все четверо весело и непринужденно разыграли этот спектакль, за которым, по счастью, никто и не следил.

Обе пары прямиком направились в кафе, расположенное тут же, на рыночной площади. Клебер заказал женщинам кофе, а себе и Сергею — пива. В пустом зале сидел лишь какой-то бородатый человек, видимо лесник, но и тот был явно озабочен своими делами: ругал на чем свет стоит торговцев с черного рынка, которые-де продают сено вместо табака. Видя, что пока все развертывается удачно, Клебер пришел в хорошее расположение духа и лукаво подмигнул хозяину кафе. Но тот лишь испуганно оглянулся по сторонам.

— Знаешь что?! — тихо произнес хозяин, ставя перед Клебером две кружки пива.— Кончай ты с этим поскорее! Не то всем нам худо будет!..

Клебер кивком головы указал Галине на дверь, ведущую в глубь дома. Молодая женщина, как ни в чем не бывало, поднялась, медленным шагом прошла через небольшой зал и исчезла. Бородач проводил ее взглядом и, продолжая бормотать что-то себе под нос, вновь уставился в стол.

О разном думали в эту минуту люди, находившиеся в кафе. Клебер, знавший все детали разработанного ими плана побега, мысленно отметил: «Сейчас она уже на исповеди». А хозяин молил про себя: «Хоть бы они поворачивались быстрее!»

Тем временем Галина в задней комнате кафе оказалась лицом к лицу с Василием. И тотчас началась «исповедь», которую предвидел Клебер.

— Почему так быстро стали снова выдавать пропуска в город?

— Господи, здравствуй, Василий! Ты жив? Какое счастье!

— Отвечай скорее, как у тебя оказался пропуск? У нас нет времени.

— Ты же знаешь, я давно добивалась пропуска...

— Не виляй! Ты что-то утаиваешь... Я так и думал, что тут дело нечисто! Не секрет, под каким ты находилась подозрением, после того как этот сукин сын донес, что ты комсомолка.

— Ну, вот что...— Галина еще колебалась, хотя и понимала, что Василия не проведешь.— Можно, конечно, меня презирать... но...

— Говори быстрее, чем ты заслужила эту поблажку!

Василий понимал, что нельзя терять ни секунды, к тому же Клебер заранее предупредил: на объяснение с Галиной дает ему не больше трех минут. Время истекло, и в комнату вошел Сергей — медлить было нельзя. Мужчины торопливо обнялись, затем Сергей, сразу уловивший, о чем у Василия шла с Галиной речь, отрезал:

— Нечего мудрить, Галина — отличная девчонка и настоящий товарищ!

— Подожди, подожди! — отмахнулся от него Василий и вновь обратился к Галине: — Да не темни ты! Говори прямо, чем отличилась?

Тем временем в комнату вошла и встревоженная Изабель. Тогда Галина, поняв, что от нее не отступятся, пока не узнают всей правды, придвинулась вплотную к Василию и зашептала ему прямо в ухо — так, чтобы никто, кроме него, не слышал признания:

— Пойми, другого выхода у меня не было. Я обещала Николаю — он теперь у нас главный капо,— что буду спать с ним...

— С этим слизняком?! — возмутился Василий.

— Я сама знаю, что он мерзавец и дурак! — В твердой интонации Галины теперь уже чувствовалось уязвленное достоинство.— Но после того, как ты удрал из лагеря, он стал силой. И глупо было бы не воспользоваться его расположением. Ты мне отказал в пропуске, а вот он... видишь, я здесь! Сейчас он ждет меня у церкви в Марокканском квартале. Ну и долго же ему, бедняге, придется ждать...

— А если я прикажу тебе вернуться?

— Приказывать будешь на воле... Плохо ты меня знаешь, если думаешь, что я вернусь туда.

— Ладно, будь по-твоему! — согласился, наконец, Василий. И добавил, обращаясь к стремительно вошедшему Клеберу: — Галину мы забираем! А ты, Сергей, возвращайся в лагерь.

Такого оборота дела Сергей никак не ожидал. В отчаянии он чуть не с кулаками кинулся на Василия.

— Ты что, спятил? Что я тебе сделал? Почему я по своей воле

должен возвращаться в этот ад? И кто это дал тебе право распоряжаться людьми, как пешками? — И одним духом выпалив все это, Сергей тут же перешел к увещеваниям: — Не могу я больше жить в лагере. И толку от меня никакого там! Ну, скажи хоть ты, Галина, как я радовался, что мы вырвемся оттуда. Да если я приду назад, все от меня отвернутся. Скажут, что у меня не хватило духу бежать вместе с Галиной.

— Вот это и будет нам на руку! — твердо сказал Василий.— Вспомни, каким я прикидывался жестоким и сколько вы от меня натерпелись. Два месяца пришлось затратить на этот спектакль! Скажи откровенно: тебе приходило в голову, что я первым смоюсь из лагеря?

— Откровенно говоря, и думать не думал,— несколько поостыв, ответил Сергей.

— Вот теперь настал твой черед ломать комедию! — продолжал Василий.— Выслуживайся перед лагерным начальством как только можешь. Придет время, и ты уйдешь, как ушли мы. А пока тебе дается самое ответственное задание: завоевать доверие рексистов и всех других начальников. И поддерживать связь с ним,— Василий указал на Клебера.— Он же будет передавать, что нам от тебя нужно. А теперь — задание номер один. Мы уйдем через двор. Минут через пять ты побежишь на рынок. Устрой там шум, бегай, всех расталкивай, зови полицию... Обратись к любому солдату или рексисту и вопи во всю глотку, что Галина украла у тебя деньги. Да, кстати, отдай-ка нам твою наличность!.. А им говори одно: она тебя обвела вокруг пальца, нырнула в толпу и кинулась бежать. Куда? К вокзалу. Да, к вокзалу, это лучшее объяснение!.. Ты-де погнался за ней, но народу-то много, и пока ты проталкивался, потерял ее из виду. Понятно? Если что не понял, говори!

— Понятно-то понятно,— чуть не со слезами на глазах промямлил Сергей. И, подчиняясь воле Василия, сокрушенно спросил: — А долго мне там еще оставаться?

— Не бойся, мы тебя не забудем,— заверил Василий.— Но и ты не забывай, что выполняешь важное задание. В лагере, если надо посоветоваться, обращайся только к Александру Васильевичу — к учителю, только к нему...

Теперь впереди у каждого был свой путь... Сергей остался в комнате один, выждал положенные пять минут и вернулся в кафе. Там было по-прежнему пусто. На всякий случай Сергей растерянно ощупал пустые карманы. Однако хозяин, внимательно наблюдавший за ним со своего места за стойкой, отреагировал на это небольшое представление самым неожиданным образом: поманив Сергея, он поставил перед ним рюмку коньяку, тот залпом выпил ее и, жестом поблагодарив хозяина, вышел на рыночную площадь.

Все остальное произошло в полном соответствии с планом, который наметил Василий. Не успел Сергей пробежать несколько метров, как навстречу ему попался рексист. Оставалось лишь поступать так, как было условлено. Выслушав признания Сергея, рексист первым делом изо всей силы дал ему подзатыльник. Затем стал звать на помощь, и тотчас будто из-под земли рядом вырос другой рексист. Вдвоем они заломили Сергею руки за спину и повели в лагерь. Прохожие сторонились, оглядывались — кто с опаской, а кто с явным сочувствием — и подолгу смотрели вслед русскому пленному.

Ночью по железнодорожной насыпи вышагивали нацистские патрули из шести солдат. Кроме них охрану полотна на участке Ленс—Аррас несли и французы. В маленьких деревянных будках, сколочен-

ных на скорую руку и расставленных через каждые двести пятьдесят метров, постоянно дежурили железнодорожники. Как правило, это были уже пожилые люди. Пригревшись в тепле, они позволяли себе вздремнуть, тем более что за годы гитлеровской оккупации выработали умение улавливать сквозь сон приближающиеся шаги и встречать подошедший патруль, вытянувшись в струнку, бравым рапортом: «Все в порядке!» А через минуту-другую, убедившись по затихающим шагам, что солдаты пошли дальше, дежурный запахивал полы старенькой форменной шинели и вновь закрывал глаза.

Погода в эту ночь стояла ветреная, луну то и дело закрывали быстро летевшие по небу облака. Проводив глазами удалявшийся патруль, дежурный обходчик уже собрался было вернуться в свою будку, но тут рельсы загудели — приближался поезд. Немолодой железнодорожник полез в карман за часами и при тусклом свете фонаря стал рассматривать старинный крупный циферблат. Стрелки показывали без двадцати минут двенадцать. «Вовремя следует»,— по профессиональной привычке, выработанной долгими годами службы на железной дороге, отметил про себя обходчик. Еще несколько секунд — и поезд с грохотом промчался мимо. Железнодорожник машинально смотрел ему вслед, но не успели еще исчезнуть в темноте красные огоньки последнего вагона, как чья-то рука плотно зажала ему рот.

Василий и Клебер действовали быстро и решительно. Первый свободной рукой приставил к спине обходчика старый немецкий штык времен войны 1914—1918 годов, второй помахал перед его носом увесистой дубинкой. Они без особых усилий затолкали железнодорожника в будку, и Клебер на всякий случай приказал:

— А ну, папаша, молчок, иначе — дело худо!

Соблюдая все необходимые предосторожности, Клебер сдвинул в сторону руку Василия и заткнул рот обходчика большим клетчатым платком. В ответ послышалось сдавленное мычание, но Василий так угрожающе взмахнул кулаком, что старик тотчас затих. Тем временем, приоткрыв дверь сторожки, Клебер с возрастающим нетерпением всматривался в темноту. Ждать пришлось лишь две-три минуты. Рельсы еще гудели, когда с той стороны, куда ушел поезд, появился Серж.

— Все в порядке! — зашептал он.— А у вас?

— Вот... убедись сам! — И Клебер кивнул в сторону обходчика, который таращил на них испуганные глаза.

— Да ведь это же Эмильен! — воскликнул Серж.— Отличный старик!..

Обходчик тоже узнал Сержа, и в глазах его вспыхнул огонек надежды, а у Василия вырвался вздох облегчения. Тем временем обходчик, указав на кляп, дал понять, что хочет что-то сказать. Серж достал на всякий случай из кармана шестимиллиметровый револьвер и вынул изо рта железнодорожника клетчатый платок.

— Ты хочешь сделать заявление, Эмильен? — отдавая должное природному чувству юмора, улыбнулся Серж.

Но железнодорожнику было не до шуток: он успел смекнуть, что его ждет, даже если эти люди сейчас его отпустят.

— И зачем вы только выбрали именно мой участок?! — переведя дух, заговорил он.— Я, ребята, можете поверить, вам очень сочувствую... Но что теперь со мной будет?

— Присоединяйся к нам! — предложил Серж.— Плюнь ты на все это и вступай в «армию теней», как сделали многие из твоих товарищей.

— Небольшая вам будет от меня польза. Я уже немолодой,—

отнекивался железнодорожник.— Старуха у меня с ума сойдет... да они ее тут же посадят!..

— Слишком долго мы тут беседуем,— вставил Клебер.— Слушай, мы же торопимся!

— Тогда свяжите меня,— попросил железнодорожник.— И снова суньте в рот эту штуку.

Обменявшись взглядом, Клебер и Серж сочли такой компромисс приемлемым и выполнили просьбу обходчика.

Выйдя из будки, Клебер посмотрел налево, направо, увидел кусты у самого полотна и лег на землю — лицом в ту сторону, куда проследовал вражеский патруль,— а Серж и Василий, выбирая места потемнее, побежали в противоположном направлении. Добравшись до крутого поворота стального пути, Василий негромко свистнул.

— Смотри-ка, да ты у нас настоящий соловей!— снова пошутил Серж.

Вглядываясь в темноту, Василий невозмутимо свистнул вторично. С поля, которое простиралось вдоль насыпи, раздался тихий ответный сигнал, а через минуту снизу появился Иван. Он опустил на землю увесистый пакет со взрывчаткой.

Обязанности были распределены заранее. Серж вел наблюдение за местностью, а двое русских принялись за работу: им надлежало уложить четыре шашки на стыках рельсов с интервалами в три с половиной метра. Они хорошо знали свое дело и действовали ловко и быстро; тем не менее Серж нетерпеливо поглядывал на часы.

Наконец взрывчатка была уложена; еще какие-то минуты потребовались на то, чтобы подвести к ней провода. Когда и с этим было покончено, провода потянули вниз с насыпи, прижимая их к земле там, где можно, камнями. Затем проводку еще метров пятьдесят волокли по полю до глубокой канавы. Там их уже ждали двое французских партизан.

— Как магнето? — осведомился Серж.— В исправности?

— Проверили еще раз. Похоже, что все в порядке.

— Ну, тогда подсоединим провода к магнето и чуть-чуть передохнем...— распорядился Серж.

Каждый использовал эту передышку по-своему. Два француза, приволокшие сюда магнето, присоединили к нему провода, выбрались из канавы и уселись на траву. А Василий с Иваном даже прилегли, задумчиво поглядывая на показавшуюся из-за облаков луну. И только один Серж стоял, глядя туда, где возле будки обходчика они оставили Клебера.

О чем думалось им в эту минуту? О предстоящей операции или, может быть позабыв на короткие мгновения покоя об опасности, они вспоминали прошлое?

Так отдыхали они несколько минут, пока вдали не показался огонек сигареты в руке Клебера, которой он размахивал на ходу. Заметив этот сигнал, Серж скомандовал:

— По местам! Поезд близко!..

Василий вскочил и вместе с незнакомым французом прыгнул в канаву. Оба присели рядом с магнето.

Вот послышался шум приближающегося поезда, а вслед за этим свет из паровозной топки высветил будку обходчика. Серж стремительно взмахнул рукой, жест его повторил в канаве Василий, и тотчас француз крутанул ручку магнето.

Взрыв получился мощный. Паровоз сошел с рельсов, увлекая за собой передние вагоны.

— Ура-а! Ура-а!— зашептал вдруг Василий — тихо, но торжествующе.

И словно ему в ответ из хвостовых вагонов полетели в темноту трассирующие пулеметные очереди.

■

Дерзкие побеги из лагеря Б., не говоря уже о начавшихся диверсиях, изрядно взбудоражили гитлеровцев. По улицам прилегающих городков и поселков, на всех шоссе и дорогах теперь уже круглосуточно расхаживали усиленные военные патрули. Гражданскому человеку без документа нельзя было и шага ступить. И когда среди бела дня Василий вдруг объявил, что отправляется на рынок, да еще с намерением добыть там револьвер, Мари в отчаянии схватилась за голову.

Было отчего прийти в замешательство — особенно потому, что если уж Василий принимал решение, то никакая сила не могла ему помешать. Вместе с тем Мари за короткое время знакомства с этим одержимым русским успела уверовать в его удивительную изворотливость: чем опаснее, а порой, казалось бы, и вовсе безнадежно, складывались обстоятельства, тем увереннее и легче он выпутывался. И сейчас, когда все попытки удержать постояльца дома оказались тщетными, Мари оставалось лишь убедиться в том, что никто не заметил, как Василий вышел из ее дома. Тут она не могла не отметить с чувством благодарности, что опасный ее квартирант неизменно действовал продуманно и осторожно. Задними дворами и огородами он вышел на дорогу в таком месте, что никому и в голову бы не пришло заподозрить в нем постояльца Жюля и Мари.

День был солнечный, светлый... Прохожих на дороге между Энен-Льетаром и Дрокуром попадалось мало: мужчины в большинстве своем работали на шахте, женщины занимались домашними делами. Лишь возле некоторых домов можно было увидеть шахтеров, которые уже закончили утреннюю смену — а работали они с шести утра до двух дня,— и, смыв с себя угольную пыль, переодевшись в чистые рубашки, перекусив, отдыхали на скамеечках и блаженно покуривали трубки.

В общем, никто не обращал внимания на Василия, который медленно, словно прогуливаясь, шел по дороге в относительно новом костюме и — что поделаешь!— в далеко не новых башмаках. Поглядывая с добродушной улыбкой по сторонам, он словно излучал расположение ко всем и вся. Вот из раскрытой двери на улицу выскочил мальчуган лет четырех. Василий перехватил его на бегу и с рук на руки передал выскочившей следом встревоженной матери. А чтобы перепуганный ребенок не разревелся, Василий протянул ему кулек со сладкими вишнями. Ребенок в нерешительности смотрел на них, тогда добрый дядя навесил ему по две вишенки на каждое ушко и двинулся дальше.

По дороге он вынимал из кулька вишню за вишней и, слегка подкидывая их вверх, ловил ртом, а косточки со смаком выплевывал — так, чтобы они описали в воздухе дугу. Вот он подошел к переезду через железнодорожное полотно. В ту же минуту послышался звонок, возвещавший о приближении поезда, и шлагбаум стал опускаться. Шедший впереди старичок даже прибавил на всякий случай шаг. Василий последовал его примеру и почти нагнал старичка, но не успели они пройти и нескольких метров, как на повороте дороги старичка остановил военный патруль — трое солдат и капрал.

— Halt! Papieren![1]

Старичок принялся доставать из бумажника удостоверение, а Василий тем временем лихорадочно соображал, как бы избежать малоприятной встречи. Путь назад отрезал проходивший поезд, да к тому же, пока молоденький капрал проверял предъявленный ему документ, один из солдат уже заметил Василия и жестом приказал подойти. Другого выхода не было — оставалось только подчиниться.

[1] Стой! Документы! *(нем.)*

И тогда Василий, запетляв из стороны в сторону, нетвердой походкой направился к гитлеровцам. Хлопнув по плечу и без того пугливо озиравшегося старичка, Василий другой рукой протянул капралу вишни и заплетающимся языком произнес по-французски:

— Выпить, камарад!.. Пил, пил... пить хотел!

Старичок боязливо оглядел его и сказал солдатам:

— Это, видно, русский из лагеря... Перебрал немножко на свободе.

Осторожно сняв руку Василия со своего плеча, он отступил на шаг, и русский, потеряв равновесие, зашатался и чуть не упал.

— Так оно и есть!— подтвердил старичок.— Нализался!

— Похоже, что человек этот в самом деле из лагеря. Ну, а если напился, значит, не опасен,— обращаясь к солдатам, заметил капрал, но тут же, повысив голос, приказал: — Русский!.. Papieren! Пропуск!

Василий усиленно закивал головой: понял, мол, сейчас покажу! Руки у него были заняты, и он с пьяной беспардонностью сунул капралу кулек с вишнями, а сам принялся старательно шарить по карманам.

— Ого!— восторженно воскликнул он, вытащив из внутреннего кармана несколько бумажек по сто франков.— Теперь я угощаю... много Beer[1]. Марш на Beer! Пожалуйста, все выпивать!— И не дожидаясь ответа капрала и солдат, Василий потащил всех, в том числе и старичка француза, за собой к ближайшему бару.— Ты тоже, папа, выпивать!

Капрал переглянулся с солдатами — возможность выпить, да еще на дармовщинку, была соблазнительна — и первым пошел за Василием в бар. Впрочем, у самого входа капрал остановился, отдал шепотом какие-то распоряжения одному из солдат, и тот, к немалому своему разочарованию, вынужден был остаться на страже у дверей.

Вся компания ввалилась в бар, а Василий еще с порога объявил хозяйке, широким жестом показывая на пришедших с ним людей:

— Они — пить! Я платить! Пиво!.. Потом коньяк!..

И он тяжело плюхнулся на табурет. Солдаты захохотали, но сами сесть не решались и стояли, осторожно косясь на дверь. Пока хозяйка ставила на стол кружки с пивом и бутылку с так называемым «коньяком», капрал с веселой доверительностью сказал старичку французу на его родном языке:

— Русский тоже... бывайт хороший и добрый...

Сначала попробовали пиво. Затем Василий разлил по рюмкам «коньяк», да с такой тщательностью, что ни одна капля не пропала даром. Выпили и «коньяк». Войдя в раж, Василий потребовал у хозяйки еще бутылку. Передавая солдату одну из рюмок, Василий подмигнул и указал на дверь. Тот сразу понял, вопросительно взглянул на капрала и, получив молчаливое согласие, отправился поделиться угощением с товарищем, который остался на улице. Другой солдат, сам того не заметив, наконец уселся за стол. Так же собирался поступить и капрал, но Василий, словно вспомнив что-то очень важное, хлопнул себя по лбу:

— Компания очень хорош! Не волноваться — пропуск есть!

Подавшись в сторону капрала, он приподнялся и опустил руку в карман. Но тут же, как бы передумав, зашептал гитлеровцу на ухо:

— Служба мой... секрет! Пойдем видать пропуск!

Капрал к тому времени успел уже захмелеть и сделал было отрицательный жест: не надо, верю и так. Однако Василий с пьяным упорством настаивал на своем и тянул капрала к двери, но не к той, что выходила на улицу.

На севере Франции почти все бары и кафе расположены так, что за ними находится небольшой двор, куда иной раз можно попасть

[1] Пива *(искаж. нем.)*.

через кухню, а чаще всего — сделав несколько шагов по темному и узкому коридору. Миновав как раз такой коридор, Василий и капрал оказались в старательно ухоженном садике. Лишь в самом углу подле темной кирпичной стенки виднелись грубо сколоченная уборная и сарайчик из просмоленных досок, в дверце которого было сделано окошечко в форме сердца.

Будто почувствовав приступ тошноты, Василий на секунду привалился к стенке, а сам тем временем исподлобья проверил, не видно ли их из бара. Убедившись, что никто за ними не наблюдает, он резко выпрямился и, сжав кулак, с такой силой хватил капрала по затылку, что тот сразу обмяк. Медленно опустив нациста на землю, Василий вытащил у него револьвер. Затем подпрыгнул, ухватился за край ограды, перемахнул через нее и оказался на пустынной улочке, примыкающей к дороге, по которой он так недавно шагал.

Но теперь он шел в обратную сторону! Жаль, честное слово, жаль, что нет при нем пакета с вишенками — так хорошо было бы поразвлечься, наблюдая, как описывают в воздухе полукруг выплюнутые косточки... И чтобы придать себе невозмутимый вид, Василий принялся на ходу насвистывать одному ему известный мотив.

Вернулся Василий в дом тем же путем, каким и ушел,— не с улицы, а через сад. И хотя с виду он был совершенно спокоен, хозяйка его оказалась не из тех, кого легко обвести вокруг пальца.

— Ну и вспотел же ты! — отметила она, кончиками пальцев стирая с собственного лба воображаемый пот.

Василий в ответ засмеялся, да так, что остановиться не мог. Хохот его был похож на истерику — Василий все смеялся и смеялся, пока Мари строго не спросила:

— Что там было на рынке?

Вот только тут, когда оказалось необходимым подыскать точное слово в ответ, Василий перестал смеяться. Но слова найти никак не мог. Тогда, по уже установившейся привычке, он схватил словарь, который теперь лежал всегда на одном и том же месте, и стал перелистывать страницу за страницей. За этим занятием и застал его Жюль.

— Чем это наш постоялец так увлекся?— спросил он жену.

— Видимо, хочет сообщить что-то важное.

— Так, та-ак,— в задумчивости произнес Жюль.— Не знаю, что у него на уме важное, а вот у нас в поселке снова полным-полно солдат...

Мари с возрастающим подозрением посмотрела на Василия. А тот, выбирая слово за словом из словаря, сгруппировал наконец их на листке бумаги и торжественно вручил свое творение Мари. Жюль подошел к жене и, заглядывая через ее плечо, медленно прочел вслух:

— «Василий рынок... менять вишни на... на что, мама?..»

— Ты не знаешь, Жюль, на что можно поменять вишни?— повернулась к мужу озабоченная Мари.— Мне, например, ничего в голову не приходит.

— Надо хорошо вспоминать...— безжалостно коверкая слова, пояснил сам Василий.— Я говорил мама, почему ходить на рынок...

И вытащив из брюк рубашку, он показал им заткнутый за пояс револьвер, который, знай он получше французский язык, с полным основанием мог бы назвать трофейным.

Глава IV

Никто, конечно, не ставил знака равенства между ущербом, нанесенным оккупантам в результате диверсии на железнодорожной дороге, и утерей револьвера, происшедшей по наивной доверчивости малоопытного капрала. Но моральный эффект дерзкой вылазки

Василия трудно было переоценить. В шахтерских поселках только и говорили о том, что у оккупантов теперь земля стала гореть под ногами. Если уж герои Сопротивления, не дожидаясь темной ночи, бесстрашно околпачивают фашистов среди бела дня, значит, плохи дела у гитлеровцев! И то, что диверсии самого разного рода участились с появлением в рядах Сопротивления русских солдат, тоже не осталось незамеченным и наполняло сердца людей надеждой: значит, бьют они фашистов не только на полях военных сражений — бьют их и в глубоком тылу!

Не могли остаться ко всему этому равнодушными и сами оккупанты. Чтобы подавить веру патриотов Франции в скорое освобождение и возродить страх перед силой рейха, надо было принимать любые меры, вплоть до крайних и самых жестоких. С этой целью и решено было пядь за пядью, дом за домом тщательнейшим образом прочесать все селения, прилегающие к лагерю Б.

Поймать во что бы то ни стало русских беглецов — таков был приказ командования. И когда около пяти часов утра Жюль поднялся, он и не подозревал, что поселок уже оцеплен и вот-вот начнется операция, которая по своим масштабам должна была превзойти все предыдущие. Вставал он всегда раньше всех, а потому и сегодня привычно разжег в печке огонь, поставил вариться кофе, а затем, распахнув окно, зябко передернул от холода плечами и начал скручивать цигарку.

Из кладовки, где был установлен умывальник, с полотенцем на плечах появился Василий.

— Здравствуй, Жюль! Опять раньше всех встал.

— Пожалуйста, кофе!— радушно отозвался хозяин.— Уже вскипел. Садись!

И Жюль налил горячий кофе сразу в три чашки, поскольку к ним присоединилась Мари.

Василий, словно предчувствуя недоброе, на этот раз даже не присел к столу, а залпом выпил кофе и поставил чашку на стол. Жюль, искоса взглянув на него, пожал плечами, а затем степенно уселся на свое место, обмакнул в коричневатую жидкость малюсенький кусочек сахара, считавшийся роскошью в эти нелегкие времена, хотел было надкусить и вдруг настороженно прислушался. Не было сказано ни слова, но супруги тревожно переглянулись, хотя с улицы раздавался всего лишь собачий лай.

— Мари, слышишь?— обратился к жене по-французски Жюль.— Могу поручиться, эта собака не из нашего поселка.

Василию перевода не потребовалось: по интонации Жюля, по выражению лиц своих хозяев он сразу почуял надвигавшуюся опасность и первым делом выключил свет. Обычно медлительный Жюль быстро поднялся из-за стола и, подойдя к окошку, из которого через двор просматривалась часть улицы, замер. Василий последовал за ним и остановился чуть позади. Лица у обоих застыли от напряжения.

На перекрестке появились два нациста в зеленой форме. Каждый держал на поводке собаку. Вот овчаркам дали понюхать холщовую одежду военнопленных, и громадные псы, тычась мордой в землю, попытались взять след. Было пять минут шестого.

Мари, хлопотавшая у плиты, по лицам мужчин поняла, что беда рядом. Тем более что Жюль сокрушенно сказал:

— Они прочешут весь поселок. И не успокоятся, пока не обыщут каждый дом!

Хозяин принялся затягивать окно одеялом, но всем было ясно, что эта предосторожность теперь уже ничего не даст. Мари и Василий подтащили к плите хозяйственную сумку и, извлекая из нее какие-то бумаги и пачки листовок, наскоро просматривали их и кидали в огонь.

Пламя стало ярче, и Жюль, став неподалеку от плиты, на всякий случай оттопырил полы своего пиджака, чтобы заслонить от света занавешенное окно.

Две-три бумаги Мари, поколебавшись, решила все же сохранить и сунула за лифчик, а листок с текстом на русском языке вручила Василию. Тот в свою очередь помедлил, а затем, скатав листок в бумажный шарик, спрятал в коробок со спичками.

Снова, теперь уже в непосредственной близости, раздались выстрелы, лай собак.

— Мой — уходить!— решительно объявил Василий.

— Нет и нет!— запротестовал Жюль.— Иди в погреб! На улице они сразу тебя схватят.

— Мой — уходить! — непоколебимо повторил Василий. Ему очень хотелось сейчас найти нужные слова, чтобы выразить этим великодушным людям все свои чувства, но, так и не подыскав их, он поочередно ткнул указательным пальцем в Жюля и Мари и сказал:— Мой уходить!.. Для папа и мама!..

Поразительно, как много могут вместить в себя минуты опасности. И прощальное рукопожатие. И суматошные хлопоты хозяйки, которая со слезами на глазах схватила хлеб и, разрезав его на две половины, полила сахарным сиропом, а затем завернула в пергамент. Жюль прикрыл дверцу плиты и убрал одеяло с окна. Вместе с Василием они снова осмотрели и садик, и двор, и перекресток вдалеке. Серела ограда, отделяющая участок Жюля от соседнего сада, за нею смутно вырисовывался дом.

Если уж уходить, то немедленно! Мари сунула пакетик в руки Василию. Он хотел было положить его в карман, но вспомнил, что там — револьвер. Проверив, заряжен ли он, Василий заткнул его за пояс под рубашкой, а хлеб спрятал в карман. Вот теперь можно было уходить. Он шагнул к двери, но у порога остановился, пошарил в другом кармане и вручил Мари железное кольцо для ключей, которое смастерил еще в лагере и сейчас решил оставить в память о себе.

— Будь осторожен, золотой наш человек!— сквозь слезы пробормотала Мари и тут же схватилась за голову:— А шарф-то! Шарф!

Василий энергично замотал головой: нет, он больше ничего у них не возьмет! В последний момент он отдал Мари еще и маленькую потрепанную фотографию Галины, поцеловал Жюля, осторожно приоткрыл дверь, опустился на колени и ползом выбрался через порог на двор.

— О-ох,— запричитала Мари, когда дверь закрылась за ним.— Прямо жить не хочется — хоть бы уж скорее умереть!

— Не волнуйся,— попробовал успокоить ее Жюль,— он найдет выход. Вот увидишь, выкрутится!

Жюль и в самом деле верил, что Василий сумеет уйти от преследования. Как-нибудь да сумеет! Он обнял жену за плечи и слегка прижал к себе. Хороший она человек и прекрасный товарищ — ведь это в значительной степени благодаря ей они совершили доброе дело, и если многое пошло не так, как им хотелось бы, тут уж никто не виноват.

— Знаешь,— призналась Мари,— если бы я была верующей, я сейчас бы стала молиться... так бы молилась!..

Тем временем Василий полз по неровному асфальту дворовой дорожки, которую Жюль прозвал «тротуаром Мари». В жизни каждой семьи бывают забавные случаи, которые остаются в памяти на долгие времена: вот так — теперь уже казалось, что это было давным-давно,— в один из воскресных дней 1938 года Жюль собственноручно проложил вдоль дома асфальтовую дорожку и, не дожидаясь, пока чер-

ная масса затвердеет, весьма довольный собой, отправился на кухню выпить стакан пива. Мари при виде новой дорожки пришла в неописуемый восторг и крикнула мужу в окно: «До чего же ты прекрасно все сделал!» И как ни в чем не бывало отправилась по мягкому асфальту кормить своих кроликов. Так навсегда и остались на дорожке следы ее башмаков. И сейчас Василий, медленно продвигаясь по-пластунски вперед, попал рукой в одну из впадин. Зрение и слух его были предельно напряжены — любой звук, любая тень, промелькнувшая в этой предрассветной мгле, могли породить самое рискованное и, кто знает, может быть, единственно правильное в создавшейся ситуации решение. Он отчетливо сознавал, что подобно зверю, попавшему в смыкающееся кольцо охоты, вот-вот лицом к лицу столкнется с преследователями. Пока их не было еще видно, но звуки... по ним можно было судить о многом. Вот залаяла собака, но это пес хозяйский, ощерившийся при появлении полицейских ищеек. Послышалась команда, отданная по-немецки, щелканье затворов. Взревели мотоциклы — стрекот их моторов несся отовсюду: значит, мотоциклисты окружили поселок.

Жизнь Василия висела на волоске, а тут еще чересчур большие башмаки стали слетать с ног — того и гляди, потеряешь. Однако пора было предпринимать что-то решительное, и, потуже затянув шнурки на башмаках, Василий вдруг весь подобрался и прыгнул к изгороди из боярышника. Колючая ветка хлестнула его по лицу, оцарапала. Он спрятался за куст — прямо перед ним покачивался влажный от росы цветок боярышника. Василий потянулся к нему губами и, разжевав лепестки, освежил пересохший рот.

Белоснежная кипень весны царила вокруг, и первозданная красота цветущей в соседнем саду яблони никак не вязалась с грубыми выкриками и словами команды, с ожесточенным лаем собак, который теперь раздавался совсем рядом.

А через минуту из-за угла соседнего дома выбежала овчарка и, обнюхивая землю, помчалась к двери, ведущей на кухню. Василий видел, как она стала царапаться, слышал ее шумное дыхание. Вслед за ищейкой появился гитлеровский солдат.

— Молчать, Волк! — тихо приказал он собаке.— Ко мне, Волк.

И вместе с ищейкой перебежал к цветущей яблоне, которая росла совсем рядом с изгородью из боярышника, служившей в эту минуту укрытием для Василия. Опустившись на колено и приладив автомат, гитлеровец дал очередь по окну кухни соседнего дома. Со звоном посыпались стекла...

В своей кухоньке побледневшая Мари сказала мужу:

— Это — у Леона...

— Не думаю, чтобы Иван был еще там,— отозвался Жюль.

А возле дома Леона, прячась на всякий случай за яблоню, солдат закричал:

— Эй, рус, вылезай! Теперь я тебя уж достану! Эй, вылезай, говорю тебе, не то...

Но договорить ему не пришлось. Василий просунул руки сквозь изгородь из боярышника и сзади, как клещами, обхватил шею солдата. Василий оказался явно сильнее, и через две-три секунды нацист был мертв. В последний момент Василий заметил, что собака изготовилась к прыжку; с лихорадочной поспешностью схватил он автомат, вывалившийся из рук немца, и только было прицелился, как ищейка вдруг повернула морду: позади нее медленно открывалась дверь кухни. Василий бросился к дому, однако Иван опередил его: размахнувшись что было силы, он прикончил собаку ударом приклада по голове, и оба русских, низко пригибаясь к земле, побежали вдоль изгороди.

Бежали они наобум, лишь бы уйти от преследователей, а в том, что

гитлеровцы теперь уже гнались непосредственно за Иваном и Василием, не было никакого сомнения: крики и лай собак раздавались совсем близко, то и дело посвистывали пули.

Сады неожиданно кончились, впереди лежала улица поселка. Побежали вдоль домов. Как ни странно, но им вдруг удалось оторваться от нацистов: крики и выстрелы прекратились. Воспользовавшись передышкой, беглецы прижались к двери одного из домов, окинули взглядом улицу и увидели, как из-за дальнего поворота выскочили два солдата. Они остановились, озираясь по сторонам, но еще не совсем рассвело, и гитлеровцы явно потеряли след русских.

Василий отлично понимал, что передышка эта всего на несколько секунд и дальше уже может не найтись укрытия. Он вытащил коробок со спичками и, нащупав скатанную в шарик бумажку, которую дала ему Мари, сунул в рот и проглотил. Затем, все так же прижимаясь спиной к двери, он опустил руку и постучал: дом был явно жилой, беглецы слышали шаги за дверью. «Там же французы, рабочие... не могут они нас не впустить!» — подумалось Василию. Но дверь так и не открылась. Русские переглянулись с отчаянием и, не обменявшись ни словом, бросились к соседнему дому. Солдаты, озадаченно переговариваясь, всматривались в противоположную сторону улицы, а Василий и Иван тем временем уже прижались к другой двери. И та вдруг подалась: каким-то чудом она оказалась незапертой.

Иван с Василием, пятясь, втиснулись в незнакомый дом. Передняя была пуста. Но пока Иван старательно прикрывал дверь, ведущую на улицу, резко распахнулась другая, и на пороге появилась женщина с распущенными волосами. Дрожащими руками запахивая бумазейный халат, она с испугом смотрела на пришельцев.

— Нет, нет, мадам!— попытался было преградить ей путь к входной двери Василий.— Мы — свой! Мы — тихо!.. Не надо туда.

Но женщина, не помня себя от страха, вырвалась из его рук и, рванув дверь с силой, какую придает лишь отчаяние, выбежала на улицу. Теперь Василию ничего не оставалось, как изнутри запереть дверь на все замки.

Женщина заметалась по тротуару, затем выбежала на середину улицы, и тогда ее заметили солдаты. Поначалу они и не догадывались, что именно в доме этой испуганной женщины укрылись беглецы. Один из гитлеровцев даже сделал знак, чтобы она поскорее вернулась назад, но обезумевшая женщина ринулась прямо к нему. И несмотря на то, что говорила она по-французски, солдаты скоро поняли, что перед ними хозяйка дома, которому теперь суждено было стать западней для беглецов. Один из солдат пронзительно свистнул, другой закричал, сзывая остальных и выразительными жестами показывая на дом.

Хозяйка, все еще не понимая, что произошло, усиленно крестилась с перепугу...

■

Уже четверть часа шел бой в доме. Когда гитлеровцы взломали входную дверь, русским пришлось укрыться на чердаке. Солдаты пуль не жалели, и все стекла в слуховом окне уже были выбиты, а в балках перекрытий виднелось множество дыр от пулеметных очередей. Василий забился в угол, откуда можно было вести наблюдение одновременно за слуховым окном и за квадратом в полу — там, на лестнице, соединяющей комнаты с чердаком, скорее всего и могли появиться гитлеровцы. Они уже пытались ворваться сюда, но ретировались, когда Иван метким выстрелом сразил одного из солдат. Однако, отступая, кто-то из гитлеровцев наугад выпустил пулеметную очередь в ту

сторону, откуда стрелял Иван. И пули прострочили его лоб, шею, грудь... Казалось, Иван оперся спиной на затянутую паутиной грязную стену и в изнеможении опустился на пол передохнуть. Но сидел он совершенно недвижно, и Василий понял: товарищ убит! Сколько же времени удастся продержаться в одиночку?! Из ноги Василия, которую он положил на старый ящик, сочилась кровь. Рядом валялся вражеский автомат — обойма была расстреляна до конца, а в револьвере осталась всего одна пуля.

— Ничего, Иване!— сжимая в кулаке револьвер, тихо проговорил Василий.— Они еще за тебя заплатят.

В доме на какие-то секунды воцарилась зловещая тишина. На всякий случай Василий держал на прицеле квадрат в полу чердака, откуда спускалась вниз лестница. А внизу, в комнате, где все было перевернуто вверх дном, три гитлеровца, подняв вверх автоматы, также не спускали глаз с квадрата. На ступеньках лестницы в причудливых позах лежали два трупа в зеленых шинелях. Поглаживая собаку, один из солдат стал подталкивать ее наверх.

— Иди, Уинстон! Иди туда, ищи русского!..

Собака переступила с лапы на лапу, понюхала ноги мертвецов и, попятившись, боязливо забилась в угол.

Гитлеровцы с досадой переглянулись. И тогда один из них, рассвирепев, стал отстегивать с пояса гранату, но другой остановил его:

— Приказано брать живыми. Пусть раненными, но обязательно живыми!..

Из соседней комнаты появился офицер с револьвером в руке. Не без брезгливого презрения оглядев своих подчиненных, он раздраженно произнес:

— Столько доблестных слуг фюрера, а взять двух русских не могут!— И обращаясь к самому молодому из солдат, добавил:— Предоставляю возможность отличиться тебе, Карл... Пора кончать! Иди ты!

Карл, подавив вздох, выжидающе смотрел на начальника. Он явно рассчитывал, что приказ этот не окончательный, но по выражению лица офицера понял, что пути к отступлению нет. О том, каким опасным представлялось ему полученное задание, свидетельствовало хотя бы то, что порывшись в кармане мундира, он достал бумажник и со всем его содержимым вручил офицеру. Затем присел на стул и принялся стаскивать с себя сапоги.

Все остальные молчали и с некоторым замешательством наблюдали за ним. Офицер держал бумажник кончиками пальцев, как чужой носовой платок, но в конце концов пожал плечами и сунул в карман своего плаща. Оставшись в толстых шерстяных носках, Карл заткнул за пояс нож, вытащил из кобуры револьвер, а свободной рукой поднял с полу доску от выбитой двери. Прикрываясь ею, как щитом, он на цыпочках двинулся к лестнице. Пес Уинстон, словно устыдившись своего бездействия, поднялся с полу, лизнул носки Карла и последовал за ним.

Ступеньки скрипели под ногами молодого солдата, да к тому же ему пришлось ногой отодвинуть лежавший на пути труп. Таким образом, бесшумного подъема у Карла не получилось, и Василий приготовился к последнему бою. Он теперь уже не сводил глаз с квадрата в полу чердака. Сначала там появилась доска, а затем Василий увидел пальцы, ухватившиеся за край пола.

— Иван, сдавайсь!— на ломаном русском несколько раз повторил солдат.

Спустя несколько секунд один за другим раздались два выстрела — это гитлеровец стрелял в мертвого Ивана. И убедившись, что отсюда

ему не грозит никакой опасности, Карл под прикрытием доски стал осматривать чердак.

Василий выжидал подходящей минуты и старательно целился, чтобы не промахнуться.

— Сдавайсь, дурак!— чуть ли не примирительным тоном сказал ему гитлеровец, заметив наконец в углу беглеца. Говорил он с ужасающим акцентом, но явно знал немало русских слов:— Поднимай руки, хватит сегодня покойников!

Он в самом деле рад был бы на сей раз покончить дело миром и, уговаривая русского сдаться, не заметил, как чуть сдвинул в сторону свое прикрытие. Василий тотчас выстрелил, но пуля лишь раздробила доску, и та вывалилась из рук Карла.

Солдату потребовались считанные секунды, чтобы прийти в себя, а когда он снова посмотрел в угол, то сразу же понял: все средства защиты у противника иссякли. Василий уже не целился, а схватив револьвер за дуло, примеривался, как поточнее швырнуть его в голову нациста. Так он и поступил, но Карл сумел увернуться, тяжелый револьвер скользнул по его каске и, пролетев вниз по лестнице, со ступеньки на ступеньку, угодил наконец в собаку. Та жалобно заскулила, а потом, задрав морду кверху, залаяла что было мочи.

В этот момент сверху донесся торжествующий крик Карла, и, поскольку кричал он по-немецки, ясно было, что слова его предназначались главным образом для собравшихся у подножия лестницы:

— Руки вверх, Иван! Ты проиграл!

Офицер, перешагивая через трупы, быстро взбежал по лестнице.

Василий попытался встать, но раненая нога не позволила. Боль, видимо, была такой сильной, что он отвалился на спину. С револьвером в одной руке и с ножом в другой, Карл медленно двинулся на него.

— Руки вверх, говорю!

Но Василий даже не шелохнулся. Поймав взгляд гитлеровца, он повторил несколько раз сквозь стиснутые до боли зубы:

— Убей меня! Да убей же меня, гад!

Гитлеровец поступил по-своему. Он ударил Василия рукояткой револьвера по голове и, только убедившись, что тот потерял сознание, решился надеть пленнику наручники.

Прошло еще несколько минут, и Василия, так и не пришедшего в себя, снесли в машину.

— В Аррас! — усаживаясь рядом с шофером, приказал офицер.— Скорей!

■

Василий лежал в узкой камере, где находилось всего две койки. Он был по-прежнему в наручниках — мало того: на соседней койке сидел вооруженный надзиратель.

Узник бредил, и отрывочные украинские слова с хрипом вырывались из его горла. Брючина на правой ноге Василия была разрезана, и над коленом белела повязка.

Вошло несколько гестаповцев — кто в штатском, кто в военной форме и с ними переводчик из лагеря Б. Протерев дымчатые очки, он пристально оглядел пленника, словно хотел удостовериться, что это действительно главарь беглецов. По приказанию старшего офицера надзиратель принес два котелка холодной воды и из одного плеснул Василию на лицо.

Пленник открыл глаза, но увидел вокруг себя лишь расплывчатые зеленые силуэты. По знаку начальника надзиратель подошел к изголовью Василия и, не без труда просунув руки ему под мышки, попы-

тался приподнять, но тщетно: даже подскочивший к койке солдат не сумел это сделать. Василий оставался по-прежнему недвижим.

— Ну-ка привести в чувство! — приказал офицер.

Общими усилиями гитлеровцам удалось приподнять Василия и привалить к спинке железной койки, но голова у него сразу же запрокинулась, а глаза оставались закрытыми. Последовал новый приказ, и Василия окатили водой из второго котелка.

К койке подошел гестаповец в штатском, склонился над Василием и, отчеканивая каждое слово, произнес на хорошем русском языке:

— Слушай! Слушай меня внимательно! Мы пришли, чтобы сохранить тебе жизнь!

Василий вновь поднял веки, окинул взглядом камеру — толстые стены, маленькое окошечко, забранное железной решеткой. Затем все снова поплыло у него перед глазами.

— Скажи ему,— начал старший в гестаповской форме,— я даю слово немецкого офицера, что он останется жить, если сообщит нам два факта. Всего два факта.

Переводчик повторил эти слова по-русски и добавил от себя:

— Можешь ему поверить, Василий, он ведь дает слово офицера.

Губы Василия зашевелились. Офицер тотчас стал снимать перчатки, давая этим понять, что готов приступить к допросу. Все остальные застыли в молчаливом ожидании.

— Пить... пить...— неожиданно проговорил по-русски Василий.

Это поняли все, кто находился в камере. Надзиратель вопросительно посмотрел на офицера, и тот в знак согласия кивнул головой. На донышке котелка оставалось немного воды. Надзиратель собрался было напоить Василия, но подумав, что эти несколько капель могут сыграть свою роль при допросе, многозначительно посмотрел на переводчика и передал ему котелок. Он не ошибся — гитлеровец одобрительно кивнул и, взяв котелок, приподнял голову Василия.

Пленник пил медленно, а гитлеровец все твердил:

— Понимаешь, Василий, всего два факта! Сущая ерунда!

Василий сделал еще несколько глотков и, откинув голову, негромко, но отчетливо сказал:

— Зачем ты поганишь русский язык?!

Будто получив пощечину, переводчик выпрямился и выдернул руку из-под головы пленника. Но на этот раз Василий оперся на локоть и удержался в полусидячем положении. Офицеры о чем-то переговаривались по-немецки. Вероятно, они решили сделать передышку, потому что один из них, взглянув на часы, сказал:

— Подумать только, просто не верится, что вечером я буду уже в Париже.

Василий, разумеется, не понял этих слов, но в мозгу его отчетливо запечатлелось, как гитлеровцы вдруг стали блудливо перемигиваться. Впрочем, секунду спустя старший офицер уже вновь обратился к нему:

— Первое, что мы хотели бы от тебя услышать: кто назначил тебя главным капо в лагере Б.?

Человек в штатском перевел этот вопрос.

— И второе: как зовут француза, у которого ты нашел приют? Ну, хотя бы вот в эту ночь?— добавил старший из гестаповцев.

Василий стиснул зубы и почувствовал такую боль, что невольно прижался головой к левому плечу. И тогда все увидели пульсирующую черную опухоль на правом виске раненого. Каждому было ясно, что жизнь русского висит на волоске. От этого даже самым жестоким из присутствующих стало не по себе. Желая, видимо, разрядить гнетущую атмосферу, офицер деловито спросил:

— Он понял два моих вопроса или нет?

— Мне показалось, что понял,— сказал переводчик.— Кстати, на первый вопрос за него могу ответить я. Этот русский придушил рексиста, который назначил его главным...

— Молчать!— в ярости воскликнул старший гестаповец.

Василий вновь приподнял голову, видимо стараясь уловить, о чем они говорят. Но лицо его тотчас страдальчески исказилось от боли, да и лихорадка изрядно трепала его.

Переводчик повторил по-русски оба вопроса старшего гестаповца и, подойдя почти вплотную к пленнику, добавил:

— Ну подумай как следует, Василий! Скажи хоть что-нибудь. Иначе... не мне тебе говорить, что с тобой будет.

Он еще говорил, когда голова Василия вдруг беспомощно запрокинулась. Пленник снова потерял сознание — надолго ли, теперь уже никто не мог сказать.

— Русский пес!— с досадой, но тихо, почти шепотом, буркнул офицер.— В крепость его!

Он быстро вышел из камеры, и стук кованых сапог по каменному полу еще долго отдавался под сводами.

В бреду Василий слышал и эти гулкие шаги, и почему-то мелодию лихого украинского танца, и снова шаги — на сей раз долгие-долгие, мерные и монотонные, то удалявшиеся, то подходившие вплотную к двери камеры.

Глава V

Часовой с винтовкой на плече размеренно шагал по длинному и слабо освещенному коридору Аррасской тюрьмы. У одной из камер он остановился и посмотрел сквозь решетку на Василия. Уже не первый час тот сидел на койке в одной и той же позе — вытянутая раненая нога почти касалась пола, здоровая была подогнута под себя. Пленника трясла лихорадка, и согреться под тонким серым одеялом ему никак не удавалось. Скованные руки, как полагалось по правилам, лежали поверх одеяла.

В камере было бы совсем темно, если бы не тусклый свет лампочки, ввинченной в потолок коридора. Подойдя к ней поближе, часовой посмотрел на часы, затем снова перевел взгляд на Василия.

— Одиннадцать часов пять минут!.. Теперь уже меньше часа осталось.

— Что, что? — встрепенулся Василий. Названия цифр по-немецки он знал и потому переспросил: — Твой говорить — пять часов утра?

— Э-эх!..— отмахнулся часовой.— Это для тебя конец в пять часов, а для меня остался всего час до конца смены.

И часовой вновь зашагал по коридору. Василий с отчаянием приподнял скованные руки. Кроме всего прочего, ему было еще и больно — даже у молодого и сильного мужчины есть предел терпения,— и из глаз Василия покатились слезинки. Как бы желая преградить им путь, он плотно сомкнул веки, притулился к стене и сразу погрузился в забытье.

Во сне, тревожном, изнуряющем, он то погружался в серый густой туман, то вдруг выныривал из него и видел светлые картины прошлого, а потом перед ним возникал надзиратель. часы, неумолимый бег стрелок, приближавший время последней расправы... А на Украине в мае так тепло... Снег уже растаял, земля напоена влагой, природа и люди словно устремлены навстречу вновь пробуждающейся жизни. Из тумана возникает Галина в светлом платье. Василий представляет ее своим родным. Мать, умиленно вытирая платком

глаза, идет ей навстречу. А отец, как на свадьбе, вдруг пускается в пляс и... и вместе с ним пританцовывает часовой... Нет, я не хочу умирать, я не могу умереть!.. Галина, Галина, я сумею тебя защитить! Плывут по небу облака, и вот он, Василий, летит среди них, потом медленно опускается на дворе своего деревенского дома... Где ты теперь, Галина? По счастью, в кармане остались спички... Этот часовой точно рехнулся — все пританцовывает и пританцовывает... Я уже мертвый? Все считают, что мне крышка!.. Мать плачет на груди у Галины... А вот Мари, мама Мари, она бежит по дороге, спешит мне на помощь, она стучит в ворота, стучит в дверь тюремного коридора ногой, обутой в солдатский сапог... Я хочу жить, часовой!.. Нет, об этом ему ни слова! Ты одна знаешь мою тайну, Галина: не сдался я, нет, не сдался!.. Не плачь, мы с тобой еще заживем вместе, и тебе будет хорошо — хорошо среди подсолнухов, которые растут у нас на краю села...

О-ох, вот наконец и смена часовых!

Немудреный этот ритуал происходил почти у самой камеры Василия. Разводящий окинул взглядом помещение, выслушал краткий рапорт молодого солдата и равнодушно похлопал его по плечу — ступай-ка отдыхать! Смену принял старик, явно призванный из резерва. Кивком головы указав на камеру Василия, разводящий бросил несколько слов и ушел вслед за сменившимся солдатом. Василий, еще полностью не очнувшийся от своих видений, все же явственно уловил, как два сапога мерно зашагали в одном направлении по коридору, а четыре других, беспорядочно сбивая ритм, удалялись в противоположную сторону.

И теперь, когда по звукам шагов стало ясно, что в тюремном коридоре остался лишь один часовой, да и тот сейчас вышагивает где-то далеко от камеры, Василий ощупал карман своей куртки. Наручники мешали ему, впивались в запястье, вдобавок сразу возникла боль в раненой ноге, которую пришлось слегка передвинуть, чтобы удобнее было обследовать карман.

Предельно сосредоточившись, он внушал себе: «Спокойствие! Прежде всего — спокойствие! Делай все обдуманно, учитывай каждую мелочь!..»

После двух-трех безуспешных попыток Василию наконец удалось кончиками пальцев извлечь из кармана спички. Непросто человеку, скованному наручниками, выдвинуть коробочку, достать из нее несколько спичек и так спрятать все это под одеяло, чтобы ничего не обронить.

Еще в лагере Василий слыхал, что такое современное полицейское приспособление, как наручники, оказывается, можно открыть с помощью самой обычной спички. Помнится, он даже специально поинтересовался, как это делается. И вот пришел час, когда надо было восстановить в памяти полученный в лагере урок. Теперь в этом малюсеньком кусочке дерева таилась единственная возможность спасения. Возможность эта, правда, была довольно проблематичной, а тем более когда взяться за наручники мешали... сами наручники. Но поворачивая скованные руки в разные стороны, Василий нашел наконец такое положение, при котором кончик спички, зажатый в трех пальцах, оказался как раз напротив скважины в замке наручников.

Совсем близко послышались шаги часового. Пришлось согнуть пальцы и прикрыть ими спичку. Старик солдат, поравнявшись с камерой, машинально посмотрел в сторону замершего Василия и спокойно пошел дальше по коридору.

Теперь надо было снова ухватить спичку пальцами, и когда это

вновь удалось, Василий вдруг обнаружил, что на том ее конце, который он поднес к скважине в замке, на этот раз была сера. Он долго возился, пока перевернул спичку другим концом. Еще сложнее оказалось попасть ею в отверстие замка. Может быть, поэтому, когда он наконец все это проделал, Василий невольно с таким азартом нажал на спичку, что она сломалась. Подавляя досаду, он приступил к новой, уже незапланированной операции; теперь необходимо было извлечь из скважины обломок спички, а на поверхности торчал такой ничтожный кусочек, что пальцам никак не удавалось его ухватить. Тогда Василий поднес наручники ко рту, ощутил на губах холод стали и зубами вцепился в кончик спички. На этот раз он действовал с терпеливой осмотрительностью, тянул осторожно, не спеша и наконец добился своего — извлек злополучный обломок.

Все нужно было начинать сначала — теперь дело пойдет, конечно, быстрее, но наученный горьким опытом, Василий вынужден был действовать с величайшей осторожностью. Когда он достал из коробка новую спичку, пришлось сделать передышку: за решетчатой дверью опять появился часовой. Но вопреки обыкновению, он прошел без задержки, глядя себе под ноги. Василий на всякий случай прикинулся спящим, а через несколько секунд возобновил свою ювелирную работу. Как ни странно, но кое-чему он уже научился, и вторая спичка скоро попала в скважину замка. Когда она уперлась в донышко, у Василия так забилось сердце, что он вынужден был на время приостановить дело. Пауза оказалась, впрочем, кстати: возвращался часовой. Время тянулось бесконечно — так долго пришлось ждать, пока старик пройдет мимо. Наконец Василий слегка нажал на спичку. Потом еще и еще... Сейчас или никогда! Надо до отказа упереть спичку в дно замка, а затем потянуть в разные стороны наручники. Так, так... Еще секунда... Еще легкий нажим... И еще чуть дернуть руками в стороны!.. Получилось! Невероятно, но получилось — именно так, как рассказывали об этом Василию. Кольцо на правой его руке разомкнулось, а то, что левая по-прежнему была крепко скована, мешало уже меньше. Главное — побыстрее использовать эту, хоть и относительную, свободу рук.

В который раз мимо камеры прошагал часовой. Но Василий приспособился к периодическим появлениям тюремного стража и, автоматически замирая, заполнял секунды ожидания лихорадочным обдумыванием дальнейших действий. Сейчас внимание его привлек железный крюк в стене, и, рассматривая его из-под полуопущенных век, Василий прикидывал в уме, удастся ли до него дотянуться. Как здорово было бы выдрать эту штуковину из стены.

Только не медлить! Василий попытался приподняться и тут же упал на койку. Спина сразу покрылась испариной: опереться на раненую ногу он не мог! Да и часовой, словно почуяв недоброе, уже возвращался назад, не дойдя до конца коридора. Василий заторопился и, пряча руки под одеяло, невольно согнул ногу в колене. Застонав от боли, он на время потерял сознание, но, по счастью, отвалился к стенке и прижал плечом одеяло, так что руки его остались скрытыми серой дерюгой.

Услыхав стон, часовой постоял возле камеры, но видя, что Василий вроде бы сидит все в той же скрюченной позе, пожал плечами и снова зашагал по коридору. Проходя под лампочкой, он взглянул на часы. «Ох, и медленно же тянется время,— подумалось ему,— всего двадцать минут первого»...

А Василий снова впал в забытье. И снова перед ним возникли картины родной Украины. Вот он со своей сверстницей бежит по бескрайнему полю. Им обоим по четырнадцать лет. Длинные косы ее

летят сзади, как крылья. Василий обхватывает тоненький стан девочки, и они парят над землей, обгоняя летние облака.

Руки пленника высвободились из-под одеяла, чуть приподнялись, но левая, которую тянули вниз наручники, беспомощно повисла. Василий в бреду услышал лязг металла о камень, и этот звук болтающихся наручников ударом молота отдался в мозгу. Напрягая всю свою волю, Василий сбросил с себя оцепенение и, вновь обретя способность ориентироваться в происходящем, поспешно спрятал руки под одеяло — часовой был близко. Встретившись с ним глазами, Василий со стоном произнес:

— Пить!..

Эта вполне естественная просьба сразу усыпила бдительность старого часового; он остановился на секунду, категорически объявил: «Verboten!» [1] — и пошел дальше.

Времени у Василия оставалось в обрез. Хуже всего дело обстояло с ногой — рана при любом движении давала о себе знать. Но если вообще существовала возможность подняться, он должен собрать всю силу воли, чтобы превозмочь боль, какой бы невыносимой она ни была. Василий понимал, что иного выхода попросту нет. Однако самая безумная отвага ничего не могла дать, пока у пленника не было хоть какого-то орудия в руках. Крюк, вогнанный в тюремную стену,— вот единственное, на что мог рассчитывать Василий. В тюрьмах все делается прочно, всякая неожиданность предусматривается. Самая мысль о том, что удастся вырвать этот крюк, казалась фантастичной. И тем не менее Василий решил попытаться.

... Когда часовой в очередной раз проходил мимо камеры, он заметил небольшую перемену: Василий уже не сидел на койке, а полулежал, конвульсивно дергаясь всем телом. Но старик при этом не увидел, что на месте крюка в тюремной стене зияла дырка.

— Пить! — взмолился Василий.— Мне плохо, очень плохо...

Часовой даже не счел нужным ответить — потоптался у камеры и зашагал дальше.

Василий достал из-под одеяла крюк и тщательно исследовал его на ощупь. Он был квадратный и к тому же не такой легкий, как могло показаться: один конец его был сплющен молотом, а другой — заточен напильником. Та часть его, которая десятки лет находилась в стене, осталась белесо-серой. Время от времени вытирая одеялом пот с лица, пленный ощупывал крюк, мысленно взвешивая, годится ли он для осуществления задуманного плана. Затем Василий снова сел, только теперь уже опустил здоровую ногу и твердо уперся ею в каменный пол.

Выждав, пока часовой вернется, пленный запричитал пуще прежнего:

— О-ох! Плохо мне... конец! Плохо, плохо... О-ох, о-ох!.. Сейчас конец!..

Старик солдат в нерешительности остановился у двери камеры. И тут ему вспомнилось, что начальство строго-настрого приказало следить, чтоб русский ненароком не умер.

— О-ох, плохо мне! — неслось из камеры.— Конец пришел... конец...

Отперев дверь, часовой прислонил к косяку винтовку и с зажженным карманным фонариком направился к Василию, а тот, продолжая охать и стонать, указал на торчавшую из-под одеяла ногу. Старик поднес поближе к перевязанному колену узника свой фонарик и наклонился.

Удар был точно рассчитан. Правда, крюк задел краешек желез-

[1] Запрещено! *(нем.)*

ной каски часового, но все же острием своим попал в самый висок — тело старика обмякло и поползло вниз. Часовой был мертв. Василий сунул крюк в карман и наспех обыскал свою жертву, затем стал заталкивать мертвеца под койку. Каска упорно не пролезала, и Василию пришлось приподнять койку, чтобы спрятать труп.

Замызганное арестантское одеяло неплохо послужило Василию в эту ночь, и, уходя из камеры, он сунул его под мышку. Отвинтив от винтовки часового штык, он прихватил и его с собой, а саму винтовку затолкал в дальний угол, под койку, где уже лежал мертвец. Выскочив в коридор, он увидел в конце слуховое окно и, пригнувшись на всякий случай, заковылял к нему.

Окно было круглое, небольшое. Удастся ли в него пролезть? Здесь, в коридоре, оно находилось не так высоко от пола, поэтому Василий без труда сумел выглянуть наружу, зато там, на дворе, до земли было не меньше трех метров. Внизу, под самым окном, он увидел какую-то бесформенную кучу — ему удалось лишь различить в ней арестантскую одежду. Следовательно, если он пролезет, то падать будет не так уж страшно.

По небу плыли низкие черные тучи. Они то и дело закрывали луну, и тогда, казалось, ярче становился огромный прожектор, освещавший большой пустырь. Кроме того, по тюремному двору беспрерывно шарили, то перекрещиваясь, то обгоняя друг друга, два световых луча.

...Прошла секунда-другая, и на кучу под слуховым окном полетел штык; судя по звуку, он упал на что-то мягкое. Теперь настала очередь Василия. Решив пролезть боком, он вытянул правую руку, непомерно большую, опухшую, и ухватился за выступ стены, но туловище не проходило. Пришлось податься назад. Спустя некоторое время в окошечке появились уже две руки — напрягая всю силу мышц, беглец пытался протиснуть туловище сквозь узкое отверстие. На запястье так и болтались изредка позвякивавшие наручники. Тело Василия все более и более свешивалось наружу, и он в какой-то момент понял, что надо выбрасываться из окна вниз головой — иначе не получится. Когда его бедра пролезли сквозь оконный проем, Василий прикрыл руками лоб и верхнюю часть головы и камнем полетел вниз. В последнюю секунду он — теперь уже близко — увидел арестантскую одежду и тут же провалился в темноту. Василий лежал без сознания, когда на него, подобно савану, опустилось все то же одеяло, которое он привязал к ноге перед тем, как лезть в окно.

■

...Окровавленная голова с изуродованным до неузнаваемости лицом, слипшиеся волосы, а рядом — неестественно торчавшая из груды одежды рука, омертвевшие, скрюченные пальцы...

Василию даже померещилось, что он видит себя в зеркале. Но, постепенно возвращаясь к реальности и обретая способность оценивать происходящее, он понял, что голова эта чья-то чужая. Осторожно прикоснувшись к ней, Василий убедился, что рядом с ним — мертвец. И тогда вдруг с ужасающей реальностью стало ясно: то, что ему сверху представлялось кучей одежды, на самом деле было грудой трупов. И он лежал сейчас среди мертвецов.

В ужасе Василий вскочил и тут же повалился назад — не пустило одеяло. А не упади он, может, было бы и хуже: теперь, когда Василий уже снова лежал ничком, почти над самой его головой скользнул луч прожектора. И ему невольно подумалось: в таких он за последние месяцы побывал переделках, что ему уже теперь ничто не страшно. В конце концов, груда трупов могла послужить своего

рода маскировкой. Стараясь не поднимать высоко головы, Василий отвязал от ноги одеяло и скатал в сверток. Штык нашелся не сразу, но, подавляя брезгливое отвращение, Василий нащупал и его в кашице белой извести, которой облили трупы.

Чтобы не угодить под шарившие вдоль тюремного двора лучи прожекторов, к стене пришлось продвигаться ползком. Хорошо, что она проходила не так далеко. Только достигнув ее, Василий позволил себе приподняться на локтях. Сначала он смерил стену взглядом — что-то около двух с половиной метров высоты,— а потом уж начал кромсать дерюгу. Грани штыка оказались достаточно острыми, и Василий быстро разрезал недавнее свое покрывало на широкие полосы. Связанные друг с другом, они превратились в своеобразную «веревку», с помощью которой Василий и собирался перелезть через тюремную стену. Несколько раз в глаза ему ударял слепящий луч прожектора, но тут же перемещался в сторону. Оказалось, что даже эти опасные световые рейды можно использовать к своей выгоде: вот луч на две-три секунды остановился поблизости, и Василий сразу приметил огромную груду камней. До чего же это было кстати! Василий подполз поближе и на ощупь выбрал наиболее увесистый из них, с острыми углами и глубокой впадиной посредине.

Из разрезанного на узкие полосы одеяла у него получилась довольно прочная лента, а камень, крепко обвязанный ею, при удаче мог послужить якорем. И снова это немыслимое приспособление, как и другие, которыми беглец воспользовался за эту ночь, было единственной возможностью, открывавшей путь к свободе. Выждав, когда блуждающие лучи прожекторов удалятся, Василий выпрямился и швырнул камень вверх. Недолет! Ударившись о стену, камень упал назад к ногам Василия. По счастью, шум, вызванный этим, не привлек внимания охраны. Пришлось повторить бросок. На этот раз, задев верхушку стены, камень перевалился на ту сторону и потащил за собой грубошерстный шлейф. Василий еле успел ухватиться за его ускользающий конец. Дернул раз-другой — спасительная лента не подалась. Значит, самодельный якорь за что-то там зацепился, и пока все получалось так, как нужно было Василию.

Настало время по-настоящему испытать силу рук. Василий заткнул штык за пояс. Теперь предстояло забраться на стену. И он полез — медленно, без рывков, подтягиваясь выше и выше на одних лишь руках. Позвякивали наручники. Изредка штык царапал по стене. Но в общем Василий лез бесшумно, с ожесточенным упорством и наконец взобрался на стену. Вот где уж нельзя было задерживаться ни секунды! Василий перебросил тело через стену и, ухватившись руками за ее край, повис на другой стороне. Только теперь он понял, что не успел даже рассмотреть, где ему предстоит приземлиться, и покосился вниз. Темные облака все плотнее застилали небо. Однако и тут Василию повезло: луна на миг вдруг проглянула, и он различил метрах в двух под собой вспаханное поле. Поджав под себя раненую ногу, беглец здоровой оттолкнулся от стены и одновременно разжал пальцы, сжимавшие «веревку».

Второй раз за какие-нибудь полчаса Василий падал вниз с безотчетной решимостью, наугад, даже не задумываясь, останется ли он, и так уже израненный и окровавленный, вообще жив. И когда, лежа на рыхлой земле, он пришел в себя, ощупал руки, ноги, ребра и убедился, что, вероятно, способен еще передвигаться, то вдруг рассмеялся, как мальчишка. Что-что, а из тюрьмы он ушел. Теперь надо побыстрее уходить и отсюда — да подальше: на вспаханном поле его могут быстро настигнуть по следам... И Василий двинулся в путь — путь нелегкий, ибо больная нога отказывалась служить. Он припадал на нее

лишь слегка, а то и вовсе опускался на четвереньки и продвигался вперед словно раненое животное, поджавшее одну лапу.

Вскоре он достиг проселочной дороги. А за нею опять шло возделанное поле. Вдали виднелись темные очертания хутора.

Добравшись наконец до его двери, Василий решился постучать. Где-то наверху, в мансарде, сонным лаем отозвалась собачонка. Вслед за этим послышался звук открываемой форточки и сонный женский голос:

— Кто там?

Женщина высунула в форточку голову, но так и не увидела Василия. Вход в дом заслонял навес, и пришелец, стоя под ним, тихонечко постукивал в дверь и повторял одно и то же:

— Товарищ... товарищ...

Хозяйка проворчала что-то себе под нос, затем на лестнице послышался стук ее деревянных башмаков. Вот свет зажегся на первом этаже, и почти в тот же миг вспыхнула электрическая лампочка над крыльцом, где стоял Василий.

Дверь внезапно распахнулась, но увидев перед собой перепачканного и окровавленного человека, женщина на какой-то миг испуганно отшатнулась. Она даже слегка вскрикнула, а собачонка, выскочившая вслед за ней, так и залилась отчаянным лаем. Понять, кем был незваный ночной гость, хозяйке дома было нетрудно. К тому же истошно взвыла тюремная сирена, гигантским звуковым буравом прорезав пространство, отделявшее ее дом от гитлеровского застенка. Женщина сразу выключила электричество и, исчезая в темноте дома, прошептала:

— Подожди-ка...

Василий ждал. Собачонка и та замолкла; лишь вздыбившаяся шерсть свидетельствовала о том, что песик настороже. А тюремная сирена все выла и выла. Но Василию почему-то уже не было страшно.

«Да, конечно, идет война, и люди беспощадны друг к другу...— промелькнуло в голове у Василия.— Но существуют и такие люди, как эта женщина, и я уверен: она поможет мне. Сирена же — только напоминание, что надо ухо держать востро и не мешкать!»

Женщина действительно готова была ему помочь. Но всего лишь едой. Глядя на кружку молока и толстый кусок хлеба, которые она протягивала ему, Василий вдруг почувствовал, как у него от голода подвело живот. Он жадно припал к кружке и увидел крестьянские руки женщины, державшие хлеб,— руки вечной труженицы.

— А теперь,— произнесла она, убедившись, что кружка пуста,— беги, беги скорей отсюда!

Кивком головы показав, что понял, Василий махнул рукой в ту сторону, откуда все еще раздавался вой сирены.

— Аррас?

— Да,— подтвердила хозяйка.

И тогда Василий сначала показал на себя, затем — в противоположную сторону.

— Да,— снова сказала хозяйка.— Беги!

Василий заковылял было прочь, но вдруг обернулся:

— Спасибо, мамаша!

Женщина лишь жестом как бы подтолкнула его — иди, иди!

И он пошел, уже не оборачиваясь.

Закрыв дверь своего дома, хозяйка еще долго стояла у окна и наблюдала за тем, как, припадая на одну ногу, он все дальше и дальше уходил в темноту. Вот он остановился передохнуть и поднес ко рту ломоть хлеба. Машинально женщина взглянула на часы — стрелки показывали двадцать минут второго.

Ноги у нее вдруг подкосились, она села на стул и почувствовала, что вся дрожит. Собачонка тотчас вспрыгнула ей на колени. За окном все выла и выла сирена. И женщина ласково провела рукой по теперь уже гладкой, улегшейся шерсти собачонки.

— Мы с тобой ничего не видели, Миретт, правда? — произнесла она вслух.— Пусть уж лучше наш хозяин покорно сидит в своей камере, чем так мучиться, как этот русский, правда?!

Тем временем русский по имени Василий, весь взмокший, с перекошенным от страдания лицом, шел все дальше и дальше, волоча за собой омертвевшую ногу.

■

У доктора де Курселя с некоторых пор появились все основания быть довольным собой. С помощью жены и многочисленных коллег в госпитале святой Барбары, которые что-что, а язык держать за зубами умели, ему удалось вытащить из беспощадных лап оккупантов уже сорока двух русских военнопленных. Рискованные эти операции отнюдь не медицинского характера, грозившие потерей собственной головы, имели даже кодовое название — «Игра в шахматы». Решающий ход в ней был всегда один и тот же: попадавших в госпиталь русских военнопленных объявляли умершими, доктор де Курсель собственноручно удостоверял их смерть, а в землю зарывали гробы со шлаком. В госпитале русским пленным помогали восстановить силы, а о дальнейшей их судьбе заботились уже участники французского движения Сопротивления.

Но на этот раз де Курселю предстояла настоящая хирургическая операция. Через старшего фельдшера Леона Дюбуа человек, назвавшийся Сержем, попросил его о свидании. И когда де Курсель осведомился, о чем пойдет речь, его помощник ответил, что это может сообщить ему только сам Серж, один из руководителей Национального фронта Сопротивления.

Серж, оказавшийся человеком немногословным, деловито, но без обиняков рассказал доктору об удивительном русском по имени Василий, который уже дважды — при самых невероятных обстоятельствах — бежал из гитлеровского плена и сегодня на заре в ужасающем состоянии добрался до своих французских друзей, которых простодушно называл «папа и мама». Судя по всему, в ноге у него застряла пуля и без вмешательства квалифицированного хирурга не обойтись.

Ни секунды не задумываясь, доктор сказал:

— Доставьте его сюда через час.

А про себя подумал: да, война все больше и больше втягивает его, де Курселя, в опаснейшую игру — до сих пор он помогал узникам обрести свободу, но вот речь пошла уже о том, чтобы вернуть храброго русского солдата в ряды сражающихся антифашистов.

Он вызвал к себе хирурга Рулеза. Каковы настроения этого отличного профессионала, де Курсель не знал, но времени подыскивать человека абсолютно надежного попросту не было.

— Через час надо будет вынуть у одного пациента пулю из ноги. Над коленом... Сделаете?

— Но, мосье де Курсель, у нас ведь не военный госпиталь! Оккупационные власти располагают всем, что требуется для такой операции, в Ленсе, в Лилле, во многих других местах.

— В том-то и дело, дорогой Рулез, что речь идет не о солдате оккупационных войск...

— Сразу бы так и сказали! — воскликнул Рулез и с подлинно французской экспансивностью потер руки.— Разумеется, я сделаю

все, что надо... И... можете мне больше ничего не говорить! — Подумав немного, он, однако, добавил: — Но ведь нужны будут ассистенты.

— В вашем распоряжении Дюбуа, сестра Мари-Терез и... и я.

— Отличная операционная группа. Я пошел готовиться к операции.

Точно в условленное время сам Серж вместе с шофером доставили в операционную закутанного в одеяло Василия. Можно было подумать, что они несут мумию. Одеяло сняли только в операционной.

Превозмогая боль, весь в поту от лихорадки и напряжения, Василий прежде всего осмотрелся. Он доверял своим французским друзьям, но все же оставался начеку. И когда хирург дал указание фельдшеру применить общий наркоз, раненый энергично замотал головой, настороженно поглядывая на окружающих глазами затравленного зверя. Только сейчас де Курсель узнал военнопленного, который так поразил его в феврале на железнодорожной станции и о котором он потом рассказывал дома, да и своим добрым знакомым. И доктор отрывисто сказал:

— Пусть будет так, как он хочет!

А сам подошел ближе к раненому, вытер ему платком пот со лба и заговорил тихо, но так медленно и отчетливо, чтобы русский мог его понять:

— Вы здесь среди друзей. Я — начальник госпиталя. Я восхищен вами, и в вашем лице я — француз — приветствую Страну Советов!

Операция шла без наркоза. Хирург решительно сделал разрез. Дюбуа передал ему щипцы. Хирург поднес их к ране. Василий сжал зубы, чуть запрокинул голову: Серж, стоявший на страже у двери, почувствовал, как к горлу подступила тошнота, и отвернулся.

Рулез хорошо знал свое дело. Он быстро извлек пулю. Сестра Мари-Терез с такой же быстротой и сноровкой перевязала рану, и у Василия хватило силы воли благодарно улыбнуться ей. А в регистрационной книге появилась запись: «20 мая 1944 года. Извлечение осколка кремня. Польский шахтер Макар».

Фельдшер Дюбуа старательно обернул ватой пулю от маузера и выбросил ее в ведро. На несколько секунд в операционной воцарилась тишина. Все были довольны собой и друг другом.

Множество разных лиц прошло перед Василием за последние месяцы, и, естественно, он не узнал в докторе де Курселе того доброго незнакомца, который подарил ему на железнодорожной станции теплый шерстяной шарф. Боль постепенно затихала. Он думал о том, что живет и — трудно сказать, надолго ли — вновь обрел свободу.

Бывают в жизни случаи, когда невозможное становится возможным...

Глава VI

На дворе все еще был май, но лето уже наступило. Такое стояло прекрасное утро, что казалось, не может быть на земном шаре войны.

Соскочив с велосипеда, Пьер, высокий худой блондин лет двадцати пяти, толкнул садовую калитку и поставил свою машину, упершись педаль в кромку цементной дорожки. Во дворе его уже поджидала Мари.

— Я от Сержа,— представился Пьер.

— Нас предупредили, и вас ждут,— улыбнулась Мари.— Пожалуйте сюда!

Они прошли в дом через кухню и, миновав «парадную» столо-

вую, оказались в небольшой комнате, где, опираясь на суковатую палку, их встретил приветливо улыбающийся Василий.

— Здравствуйте, Пьер!

— Доброе утро, товарищ.

— Присаживайтесь! — предложила гостю Мари.

На столе лежало несколько книжек и все тот же словарь, при помощи которого русский постоялец познавал основы чужого языка. Пьер отметил это про себя, но главное — его поразило то, что этот человек, который, по рассказам, перенес такие ужасы, выглядел вполне здоровым и сейчас с озорной усмешкой выжидающе смотрел на него. Мари уже успела сходить за вином, а мужчины все еще молчали. Наконец, чтобы как-то начать разговор, Пьер спросил у хозяйки:

— И давно он здесь?

— Да в общем-то все время... Если мы и расставались с ним, то не больше, чем на сутки, так, Василий? — В словах Мари звучала гордость за своего постояльца, а может быть, и за себя с Жюлем.

— Просто не верится,— пожал плечами Пьер.— И оккупанты вас не беспокоят?

— Пожалуйста,— вмешался Василий,— пожалуйста, вы говорить медленно, товарищ. Мой понимать, когда товарищ говорить медленно.

— Больше не беспокоят,— пояснила Пьеру Мари.— А все потому, что Василий вовремя ушел на сутки. Мы, конечно, не хотим плохо говорить о бедном Иване, но Леона с женой ведь забрали...

— Все равно не верится,— словно размышляя вслух, повторил Пьер.— Серж мне все это уже рассказывал, а все равно поверить трудно. Своим глазам и то не веришь...

— Знаешь что? — Василий от волнения пристукнул по столу стаканом.— Если мой знал такой разговор... сделал бы иначе!

Пьеру самому стало не по себе от своих подозрений. И все же он должен был уточнить до конца некоторые обстоятельства и детали.

— В гестапо тебя пытали? — И Пьер жестом показал, как выкручивают руки.— Пытки были?

— Нет. Гестапо сразу не делал больно. Больно не был!

— Да он же им времени не дал! — засмеялась Мари.— К нам торопился...

— Они тебе говорили, что утром расстреляют?

— Не понимаю...

Пьер повторил свой вопрос, четко отделяя слово от слова:

— Оккупанты говорили: тебе утром расстрел... конец?!

— Да, да! Говорил — утром русский капут!

— Конечно, они могли сказать ему это, чтобы он размяк и стал разговорчивее,— вслух предположил Пьер,— а утром уж взялись бы за него по всем правилам.

— Конечно, конечно... — подхватила Мари.— И только потом расстреляли бы...

— Если все это так, здорово он их околпачил. Да нет — просто фантастика! Как, например, он сумел снять наручники?

Василий уловил почти весь ход этого разговора. Он подошел к зеркальному шкафу и из-под груды белья вытащил один за другим наручники, крюк и штык.

— Вы — сумасшедшие! — хоть и сердито, но явно проникаясь доверием к Василию, воскликнул Пьер.— Это же улики!

— Сейчас... это будет... — Василий долго подбирал нужное слово и, наконец, нашел его: — Алиби! Но, Мари, надо спичка... спичка я там потерял...

— Этот фокус мы с Жюлем уже видели,— подавая спички, сказала Пьеру Мари.— Я успею сбегать за покупками. На полчаса, не больше. А вас на всякий случай запру.

При виде ключей Василий понимающе подмигнул хозяйке:

— Такой тюрьма мой согласен. И — никуда не бежать!

■

Примерно через час Мари приоткрыла дверь в комнату и спросила:

— К вам можно?

Пьер кивнул. Мари вошла вместе с Жюлем.

— Наговорились? — радушно спросил Пьера Жюль.— Чем он теперь сможет заниматься?

— Чем захочет. Да ты, старик, не хуже меня знаешь, чем он захочет заняться.

— Это-то мне ясно. Да только вот когда? Я ведь об этом хотел узнать.

— Ну, когда дело пойдет на лад — я имею в виду: с ногой. Чтоб рана зажила, потребуется недели две, а то и три...

— Мой здоров через неделя! — вмешался Василий.

— Твой — рехнулся! — с отеческой улыбкой возразил Жюль.— В жизни я такого безрассудства не допущу!

— Смотреть сюда, папа! — И подойдя к Жюлю, Василий обхватил его за туловище, приподнял и закружил по комнате.

Сраженный таким неожиданным доказательством силы, Жюль, высвободившись из объятий Василия, только рукой махнул.

Пьер стал собираться.

— Серж мне передаст,— деловито сказал он хозяевам,— когда вашего квартиранта можно будет включить в дело. Спасибо вам обоим за все.— И давая понять Василию, что с подозрениями покончено, Пьер спросил: — Тебе ничего не нужно?

В ответ Василий, не задумываясь, сказал;

— Книга знать французский язык. Понимаешь, книга учить язык для маленький французский мальчик.

■

У входа в фотографию с велосипедов сошли трое. И хотя нога у Василия еще как следует не зажила, приземлился он так лихо, что его спутницы — Галина и Изабель — переглянулись с невольным восхищением.

В фотографии раздался серебристый звон колокольчика. Навстречу посетителям откуда-то из глубины вышла женщина и привычно осведомилась:

— Что вам угодно?

— Я хотела бы видеть мосье Кариона,— чуть выдвинувшись вперед, ответила Изабель.

— Видите ли, дела мужа веду я. Вы за фотографиями?

— Нет,— пояснила Изабель,— у меня личное дело к мосье Карионе.

— Ну, как хотите,— не без раздражения ответила жена фотографа.— В таком случае вам придется посидеть.

Все трое с улыбкой переглянулись и стали ждать.

Наконец появился мосье Карион в рабочей блузе и еще с порога салона окинул своих посетителей внимательным, испытующим взглядом.

— Слушаю вас...

Вместо ответа Изабель положила перед ним на столик разрезанную по диагонали игральную карту. Карион едва покосился на нее.

— Вы вместе — все трое?

— Да. И... очень торопимся.

Фотограф невозмутимо выдвинул ящик столика и, достав оттуда другую половинку карты, приложил ее к той, что вручила ему Изабель, затем сухо сказал:

— Пожалуйста, входите. Итак, для удостоверения личности?

Фотограф действовал быстро и молча. Сначала он снял Галину, потом Василия. Вся процедура заняла немногим больше минуты.

— Сколько мы вам обязаны? — спросила Изабель.

— Нисколько! — с достоинством сказал мосье Карион.

— Спасибо, большое спасибо. Вы, конечно, не забудете уничтожить негативы?

— Излишнее напоминание, мадам! Я не новичок.

Но тут в разговор вдруг вмешался Василий.

— Еще, мосье, еще! — попросил он.— Такой шанс нам...

— Что-что?

— Вы фотографировать меня и мадам... — весь так и лучась, Василий кивнул в сторону Галины.— Меня и русский мадам... Вместе!

— Ну что за ребячество?! — с досадой воскликнула Изабель. И обращаясь к фотографу, вдруг искренне посетовала: — Вы не представляете себе, мосье Карион, какой мальчишка живет в этом человеке! А если одного из них схватят? Такая фотография сразу же выдаст другого.

Но Василий тем временем уже подбежал к фотографу, обхватил за плечи и с подкупающей непосредственностью объявил:

— Ваш делать гранд-удовольствие русский мадам!..

Мосье Карион, казалось, разделял опасения Изабель, но увидев, что Галина, заразившись настроением Василия, уже прихорашивается перед зеркалом, только руками развел и сдался. В конце концов люди так настрадались — почему не доставить им удовольствие?

Пришлось затратить еще несколько минут и снять русскую пару.

— Ну, вы просто оба сумасшедшие! — всплеснула руками хозяйка.

Но затем она стремительно подошла к Василию и, ни слова не говоря, поцеловала его.

— Может, снять тебя теперь с этим сумасшедшим? — улыбнулся муж.

Василий горячо потряс руку хозяйки.

Когда эти не совсем обычные посетители вышли из фотографии, мосье Карион задумчиво спросил у жены:

— Какой у нас сегодня день?

— Четверг. Первое июня сорок четвертого года. А что?

— Даже не могу объяснить, почему мне захотелось это запомнить. Но считай меня последним трусом на земле, если я когда-нибудь уничтожу этот редкостный негатив.

По необъяснимому совпадению Василий в эти минуты тоже вспомнил, какой сегодня день. Он ехал на велосипеде, размеренно нажимая на педали, а мысли перескакивали с одного на другое. А что, если эти снимки последние в его жизни?

Затем он подумал: значит, сегодня первое июня, начало лета!.. Увидит ли он осень — счастливую пору плодородия, которому не бывать, если весной не забросишь в почву семена?!

■

Небольшой домишко так прилепился к терриконам шахты, что его можно было бы принять за служебную постройку, если бы не ма-

ленький садик, где явно трудились заботливые хозяйские руки. Дорожка к этому зеленому оазису вилась среди гор шлака и проходила мимо дымящейся башни теплоэлектроцентрали. Казалось бы, пейзаж индустриальный, а на самом деле место было весьма уединенное.

Пьер соскочил с велосипеда и, толкнув калитку, пошел к домику, на крыше которого из-под черепицы по углам еще торчали пучки соломы. Он не успел взойти на крыльцо, как дверь открылась и навстречу вышла старенькая хозяйка. Испытующе глядя на пришельца, она ждала, пока тот заговорит первым.

— У Тимона найдется для меня масло? — спросил Пьер.

— Ах, это вы!.. Немного опоздали. И потом... одному вам не управиться.

— Совершенно верно,— согласился Пьер.— Будьте добры, обождите минутку.

Вернувшись на тропинку, он принялся возиться с велосипедом, хотя никакой необходимости в починке вроде не было. По этому условному сигналу из-за отвала, ведя за собой велосипеды, вышли Василий, Серж и Клебер.

Без лишних объяснений старушка повела их в дом. Никого не было ни в кухне, ни в спальне, куда они все прошли. Кивком головы хозяйка показала под кровать, сказав только:

— Тяжелое!

Пьер опустился на колени и вытащил из-под кровати большой чемодан, в котором оказалось четыре пулемета «Стэн», патронные обоймы, шесть английских револьверов и пакеты с патронами.

Четверо мужчин принялись за работу. Они проверили все содержимое чемодана вплоть до последнего патрона. Не говоря друг другу ни слова, зарядили револьверы и сунули их себе за пояс. Патроны пришлось рассовать по карманам. Дольше всего возились, разбирая пулеметы. Наконец, когда и с этим было покончено, четверо пришельцев завернули части пулеметов и обоймы в принесенное с собой тряпье.

Улыбнувшись на прощанье странной старушке, они быстро вышли за ограду и, укрепив на рамах велосипедов свои тяжелые свертки, двинулись в обратный путь.

Ехали они цепочкой, достаточно быстро, но без излишней спешки. Каждый жал на педали и исподлобья поглядывал вокруг. Неожиданно Пьер сделал предупреждающий жест.

На пути их появились два французских жандарма — тоже на велосипедах. Полицейская интуиция сработала мгновенно, и, спешиваясь, старший повелительно поднял руку:

— Стой!

Оба жандарма отработанным приемом прислонили свои велосипеды друг к другу так, что те загородили проезд Пьеру и его товарищам. Пришлось притормозить.

— Ваши документы! — потребовал старший.

Четверо велосипедистов опустили каждый одну ногу на землю, а другая оставалась на педали, с тем чтобы при первой же возможности продолжить путь. Теперь цепочка превратилась в ряд. Одной рукой велосипедисты держались за руль, а второй шарили по карманам.

Удостоверение, которое предъявил Пьер, не вызвало подозрений. Но когда очередь дошла до Василия, старший жандарм окинул его пристальным взглядом:

— Вы француз?

— Разве в удостоверении все не сказано? — как можно спокойнее проговорил Пьер.

— Вы не вмешивайтесь! Можете проезжать!..

— Как же я поеду, когда ваши велосипеды перегораживают дорогу?

Старший жандарм вернул удостоверение Василию, но тут же поинтересовался:

— А что это вы все везете?

— Ничего,— наобум ответил Пьер.

— То есть как ничего? — воскликнул второй жандарм и указал на свертки, прикрепленные к рамам велосипедов.— А это?

— А это,— засовывая руку за пояс, проговорил Клебер,— это не твое собачье дело!

И, словно по команде, все четверо наставили на жандармов револьверы.

— Что, до сих пор не дошло? — презрительно спросил Пьер.— А про движение Сопротивления ты слышал? А ну, освободите дорогу и марш отсюда! Да поживей!

Жандармы растерялись. Наконец, старший первым взялся за велосипед.

— Туда! — показал Василий на поперечную дорогу.— Фьюить!

— А ну, двигайте! — подхватил Пьер.— Катитесь как можно дальше и считайте, что вам повезло: остались при амуниции и оружии...

Сев на велосипеды, жандармы свернули в сторону и, не оглядываясь, поехали прочь, а четверка отважных двинулась дальше, но теперь уже каждый жал на педали изо всех сил.

■

В уютной кухоньке дома Жюля, которая стала своеобразным штабом единения сил французских патриотов и беглых русских военнопленных, явно кого-то поджидали.

За плотно зашторенными окнами вечерело. Стук в дверь действительно раздался точно в условленное время. Открывать пошел Жюль. Последовал обмен на первый взгляд обычными фразами, которые, впрочем, точно совпадали с установленным паролем, и хозяин впустил в дом двух гостей. Первым оказался Пьер, а вторым — незнакомый человек высокого роста. Его широкий берет был надвинут низко на лоб, воротник коричневого плаща поднят, глаза скрыты темными очками. Все стояли. Василий, Михаил и Галина смотрели на незнакомца с некоторым напряжением. Тот, в свою очередь, внимательно оглядел каждого из них, словно мог тут же составить себе точное представление о людях, которых видел впервые.

Воцарилась неловкая тишина, и Мари, чтобы разрядить атмосферу, спросила у пришедших:

— Может, присядете, покушаете?

— Спасибо, мы уже поели,— отозвался Пьер и продолжал несколько официальным и торжественным тоном: — Товарищи, познакомьтесь! Это — представитель Центрального комитета советских военнопленных во Франции. Мы называем его Виктором.

Незнакомец молча и с подчеркнутой сдержанностью пожал каждому руку, и по приглашению Мари все, кроме хозяев, уселись за стол. Жюль дипломатично сказал жене:

— Послушай, Мари, у нас там, кажется, осталось немного вина. Пойдем посмотрим вместе.

Знакомство складывалось далеко не просто. Четверых русских, встретившихся вдали от родины, как бы разделял невидимый барьер.

Виктор настороженно посматривал на своих соотечественников, и Пьер поспешно заговорил:

— Это — Василий, легенда здешних мест, дважды бежал от гитлеровцев... Впрочем, я тебе о нем подробно рассказывал. Михаил — политический инструктор по работе с бежавшими из лагеря. Галина — связная. Под руководством Василия сейчас по сути находится около ста восьмидесяти военнопленных, которых разными путями удалось вырвать из лап оккупантов. Русские объединены в боевые группы по примеру наших франтиреров и партизан.

Виктор молча что-то прикидывал в уме, и Пьер счел нужным пояснить:

— Действуют они самоотверженно и с большой эффективностью. Но ваши инструкции о согласованных действиях им были бы крайне полезны.

— Все это хорошо,— неожиданно прервал Виктор на превосходном французском языке.— Но прежде я хотел бы уточнить для себя некоторые обстоятельства.— И уже по-русски обратился непосредственно к Василию: — Времени у нас, к сожалению, очень мало. И потому, товарищ, не обижайтесь, если я без обиняков задам вам три вопроса. Как вы сюда попали? Каким образом именно вы стали главным капо в лагере? Кто назначил вас руководителем бежавших военнопленных в районе Па-де-Кале?

И двое русских начали очень нелегкий для обоих разговор. Василий понимал, что сам на месте Виктора задавал бы точно такие же вопросы, а в то же время отвечал горячо и с обидой. Запальчивость собеседника Виктор в душе оправдывал, но твердо решил, что пока сам не поверит до конца этому человеку, чья удачливость не только вызывала восхищение, но и настораживала, он, Виктор, должен оставаться бдительным. Понимали всю сложность этой полубеседы-полудопроса и остальные. Пунцовая от возбуждения Галина несколько раз порывалась перебить Виктора, но каждый раз Михаил мягко дотрагивался до ее руки. Сам он следил за ходом разговора с напряженным вниманием и только изредка кивком головы как бы подтверждал слова Василия.

Хозяевам, вернувшимся на кухню после продолжительного отсутствия, тоже было ясно, о чем шла речь, хотя они и не знали русского языка. Жюль сразу почувствовал, что сейчас не до застолья, отставил вино и одну за другой курил самокрутки. Мари всматривалась в лицо Виктора с нарастающей неприязнью, и в конце концов негодование ее прорвалось:

— Послушайте, вы же русский! И вы можете только гордиться тем, что есть такой русский, как товарищ Василий... За ним против гитлеровцев пойдут сотни французов. Если вы его не признаете своим, мы примем его как родного сына! Вам понятно хотя бы это?!

— Я вас хорошо понимаю, поверьте. И мне тоже хочется гордиться им. Но вы знаете сейчас о нем больше, чем я. Вы должны и меня понять.— Виктор говорил подчеркнуто спокойно, но глаза его вдруг погрустнели.— Когда с людьми поступают так жестоко, как в этом лагере, не каждый может выдержать. Находятся ведь слабые, которые соглашаются на все, лишь бы выжить.

— Кем-кем, а слабым этого русского ты уже сейчас не считаешь, уверен! — впервые вмешался в разговор Пьер. И поскольку объяснялись они на французском языке, добавил, не боясь откровенности: — И согласился он стать капо только потому, что на это место могли назначить действительно мерзавца. Кто бы выиграл тогда?.. Я лично, да и все наши товарищи преклоняемся перед ним и доверяем без вся-

ких оговорок. Кстати, я тебе говорил, что у него есть план массового побега из лагеря Б. И если ты с ним ознакомишься...

— Массового?! — с неподдельным удивлением переспросил Виктор. В глазах его вспыхнуло что-то похожее на восхищение, но он быстро опустил взгляд и буднично продолжал: — В лагере, конечно, есть разные люди... нельзя этого не учитывать. Если твои товарищи, Пьер, сочтут этот план реальным, нам тоже хотелось бы с ним ознакомиться.

Решительно поднявшись, Виктор протянул руку Василию:

— Пусть пока все остается по-прежнему. Я вижу, тут вам надежнее всего. Искренне советую — не зарывайтесь, соблюдайте осторожность! Я расскажу товарищам о нашей встрече, а там — будет видно.

Василий, все еще красный и раздосадованный, ответил лишь молчаливым рукопожатием. Все же остальные облегченно вздохнули и проводили Виктора с большим радушием, чем встречали.

— Ты снова вышел победителем! — сказал Василию Михаил, когда дверь за Пьером и Виктором захлопнулась.

— Ладно, поработаем, а там будет видно,— сдержанно отозвался Василий.

Русские простились с хозяевами и вместе вышли. Мари и Жюль, занимаясь на кухне каждый своим делом, долго молчали. Потом Жюль по привычке включил приемник, настроился на Лондон, но поскольку передавали лишь музыку, поднялся и сказал жене:

— Знаешь, Мари, этот Виктор произвел на меня какое-то странное впечатление... Когда кончится война, я обязательно напишу Сталину и расскажу, как русские тут сражались вместе с нами... Свидетельство старого французского шахтера — как ты думаешь, советским людям будет это интересно?

Произнося это, Жюль не заметил, как на пороге снова появился Василий. Понял тот или нет, о чем шла речь, трудно было сказать, только русский с большой теплотой посмотрел на человека, которого так недолго знал, но успел высоко оценить.

■

Прошло несколько дней, и результаты свидания Виктора и Василия уже дали о себе знать. Идея организации массового побега из лагеря Б. нашла поддержку как у французских патриотов, так и у бывших русских военнопленных.

Детали уточняли на конспиративной квартире, которую занимала местная учительница. На столе было разложено несколько исчерченных листков бумаги. Пододвинув к Пьеру один из них, Василий пояснял с помощью карандаша:

— Вот здесь — склад обмундирования. Казарма далеко. Тихо брать — рексисты ничего не услышат.

— О том, что все должно быть тихо, и говорить не приходится,— усмехнулся Пьер.— Главное в другом: если они обнаружат до начала побега, что обмундирование похищено,— провал неизбежен.

— Верно! — подтвердил Василий.— Будет на складе все хорошо, после два часа надо.— Подумав, он предложил: — Операция «Форма» — двадцать один час, операция «Лагерь» — двадцать три часа.

— А как с охраной склада? Не будут ли они менять караул как раз в эти два часа?

— Склад охранять один рексист. Он всегда спать внутрь дома. Смена — половина ночь. Мы уже... фьюить!..

— Наши люди потребуются?

— Да. Четыре француза — хорошо знать дорога и сам шахта. Каждый повести группа пленных. Мы их сдавать, вы прятать...

— Кто поведет ваших людей в лагерь?

— Я первый,— объявил Василий.

— Та-ак... И еще четыре опытных француза,— задумчиво проговорил Пьер.— Я буду пятым...

■

Караул на складе в этот вечер нес тщедушный подвыпивший рексист. Дежурство его вполне устраивало. Когда начали сгущаться сумерки, он просто нутром учуял, что в казарме идет выпивка, и ухитрился незаметно туда сбегать. На это ушло всего минут десять, а напиться дежурный успел изрядно. Ну и что с того? Тем быстрее пройдет время до полуночи. Весьма довольный своей «прогулкой», он вошел в склад, запер дверь изнутри и на всякий случай окинул помутившимся взглядом помещение. Все было в полном порядке. На полках лежали аккуратно сложенные мундиры и френчи. На полу громоздились тюки шинелей. Особый стеллаж занимали форменные кепи.

Маленький рексист не первым и не последним нес здесь дежурство. Кто-то уже позаботился о том, чтобы вытянуть из тюков несколько шинелей и соорудить из них своеобразное ложе. И подвыпивший караульный, не раздумывая, повалился на шинели и с головой накрылся одной из них. Не прошло и минуты, как он спал.

...Операция «Форма» началась ровно в девять часов вечера, когда уже стемнело. Прижимаясь к стене склада спиной, Василий медленно продвигался вперед. Навстречу ему с другой стороны крадучись шли еще двое русских. Они сошлись возле небольшого окошечка, забранного тонкими железными прутьями. За ними поблескивало стекло.

Взявшись за прутья, Василий напряг всю свою недюжинную силу и начал раздвигать их в стороны. Решетка, наконец, поддалась, и между прутьями образовался не то круг, не то овал. Переведя дыхание, Василий шепотом сказал товарищам:

— Ну, я же говорил! — И, обращаясь к одному из них, добавил:— Теперь твоя очередь, стекольщик!

Другой русский, встав на цыпочки, вытянулся, сначала провел пальцами по краям стекла, потом по диагонали и не без облегчения тихо проговорил:

— Есть трещина. Это упрощает дело.

Как он «орудовал», остальным не было видно, но минуты через две раздался звон падающего стекла.

— Э-эх... — в сердцах чертыхнулся было неосторожный «стекольщик», но Василий зажал ему рот рукой. Все замерли.

Внутри склада по-прежнему было темно, а кругом — тихо. В какой-то момент Василий прильнул к окну, вслушался и уловил храп. И тогда он снова дал знак своему товарищу, который, заняв прежнее место, стал быстро передавать остальным куски стекла, а те осторожно опускали их на землю.

— Ну, Малыш,— обратился Василий к третьему участнику операции, когда все стекло было вынуто,— полезай!

Этот русский в самом деле был малыш. Низенький и тонкий, он казался совершенным мальчишкой. Однако вопрос, с которым он шепотом обратился к Василию, был совсем не мальчишеский.

— Приканчивать будем? — И Малыш кивнул на окошечко, откуда теперь отчетливо доносился храп рексиста.

— Если у него крепкий сон, будем считать, что ему повезло,— усмехнулся Василий.

Малыш понимающе кивнул головой, стал тянуться к окну, но не достал. Тогда товарищи приподняли его и подсадили. Овал, проделанный в прутьях Василием, был узким, но Малыш, словно гусеница, пролез в отверстие, ловко управляя своим туловищем. Через несколько секунд он уже исчез в темноте, и его товарищи, не теряя времени, стали осторожно продвигаться к входной двери.

Малыш оказался настолько проворным, что когда его сообщники обошли склад, дверь была уже открыта. Храп опьяневшего рексиста указывал на то, что можно особо не волноваться, и трое русских приступили к делу. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, в каких тюках лежит нужная им форма. Часть пришлось заново перевязывать — для этой цели заранее были приготовлены веревки. Работали согласованно, даже не перешептываясь.

И вдруг храп рексиста прекратился. Все замерли. Тяжелее всего пришлось Малышу, который как раз в это время поднял перевязанный тюк с шинелями. Держать его на весу оказалось нелегко, тем более что узлы неожиданно стали расползаться. Малыш попытался вскинуть его на плечо — одна из веревок лопнула, тюк рассыпался, и из груды шинелей на пол вывалился не кто иной, как дежурный рексист. Василий отреагировал на этот никем не предусмотренный сюрприз раньше всех. Он прыгнул на рексиста и зажал ему ладонью рот. В темноте сверкнул нож — это Малыш, исправляя допущенную оплошность, прикончил гитлеровца.

Все даже как-то растерялись. Василий медленно вытер со лба крупные капли пота. Наконец, рискнули посветить фонариком.

— Это Симон,— узнал убитого Малыш.

— В общем-то не самый гнусный из них,— заметил Василий, и в словах его прозвучали нотки сожаления.

Перед тем как забрать со склада связанное в тюки обмундирование рексистов, Василий и его товарищи тщательно прикрыли труп шинелями, а сверху положили несколько фуражек.

■

Операция «Лагерь» также началась в точно назначенное время. Четыре группы, составленные преимущественно из беглых русских военнопленных, под прикрытием ночной темноты бесшумно продвигались к главному входу в лагерь Б. Все они уже успели переодеться в форму рексистов.

И не было ничего удивительного в том, что часовой бесстрастно взглянул на Василия, который с ходу протянул ему какую-то бумагу. Может быть, он и нашел бы в этом документе нечто подозрительное, но при первой же попытке рассмотреть бумагу внимательнее почувствовал, как чьи-то пальцы впились ему в шею. Не прошло и секунды, как и он жизнью заплатил за службу в оккупационных войсках. Все произошло тихо и бесшумно. Ворота, ведущие в лагерь Б., были теперь настежь открыты.

Часовые, которые несли службу на четырех вышках по углам лагерного ограждения, тоже не усмотрели ничего из ряда вон выходящего, увидев, что возле бараков появилось больше рексистов, чем обычно бывало в такой поздний час. Лишь когда послышались одиночные выстрелы и один за другим стали гаснуть прожекторы, освещавшие лагерь, часовые открыли ответную пальбу. Но и это было предусмотрено планом операции: охранники попросту не знали, по какой цели вести огонь, а потому стреляли наугад.

Подлинные рексисты, бежавшие к баракам со всех концов, тоже не сразу сообразили, что происходит — сбивала с толку их собственная форма, в которую были одеты участники этой смелой операции.

Да и пленные обитатели лагеря ошарашенно встретили странных рексистов, которые на чистом русском языке призывали немедленно бежать из лагеря. Вот почему некоторые сломя голову кидались к выходу, а другие испуганно забивались в глубь нар.

Не веря глазам своим, молоденький Сергей узнал в рослом рексисте, отдававшем на русском языке лаконичные распоряжения,— Василия.

— Василий, Василий! — во весь голос заорал ошеломленный паренек.— Значит, и я теперь могу уйти отсюда?!

— Какой я тебе Василий?! Я — Базиль! — бросил на ходу тот, но обернувшись, крикнул: — Давай сыпь к выходу. Я же обещал тебе... Настал и твой черед!

...Операция «Лагерь» заняла всего десять минут. За воротами удалось собрать почти всех бежавших, наспех разбить на группы, и люди в форме рексистов быстро повели освобожденных пленных в сторону рудника. Там беглецам предстояло укрыться и ждать, пока каждого в отдельности можно будет перевести на постой к французским патриотам.

Люди, получившие нежданную свободу, находились уже далеко, когда в лагере Б. была поднята тревога по всем правилам тюремного устава.

Глава VII

Хотя лагерные сирены в конце концов замолкли, тревога, объявленная оккупантами, еще долгие дни и недели лихорадила все окружающие селения. Обыск следовал за обыском, облава за облавой... И чем больше бесновались фашисты, тем шире распространялась молва о беспримерной по дерзости операции, которую по отлично продуманному плану осуществили совместно французские патриоты и их русские друзья.

Теперь подпольщики действовали с предельной осмотрительностью, умело маневрировали, своевременно перебрасывая беглецов из дома в дом.

Кто знает, может быть, оккупантам и удалось бы наконец напасть на след бежавших или провести несколько тотальных карательных налетов и затем учинить жестокую расправу. Но день ото дня становилось все заметнее, что фашисты уже далеко не так уверены, как прежде, и многими из них владеет замешательство.

Жюль, который теперь старался не пропускать ни одной передачи радиостанций союзников, предсказывал, что вот-вот настанет день, когда гитлеровцам придется и вовсе кисло.

И похоже было, что такой день пришел...

Казалось бы, обычные будни. Вторник. А настроение у всех патриотов было праздничное, чего никак нельзя было сказать об оккупантах, которых вдруг словно ветром сдуло с улиц.

Все имеет свою оборотную сторону, и в этот день люди, которые за долгие месяцы и годы конспирации привыкли обдумывать и соразмерять каждый свой шаг, каждый поступок, вдруг осмелели, стали увереннее, может быть, чуть-чуть беззаботнее... На душе у них был праздник!

И в самом деле, в одном из домов вдруг ожила «парадная», но обычно пустая столовая. Подготовкой к торжественному застолью руководил сам Пьер. Он критическим взглядом окинул скромные яства и бутылки вина и остался доволен. Изабель, носившаяся между столовой и дверью, выходящей на улицу, весело ему подмигнула. Явно ждали гостей.

Первым явился Клебер. Он принес с собой какой-то загадочный сверток — никто не угадал бы, что это бутылка шампанского.

Затем пожаловал Серж. А еще несколько секунд спустя — Галина. Одета она была в пестрое ситцевое платье, которое необычайно шло ей. Но комплименты ей выслушать не пришлось, так как в эту минуту Изабель восторженно воскликнула:

— Товарищи, вы только посмотрите на этого храбреца!

И Пьер с Клебером тоже выглянули на улицу. По дороге, чуть бравируя, с алой розой в петлице, вразвалочку шел Василий. Руки он держал за спиной— очевидно, тоже решил принести что-то в дом, но по тому, как он шел, ясно было, что ноша не тяжелая. Завидев своих друзей, он издали улыбнулся им.

Прохожие невольно оборачивались и смотрели вслед этому веселому, приветливому, может быть, чуть подвыпившему человеку. Даже хмурый немецкий солдат, встретившись взглядом с Василием, невольно улыбнулся. Но вот они разминулись, и друзья, поджидавшие Василия на пороге у приоткрытых дверей, вздохнули с некоторым облегчением.

По-прежнему пряча что-то за спиной, Василий с церемонным поклоном переступил порог. Затем положил на стол большой пакет в бурой бумаге, поцеловал Галину, похлопал мужчин по плечу и, вынув из кармана листок, вырванный из тетрадки, с шутливым пафосом прочел по-французски:

Изабель, дорогая француженка,
В этот славный день единенья
Дарю тебе цветы твоей родины,
Ставшей родиной и мне!

И сорвав бурую обертку, он вручил девушке букет цветов, какие ему удалось раздобыть в тихих и безлюдных шахтерских садиках. Изабель вспыхнула от смущения и благодарности — тем более что Василий расцеловал ее в обе щеки, но в этот момент Клебер откупорил шампанское, и все поспешили к столу.

— Итак, друзья,— высоко подняв наполненный до краев бокал, обратился к собравшимся Пьер,— сегодня утром союзные войска открыли Второй фронт...

— И теперь можно сказать,— добавил Василий,— что борьба, которую мы вели здесь, на маленький участок, распространится на вся Франция.— И, словно устыдившись патетики, он вдруг просто сказал: — А знаете что? Выпьем за наших мадам!.. Они ведь хорошо поработали.— И затем, повернувшись к Галине, добавил по-русски: — Ну, милая Галина, сегодня ты хоть пока и тихо, но споешь наши прекрасные песни!

Несмотря на близость рудников и терриконов, извечно черные окрестные деревушки и поселки тем не менее сохраняли исконно сельский вид. В каждом селении была своя церковь, своя мэрия и свой памятник погибшим. В поселке С. таким памятником была просто каменная глыба пирамидальной формы, увенчанная маленькой скульптурой галльского петуха.

Вокруг памятника прохаживалось человек пятьдесят. В большинстве своем это были принарядившиеся шахтеры. В петлицах их костюмов пестрели трехцветные ленточки. А у некоторых, преимуще-

ственно у молодых, вместо ленточки в петлицу было воткнуто три цветка: синий, белый и красный.

Календари в домах шахтеров свидетельствовали о том, что наступило 14 июля 1944 года — день, когда по установившейся традиции отдавали дань памяти патриотам, которые пожертвовали жизнью ради независимости своей страны и своего народа.

Часы на церковной башне показывали 10 часов 40 минут утра. Приближалось время, когда по плану, разработанному участниками движения Сопротивления, в одном только угольном бассейне Па-де-Кале должно было состояться около пятнадцати митингов. Вот почему многие из наших героев с утра оказались в совершенно разных местах. Мари и Жюль находились в Билли, где ожидалось выступление Пьера. Доктор де Курсель, выполняя задание штаба Сопротивления, приехал в Салломин и там, к большому своему удивлению, узнал в одном из будущих ораторов того самого железнодорожника, вместе с которым встречал ранним февральским утром эшелон с русскими пленными. Сержу поручили выступить в Анне, а в Монтиньи ждали Клебера.

В поселке С. главная улица протянулась всего на двести метров, и тем не менее она действительно была главной. Посреди нее, на маленькой площади, стояла церковь. Естественно, тут же высился и памятник погибшим. Как ни коротка была улица, все же уместились на ней три кафе: на одном краю — бистро Дюбуа, в центре, почти у самого памятника — кафе, которое все именовали «Коммерческим», и в конце улицы еще одно кафе — «У Этьена».

На площади два принарядившихся человека, оба с трехцветными ленточками в петлицах, с улыбкой и даже с восхищением рассматривали стоявших на паперти местного кюре и какого-то шахтера в каске.

— Гляди-ка, любопытно как получается! — сказал один из них.— Эрнест пустился в разговор с попом.

— Да, дела! — подхватил собеседник.— А еще месяц назад они готовы были горло друг другу перегрызть...

А меж тем Эрнест и кюре шепотом продолжали разговор.

— Пора бы ему уже быть здесь... — покачал головой Эрнест.

— Да...— подтвердил кюре.— Странно...

— Решено, что для безопасности все митинги должны начаться одновременно.

— Ровно в десять сорок пять? Обождем еще немного. А что, если он не приедет и к одиннадцати?

— Даже не знаю, что тогда делать.

Неожиданно толпа стала расступаться. На площади появились два мотоцикла с офицерами в зеленых накидках. Казалось, все сейчас в ужасе кинутся в разные стороны. Но оккупанты лишь чуть притормозили машины и с непроницаемыми лицами поехали дальше.

В толпе зашептали:

— Спокойно, спокойно... Продолжаем...

— Ничего, ничего! Это всего лишь полицейский объезд.

Многие повторяли в разных вариантах эти слова. Но в душе каждый отлично понимал: да, не те стали гитлеровцы, поджали хвост, а если бы месяц назад они увидели такую толкучку на площади, что тут было бы!

Один из французов, наблюдавший из окна кафе за происходящим на площади, лукаво подмигнул хозяйке:

— Почему ты не предложила им зайти выпить, Адель?

Адель, румяная толстуха, презрительно махнула рукой:

— Ничего, зеленые черви скоро совсем позеленеют от страха.

Никто и не подозревал, что в задней комнатушке кафе находилось семь беглых русских военнопленных. Склонившись над большими чемоданами, они собирали четыре трофейных винтовки и пулеметы «Стэн».

Василий достал со дна одного из чемоданов два небольших знамени и скомандовал:

— Пошли, ребята! Через пять минут начнется...

Тем временем к хозяйке кафе подошел один из клиентов.

— Послушай, Адель, что все-таки тут затевается?

— Я знаю не больше твоего, Люсьен. Только то, что сказано в листовке.

— Ага... Вот в этой? — осведомился Люсьен, вытащив из кармана небольшой листок.

— Да, в этой! — подтвердила Адель.

Листовка гласила: «Французы и француженки! 14 июля в 10 часов 45 минут приходите с трехцветными кокардами и бутоньерками к Памятнику павшим. Комитет Освобождения Па-де-Кале».

— По лондонскому радио уже передали, что во Франции у всех памятников павшим состоятся сегодня демонстрации,— заметил Люсьен.

— Выходит, ты даже больше знаешь, чем я,— искоса взглянув на Люсьена, оборвала хозяйка.— Вы что будете пить, мосье? — спросила она только что проскользнувшего в кафе Михаила.

— Пива,— сказал тот, но и в одном этом слове прозвучал чудовищный акцент чужеземца.

Люсьен испытующе посмотрел на Михаила и, панибратски подтолкнув его локтем, спросил:

— Тебе-то наверняка известно, что сейчас будет на площади?

Михаил стал было в уме подбирать слова для ответа, но тут решительно вмешалась Адель:

— Чего ты, Люсьен, привязался к человеку? Я знаю его. Он больше любит пить, чем болтать попусту.

— Без одной минуты одиннадцать,— неопределенно пожал плечами Люсьен.— Уж так ли, Адель, мы с тобой в эти дни знаем каждого встречного и поперечного?..

Но в это время на башне церкви пробило одиннадцать, все сразу, в том числе и Люсьен, пошли на площадь.

Оратор, которого так ждали, видимо, не сумел добраться до селения С. Эрнест и кюре, словно два конспиратора, связанные десятками лет совместной подпольной борьбы, шепотом обсуждали, как же теперь быть.

На дворе кафе сквозь щелку в заборе за ними пристально наблюдал Василий.

Два человека на площади должны были не мешкая решить, кто же будет проводить митинг.

— Подумайте еще раз, чем вам это грозит! — сказал Эрнест, обращаясь к кюре.

— Если я этого не сделаю, то сделаете вы,— возразил священник.— А у вас пятеро детей. Я это тоже знаю.

— Спасибо, я сдаюсь. И желаю вам, чтобы все сошло благополучно. Говорите не больше трех минут. И не забудьте про «Марсельезу»! Вы хоть слова-то помните?

Кюре сделал вид, что не расслышал последней фразы, и решительно направился к памятнику. Комично задрав сутану, он перешагнул через небольшой барьер и, забравшись на памятник повыше, ухватился левой рукой за галльского петуха. Правую он, как на проповеди, простер к окружающим:

— Патриоты! Слушайте меня, патриоты!

Люди стали подтягиваться к памятнику. В толпе раздался было смешок, но остальные дружно зашикали: «Тс-с-с! Давайте послушаем!..»

Василий просто в себя не мог прийти от удивления. Впрочем, после непродолжительного раздумья он широко распахнул ворота и, полуобернувшись, решительно скомандовал:

— Будь что будет! Пошли охранять попа!

Семеро русских, вооруженных чем попало, вышли на площадь.

Несколько минут тому назад толпу удивило неожиданное появление кюре в роли патриота-оратора. Но уж совсем насторожились жители поселка при виде незнакомых людей с винтовками наперевес, да еще и с пулеметами. Но, поскольку в поведении этих незнакомцев не было заметно каких-либо агрессивных намерений, испуг в толпе уступил место недоумению и даже любопытству.

— Ну и ну! Похоже, что англичане...

— А может, наши партизаны?

— А не русские ли это? — высказал кто-то догадку.

И тогда какой-то экспансивный паренек вдруг заорал:

— Ура-а Красной Армии!

Кюре побелел как полотно. А Василий, пока шестеро его друзей выстраивались перед памятником, вышел вперед и, подняв руку, дал жестом понять всем окружающим, что небольшой вооруженный отряд будет охранять ораторов.

Затем он развернул два знамени: одно красное, второе — трехцветное. В толпе раздались возгласы одобрения. Все русские держали оружие наизготовку.

И когда стало чуть тише, кюре произнес краткую, но вдохновенную речь. Ему и не надо было вспоминать про «Марсельезу». Шахтеры запели сами.

Над площадью еще звучала «Марсельеза», когда кюре под охраной русских уже скрылся в кафе.

Надо было как можно быстрее разобрать и уложить в чемоданы оружие. Из задней комнатушки кафе бывшие пленные выходили по одному и каждый своим путем покидал площадь. Последним появился Василий. У дверей его поджидал Михаил.

— Так завтра? — шепнул тот.— У отвала Л. Хорошо? Ровно в десять.

— Хорошо. Но разве вечером мы не отметим это событие? — подмигнул Василий.— Такую удачу грешно не отпраздновать.

— Рано, Василий, рано еще праздновать! — озабоченно ответил Михаил.

В словах товарища Василий почувствовал порицание. Двое русских молча пожали друг другу руки и разошлись.

■

По гаревой дорожке, незаметно ведущей вверх вдоль отвала Л., Василий взбирался на велосипеде. Отсюда хорошо видна была церквушка и даже циферблат часов на ее башенке. Пробило десять часов. Погода стояла отменная.

В условленном месте Василий сошел с велосипеда. Чуть наклонил его и, опершись о раму, принялся скручивать цигарку. При этом он как ни в чем не бывало насвистывал песенку «Время вишен», которой научили его французские друзья.

Инстинкт заставил Василия обернуться. По той же гаревой дорожке снизу, не торопясь, шли двое в засаленных комбинезонах с сумками на плече. Шеи у них были повязаны платками по местной шахтерской привычке.

Василий хорошо видел их. Можно было бы на всякий случай и уклониться от этой встречи. Но зачем вызывать лишние подозрения?

И не в таких передрягах Василий бывал. К тому же оккупантам сейчас не до слежки. Теперь всего лишь вдвоем они и не решатся вести за кем-либо охоту. Надо же, с чего бы это он встревожился? Незнакомцы и не обращали на него никакого внимания. Василий продолжал крутить самокрутку, пережидая, пока двое прохожих минуют его.

Вот они уже поравнялись с ним. И вдруг один бросился Василию в ноги, другой в тот же миг ударил его по голове палкой. Беззвучно шмякнулся о гравий велосипед. Василий еще попытался дотянуться рукой до револьвера, который был спрятан под седлом. Но тут последовал новый удар, и Василий потерял сознание.

Мнимые шахтеры быстро достали наручники.

— Ты думаешь, это он? — спросил по-немецки один другого.

— Да, вчера на площади я хорошо его разглядел.

— Надо же, как просто у нас это получилось. Сколько наших он одурачил, что даже не верится...

— А зачем, думаешь, начальство требует, чтобы с ним-то уж непременно расправиться, пока не придется мотать отсюда?

— Тихо ты!

Переодетый эсэсовец вынул свисток, и в ответ на его сигнал из-за отвала показалась тщательно замаскированная под краски террикона военная машина.

■

Клебер встретился с Пьером неподалеку от железнодорожного переезда. Вблизи виднелась унылая сторожка, но возле нее никого не было, да и вообще вокруг царила тишина.

— Василия утром схватили, знаешь?

— Да. Возле отвала Л.

— Михаила, вероятно, тоже забрали. Но точных сведений пока нет.

— На всякий случай надо установить дежурство возле его прибежища. А вдруг появится и его сцапают. Или кто-нибудь из наших будет его искать...

Оба долго молчали.

— Надо же, сколько раз Василий выбирался из самого пекла,— заговорил, наконец, Пьер.— А тут?.. Прямо выть от досады хочется. Вообще-то я дал знать в Аррас. Но что можно сейчас сделать?!

Сделать что-либо действительно оказалось невозможно. В тот же день возле рва Аррасской крепости раздалось несколько одиночных выстрелов. То ли гитлеровцы опасались, что Василий вновь найдет путь к спасению, то ли в их ушах уже отдавались выстрелы стремительного наступления, которое шло на двух сближавшихся фронтах, но расправу не стали затягивать.

Оккупанты очень спешили.

Десятилетия прошли с тех пор.

А молодой русский с алым цветком в петлице не умер. Он живет в сердцах всех, кто на второй его родине помнит те незабываемые дни и знает подлинную цену им.

Прах Василия Порика покоится под монументом, который создали его земляки в Киеве, а французы затем установили на могиле близ городка Энен-Льетара.

Из поэзии Чехословакии

Лацо Новомеский и Мирослав Флориан, представленные в нашей публикации,— поэты разных поколений, разных художественных дарований, разной судьбы. Чех Флориан родился в 1931 году в Кутной Горе и живет в Праге, словак Новомеский родился в 1904 году в далеком Будапеште и в той же Праге провел половину своей жизни. Новомеский дружил с Незвалом, воспринял поэтику чешского «поэтизма», Флориану близок Мирослав Валек и другие словацкие поэты, его сверстники. Мирослав Флориан напечатал свою первую книгу в 1948 году; революционные события этого года подготовлялись всею жизнью поколения, к которому принадлежал народный художник Лацо Новомеский.

За окнами течет Дунай. Утро. Февраль 1967 года. Ночью выпал снег. Вдоль набережной идет слегка сгорбленный человек, оставляя большие черные следы на свежем снегу. Это Лацо Новомеский. Он идет к нам, в гостиницу «Девин», чтобы поговорить о книге своих избранных стихов, недавно (1966 год) вышедших в Советском Союзе. Мы протягиваем ему книгу в супере с конструктивистским рисунком, напоминающим чем-то далекие годы, и видим, с какой нежностью ощупывают узловатые пальцы своего русского первенца. Мы не виделись два года. Вспоминаем встречу на «Студничке», в санатории. Тогда было жаркое лето, и Лацо — у него больные легкие — плохо дышалось. А сейчас ничего — на дворе снег. Мы усаживаемся у большого окна по-утреннему пустого ресторана и ведем неторопливую беседу. Лацо знает русский и быстро проглядывает предисловие Эренбурга, опытным взглядом редактора находит рассуждение о том, как порой невозможно передать на другом языке лирическое стихотворение. И тут же приходит в восторг от работы переводчика, просит повторить строфу из «Испанского неба»:

Хотел пересчитать я звездные отары:
покуда не сгорят,
но тут — о-та-ра-ра! — забили пулеметы,
и звезды новые взлетели к старым,
отары-ра-та-та,
о господи,
отары.

(Перевод Д. Самойлова)

Лацо хочется говорить о поэзии — меньше о своих стихах, больше о молодых словацких и русских поэтах, и в этом сказывается его живой и любознательный характер. А нас волнует его жизнь, ибо он, как читаем мы в предисловии к «Избранному», «относится к тем авторам, стихи которых нельзя отделить от их биографий да и от истории века». И действительно, перед нами живая история передовой европейской поэзии послеоктябрьского времени, интернационалистической и гуманистичной, жизнь человека, отдавшего себя борьбе за коммунизм. Лацо рассказывает, как в 30-е годы, живя в Праге, он редактировал партийные газеты, сражаясь пером против чехословацких толстосумов, как со своими друзьями ходил на Жижков в советское полпредство на виллу «Тереза»:

Это было в такую недавнюю
и в такую далекую пору —
. . . . . .
когда в ноябре
над Прагой, на Жижкове,
на Итальской улице — номер забыл —
взвивалось праздничным красным числом
то одинокое алое знамя.

(«Вилла «Тереза». Перевод Л. Тоома)

Он вспоминает своих друзей по «ДАВУ», общественно-литературному журналу марксистского направления, страстные споры тех лет. А потом разговор заходит о Москве, Лацо говорит о Первом съезде советских писателей, где он выступал, о Горьком.

Так что же я искал под стенами Кремля
наедине с его высокой славой? —

спрашивал поэт и отвечал неожиданной концовкой:

Гей, гори, костер, гори,
высоко в горах гори,
до зари юнацкой!

(«Московский вечер». Перевод В. Козового)

Юнацкое вольнолюбие приведет Новомеского в борющуюся Испанию в качестве делегата Международного конгресса в защиту культуры. А затем наступит Мюнхен и вторая мировая война.

О как убог — себе мы скажем —
был век войны, заклятый век:
когда поэт не нужен людям,
чужд человеку человек.

(Эпиграф к книге «Святой за околицей», 1939. Перевод Б. Слуцкого)

Как член подпольного ЦК Новомеский вместе с Шмидтке, Гусаком и др. готовят Словацкое национальное восстание. Двадцать лет спустя, осенью 1964 года, вспоминал Новомеский, мы собрались неподалеку от Банской Бистрицы, в Таллах, и отметили этот юбилей. Там были и ваши товарищи. Много воды утекло за эти двадцать лет, продолжал поэт, многих уже не было среди нас, но «жизнь только во сне райски прекрасна», и поэтому нам предстояло думать о будущем, чтобы

Чистейший воздух, чистый абсолютно,
который разрисован только дымом
рабочих дней, тех дней, не для страданий,
а для того, чтобы дышалось вольно,
для времени прекрасного...

(«Мир, как я его представляю». Перевод Ю. Левитанского)

Публикуемые стихи взяты из сборников разных лет, стихотворение «Анализ» было написано к 20-летию Словацкого восстания.

Мирослав Флориан — лирик по преимуществу. «Наш, кутногорский»,— называют его земляки, «poeta natus» — называли Флориана профессора Карлова университета.

Флориан принадлежит к тому поколению, которое выступило в литературе уже в новое время, после победоносного Февраля. Первой его книге — «Обручальное кольцо» — не суждено было запечатлеться в памяти современников. Она затерялась среди множества недолговечных книжек тех лет. Началом творчества Флориана принято считать выход его книги «Дорога к солнцу» (1953). Однако известность ему принесли три последующих сборника — «Близкий голос» (1955), «Открытый дом» (1957) и «Головокружение» (1957),— которые в 1959 году были изданы в одной книге «Стихи», получившей премию имени Петра Безруча. С тех пор Флориан опубликовал более десятка книг, за одну из них — «Инициалы» (1972) — по совокупности с творчеством последних лет ему была присуждена Государственная премия им. Клемента Готвальда.

Поэзия повседневности, простой человек в обыденных ситуациях, полемика с теми, кто видел в человеке лишь его «основные социальные признаки», вводили в поэтическую практику разнообразие человеческих эмоций — доброе слово и искреннюю улыбку, порой иронию и злость, порой шутку и каламбур. Флориан стремится передать в своих стихах едва уловимые оттенки переживаний, надеясь, что самый слабый намек, едва заметная черточка, еле слышный отзвук сохранятся «для будущей жизни на земле». К этому можно добавить умение поэта взглянуть на вещь как бы в первый раз, найти и показать ее неожиданную сторону.

За окнами в саду желтеет бабье лето...
Под тяжестью плодов скрипит телега где-то...

Вздувает ветер свежее белье...
Прозрачна даль... Кругом поет живье...

И солнце опустилось в отдаленье,
как трудовые руки на колени...

(«Бабье лето», Перевод И. Инова)

Мастер лирической миниатюры, поэт не остался глух к общественной проблематике.

Мир, мой дом, чтоб жильцы не вносили квартирную плату —
то слезами, то кровью — инквизиторам и генералам.

(«Недописанное». Перевод Б. Слуцкого)

Таков был цикл антивоенных стихов, в котором особое место заняла трагическая тема угрозы атомной войны, и вся последующая гражданская лирика.

В нашей публикации Мирослав Флориан представлен стихами из его последних сборников: «Инициалы» (1972), «Езда на кузнечике» (1974), а также стихами, напечатанными в газете «Руде право» (1974).

БОРИС ШУПЛЕЦОВ

ЛАЦО НОВОМЕСКИЙ

Со словацкого

Мир, как я его представляю

Я думаю, что это чистый воздух,
и чистая вода в любом колодце
для всех животных наших, и для нас,
земля живая, пахнущая остро
личинками, кротами и зерном,
продукцией ночной хлебозаводов,
плодами «Плодоовоща», а также
покоем вечным праху тех и тех...

А если скажет кто, что это мало,
что все это обман или ошибка,
припомнивши о городе умершем,

одном из городов, давно погибших
и после смерти смерть родящих снова,
когда новорожденные младенцы
возносятся в потоке радиаций
(и даже не на третий день, Иисусе!)
и сыплются с небес, как изверженье

© Laco Novomeský, 1972.

всей злобы, что изведал род людской,
и звери все, и птицы поднебесья,
в пространстве, не имеющем пространства,
отныне превращенные в ничто...
да, если скажет кто-нибудь, что мало,
что и земля, и воздух, и вода —
все мелочи в ряду второстепенном,
тогда еще...

Ну, вот хотя бы флоксы,
те флоксы на окне, что все не вянут,
и молоком наполненные крынки,
и полосы газетные, где страшных
все меньше новостей, и ночь в заботе
о том, чтоб сын вернулся не под утро,
поскольку он ключи опять забыл,
и каждый бурный вечер — тут я за!—
на стадионе в Тегеле, к примеру,
где спор о спорте жарок и азартен,
и с венцами застольный разговор —
что нового, понравилось ли вам
у нас на уик-энде, и давайте
договоримся с вами откровенно —
да, девочки и ваши, несомненно,
вполне, как говорится, «вундербар»...

И чтобы это все не показалось
чрезмерным, разрешите мне одно лишь
еще воспоминанье, просто к слову,
воспоминанье о минувшем дне
воскресном:
молодой американец

с девчонкой чернокожею, студенткой
(она на философском факультете
училась где-то, кажется, на Кубе),
шагающие в шумном окруженье
веселой братиславской молодежи,
горланящей навязчивый мотивчик,
понравившийся всем без исключенья,
бесхитростный мотивчик ча-ча-ча...

А если бы вам это показалось
естественным настолько, как здоровье
здоровому, настолько безусловным,
как после ночи наступленье дня
(сравненье это, впрочем, неудачно,
и не должно бы в голову мне даже
оно прийти, поскольку оно явно
могло бы оказаться в тесной связи
и с замыслом и с темою стихов)...

когда б все это было очевидным,
знамена в честь Недель чехословацко-
советской дружбы мы висеть оставим
на окнах, на домах и на балконах
до самых дней визита президента
Соединенных Штатов. Здесь стрелять

никто в него не станет — пусть спокойна
останется супруга президента,
и, кстати, председательская дочка
должна будет прочесть стихотворенье,
а если и собьется — ну и пусть!

Когда б и это все воспринималось
как повседневность и как безусловность —
я думаю, что это был бы мир.

Чистейший воздух, чистый абсолютно,
который разрисован только дымом
рабочих дней, тех дней не для страданий,
а для того, чтобы дышалось вольно,

для времени прекрасного, где тут же
приструнишь подлеца и негодяя,
для времени людского, для людских
сражений неизбежных и свершений.

Анализ

Всего мы боялись.
Завыванья сирен, ночей затемненья,
того, что, может быть, мы исчезнем,
как город Дрезден, где столько непогребенных
в черных руинах и обагренных,
всего мы боялись.

Того, что, может быть, нас не будет,
и того, что мы были.

«Доброго утра» (два пальца приложены к шляпе),
вскакиванья на подножку трамвая,
дней рабочих и дней воскресных,
пайков («...о господи, как разделить их
между этими вечно голодными ртами...»),
из дому взятых пакетов с едою
(«...дома о нас заботятся тоже...»),
без них и господь сотворить не сумел бы
сегодняшний ужин;

вечеров, наполненных лунным светом,
когда тень перекрещивается предметом,
наполняя комнату беспокойством,
спокойный вечер,
слушай:
«Говорит Лондон».
«Говорит Москва. Говорит Москва»
об ужасном, о разном,
вслушивались напряженно,
слова не пропустить старались,
за нее боялись,
за себя в ней боялись,
за все боялись.

За все. И всего. Постоянно.

Звона оружия, сотрясавшего дали,
звона зловещего
(сталью по стали),
но также той тишины молчаливой
вшивой
(этой-то мы боялись еще поболе),
которая, говорят, является тем не менее
мудростью государственной наивысшей,

> («...едва приложился к этой руке —
> имеешь все то, чего нет у других,
> и весел, и сыт, и нос в табаке...»)

минут доброй воли,
позволявшей нам и поплакать вволю,
и кричать от боли;
радости ежедневной, что мы еще живы,
но и тех, умиравших в горестях ежедневных;
солнца, что видит нас
и видело муки Лидиц,
взывающих к совести мира
(я назвал бы их Видиц,
видящих Видиц,
в именительном — Видице);

воздушного воздуха, которым мы дышим,
и дыханья тех, кто пал бездыханным;

даже воды в нашем старом колодце,
с тайною мыслью,
чтобы не расплескалась,
здесь бы осталась,
другим не досталась;
и плача детского, детского плача,
того, последнего,
но и первого тоже.
И женщин усталых, не старых, но постаревших,
в этой усталости и прекрасных,
потому что были такие тоже,
а раньше только такие и были;
«...Все от войны этой мерзкой,
она нас увечит...»
до седины морозит от омерзенья,
от страха, от страха из-за всего,
от страха за все,
хотя б за мужей наших бедных,
за всех наших бедных из всех наших Легот,
за нашего там, на Кавказе,— только бы его не убили,
только бы не убили
или
сам кого не убил бы,
«...Господи, сохрани его душу,
грехом да не осквернится...»

И такое дыханье горячее
шло искать избавленья,

от грехов избавленья,
и такое дыханье горячее,
словно руки, сплетенные накрепко,
стало мыслью, нацеленной в главное,
стало сутью судьбы и пути,
стало помыслом,
замыслом,
смыслом.

Да, друзья, это так началось.

Всего, говорю я вам,
за все мы тогда боялись,
а потому на бой,
на смертный, мы поднимались.

Прекрасный день

Я этот город весь пересчитал
по пальцам старых башен,
покуда солнце,
кровью обагрившись,
к волнам вечерней Влтавы прикоснулось,
и спрятались дома в тени дрожащей.

Потом я не спеша спускался в город,
счастливый, что постиг нехитрый смысл
открывшейся мне сцены,
блаженный от поэзии, что нам
приоткрывает имена вещей,
и тайны бытия,
и сущность мира.

К тому ж еще я был развеселен
испуганно дрожащими тенями;
как может потрясать нас иногда
пустейшее, по сути, представленье!

В конце концов, тут дело в нас самих,
и призраки — они лишь часть того,
что в нас живет, все радости и страхи,
весь этот мир земной, который нас
то радует порой, а то пугает.

Меж тем дубки той рощи, где я шел,
уже свои короны золотые
снимали, а внизу, простоволосы,
бродили люди, с шапками в руках,
и в той корчме, где я присел за стол,
чтоб это записать, пивные кружки
враз поскидали белые свои
шапчонки.

— Добрый день!

Прекрасный день!

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

МИРОСЛАВ ФЛОРИАН

С чешского

Дифирамб

Прага окропленная золотым дождем
я блуждаю по тебе как шмель
отяжелевший от пыльцы и не способный взлететь
не могу оторваться от твоих щедрых поцелуев
от парикмахерской стрижки твоих садов

Ты вся плотина
в которой весна убыстряет теченье
и разбрасывает радужные искры
над остолбеневшими автомобилями
из-под капотов которых
вырвались лошади
трясут гривами и знакомятся
очаровательно смущаясь

О Прага с зеленым румянцем
как мне писать стихи
когда на моем карандаше распускаются почки

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

*Липы**

Ах, дайте, наконец, земле покой,
чтоб у нее не опускались руки,
пускай нас крестит дождевой водой,
пусть не дрожит за нашу жизнь настой
лучей и воздуха над нивой золотой —
все выживут:
и мы, и наши внуки.

Ах, дайте, наконец, земле покой.
На миг закружит ветер над черешней
и полетит за ласточкой нездешней,
наверное, в далекий Рим спешит...
С землей в обнимку мой отец лежит.
Взобьет под головой слежавшиеся травы —
повеет вдруг ромашкой иль отавой.

---

* © Miroslav Florian, 1972.

И без конца,
как в Янов день когда-то,
нам дарят клады недра и глубины.
И что ни день, мы празднуем крестины,
справляем дни рожденья, именины
цветов, железа, даже старых пней,
крича им в слуховые аппараты...

Одним лишь почкам не видать покою:
удел их — двигать стрелкой часовою,
да бег реки нельзя ни на минутку
прервать и переврать, пуская плавать утку...
Мир бабочке,
и золотой и синей,
молитвенно застывшей на калине.

Пускай весна мой край необозримый
раскроет как посланье от любимой,
и не беда, что на страницах кляксы...
Газетчик суетный от новостей охрип,
асфальт растрескался, надрывно воет клаксон,
а рядом шествуют колонны тихих лип.

Перевод ВИКТОРИИ КЛМЕНСКОЙ

Модели

Украшала витрину
художница смелая —
весь в подвесках боярышник
и жимолость белая!

А потом показали нам
моды осенние —
удлиненные тени
и листьев падение.

Манекенши озябли —
смешные ужимки!—
примеряют на голое тело
снежинки.

Ах, довольно в снега,
как в меха, наряжаться...
По рисункам любви
вам пора обнажаться.

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Осенняя речь[**]

Под барабанный перестук
парк,
словно тихопомешанный,

зубрит слова,
слова из лексикона осени.

** © Miroslav Florian, 1974.

Уже он выучился говорить:
«Спокойной ночи», «Добрый день»,—
но каждый раз перевирает...

Как произносит осень
«ласточка»?
Ох, до чего же длинное название!

Как произносит осень
«осень»?
Никак не произносит...

И только лист,
тяжелый, словно сердце,
неслышно отпадает

и вознесется.

Перевод И. ИНОВА

Раз и навсегда

Сердце, ты знаешь, твое место — слева.
ты не покинешь этого места, пока я дышу,
и даже позже;
мчишься без передыху
с тяжким знаменем крови
и окликаешь меня, запоздавшего,
заставляя не отставать.

Падают один за другим продырявленные листья,
а ты спешишь,
посев перезимует в землянках,
а ты цветешь
непокоренной мечтой миллионов, лепестками
нот «Интернационала»!

Перевод ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

Пиночету

Пан генерал, не рвитесь к океану,
пусть даже он зовется «Пасифик».
Тишайшему на свете океану
не обеззвучить крик.

Валы, показывая спины,
вскипают вам наперекор.
Сердито шепчутся лавины,
полны угрозы кулачищи гор.

Всегда носите темные очки,
пан генерал. Вы солнце разозлили:
оно плюется, чистя сапоги
вам и всей вашей камарилье.

Земля — гитара, и на ней —
колючей проволокой струны;
острее когти — звук сильней,
такой игре не верить трудно.

Страшитесь дня и ночи, генерал.
Ведь время —та же кара.
Сметут вас песни, те, что оборвал
на полуслове Виктор Хара.

Стих

Мне только ты остался, стих,
с еще не проясненной речью.
Дойду до звезд, до недр земных
в надежде, что тебя там встречу.
Где ты? Замешкался в дороге?
И звезды и земля продрогли.

Быть может, бьешь с детьми баклуши,
а может, ты для них мираж.
Будь дома, чем скорей, тем лучше,
и прозвучи, как отче наш.
А может, ты безмолвным звоном
в кустах потворствуешь влюбленным,

и те в объятиях своих
тебя сжимают крепче, крепче,
потом, как азбуку слепых,
читают пальцами... Полегче!
Тебе полезна передышка:
струна, смычок и табачишко.

Ты как игла в туманной дáли,
как вдруг зажженная свеча.
Опять одарит нас плодами
сентябрь. Кто, плача в два ручья,
возобновляет свой рисунок:
пруд, осень, серебристый сумрак?

Что вспомнит поезд, вдаль влекомый?
Что означает горький знак
боярышника с красной кроной,
мгновенной молнии зигзаг?
И что любовь залить не вправе
настоем из девятитравья?

Стих, без тебя мне жизни нет,
позволь поверить в нашу встречу.
Дойду до звезд, до черных недр
в надежде, что тебя там встречу.
Ты задержался? Ты в дороге?
И звезды и земля продрогли.

Перевод ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

МАКС ФРИШ

Назову себя Гантенбайн

РОМАН

Перевод с немецкого С. АПТА

Бурри, врач, рассказывает иногда всякие случаи, хотя я предпочел бы играть в шахматы, и тогда меня все-таки захватывает то, что Бурри, медленно обрезая сигару, рассказывает о быте своей клиники, в то время как я, столь же медленно, положив себе на колено шкатулку с фигурами из слоновой кости, молча расставляю их на доске... Если бы не существовало современных медицинских средств, которые, поскольку применение их не оспаривается, приводят к тому, что большинство из нас, так сказать, переживает самих себя, я знаю, я тоже дважды бы уже умер естественной смертью, и вопрос, как перебороть свою старость, отпал бы, это верно... Теперь я протягиваю обе руки со сжатыми кулаками, чтобы Бурри выбрал черные или белые; я слушаю, но ведь это не мешает мне протягивать руки. Право выбора за Бурри, разумеется, как за гостем. Это наш четверг. Бурри пришел, как всегда, играть в шахматы. Я жду. Но Бурри, откинувшись в кресле, зажигает сначала сигару, мыслями явно все еще в клинике; я вижу горящую спичку, которая вот-вот, если он не положит ее, обожжет ему пальцы; как быть человеку моего возраста, если он знает или полагает, что знает, что ему, по мнению врачей, осталось жить год, в лучшем случае год?.. Я снова протягиваю обе руки со сжатыми кулаками, и Бурри выбирает: мне, выходит, черными... Позднее, после того как я несколько часов думал только о слонах, конях и ладьях, меня все-таки занимает то, что рассказал Бурри; держа на колене шкатулку с фигурами из слоновой кости, теперь снова один, поскольку Бурри надо посетить еще какого-то больного, я не знаю, как поступил бы лично я в таком случае.

Жить...

Но как?

Я представляю себе:

Эндерлин Феликс, доктор философии, в возрасте сорока одного года одиннадцати месяцев и семнадцати дней и с вероятной продол-

[1] Продолжение. Начало в № 4.

жительностью жизни в один год, Эндерлин в одиночестве, за открытым окном весна, запах сирени с примесью запаха клиники, который стоит всегда и везде, даже если смотришь на далекие горы или в будущее, и сейчас утро, час мужества, дождевальная установка на солнце, радуги в цистернах с водой, капли сверкают в траве, иногда белая или желтая бабочка, зигзаг ее полета, жизнь — парк. Эндерлин еще не прочел злосчастной карточки — он еще верит, что выздоровел. Правда, он чувствует слабость, но убежден, что выздоровел раз навсегда. Ему повезло, это ему сказал Бурри. Повезло — почему бы нет! Он немного испугался, когда Бурри это сказал. Как так повезло? Эндерлин ничего другого не ждал. Его познабливает у открытого окна, а день как будто теплый, почти жаркий, фён, горы рукой подать. Он, вообще-то, вспотел, слабость — ничего удивительного после семи недель в постели. Горы еще в снегу, поля темные, почти черные, лоснящиеся, сверкающий клин озера, на нем парусники. На переднем плане цветет магнолия. Садовник в зеленом фартуке и с лейкой — все на местах. И откуда-то аллилуйя: поют медицинские сестры, которые сейчас не на дежурстве. Кроме того, кладут кирпичи рабочие на лесах: клинику приходится расширять, все клиники приходится расширять; рабочие громыхают подъемным блоком, итальянцы, их голоса, их коричневые тела до пояса. Врач, стало быть Бурри, на минутку отлучился, только что объявив Эндерлину об его полном выздоровлении и скорой выписке; Эндерлин в мягком кресле у письменного стола, бледный, в синем халате, Эндерлин держит в руке еще влажную пленку, свою кардиограмму, которую этот предупредительный врач дал ему посмотреть, она как арабский шрифт, красива, но загадочна, она напоминает ему дорожный указатель в пустыне между Дамаском и Иерусалимом, прочесть нельзя, но красиво, так что Эндерлин даже восхищен каллиграфией своего сердца, которой он никак не ждал от себя, он не может на нее наглядеться, и лишь когда в открытое окно врывается ветерок, он замечает карточку на письменном столе, встает, чтобы поставить пепельницу на листок плотной бумаги, который, того гляди, слетит со стола, а не для того, чтобы прочесть карточку. Но он уже прочитал ее. Ему неприятно. Эта карточка была заготовлена не для него. Пока ему только неприятно. Когда Эндерлин снова заглядывает в карточку, его фамилия не видна: она как раз, должно быть, закрыта пепельницей; видно зато специальное выражение, которое подобрала себе смерть, написанное шариковой ручкой, слова этого Эндерлин не знает, сбоку пометка, явно более поздняя: вероятная продолжительность жизни приблизительно один год.

Эндерлин один в комнате...

О нет, поверить в свою смерть не так-то легко. Может быть, эта карточка имеет в виду вовсе не его? Когда врач возвращается в комнату, Эндерлин уже снова сидит в кресле, где ему полагается сидеть, руки его на мягких подлокотниках слева и справа, два рукава халата, две белые повисшие кисти рук, и врач говорит:

— Прости!

Эндерлин, больше смущенный, чем потрясенный, глядя в окно, делает вид, будто ничего не случилось.

— Прости! — говорит Бурри.

— Да, пожалуйста,— говорит Эндерлин.

Затем, закрыв окно, Бурри, этот колосс мужской доброты, снова садится за свой письменный стол, снова сует в рот сигару, которую оставил в пепельнице с серебряными ящерицами, сигара еще горит, не так уж долго, значит, заставил он ждать Эндерлина.

— Я понимаю,— говорит Бурри и словно бы что-то ищет рассеянно, во рту окурок, который ему приходится заново, поспешными за-

тяжками, раскурить, прежде чем продолжить фразу,— я понимаю,— повторяет он и, когда сигара наконец раскуривается, словно бы забывает, что хотел сказать, вместо этого берет карточку и, не глядя на нее, говорит: — Тебе интересно узнать результат нашего последнего обследования.

Эндерлин улыбается.

— Каков же он? — спрашивает Эндерлин и сам удивляется своему спокойствию, тогда как врач явно испытывает настоятельную потребность доказать теперь еще и точными цифрами, почему Эндерлин вправе считать себя, так сказать, выздоровевшим.

— Я понимаю,— говорит он в третий раз и вспоминает, что он хотел сказать.— У тебя уже терпение лопнуло, но до субботы я тебя не отпущу,— говорит он с товарищески грубоватым смешком, грубоватость должна показать, что он и в самом деле считает Эндерлина здоровым и способным сопротивляться, хватит щадить его,— не раньше субботы,— говорит он с угрожающей непререкаемостью, и дальше следуют цифры, процент белых кровяных шариков, процент билирубина, цифры, которые Эндерлин часто слышал и в конце концов ввел в свой лексикон, благодаря чему он, хоть и не зная по сути, что эти цифры значат, сам может судить, насколько эти цифры действительно изменились к лучшему, на радость Бурри, который считывает их с оборота карточки.

— Да,— говорит Эндерлин,— это прекрасно,— видя за окном здоровых рабочих.

— Дорогой мой,— говорит Бурри, обнаружив, что его радость не разделяют,— все могло обернуться иначе!

Эндерлин кивает.

Втайне, в то время как они притворяются, что смотрят друг другу в глаза, он подсчитывает: год, значит, один год, а сейчас апрель...

Эндерлин кивает.

— Пожалуйста! — говорит Бурри, словно чувствуя недоверие, и показывает эти цифры, черным по белому, то есть красным по белому.— Вот! — говорит он, вручая карточку, а потом Бурри откидывается в кресле, курит, ждет, добавляя только: — Полтора месяца назад у нас было еще двадцать семь процентов.

Эндерлин читает: билирубин два и три десятых процента, но он не отваживается перевернуть карточку и прямо потребовать объяснения у Бурри, а молчит; как врач Бурри знает, что известная апатия входит в данном случае в картину болезни, но, думает он, хоть немножко интереса к своей удаче этот славный Эндерлин мог бы уж проявить, Бурри ведь не нужно оваций, и все-таки Эндерлин, когда он вот так держит карточку, слишком уж апатичен.

— Дорогой мой,— говорит он,— нам повезло.

Эндерлин возвращает карточку.

— Двадцать семь процентов! — говорит врач.— Мы тогда это скрыли от тебя, но так было,— говорит он, снимая трубку зазвонившего телефона, недовольный тем, что его прервали. Звонок не деловой, речь идет о регате через воскресенье, и Бурри, извинившись взглядом, листает календарь, разговор оказывается недолгим, однако достаточно долгим, чтобы потом, раз уж их прервали, говорить не о билирубине, а о будущем, сперва об июньской регате, но главным образом о будущем Эндерлина, о его поездке в Гарвард, отложенной из-за болезни, о его карьере, стало быть, причем Эндерлин делает над собой усилие, чтобы говорить об этом как о реальности, усилие заговорщика, который должен скрывать то, что он знает о будущем.

— Два месяца,— говорит Бурри,— два-три месяца в Тараспе или Кьянчано, тебе, конечно, надо себя поберечь, это ясно,— говорит он и

листает тот же календарь, где записаны его регаты.— Мергентхайм[1] тоже неплохо.

Он сам замечает, что повторяется, вообще-то ему это не свойственно, Эндерлин лишает его уверенности, по сути он не говорит ничего, что уже не было сказано.

— Конечно, тебе надо себя поберечь,— говорит он и расстегивает свой белый халат.

Эндерлин делает над собой усилие.

— Кьянчано мне больше по душе,— говорит он.

— Как тебе угодно! — говорит Бурри и снимает свой белый халат, в сущности торопливо, но он не решается показать, что торопится.— Сегодня вторник,— говорит он,— в пятницу сделаем анализ еще раз.

И это он уже говорил.

— Гарвард ведь прекрасный город! — говорит Бурри, моя руки, потом вытирая их, и Эндерлин кивает.— Два и три десятых процента,— говорит Бурри, словно нужно еще раз вернуться к этому, и комкает карточку, он получил эти данные по телефону, до того, как Эндерлин вошел в кабинет, цифры уже внесены в историю болезни, он бросает карточку в корзину для бумаг и говорит: — Не беспокойся.

С этими словами он надевает пиджак.

— Я знаю,— говорит он, немного помешкав из-за пиджака,— я всегда твердил о полутора процентах и заявлял, что не выпущу тебя раньше, я знаю, но вот увидишь,— говорит он и оглядывается, не забыл ли чего-нибудь,— в пятницу мы сделаем анализ еще раз.

Бурри нужно теперь уйти, и Эндерлин, у которого нет сил встать, был бы рад, если бы он ушел, Эндерлин чувствует себя уже только декорацией, скрывающей его, Эндерлина, распад, а предупредительный Бурри, чтобы не обидеть его тем, что торопится, продолжает говорить — еще раз о Гарварде! — и в той же мере рассеянно, как и сердечно, спрашивает, сколько, собственно, Эндерлину лет.

— Сорок два,— говорит Бурри,— это не старость.

Бурри старше.

— Дорогой мой,— говорит Бурри, теперь в непромокаемом плаще,— в сорок два я только начинал жить!

Рукопожатие.

— Не веришь? — спрашивает Бурри и начинает восхвалять возраст мужчины как раз после сорока двух лет, да, даже в сфере любви исполнение желаний только еще предстоит, факт, установленный опытом, Эндерлин должен иметь это в виду, смеется он и уходит...

Эндерлин один...

Но дверь открыта, и он не решается подойти к корзине для бумаг, чтобы еще раз взять карточку. Чтобы прочесть это еще раз, написанное черным по белому. Зачем? Эндерлин поднимается, делает вид, что он замечтался или что-то в этом роде. В коридоре, где он уже неделю закалял себя ежедневными прогулками, он встречает Эльке и тоже улыбается, чтобы не поколебать ее сестринскую уверенность, что ему с каждым днем все лучше и лучше.

Я представляю себе:

Эндерлин хоть и верит, что та карточка имеет в виду его, но не верит, что пророчество сбудется; он просто не верит этому. «Бурри тоже может ошибиться!..» Один в своей белой палате, которую тем временем убрали, он все-таки приходит к заключению, что Гарвард, на который он и без того смотрел лишь как на трамплин, теперь отпадает. Но что делать, если он не поедет в Гарвард? И когда входит сестра, чтобы внести из коридора вчерашние цветы, Эндерлин, чтобы

---

[1] Курортные места в Швейцарии, Италии и ФРГ.

избежать болтовни с сестрой, медленно вскрывает почту, доставленную сюда во время его беседы с врачом; он даже читает ее — вот оно, значит, первое, что делает человек в последний свой год! — читает, осмысливая то, что читает, даже как надо бы ответить на это. Ответит ли он еще? Когда та же сестра входит в палату снова, на сей раз чтобы поставить стакан с фруктовым соком, Эндерлин уже не замечает ее; теперь он (в ее отсутствие он явно прошелся по палате) сидит уже не на койке, а в кресле у окна, письма — на халате, а белые его руки — на подлокотниках кресла: сидит как на троне. Неприступно, так что не обратишься к нему. Как на троне: возвышаясь над своими современниками. Если он верит в пророчество шариковой ручки, да, величие — единственное, что ему осталось, что еще имело бы смысл: никому не показывать, что он знает о скорой своей кончине, и со всеми друзьями вести себя так, как если бы... И в Гарвард поехать, как если бы. И строить планы и все, как если бы...

Некоторым мужчинам это, как известно, удавалось.

И прочитать лекцию:

«Многоуважаемые дамы и господа!»

По рукописи:

«Гермес — фигура многозначная. Стяжавший дурную славу как бог воров и мошенников, сам мошенник, укравший в первый же день своей жизни тельцов Аполлона, бог, знаменитый своей ловкостью, веселой и полной коварства ловкостью, отчего он и дурачит смертных, он вмешивается во все, вся его натура, все его поведение — в стихии колдовства, это друг пастухов, бог стад, он прячет их от бури в ущельях, он покровитель плодородия. Герма, первоначальный его символ, имеет вид фалла. Тот известный факт, что, с другой стороны, он считается богом купцов — факт, казалось бы, несовместимый со всем перечисленным,— становится понятен, если мы примем во внимание, чем была герма, сложенная из камней, для странствующих купцов: указателем дороги. Плодовитость стад — это частность; имеется в виду плодотворность вообще, удача во всех человеческих делах. Гермес — великий хитрец. Он помощник, он приносит счастье, но он же и обманщик. Эту роль играет он и в любви; это он дарит нежданное счастье, случай. Гермес — приветливый бог, людям он ближе, чем другие боги, поэтому он — посланец богов. Гомер называет его также вожатым снов. Он любит, как часто отмечают, быть невидимым, когда приближается к смертным, и внезапность, непредвиденность, неожиданность, даже прихотливость — вся эта веселая жутковатость — сфера Гермеса, ведь Гермес также и бог, который приходит за умирающими — беззвучно, как всегда, неожиданно,— это вездесущий посланец смерти, который нас уводит в Аид...»

И т. д.

Звонит телефон, немного помедлив, Эндерлин снимает трубку и на короткий вопрос о его самочувствии (спросивший хочет, собственно, узнать нечто другое) отвечает с оптимистической обстоятельностью; чересчур обстоятельно. С чего бы его голосу быть не таким, как вчера? Он это оспаривает, говорит о выписке в следующую субботу, о Кьянчано, о билирубине, о Гарварде, а на другом конце провода молчат, потому что уже знают все планы, которыми Эндерлин козыряет; больше того: в доказательство своего выздоровления Эндерлин расспрашивает даже о вещах, лежащих за пределами вероятной продолжительности его жизни, расспрашивает подробно и упорно, словно хочет узнать, и притом точно, как обстоит теперь дело с финансированием, какое издательство, на два или на три года субсидия, ежеквартально или ежемесячно — речь идет снова об основании журнала, который Эндерлин — ему давно уже предлагают пост ответ-

ственного редактора — увидит в лучшем случае лишь в гранках первого номера. Эндерлин дает согласие.

— Да,— говорит он,— даю слово.

Договорились.

...потом, однако,— разговор ввиду его отрадного согласия затянулся — Эндерлин, как ответственный редактор, не может просто положить трубку, вопрос о названии, снова и снова вопрос о названии, кого брать в сотрудники, кого — нет, Эндерлин должен высказаться, но высказывается он все скупей и скупей, наконец еще раз дает слово — потом, однако, едва положив трубку, опускает голову на вертикально поставленную подушку, вымотанный, как недавно после одной слишком смелой прогулки по парку; он пытается думать о журнале, но безуспешно... вопрос о названии журнала, да, вопрос о названии... вопрос, не ошибается ли Бурри... дождевальная установка на солнце... вопрос, действительно ли я привязан ко всему этому, чему имя — жизнь, но я буду беречь себя, даже когда распад уже будет виден; я буду привязан к ней; я буду верить в любую ложь; ночью я буду все знать, а весь день верить в обратное, и белые сестры будут говорить: «Молодцом, господин Эндерлин, молодцом!» И те, кто придет посидеть у моей кровати, будут это видеть, и чего никто не скажет, то прорычат мне боли, боли время от времени, боли все чаще, боль беспрерывно, но каждое впрыскивание будет облегчением, которое я буду переплавлять в надежду, впрыскивание за впрыскиванием, пока не издохну, как зверь, во впрыснутой надежде...

Эндерлин еще может думать.

Почему ему не говорят правду?

Он еще человек.

Они не ждут от него величия?

У белого столика с так называемым «обедом»: савойская капуста в гигиенических целях, творог, во всем привкус бережной заботы — только для того, чтобы Эндерлин дожил до первых гранок этого журнала! Он пробует на вкус. Творог дрянь! Он пробует на вкус мысль, что теперь, если Бурри не ошибается, можно бы писать все, что думаешь. Что, собственно? Вчера рыба, сегодня творог, завтра рыба, всё одинакового вкуса, белки, пресно и скучно, как размышление, нужно ли ему вообще, если Бурри не ошибается, еще зарабатывать деньги на этот год, и потрясает его не итог, а пошлая будничность его размышлений. Обреченный на смерть, полагает он, не стал бы так думать. Бурри ошибается! Он пытается есть капусту, чтобы подкрепиться. Почему это никто еще, будучи уверен в близкой своей смерти, не совершал никакого великого и смелого дела? Покушения, например. Моя жизнь в обмен на его жизнь! Но моя жизнь уже не жизнь, а только существование с уколами в руку и с детской кашкой на зубах, аллилуйя, и как цветет опять сирень — за окном... Когда входит медицинская сестра, сестра Евфимия, и по-матерински спрашивает его, почему же он ничего не ел, вернее: почему мы ничего не ели (пока не начнешь совсем уж издыхать, они всегда говорят «мы»: «У нас нет аппетита? Не вздремнуть ли нам часочек? Мы уже сходили по-маленькому?» И т. д.), Эндерлин съедает несколько ложек, но тут же все извергает обратно и, как только его привели в опрятный вид, настойчиво просит, чтобы об этом происшествии не докладывали врачу. Он вдруг начинает бояться Бурри, который до сих пор был его другом. Эндерлин покажет ему, как он здоров. Он покинет эти стены. Он просто-напросто опровергнет их диагноз, который от него скрывают. О нет, ни в какое Кьянчано Эндерлин не поедет и в Тарасп тоже, а плюнет, напишет открытку из Парижа с какой-нибудь шуткой сбоку насчет диеты, а если в Тарасп, то максимум на неделю, Бурри в угоду, но не

поездом, нет, Эндерлин поедет на своей машине, и притом так, что на поворотах только шины будут визжать, и притом уже в пятницу, и не будет он пить в Тараспе водичку, от которой разит прелью и серой, а будет играть в теннис, познакомится с какой-нибудь женщиной, очень молодой, на которой тут же на месте, за аперитивом, женится, на какой-нибудь, может быть, прибалтийской блондинке, которой построит дом с плавательным бассейном, и ровно через год от сегодняшнего дня состоится торжественное новоселье с поросенком на вертеле, виски сначала, виски потом, да, и с Бурри в качестве гостя, и Эндерлин, загорелый, с гаванской сигарой во рту, смеясь, толкнет его в бок, своего врача-прорицателя...

Почему именно на прибалтийке?

Эльке, ночная сестра, прибалтийка, и это пугает его; фантазия больного, у которого нет уже выбора, человека без сил, который уже далеко не уйдет.

За окном — птицы.

Женщины...

Много женщин!

Он не может думать в единственном числе.

Все женщины!

И мысли его только об их лоне, в их лоне; он думает не о какой-то одной, которую знает, а обо всех, которых упустил; лона; их рты и его язык у них во рту; когда их лица неразличимо похожи одно на другое; еще слова, которых он никогда не произносил и непристойность которых странно удовлетворяет его, вызывая неудовлетворенность; лона, губы, бедра, волосы, груди, глаза, которые при этом совсем сужаются, и лона, лона, все лона... а сам потеет от слабости, когда, думая об этом, сидит на краю кровати с растопыренными для опоры руками, в изнеможении, и смотрит в открытое окно: деревья, крыши, невидимый самолет в небе, лишь белый его след, который врезается острием в синеву и затем, похожий на шлейф, медленно распадается на хлопья и тает, дымовые трубы, которые, наоборот, остаются, трепыхающееся на плоской крыше белье, провода, горы за проводами, на которых сидят воробьи, много труб, крыш, островерхих, плоских, деревья поднимающейся в гору аллеи, осколок сверкающего озера, циферблат башенных часов, стрелки, которые незаметно передвигаются, ничего больше — он уже несколько недель видит это изо дня в день... итальянцы на лесах, время от времени они подвешивают к подъемнику бадью, которую потом тянут вверх, мускулистые, голые до пояса парни. Ничего не меняется от того, что Эндерлин смотрит в другую сторону. Близкое или далекое, все едино, кровать, циферблат, громыхающий подъемник — сплошь предметы, которые Эндерлина переживут. Демонстрация навязшего в зубах знания; без посланца богов. Надежда на величие оказывается на поверку чепухой, только жалость к себе проявляется откровенно и бесстыдно. Не то чтобы Эндерлин сейчас заплакал, нет! Он только потеет, и вдруг стучат.

— Войдите,— говорит Эндерлин, ложась на койку и укрываясь, и, когда во внутреннюю дверь стучат еще раз, голосом более громким: — Войдите!

Это я.

— Садись,— говорит он.

— Как дела? — спрашиваю я и, чтобы опять не забыть, кладу тетрадь, не дожидаясь ответа, на белый стол с лекарствами и инструментами; я вижу ампулы, шприц, иглы в спирту.— Твоя статья! — говорю я.— Я прочел ее, по-моему, это здорово.

Эндерлин — ни звука.

— Слушай,— говорю я, выходя на балкончик,— у тебя здесь действительно красивый вид!

Как будто это мое первое посещение. Я смущен, но не знаю чем, потираю руки.

— А как,— спрашивает Эндерлин,— твои дела?

Я нахожу, что сегодня великолепный день. Может быть, Эндерлин ждет, что я подробнее выскажусь о его статье; но, когда я делаю такую попытку, Эндерлин глядит мимо меня, и разговора не получается.

— Особенно, по-моему, здорово...— говорю я и вижу, что он не слушает.— Спасибо,— говорю я, снова входя в палату,— я работаю.— Теперь я набиваю табаком трубку, человек, который твердо стоит на земле, затем сажусь, трубка в кисете, и я не буду курить, палата есть палата, даже если и окно настежь, я — посетитель, умеющий вести себя, но здоровый; не бесцеремонный, но здоровый, такой, который говорит о делах, о мировых проблемах самозабвенно, с набитой трубкой во рту, не закуривая, одержимый заботой не об Эндерлине, за которым и так ведь ухаживают, которому приносят и цветы, и фруктовый сок, а заботой о Европе, о человечестве вообще, на сей раз особенно в градостроительном отношении, градостроительство как политическая проблема, по этому поводу у меня есть что сказать, хотя Эндерлин слышит это не в первый раз. Разговора не получается, только лекция, поскольку Эндерлин молчит. Наверно, это от смущения я закурил трубку.

— Что с вашим журналом? — спрашиваю я. Чтобы вывести Эндерлина из апатии. Я же не знаю, что с сегодняшнего утра Эндерлин считает себя обреченным; его жалость к себе, немая, но ощутимая, постепенно нервирует меня, даже делает грубым. Я, правда, не курю, но бросаю фразы, которые должны доказать ему, что он выздоровел: — Этот ваш журнал! — Беспощадно: — Сам-то ты верил когда-нибудь в этот журнал?

Я становлюсь груб, я знаю.

— Это нам известно,— говорю я,— каждый обещает сотрудничать, чтобы его имя фигурировало, а как только доходит до дела, все заняты чем-то другим, и ты, дорогой мой, как ответственный редактор еще наплачешься.

Я не знаю, что стряслось с Эндерлином, и никак не нахожу верного тона, но от этого болтаю без умолку.

— Да,— говорю я,— надо будет как-нибудь повторить наш поход на Этцель [1]!

Он улыбается.

— Как только ты будешь опять в форме,— говорю я, и теперь мне надо бы, собственно, уйти. Но как? Лучше всего сказать: «Мне надо, однако, идти!» — покуда Эндерлин пьет маленькими глотками фруктовый сок, и я уже на ногах, я обеими руками держусь за спинку его кровати, как за детскую коляску, взгляд мой устремлен в будущее, которое требует планирования, градостроительство как политическая проблема. Я спрашиваю Эндерлина, как же жить нашим потомкам, как Эндерлин представляет себе, например, транспорт через десять лет, через тридцать лет, через пятьдесят лет, это действительно вопрос — не для Эндерлина, а для мира, особенно для нашего западного мира, между тем как Эндерлин (но я этого не замечаю по его виду) способен думать только о вероятной продолжительности собственной жизни: год, в лучшем случае год... Когда входит сестра, чтобы сделать господину Эндерлину ежедневный укол, я некоторое время, как пола-

[1] Лесистый горный хребет в Швейцарии.

гается, молчу, спрятав свою трубку с появлением сестры, которой приходится колоть второй раз. Бедный Эндерлин! Я понимаю, что он не слушает меня как следует, я думаю, что понимаю его; эти ежедневные уколы, один раз в левую и один раз в правую руку, действуют на нервы, тем более если игла иногда не попадает в вену. Я понимаю. Когда Эндерлин молча опускает рукав пижамы, я спрашиваю, чтобы отвлечь его, какого он мнения о книге, что лежит у него на тумбочке. Я могу спокойно курить, говорит он. Почему-то ему все-таки хочется, чтобы я остался; но теперь мне действительно надо идти, что нелегко, потому что Эндерлин вообще ничего не говорит. При этом он думает, я вижу, думает непрерывно. От смущения я говорю об общих знакомых. Сплетни. Кто теперь с кем. Он слышит это, но пропускает мимо ушей. Рабочие за окном на лесах, я гляжу туда, итальянцы; тоже проблема: если так пойдет дальше, население нашей страны однородным не будет. На это Эндерлин тоже никак не отзывается. Когда я пытаюсь пробиться к нему иначе, спрашиваю, например, сколько лекций должен он прочесть в Гарварде, он, правда, отвечает, но так, словно это его не касается, словно я мелю вздор. Так что же тут еще остается? Он спрашивает, какой сегодня день недели, какое число; больше ничего...

Наконец я ушел.

Первый посетитель, первый, на ком он должен был испытать свою способность хранить тайну, преодолен...

Башенные часы бьют четыре.

Год — долгий срок.

Если бы он смог закричать!

Бурри прав: сорок два — это не старость.

Позже вечером, когда Эндерлин, сонный от укола, попытался думать с открытыми глазами, глядя на эту гигиеничную виселицу в сумерках... Почему не повесишься? — вот что он, может быть, думает, глядя на эту белую перекладину койки над ним, а ведь каждую четверть часа становится все темней и темней. Что уж тут думать. Смерть, сколько ни думай, воображению не поддается... Его лицу, когда он зажег свет, его лицу в зеркале шкафа, где уже несколько недель висит его костюм, его лицу, и его голой шее, и его коже нужно солнце, ничего больше, солнце в Энгадине или у моря. Или в Перу! Внезапно он думает об этом без иронии: Перу — страна его надежды! Может быть, Эндерлин воображает себя сидящим на лошади, которая ржет, год в Перу, человек, ускакавший на коне,— я этого не знаю... Что можно вообразить: старение, от которого он, если Бурри не ошибается, избавлен и, если ошибается, не избавлен... Сонный от укола, но в испуге не засыпая — то, что его испугало, кажется ему сном,— он лежит с закрытыми глазами и вытянутыми руками, и кисти его рук свисают с койки, в сущности, он не хочет жить, потому что не хочет стареть, но когда ему приносят диетический ужин, когда сестра, как всегда, приподнимает подушки, чтобы господин Эндерлин сел, он питает свое тело, и когда через полчаса сестра возвращается, чтобы убрать поднос, она говорит:

— Молодцом, господин Эндерлин, молодцом!

Он не повесится...

Для Бурри, я понимаю, это щекотливая ситуация. Он знает только, что карточка лежала на его столе, и подозрение, что Эндерлин прочел эту карточку, занимает его настолько, что за нашими вечерними шахматами он портит партию. Во всяком случае славный наш Эндерлин вел себя довольно странно, когда он, Бурри, сегодня утром сообщил ему об его полном выздоровлении и скорой выписке. Подозрение, впрочем, возникло у Бурри во второй половине дня, когда он,

хватившись карточки, заготовленной им не для Эндерлина, а для другого пациента, которому предстоит перевод в санаторий, нашел эту карточку в корзинке для бумаг, исписанную на обороте благоприятными данными анализов для Эндерлина. Дурацкая небрежность! Мой совет Бурри просто поговорить с Эндерлином кажется ему совершенно неприемлемым. Это только утвердило бы Эндерлина в мысли, что от него скрывают правду. С этим я соглашаюсь. Бурри не видит другой возможности: он просто выпишет Эндерлина и будет за ним наблюдать. Если человек считает, что ему осталось жить только год, в лучшем случае год, он же не станет жить так, как жил до сих пор, считает Бурри. И я не возражаю, чтобы мы могли сыграть еще вторую партию, которая, надо надеяться, будет лучше. Теперь у меня белые. Бурри по-прежнему не по себе; поэтому он так медленно расставляет фигуры, словно вспоминая, где место слонов и где — коней. Разве я, спрашивает он, после того как я пошел королевской пешкой, стал бы жить так же, как до сих пор, будь мне известно, что не позднее чем через год меня не будет в живых. Я этого не знаю. Честное слово. Я не могу этого представить себе. Я разыгрываю, разнообразия ради, гамбит.

Что я могу представить себе:

(потому что сам испытал это)

Его пробуждение на следующее утро, рассвет за открытым окном (идет дождь), серый и без трещин, как гранит; из этого гранита, как крик, но беззвучно, вдруг лошадиная голова с красной гривой, она ржет, но беззвучно, пена на зубах, но туловище застряло, вырвалась только голова, глаза большие, безумные, ищущие милосердия,— все это одно мгновение,— затем терракота, искусно раскрашенная, черные ноздри и белые, как мел, зубы, все только раскрашено, красная грива застыла, все медленно уходит назад в скалу, которая беззвучно смыкается, без трещин, как рассвет за окном, серый, как гранит Сен-Готарда; в долине, глубоко внизу, далекое шоссе, виражи, полные крошечных пестрых автомобилей, которые катятся в Иерусалим...

Вдруг я в Иерусалиме.

Уже час назад, когда я пересек Иордан — просто канаву — и затем, попетляв по мертвой долине с верблюдами, вдруг увидел высоко над пустыней далекие каменные стены, желтые, как янтарь, каменные стены на утреннем солнце, это был Иерусалим — каким я его представлял себе... и вот я стою здесь, выйдя из своей машины, турист, не единственный, но в одиночестве. Дамасские ворота. Когда я запираю машину, меня осеняет: Масличная гора, я проехал мимо нее не из равнодушия, а оттого что ждал ее, вот это, наверно, и была Масличная гора. Как только перестаешь ехать, становится жарко. Я ехал семнадцать дней, чтобы стоять здесь, чтобы снова отпереть машину, чтобы выпить чаю из термоса, чтобы снова запереть машину; но вот и это сделано. Дамасские ворота: мощно, красиво, известная римская кладка. Зачем эта поездка? Я спрашиваю себя; но вот я здесь. И это неправда, что я здесь. Дамасские ворота на утреннем солнце, арабы, крик осла. Мое пребывание здесь как факт; я не в каком-то другом месте. Я вижу свой автомобильный номер в Иерусалиме, колючую проволоку на стене, пулеметы за мешками с песком. Чтобы проехать через границы арабских государств, я израсходовал не менее шести метрических свидетельств, это между прочим — только чтобы сказать, что я действительно проделал это путешествие. Несколько тысяч километров. И уже теперь я знаю, что и через много часов, когда я на-

смотрюсь до изнеможения, это будет неправдой. Я вижу: дом Пилата, по меньшей мере то самое место, пятница, двор, тень, так что я задерживаюсь, ветки с лимонами среди листьев, вид через аркаду на арабскую мечеть вместо Соломонова храма, ее купол словно из блеска мыльных пузырей. Не знаю, каждую ли пятницу это бывает: я вижу, как монахи опускаются на колени во дворе Пилата, францисканцы в коричневых сутанах, кое-кто в белом или желтоватом тропическом шлеме, иные в пенсне, там и сям жужжат кинокамеры, снимающие их молитву, паломники в шортах, северяне, принимающие юг за дачное место, крестятся и преклоняют колена, покуда францисканцы не поднимаются, чтобы отшагать крестный путь. Я следую за бормочущим шествием. Шествие через арабский базар, шествие меньшинства, дозволенное законом, арабская полиция заботится о беспрепятственном следовании; жара, в узких улочках и солнце, и тень, и где светит солнце — все в дымке, сквозь которую ничего не видно, в темноте стучат молотки по меди, ослы кричат и здесь, арабы сидят на корточках у своих ларьков, молча, с длинными наргиле, базар, я вижу мясо, распоротую овцу, мясо в крови на солнце, с душком и облепленное мухами, францисканцы преклоняют колена и молятся на каждой остановке, туристы тоже, плащаница Вероники, и всегда кто-нибудь крестится раньше, чтобы потом подняться и снять других, в том числе и монахи, которые снимают своих братьев. Я только смотрю. Я заранее боюсь Голгофы. (Наши художники, Брейгель и другие, ввели меня в заблуждение: Голгофа находится не за пределами стен.) Мы на Голгофе. (Я ожидал: скалы или каменистая земля, без тени уже много тысячелетий, может быть, какие-нибудь колючки, травинки на жарком ветру пустыни.) Здесь упал Иисус с крестом, я вижу это место, а там вон воткнули крест в землю, спуск к могиле по мраморной лестнице, свет свечей в сумраке, Голгофа как интерьер, архитектура, которую нужно мысленно отбросить, шарканье паломников по мрамору, теперь надо снять темные очки, чтобы что-то увидеть. И все меньше это правда, что я здесь. Мрамор, решетка, мрамор, свечи, мрамор, ладан — помпезно и затхло. Я не могу свыкнуться с ладаном, но остаюсь до ухода богомольцев — турист. Я вижу: место, где стоял крест, мрамор распорот, как платье, голая скала как мясо, дыра в скале, дыра для креста... Потом я продолжаю осмотр, и Гефсиманы тоже, полдень, слишком жарко, чтобы что-то есть, кругом ничего, кроме пустыни, долин и гор из желтого песка, никаких больше деревень, хуторов, Иерусалим — единственный город под небом, солнце кружит над Иерусалимом, я иду пешком, Гефсимана — это садик, отрада тени, но я не сажусь. Я вижу: это маслина, где молился Иисус, сухое, корявое, серебристо-серое дерево. Сторож в форменной куртке, христианин-араб, указывает мне на легендарные следы ног в скале, и я даю ему, как он и ждет, монетку. Архитектура и здесь, мрамор и ладан, и здесь тоже распорот мраморный пол, чтобы видна была священная скала...

Все — мираж.

Под вечер, когда я еду вниз и на каком-то повороте останавливаюсь, чтобы еще раз оглянуться на Иерусалим, на его стены при контровом свете, я знаю лишь то, что знал и до того, как приехал сюда, и еду дальше в твердой решимости никогда об этом не рассказывать. Потом я все-таки рассказываю.

Вдруг праздник:

Повода не знает никто, Бурри — тоже, он хоть и с опозданием, как всегда («Мне пришлось еще принять роды!»), но явился, праздник с размахом, дамы в вечерних платьях располагаются на паркете, госпо-

дин, который в центре их внимания (Зибенхаген?), острит, скрестив ноги, в саду танцуют, торшеры, ядовито-зеленый газон под торшерами, Бурри в смокинге, он поверил розыгрышу, единственный, кто мог бы угадать повод, врач-прорицатель...

Год прошел.

Эндерлин, хозяин этого вечера, купил себе дом с садом и плавательным бассейном, который сейчас освещен и куда как раз бросают какую-то молодую даму; ее крики, потому что холодно, грандиозная, кажется, потеха; только Бурри, акушер в смокинге, топчется без дела и хочет есть, проигрыватель поет «Rien de rien, non, je ne regrette rien»[1], а Бурри тем временем угощается остатками и все еще не понимает, что это значит: друзья с осоловелыми глазами и съехавшим галстуком, какая-то пара в обнимку на диване, Эндерлин в саду в гамаке, Эндерлин в возрасте сорока двух лет одиннадцати месяцев и точно семнадцати дней; его тоска оттого, что он остался тем же...

Значит, стареть!

Рассвет —

но без лошадиной головы...

Серый —

но без крика...

Глупости, говорит Бурри, ты простудишься.

Врач-прорицатель!

Глупости, говорит Эндерлин, я доживу до семидесяти.

Гости ушли...

Пойдем теперь, говорит Бурри.

Птицы щебечут...

Бурри ушел.

Значит, стареть!

Эндерлин не пил. Он этого уже не переносит, известные ограничения устанавливаются без указания врача, так сказать, добровольно, а то на следующее утро будешь совсем разбитым. До этого уже дошло. Он еще, так сказать, чувствует себя молодым. Только надо беречь себя. Ему льстит, когда его находят моложе, чем он на самом деле. До этого уже дошло. Он дарит драгоценности, когда любит. Раньше он не додумался бы до этого. У ювелира, поднимая глаза от колец и бус, он пугается: драгоценности дарят сплошь пожилые мужчины. Еще никто не встает в трамвае, чтобы уступить ему место. Это тоже придет. Еще не может быть речи о старости. Он только поражается, когда случайно видит какую-нибудь прежнюю фотографию, лицо, которого уже нет. Еще он тягается с молодыми. Но уже дошло до того, что на каждого он смотрит с мыслью, моложе ли он, и ему возражают, когда он говорит, что стареет, по праву. Еще не видно, так сказать, никаких примет. А что ожидания людям его года рождения уже не выдаются авансом, никто, понятно, не замечает, кроме него. Дряблая кожа и мешки под глазами, когда он, бреясь, поневоле глядит в зеркало,— все это еще кажется лишь признаком преходящей усталости. Он отказывается пугаться этого. Только зубы, иногда уже выпадавшие во сне,— известно, что̀ это значит,— зубы пугают его и еще глаза: все белое становится пепельным или желтоватым. До этого уже дошло. Волосы не выпадают, они только ложатся более плоско, а лоб растет; о лысине говорить еще рано. Но это придет. Губы становятся уже, выразительнее, так сказать, но обесцвечиваются. Еще впереди исполнение желаний — Бурри прав. И женщины предлагают свои услуги, как никогда прежде. Волосы на груди становятся серебристыми; но видно это только в ванной. Диета и немного спор-

[1] Нет, пустяки, я не жалею ни о чем *(франц.)* — известная песня, исполнявшаяся французской певицей Эдит Пиаф.

та, с соблюдением меры в затрате энергии, не дают ожиреть и обрюзгнуть; мышцы же от этого моложе не делаются. Ходит он еще без труда, но по своей тени же видит: пятидесятилетний мужчина, его походка становится размереннее, движение уже не захватывает все тело. Лицо становится более живым, чем тело, более личным от года к году, так сказать, значительным, если оно не усталое, а усталым оно часто бывает. Когда он устает, он скрывает это по мере сил, если нужно — то с помощью таблеток. Еще не дошло до того, чтобы непременно ложиться после обеда. Но все это придет. Еще он работает вовсю. Это — да. Он успевает даже больше, чем раньше, потому что благодаря опыту быстрее определяет, что не получится, и в профессиональном отношении наступает лучшая его пора. Это — да. И придет то, чего он боится: его будут встречать с почтением. С почтением к его годам. Ему будут предоставлять слово, потому что он старше, и тут не поможет никакое панибратство, никакое заигрывание с молодыми. Они становятся все моложе. Они слушают его из вежливости и все реже говорят, что они думают. Все это придет. Он будет ухаживать за ними, одновременно противиться их попыткам подать ему пальто и соглашаться с их неопытностью и с их экзальтированными ожиданиями. Его будут находить трогательным и несколько нудным, а он не будет этого замечать. Он будет восхищаться, чтобы не казаться завистливым, и будет завидовать всему, что у него самого уже было, завидовать потому, что это уже не будет казаться ему желанным. Все это придет. Привыкнув к естественному росту смертности среди своих ровесников и привыкнув к известным почестям, адресованным его прошлому, шестидесятилетний мужчина, которого начинают, и притом все искреннее, уверять, что его духовные силы в расцвете, он не будет жаловаться на свой возраст, наоборот, он возведет его в некий сан, удивляясь тому, что сан этот кажется не смешным, а даже заслуженным. Всего этого не задержать. И, может быть, он доживет еще и до семидесяти, да, благодаря средствам современной медицины. Еще не дошло до того, чтобы за ним ухаживали на каждом шагу. Конечно, ему нужна помощь. Конечно, он должен беречь себя. Для чего? Его память, хотя ее уже и не хватит на то, чтобы выучить какой-нибудь иностранный язык, будет поразительна; он будет вспоминать самые давние дела, некогда его занимавшие. Молодые (сорокалетние) будут спорить между собой, а он будет сидеть рядом, избавленный от беспокойства. Его взгляды уже нельзя изменить. Он будет ежедневно совершать прогулку, может быть, с палкой, во всяком случае в шляпе, ежедневно читать газету, чтобы не гулять в прошлом. Сегодняшний день? Он знает, как дошло дело до этого сегодняшнего дня. Иногда он будет рассказывать о личных своих встречах с людьми, которые создали этот сегодняшний день, о своем времени, ставшем историей, каждый раз одно и то же...

Почему не повесился?

На вопрос, что бы она делала или чего бы не делала, если бы ей осталось жить только год, в лучшем случае год, Камилла Губер отвечает сразу:

— Перестала бы работать.

Что подразумевает она под работой, Гантенбайн, конечно, не спрашивает, делает вид, будто речь идет о маникюре.

— Хорошо,— спрашиваю я,— а что вместо этого?

Камилла, правда, не говорит, что бы она стала делать, но это можно угадать сквозь ее обесцвеченные перекисью волосы, когда вскоре опять звонит какой-то клиент.

— К сожалению,— говорит она,— вы неверно набрали номер.

И когда через минуту опять раздается звонок:

— Я же сказала, вы неверно набрали номер.

Она продолжает делать маникюр.

Первый раз Камилле не нужна история; она сама, кажется, придумывает себе историю, без слов: ее последний год на белом свете, историю, по всей вероятности, с какими-то превращениями, историю с глубоким смыслом, утешительную историю.

Я отступился от Эндерлина...

(Есть другие люди, от которых я не могу отступиться, даже если встречаю их редко или вообще не встречаю больше. Не то чтобы они преследовали меня в моем воображении, нет, я преследую их, мне по-прежнему любопытно, как повели бы они себя в той или иной ситуации, хоть я и толком не знаю, как они ведут себя в действительности. Действительное их поведение может разочаровать, но это ничего не значит; им остается простор моего ожидания. От таких людей отступиться я не могу. Они мне нужны, даже если они обошлись со мной скверно. Это могут быть, кстати сказать, и мертвые. Они на всю жизнь приковывают меня к себе моим воображением: я представляю себе, что, окажись они в моей ситуации, они иначе восприняли бы ее, иначе действовали бы и иначе вышли бы из нее, чем я, которому отступиться от себя самого не дано. А от Эндерлина я могу отступиться.)

История для Камиллы:

(утешительная)

Али, как ясно уже из имени, был араб, молодой пастух в верховье Евфрата, и пришло время ему жениться. Но Али был беден. Приличная девушка стоила тогда в тех местах пятнадцать фунтов, большие деньги для пастуха. У Али было всего-навсего десять фунтов. Услыхав, что на юге невесты дешевле, он не стал долго мешкать, взял своего осла, наполнил водой бурдюки и поехал верхом на юг. Он ехал много недель. Просто пришло время ему жениться, он был молод и здоров. Так ехал он, полный надежд, с десятью фунтами в кармане, как сказано, много недель, питаясь финиками. Когда Али наконец добрался до этих хваленых мест, там хватало и дочерей, которые ему нравились, и отцов, которые хотели продать их; но невесты и на юге тем временем вздорожали, и жениться за десять фунтов никак нельзя было, даже на некрасивой девушке. Курс — двенадцать фунтов, одиннадцать фунтов — это редчайшая удача; Али торговался целыми днями, но безуспешно, десять фунтов — это было не предложение, а оскорбление, и, убедившись, что ему здесь нечего делать, Али опять взял своего осла, наполнил водой бурдюки и, огорченный до смерти, поехал на север со своими десятью фунтами в кармане, ибо ничего не истратил, словно все еще верил в чудо. И конечно, за чудом, которого Али заслуживал, поскольку признавал чудеса, дело не стало. На полпути между югом и севером, у колодца, где Али подкреплял силы своего грустного осла и свои собственные, он увидал девушку, какой еще ни разу не встречал, красивее всех, которых он не мог получить за свои десять фунтов, слепую девушку. Это было досадно. Девушка, однако, была не голько красивее всех, но и милее, поскольку она была слепая и ей никогда, ни в одном колодце, не доводилось увидеть, как она хороша, и когда Али сказал ей, как она хороша, всеми словами, известными арабскому пастуху, она тут

же полюбила его и попросила своего отца, чтобы он продал ее Али. Она была дешева — из-за ее слепоты отец хотел сбыть ее с рук — пугающе дешева: шесть фунтов. Ибо никому на всем Евфрате не нужна была слепая невеста. Но Али взял ее, посадил на своего подкрепившегося осла и назвал ее Алиль, а сам пошел пешком. В деревнях, где бы ни появлялся Али со своей Алиль, люди не верили собственным глазам, более красивой девушки никто никогда не видел даже во сне, вот только она была, к сожалению, слепая. Но у Али было еще четыре фунта в кармане, и, добравшись домой, он повел ее к лекарю и сказал: «Вот четыре фунта, сделай-ка так, чтобы Алиль видела своего Али». Когда лекарю это удалось и Алиль увидела, что по сравнению с другими окрестными пастухами ее Али совсем не красив, она тем не менее любила его по-прежнему, ибо своей любовью он подарил ей все краски этого мира, и она была счастлива, и он был счастлив, и Али и Алиль были самой счастливой парой на краю пустыни...

Камилла разочарована.

— Ну что ж,— говорит она, не поднимая глаз и не прерывая маникюра,— но это сказка.

Камилла не хочет слушать дальше.

— Погодите! — говорю я.— Погодите!

Камилла орудует напильничком.

...Сказка продолжалась год, потом она кончилась; Али заразился от Алиль и стал медленно, но верно слепнуть, и наступила лихая година, ибо как только Али ослеп, он перестал верить, что она его любит, и каждый раз, когда Алиль уходила из шатра, он ревновал. Никакие ее клятвы не помогали. Может быть, она и в самом деле ходила к другим пастухам, это неизвестно. Али ведь не мог этого видеть, и, не вынеся такой неизвестности, он стал ее бить. Это было скверно. В остальном он больше не прикасался к своей Алиль. Так продолжалось долгое время, пока Али не отомстил, обнимая другую девушку, которая все чаще и чаще пробиралась в его шатер. Но и от этого он не выздоровел, наоборот, становилось все хуже. Когда он замечал, что в его шатре лежит Алиль, он бил ее, и она плакала, так что слышно было снаружи, и Али и Алиль были самой несчастной парой на краю пустыни. Это все знали. И вот об этом услыхал лекарь, он сжалился и приехал, чтобы излечить Али, хотя тот уже не мог заплатить и фунта, Али стал опять видеть, но он не сказал своей Алиль, что стал опять видеть, ибо хотел тайком проследить за ней, и так он и поступил. Но что же он увидел? Он увидел, как она плакала, потому что он побил ее в шатре, и он увидел, как она мыла лицо, собираясь пробраться в его шатер под видом другой девушки, чтобы слепой Али ее обнимал...

— Нет,— говорит Камилла,— в самом деле?

Маникюр окончен.

— Серьезно,— спрашивает она, собирая ножнички и напильнички,— эта история не выдумана?

— Нет,— говорю я,— по-моему, нет.

Игра с темными очками, с черной палочкой и с повязкой, которая каждый раз, как только Гантенбайн выходит из дому, оказывается на рукаве другого костюма, из-за чего приходится возвращаться, мало-помалу надоедает, я тоже так думаю; я понял бы Гантенбайна, если бы он вдруг отказался от своей роли, и особенно интересует меня, как это восприняла бы Лиля, если бы в один прекрасный вечер Гантенбайн признался ей, что он видит.

Искушение становится все сильнее.

К чему это притворство?

Я сижу у камина, полночь, стакан в руке, лед в стакане, так что стоит мне качнуть стакан, слышно звяканье. Может быть, я выпил уже слишком много. Гости наконец разошлись; опять было утомительно играть Гантенбайна и не говорить людям о том, что видишь. Я только что положил полено в камин, а Лиля читает газету, и я смотрю, как медленно начинает дымиться полено в камине над раскаленной золой этого вечера; вдруг вспыхивает первое пламя, маленькая, мимолетная, синеватая, дикая прихоть, которая сразу же сходит на нет, но через несколько дымных мгновений возникает опять, теперь уже ярким, трескучим пламенем. Больше ничего не происходит. Лиля снова рассказала нашим гостям — с успехом, как водится — анекдот о слепом Гантенбайне в ее уборной. Гости, как сказано, ушли; мы тоже скоро ляжем спать, по всей вероятности. Со стаканом в руке, со льдом в стакане, так что стоит мне качнуть стакан, слышно веселое звяканье, вижу я наше счастье. Верит ли еще Лиля на самом деле в мою слепоту? Я вижу ее ноги, левая закинута на правую, ее коленку, затем ее обтягивающую юбку, еще я вижу обе ее руки, которыми она держит развернутую газету: под крупным заголовком сообщение об убийстве.

— Слушай,— спрашивает она,— ты это читал?..

Она ни о чем не думает, когда задает такие вопросы. Она делает это часто, вовсе не желая подвергать Гантенбайна проверке.

— Да,— говорю я,— читал.

Пауза.

— Нет,— говорит она,— как такое возможно!

Она имеет в виду убийство.

— Ужасно! — находит она.

Я пью, пока есть еще лед в стакане, и напряженно жду, со стаканом в руке, не дойдет ли до Лили вдруг, что я сейчас сказал; но жду я напрасно, и поскольку ничего дальше не следует, я повторяю:

— Да... читал.

Она этого просто не слышит.

— Слушай,— спрашивает она,— есть еще виски?

Есть.

— Спасибо,— говорит она позднее,— спасибо.

Молчание.

— Лиля,— говорю я,— я тебе что-то сказал.

— Прости! — говорит она.

Наконец она кладет газету, но никакого удивления, я вижу, на лице ее нет, она просто берет виски, чтобы услышать, чтобы спросить:

— Что ты сказал?

Я медлю.

— Я сказал,— неторопливо усмехаюсь и еще раз отпиваю из стакана, это невкусная талая водица, так что я перестаю усмехаться,— я сказал, что я это читал.

— По-твоему, это не ужасно?

Она по-прежнему имеет в виду убийство.

— Да, ужасно...

Я вижу, Гантенбайну достаточно теперь молчать и курить, и все бы осталось по-старому, но, может быть, теперь его разберет злость— я могу это представить себе,— злость, которая добром не кончится, я знаю это и обеими руками держу свой пустой стакан, чтобы Гантенбайн не грохнул им о стену. Что толку! Я вижу полыхающее по-

лено в камине, и я вижу Лилю, как она пьет, как потом снова берет газету, вижу сообщение об убийстве.

Я только представляю это себе:

Сперва помолчав, словно бы совладав с собой, после того как он грохнул стакан о стену, бледный от волнения, сам не зная, чего он, собственно, хочет, зная лишь, что предпочел бы промолчать, но осколки — это осколки, тут уже ничего не изменишь, даже если он промолчит, в состоянии, которое действительно пугает бедную Лилю, без очков (как вообще-то лишь при объятии и когда плавает) и дрожа от раскаяния, что он теперь (почему, собственно?) отрекается от своей тайны, с очками в руке, Гантенбайн говорит, что он не слепой, шагая по комнате взад-вперед, о нет, не слепой, смеется он, не глядя на Лилю, слепой от ярости, крича до хрипоты и перечисляя все, что он всегда видел, да, видел, верит этому Лиля или не верит, о нет, он не слепой, кричит он, так что слышно всем соседям, кипя от ярости, когда Лиля не падает в обморок от его откровения, а только собирает осколки, в то время как Гантенбайн, чтобы показать, что он не слепой, опрокидывает ногами кресла, молча, потом он еще раз говорит, что все видел, все, все, и ее молчание не успокаивает его, он стучит кулаком по столу, который видел всегда, ведет себя так, словно не он притворялся все эти годы, а она, Лиля, он хватает ее, трясет, пока она не начинает плакать; он потерял рассудок, да он и сам видит, что потерял рассудок, видит, да, видит кресла, валяющиеся на полу, и то, что он сам расставляет их, уже не поможет: что сказано, то сказано, Лиля рыдает, словно он ее обманул, ее нитка жемчуга порвалась, о нет, он не слепой, говорит он, пытаясь успокоить себя сигаретой, но длится это недолго, даже половины сигареты не длится, потом он снова наносит удары, пускай лишь словами, обезумев, как лошадь, которая поскользнулась и испугалась самой себя...

Как дальше?

Для Лили, после того как он успокоился и извинился за нитку жемчуга, ничего, в сущности, не изменилось — ибо для нее-то он из-за своего признания не стал ни более, ни менее слеп, чем прежде,— а для Гантенбайна, поскольку он больше не играет слепого, начинается действительно новая жизнь...

Я представляю себе:

Однажды (вскоре после этого) Лиля возвращается домой какая-то странная. Это с ней не в первый раз, но в первый раз она знает, что я все вижу уже на перроне. Я подзываю такси, в то время как она говорит: «Привет от Генри!» Я благодарю. «Ничего нового?» — «Отвратительная погода уже несколько дней, я работал». Я спрашиваю: «Что у тебя стряслось?» Таксисту незачем об этом знать. Об этом позже! Значит, позавчера она была у Генри и его жены, которая тоже передает мне привет. Лиля рассказывает больше, чем когда-либо после поездки. Я еще ни разу не видел русского балета, но верю сразу, что это великолепно. Что дальше? Я уже догадываюсь, я боюсь, что Лиля опять заключила договор на немецкий фильм. Так скажи уж! Мне любопытно. Почему я не целую ее? Потому что курю. Моему отцу лучше, спасибо, а погода, да, просто не верится, какая разная погода может быть в разных странах. В Гамбурге, например, светило солнце, да, как нарочно в Гамбурге. А здесь, стало быть, говорю я, уже три дня идет дождь. Я узнаю, что Лиля, между прочим, встретила своего первого мужа. Как так — между прочим? Он был скучен, говорит она откровенно. Почему так откровенно? Значит, Свобода был скучен. Кто бы мог ожидать! В первый раз, с тех пор как я слышу о Свободе, он был определенно скучен. Что еще? Между прочим, Свобода передает мне привет; все на свете передают мне привет.

Между прочим, я тоже должен сделать признание: авария из-за гололеда! Меня просто закрутило. Гололед! Сейчас идет дождь, но позавчера был гололед: наш таксист может это подтвердить. Дома я снимаю с нее пальто и вешаю на плечики с вопросом: «Итак, Лилечка, в чем дело?» Я приношу два стакана, и Лиля довольна, что случилось что-то с машиной, а не со мной. Еще раз: «Я ехал со скоростью пятьдесят, максимум шестьдесят километров, но когда гололед, ничего не поделаешь. Итак, будем здоровы!» Но Лиля не может оправиться от встречи со своим первым мужем, который еще раз передает мне сейчас привет. Как может первый муж стать таким скучным! Я приношу лед. Почему Лиля опоздала на самолет — это вопрос, который остается открытым, поскольку я, как сказано было, приношу лед, а Лиля тем временем вспоминает, кто еще передает мне привет. Найдется еще кто-нибудь, я полагаю. У единственного, кто не передает мне привета, нет имени, я ведь его не знаю, вот он и не передает мне привета. Я понимаю. После русского балета, как я слышу, была какая-то группа студенческой молодежи. Я не так понимаю. Конечно, не вся группа хочет жениться на Лиле, а кто-то один. Как он это представляет себе? Лиля тоже, как я слышу, находит это безумием, но рассчитывает на мое понимание. Как можно понять то, чего не знаешь? Я требую точных сведений, я становлюсь мелочным, каким Гантенбайн никогда не был, и это для Лили мучительное разочарование. Она молчит, чтобы показать свое разочарование. Неужели мы должны стать обыкновенной парой? Ну, так вот, в понедельник, или это было в воскресенье, нет, ну, да это все равно, во всяком случае, это было после спектакля, который, между прочим, прошел успешно. Что? Лиля же говорит: группа студентов, но и танцовщиков тоже. Я пытаюсь представить это себе; я тоже был когда-то студентом, но не таким смелым, как тот, которого Лиля, чтобы побыстрее разделаться с этой темой, называет гадким. Я смутно угадываю в нем черты гениальности, слушая вынужденный отчет Лили, и наполняю свой стакан. Я понимаю, о да, я нахожу это эффектным, если студент, лет двадцати с небольшим, подавая пальто даме, поговорить с которой он не нашел случая, без обиняков заявляет, что готов полететь с ней в Уругвай, чтобы там жить с ней, и понимаю, что эта дама, то есть Лиля, как-никак смущена. Почему я все понимаю превратно? Стало быть, не студент, а танцовщик, нет, опять не то — просто гадкий. Как его фамилия, этого гадкого, право, неважно. Значит, он проводил ее домой, то есть в гостиницу. Что дальше? Я опять понимаю не так. Ничего больше! Я удовлетворяюсь, стало быть, не то студентом, не то танцовщиком, который, возможно, гений, потому что он все знаменитое считает старьем, в том числе русский балет, и который хочет жениться на Лиле, причем немедленно. Судьба! Я ведь спрашиваю только, знает ли он, что Лиля замужем. Почему я невозможен? Я ведь не спрашиваю, есть ли у него деньги; я пью и молчу; все, что мне приходит в голову, банально. Где есть любовь, там есть и самолет в Уругвай. Так вот, Лиля успокаивает меня, хотя я спокойнее, чем она: не танцовщик, нет, и не студент, Лиля даже не знает, кто он. Этим-то он и великолепен. И речь, я понимаю, идет не о женитьбе в обывательском смысле, а о чем-то другом; Лиля не хочет этого назвать, я это говорю: о чем-то внепространственном. Лиля признает, что с его стороны все именно так и рисовалось. Мысль, что я сейчас мог бы влепить ей пощечину, первую, конечно, ставит меня в тупик. Когда я деловито осведомляюсь, каким представляет себе Лиля уругвайский климат — Лиля, которая так чувствительна к климату,— выясняется, что он говорил вовсе не об Уругвае, а о Парагвае; Лиля просто оговорилась. Я Лилю совсем сбил с толку. Вообще я несправедлив к

нему: что он хочет жениться на Лиле, он сказал вовсе не в первый вечер, я все передергиваю, а на перроне перед ее отъездом. Я посрамлен. Вместо признания, которое дало бы толчок моему мужскому самолюбию, я слышу только о каком-то впечатлении, которое словами вообще нельзя выразить. Значит, не будем тратить слов! Лиля просто смущена. Я это вижу. Установлено, что она его терпеть не может, и вдобавок выясняется, что он красив, но невозможен, но красив, гадкий, она же это сказала, фу ты господи, и как он говорит, и то, что он говорит,— все ей противно, наглость у него какая-то мальчишеская, и Лиля находит его назойливым, но она не могла взять себя в руки, когда он глядел на нее. Морская свинка и змея! Лиля так не говорит, но я понимаю. Я не знаю Парагвая, но я понимаю, что он, со своей точки зрения, не может понять, почему Лиля, такая женщина, как Лиля, возвращается к Гантенбайну. Не поставить ли нам пластинку? Я только так, к слову. Если бы нам хотя бы хотелось есть! Мой вопрос, что же теперь дальше-то будет, не настолько, по-моему, нелеп, чтобы Лиле следовало кричать на меня в ответ. Ничего не будет, господи боже мой, вообще ничего! Да и не было ничего. Разве Лиля виновата, что ей встретился какой-то безумец? Это слово употребила она. Я ставлю пластинку, рука не дрожит, опуская иглу на пластинку, ведь ничего не произошло, Лиля находит меня невозможным, она же говорит, что не выносит его, не выносит. К сожалению, она не смогла сказать этого ему; она говорит это мне. Это-то и произвело на нее впечатление: как можно находить красивым гадкое? Пластинка вертится, но мы не слушаем ее. Я слышу: когда он глядел ей в глаза, он мог говорить что хотел, этот нахал! Она повторяет: этот нахал! Я не подхватываю этого слова, мне это не подобает; к тому же я не знаю, нахал ли он. Это выяснится. Может быть, он приедет сюда на днях? — спрашиваю я, зажигая наконец трубку, и Лиля находит меня пошлым. С чего бы ему приезжать сюда? Я думаю: чтобы забрать Лилю. Лиля находит, что юмор тут неуместен. Мы слушаем Бранденбургский концерт, по-моему, пятый, и вот что мне хотелось бы знать: как попрощались они сегодня днем, я не имею в виду — целовались ли на перроне в солнечном Гамбурге, я имею в виду только — в каком смысле? Лиля не отвечает на мой вопрос, а повторяет: безумец! Уведомила ли его каким-нибудь образом Лиля о существовании Гантенбайна — вот что мне хотелось бы знать. Лиля предпочитает послушать Брамса. Конечно, ему нетрудно догадаться, что у Лили есть какой-то мужчина. Я ищу Брамса, Лиля права, вопрос мой глуп. С какой стати ей посвящать в свои личные дела незнакомого человека, только потому, что он готов на ней жениться? Лиля права. Зачем было докладывать этому нахалу, что Лиля и Гантенбайн, как я знаю, счастливы? Я ставлю пластинку, Лиля права, я опускаю иглу на вертящуюся пластинку...

Пока все в порядке.

Телеграмма на следующее утро меня не удивляет. Почтамт преспокойно передает ее по телефону. Я записываю:

ПРИЕДУ ЗАВТРА АЙНХОРН [1].

Я благодарю почтамт, Лиля спит, и если она собирается в Уругвай уже сегодня, то пора укладывать вещи, то есть мне надо бы ее разбудить. Может быть, лучше подождать, пока не успокоюсь; может быть, я никогда больше не буду так спокоен, как сейчас. Некоторое время я продолжаю завтракать, затем одеваюсь и не забываю о галстуке. Возможно, что телеграмму послали уже вчера, когда мы еще слушали Брамса, а это значит: завтра — это сегодня. Лиля нахо-

[1] Einhorn *(нем.)* — единорог.

дит, что я с ума сошел, да, совсем с ума сошел; она возмущена, как будто я послал эту телеграмму. Об этом не может быть и речи, говорит она, но сказать-то это легко. Я приношу ее халат. Уж не ожидает ли она, что я выйду к ее единорогу и скажу: Лиля не может его принять? Да, в самом деле этого она и ожидает. Не рассмеется ли ее единорог? Лиля находит, что я пошляк, поскольку говорю не «нахал», а «единорог». Ни о чем, говорит она, ни о чем они не договаривались! Лиля удивлена больше, чем я, что он помнит, какие взгляды бросала она на него, и коротко и ясно говорит мне то, о чем своему единорогу сказать забыла: что у нее нет ни малейшего желания встречаться снова. Но если он уже в пути? Лиля просто не понимает, откуда у него вообще ее адрес. Наш адрес. Я, конечно, задаюсь вопросом, как мне вести себя в отношении какого-то единорога, и безумец теперь я, потому что Лиля просто бросила на него взгляд, а он возьми да прими это всерьез. Я все еще держу ее халат. Но ведь Лиле не хочется, чтобы он явился сюда, об этом и речи не может быть! Я не понимаю, почему она теперь отчитывает меня. Она хочет немедленно дать телеграмму. «У тебя есть его адрес?» — спрашиваю я деловито, в то время как Лиля роется в своей сумочке. Есть. Слава богу. Первое, что приходит ей в голову: НАХОЖУСЬ ОТЪЕЗДЕ. Раз уж меня спрашивают, считаю ли я это правильным, я вынужден признаться, что, будь я единорогом, меня бы это не убедило. Ложь — пускай! Но я смущен, вернее, поражен тем, что между Лилей и этим единорогом явно уже есть какая-то близость, заставляющая лгать. Второй вариант: ПРИЕЗД СОЖАЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖЕН. Из этого тоже не ясно, перешли ли единорог и Лиля на «ты», и раз уж меня спрашивают, то я нахожу, что его приезд не невозможен, а, наоборот, логичен. Но ведь Лиля не хочет его видеть! Едва ли он догадается об этом, нахожу я, когда прочтет: ПРИЕЗД СОЖАЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖЕН. Почему СОЖАЛЕНИЮ? Из этого он вычитает, что у Лили малодушный супруг. Значит: ПРИЕЗД НЕВОЗМОЖЕН. Лиля действительно не хочет видеть его, это выяснено, но увидеть его хочется мне. Я никогда еще не видел единорогов. Третий вариант: Я ЗАМУЖЕМ. Это его не удивит. Чем это я так уж мучаю Лилю? Может быть, лучше бы им разок обнять друг друга, прежде чем ехать в Уругвай или Парагвай? Этого я не сказал вслух, нет, я уже посрамлен тем, что так подумал. Если Лиля не наденет наконец халат, я думаю, она простудится. Значит: ПОЖАЛУЙСТА НЕТ ПОЖАЛУЙСТА. Это ясно. Доволен ли я теперь? Как будто все дело в этом. Он будет доволен! Какой вскрик! Я согласен, о да, патетика — пусть, если она искренняя. Это телеграмма, какой не каждый двадцатилетний мальчишка может похвастаться. Раз у меня спрашивают, то я думаю сейчас о донне Проезе, которую однажды играла Лиля, но прежде всего о том, как мне вести себя, если единорог все-таки явится. Фамилия его вообще не Айнхорн! Я устраиваю сцену, находит Лиля. А мне только хотелось бы знать, к чему приготовиться. Мне тоже, может быть, трудно найти верное слово. Я же не знаю, что произошло. Я вижу только смятение зрелой женщины. Я строю догадки. Пустяк или судьба? Я должен быть готов, мне кажется, ко всему, и поэтому я в таком напряжении, когда Лиля встает и молча (зла на меня!) идет к телефону, чтобы передать телеграмму. Какой будет вариант? Но Лиля закрывает дверь; мне ничего не слышно, я стою и курю...

Вот и вся сцена.

Гантенбайн невозможен, с тех пор как он перестал играть слепого. Я в беспокойстве... Вечером, в четверг, они говорят благоразумно и откровенно, словно о каком-то исчерпанном деле, которое не стоит и разговора, даже с юмором, который не обижает; при этом

они пьют вино, не слишком много, но из особой бутылки, и пластинок они не ставят, нет, они вдруг откровенно говорят и о прошлом, говорят то, что еще ни разу не было высказано. Гантенбайн и Лиля близки друг другу, как давно уже не были...

Пока все превосходно.

На следующее утро, в пятницу, приходит телеграмма, которую Лиля у меня на глазах, я это вижу, сразу рвет на клочки. Это за завтраком. Клочки она сует в карман халата. «Хочешь еще гренков?» — спрашивает она, а я говорю о мировых событиях, покуда Лиля вдруг не встает, чтобы взять носовой платок; он нужен ей, носовой платок, чтобы заткнуть им карман халата, тогда клочки не вылетят. Я спрашиваю ее о репетициях. Позднее клочки не попадают в корзинку для бумаг, а исчезают с основательно спущенной водой. Мне пора идти, я уже стою в пальто, когда Лиля просит меня, чтобы мы уехали куда-нибудь, и сегодня же. Я понимаю: значит, он явится! На следующей неделе у Лили только одна репетиция, которую она отменит; она не хочет видеть этого безумца. Уехать? Я спрашиваю, почему она не хочет уехать одна. Она боится, что я двину по физиономии любого мужчину, который позвонит у нашей двери? У меня нет такого намерения, но кто за себя поручится, и, видя, как Лиле страшно, я могу, правда, отговаривать ее, пока она не начинает плакать, от этой поездки, которая мне совсем некстати, но не могу ответить отказом на ее просьбу, которую она противопоставляет моим резонам, не могу, мне кажется, именно в эти дни. Итак, мы едем! Правда, погода дождливая, но где-нибудь на свете сияет же солнце, на Эльбе, или в Энгадине, или на Мальорке...

Я представляю себе:

Гантенбайн и Лиля на берегу моря, почти безлюдном, солнце, но ветрено, и на Лиле не бикини, как обычно, а модель, которой Гантенбайн еще не видел, она привлекает внимание не только Гантенбайна, а и загорелых, босоногих парней, дающих им напрокат зонтик от солнца, но прежде всего — внимание других купальщиков, слоняющихся по пляжу под предлогом поисков ракушек, особенно внимание дам, они в бикини и сами себе кажутся непривлекательными — вполне справедливо, по мнению Гантенбайна; то, что на Лиле,— это антибикини: только бедра открыты и ноги, конечно, тело закрыто, трико в обтяжку, белое, как пух чаек, купальный костюм с длинными рукавами, да, до запястий, вдобавок декольте, как на парадном вечернем платье, от плеча, стало быть, до плеча, вдобавок ее черные волосы, мокрые, поскольку Лиля плавает без шапочки, разделенные на пряди водой, как волосы античных скульптур... Так лежит Лиля на песке, ее рука на моем колене, Гантенбайн сидит, ни слова об Айнхорне, или Лиля лежит на животе и курит и читает, а Гантенбайн охотится с подводным ружьем, тоже счастливый, да, теперь, отказавшись от роли слепого, он может опять охотиться с подводным ружьем, и ему не нужно умалчивать о том, каких он видел полипов, ежей, медуз. Он видит, Лиля тоже не думает об Айнхорне, ни секунды о нем не думает. Он видит это по ней. Хорошо. Часами играют они разноцветным мячом, Лиля и Гантенбайн, или прыгают в волнах прибоя, понятия не имея, какой сегодня день недели. Никто не знает их адреса (гостиница «Форментор», Мальорка), никто на свете и никто в театре, даже телеграмму послать никто им не может. Лиля мечтает о доме у моря; жизнь без ролей, вдалеке от кинематографа и телевидения, хотя и не обязательно в «Форменторе», а вообще где-нибудь, просто дом у моря, ведь есть же такие, вопрос только в деньгах, киношный вопрос. Чертятся планы, которые смывает набегающая волна, но это ничего не значит, чертится новый план. Куда ты?

Гантенбайн возвращается с ветками, ветками олеандра, чтобы наглядно представить сад. Мужчины так изобретательны и ловки, а Лиля в своем белом, как чаячий пух, купально-вечернем платье, куря сигарету и восхищаясь чертежом, которого она не может прочесть, знает только одно: это должен быть дом со множеством комнат, и с собственными маслинами, и с собственным виноградом, конечно, и притом очень простой, о да, но с ванными, конечно, и с бобриком на полу, это уж непременно, это нужно, и если уж делать, так делать. Они говорят совершенно серьезно, Гантенбайн и Лиля, они говорят даже о своей старости, которая когда-то придет, о своей общей будущей старости, Филимон и Бавкида...

Я представляю себе:

Никогда больше никакого крика!

Я представляю себе:

Филимон и Бавкида возвращаются через неделю домой, их ждет несколько писем, но Филимон интересуется только своими, Филимон опять человек с душой и умом...

А Бавкида?

У нее есть выдвижной ящик со старинным замком, который всегда заперт. Откуда я это знаю? Я никогда не пытался открыть этот ящик. С чего бы вдруг! Я вижу только, когда Бавкиде нужно что-либо достать из этого ящика, она отпирает его ключиком, и каждый раз говорю Филимону, что ему до этого ящика просто нет дела. Мы с ним одного мнения. Только тщательность, с какой она прячет ключик, забавляет его все больше и больше, и в одно прекрасное утро этот ящик случайно оказывается выдвинут, явно по оплошности. Или она хочет подвергнуть Филимона проверке? У него, видит бог, полно других забот. Пойти и задвинуть ящик, чтобы Бавкида не испугалась потом? Так тоже нельзя, нахожу я и стою за то, чтобы Филимон занялся сейчас этой проклятой налоговой декларацией или какими-то там другими текущими делами. Она только что звонила, она у парикмахера и придет позднее. Я отказываюсь думать, что это уловка. Взять и позвонить парикмахеру, чтобы удостовериться, что Бавкида раньше, чем через два часа, не вернется — это для Филимона запретный ход. Это не в стиле отношений между Филимоном и Бавкидой. И если он потом все-таки звонит, то лишь потому, что для налоговой декларации ему и правда нужна какая-то справка, которой она из-под сушилки, конечно, не может дать. Во всяком случае Бавкида, стало быть, действительно у парикмахера. Разве Филимон сомневался в этом? Он не может, проходя мимо, не видеть: ящик набит письмами. Он волен читать их два часа. Письма от Айнхорна? Теперь две возможности: либо он сделает это, либо сдержит себя. Конечно, он этого не делает, но необходимость сдерживать себя настраивает его против Бавкиды. У него, в сущности, как сказано было, полно других забот. Одним словом, он этого не делает.

Я испытываю облегчение.

Ничего тут нет удивительного, если актриса, которую миллионы людей видят по телевизору, получает письма. Это понятно; не совсем понятно, почему приходит так много писем с датскими марками. Похоже на то, что датчане особенные охотники до телевидения и у них в ходу только одна система пишущих машинок. Не совсем понятно, почему среди всех писем, которые Бавкида часто не убирает неделями, никогда не оказывается письма с датскими марками. Не обращать на это внимания — вот единственное, что я могу посоветовать славному Филимону. Не принесла ли почта ему каких-нибудь неприятных известий, спрашивает она за завтраком, пряча письмо с датскими мар-

ками (датские марки Филимон теперь узнает уже с расстояния от трех до четырех метров) в карман халата, она не читает письма, чтобы не подгорели гренки. Его вопрос: «Что нового?» — относится исключительно к письмам без датских марок, а поэтому Бавкида и отвечает на него. В среднем из Дании приходит в неделю два-три письма, все без обратного адреса. Филимону, конечно, стыдно перед самим собой, что он их считает, и мне незачем говорить ему, что он, мягко выражаясь, дурак.

Займемся чем-нибудь другим!

Например:

Разделенная Германия, причем возникает вопрос, при каких предпосылках воссоединение, которого требуют в самом деле или для вида, не будет опасностью для Европы, угрозой миру; почему мы не делаем всего возможного, чтобы создать предпосылки?..

Или:

положение в Испании...

Или:

загрязнение наших озер...

Займемся этим!

Что касается Филимона и Бавкиды, то известно, что ревность, обоснованная или необоснованная, редко сводилась на нет достойным и молчаливым самообладанием, скорей уж собственной неверностью, хотя классическая легенда о Филимоне и Бавкиде умалчивает о ней, и по праву; достаточно того, что Филимон это знает. Он не знал, как непринужденно он может лгать; он поражается. Филимон слишком давно не лгал; это и сделало его таким чувствительным. Лишь в первый момент, когда он видит свою Бавкиду, ему не по себе; ему кажется, что ее губы должны это заметить. Но Бавкида не замечает того, что замечают ее губы, и счастлива, Филимон снова полон бодрости, и, когда он говорит, что любит ее, это правда, хотя три часа назад он любил другую женщину; он поражается тому, до какой степени это правда, о да, в такой же степени, как его тайна.

Пока все в порядке.

Это чистое озорство, когда однажды Филимон целую неделю просто-напросто не вручает ей писем из Дании, которые, несмотря ни на что, не перестают приходить. Не знаю, зачем он это делает. Чистое озорство. Может быть, хочет только показать мне, с какой он теперь легкостью смотрит на это. Он спрашивает: «Что нового?» — и Бавкида срезает верхушку яйца или наливает чай, не спрашивая даже: «А мне нет писем?» Через неделю неспокойно становится Филимону: ведь в нагрудном кармане у него уже три письма, три письма с датскими марками. К счастью, Бавкида не интересуется его костюмами. А то хорош бы он был! Оброни она хоть слово, выдай хоть взглядом свое беспокойство, и Филимон сразу же полез бы в нагрудный карман, извинился бы за свою забывчивость и вручил бы ей письма из Дании. В целости и сохранности! Вместо этого приходит спешное письмо, заказное, с нарочным, так что получает его Бавкида лично. Она читает, не забывая при этом о гренках, и ни словом не заикается о том, что он скрыл от нее какие-то письма, минимум три письма. Ни словом. Филимон намазывает гренок маслом, заглядывая в утреннюю газету. Я спрашиваю себя: как быть теперь с этими тремя письмами? Несколько мгновений, сидя уже в машине и включая стартер, Филимон размышляет, не вернуться ли ему в дом, чтобы напрямик призвать к ответу Бавкиду, эту лицедейку до мозга костей. Филимон! — говорю я и оставляю руку на стартере. Разве не делает ему чести, что эти письма так неприкрыто приходят в дом? Я пытаюсь успокоить его. Не значит ли это, что они по крайней мере не счита-

ют его мелочным? Я говорю: Поезжай! Мотор уже давно работает, и я рад, что он наконец надевает перчатки: только его лицо в автомобильном зеркальце еще заботит меня. Почему такая ярость на лице? Он не говорит, о чем он думает, вероятно, вообще ни о чем. Я думаю: до сих пор Филимон держался безупречно, до сих пор! Когда пришло сразу два письма из Дании, он просто положил их возле салфетки, не улыбнувшись, и Бавкида, обычно такая непринужденная, стала угрюмой, скучной, раздраженной, натянутой. Чего еще желать? Я понимаю: Филимон хочет избавиться от этих трех писем. Не читая их! Будем надеяться. Почему смущает его то, что его Бавкида, судя по тревоге в Дании, тоже пишет явно минимум по два раза в неделю? Это действительно смущает его. Уж не думал ли он, что какой-то датчанин станет играть в пинг-понг мячиками, которые не возвращаются? Мне еще раз приходится напомнить, что до сих пор Филимон вел себя безупречно; он никогда не клал писем из Дании поверх других, что было бы бестактно. Это спешное заказное письмо и ее презрительное молчание по поводу того, что письма пропали,— вот что его злит. Может быть, подняться к ней и извиниться? Наконец, первая мысль: «Поеду-ка на главный почтамт и просто брошу еще раз в почтовый ящик эти три скрытых письма. Точка. Боюсь только, что почта, с ее педантизмом, еще раз поставит на них свой штемпель, штемпель с датой. Что тогда?» Остается только одно: Филимон, хотя у него, право, хватает других забот, поедет в лес, чтобы сжечь эти три письма.

Итак, Филимон едет.

Я не понимаю, зачем ехать так далеко?

Филимону не хочется, чтобы его кто-нибудь видел, даже рабочие лесничества. Идет дождь, утро, в лесу ни души. Жаль, что не часто выбираешься в лес, когда идет дождь, чтобы побродить среди зеленых папоротников, утопая по колено в их мокрых опахалах, или постоять под буком, укрывшись от дождя, как в палатке, когда кругом слышна зеленая арфа дождя: муравейник под дождем, холмик из еловых иголок, бурый и мокрый, или мох, темный и губчатый, губки разные в разные времена года, стволы деревьев, и падают капли, сторонишься кустов, каждая ветка — душ, ни одна птица не шелохнется, неподвижная гишина под зелеными зонтами, паутина, но без паука, корни, черные и блестящие от влаги, иногда скользко, потом опять все сухо, как ковер, дождь идет где-то в вышине, шелест, который донизу не доходит, на дорожках коричневые лужи, там он доходит донизу, это видно, брызги, и по веткам медленно катятся толстые капли, штабеля бревен, там живут жуки, как под крышей, бревна сушеные-пересушенные. Мшистая кора, круглые срезы светятся желтизной глазуньи, а кругом серый пар между мокрыми колоннами с зеленой филигранью, и небо над ними, сочащееся дождем, лилового цвета... Просто беда, что Филимон ничего этого не видит боясь рабочих лесничества, которых он только что увидал, мужчин в высоких сапогах, скрючившихся под брезентом, как гномы; но это в двух или трех километрах отсюда, да, как раз там, где он хотел сжечь письма. Тем временем Филимон обдумал, что было бы, если бы он поехал в банк и поместил письма в сейф. Плюс: при любом упоминании о них они когда угодно к его услугам. Минус: их можно прочесть когда угодно, кроме воскресных и праздничных дней. Я за то, чтобы сжечь их, но поскорее. Я хочу приняться за работу. Почему не в этом гравийном карьере? Я нетерпелив, да, а Филимон рассеян; вылезая из машины, он забывает выключить «дворники». Лужицы в карьере, возможно, напоминают ему морские отмели в Дании. Итак, письма сюда! Место удобное, оголенный, заброшенный карьер с ржа-

вой табличкой *Подходить воспрещается, за нарушение штраф*, вдруг гул самолета над лесом, «вампир», может быть, как раз над карьером, низко, но его не видно за тучами, потом снова капающая тишина; черная машина Филимона, забрызганная от езды по лужам, стоит накренясь у дороги на той стороне со снующими «дворниками»; теперь сойка, она выпархивает из зарослей и кричит в поднебесье, но медлит Филимон не из-за этого. У писем, предназначенных для ящика, а не для дождя, зареванный вид. Будут ли они теперь вообще гореть? Можно предвидеть, что нераспечатанные письма только обгорят, а потом так и будут лежать вот здесь, бумагой с коричневыми краями, которые будут в лучшем случае тлеть и корежиться пеплом, и Филимону придется стать на колени, чтобы подуть на них, чтобы, стоя на коленях, прочесть несколько необугливших слов, его не касающихся, остатки фразы, издевательски пустые, так что он будет расшифровывать еще и пепел, и слова, связь которых вообразит он сам, будут и дальше гореть в его мозгу незабываемым пламенем. Он будет раскаиваться в том, что и вправду не прочел писем, а прочтет — будет и в этом раскаиваться. Не лучше ли просто вырыть ямку и похоронить письма? Я вижу, как он ищет ветку, чтобы вырыть ямку. Но ветка ломается; глина есть глина. Вторая ветка ломается точно так же; гравий есть гравий. Я вижу, как он краснеет от злости, да, от злости на вас. Теперь льет вовсю, он это чувствует, вы смеетесь над Филимоном. Вы! Но это же начало ревности, если я думаю: «вы», «пара», «вы!» Теперь он в самом деле вскрывает письма, все три, не спеша, как я вижу, но решительно. Я не могу этому помешать. Я думаю только, что для этого не надо было ехать в мокрый лес. Что за вид теперь у Филимона, эти брюки, эти башмаки в глине! Когда он идет к машине, чтобы прочесть письма хотя бы не под дождем, я еще раз говорю: «Филимон!» Письма с датскими марками вскрыты, я вижу, но еще не прочтены. Что уж там может в них быть? Он медлит...

Я могу ему это сказать:

Копенгаген весной, Париж Севера, но безлюдный (судя по этим письмам), как луна, ни одной датчанки не видно, жизнь в Копенгагене, наверно, невыносима, невыносима без Бавкиды, но главное — это чтобы она опять отдохнула, в Копенгагене тоже дожди, ни слова о Филимоне, зато много приятного о Лиле, поездка в Гамбург отложена ради нее, восклицательный знак, надежда на гастроли в Мюнхене, вопросительный знак, гостиница «Четыре времени года», сквозь Копенгаген этих писем нет-нет да мелькнет, но тут же, не успев заговорить, потеряется какое-то лицо, какой-то призрак, который хочет покончить самоубийством, а потому условный адрес, придет время — все образуется, в промежутках профессиональные успехи, упомянутые, разумеется, невзначай, не стоящие, собственно, упоминания, много умного о фильмах, согласие в оценках при расстоянии в тысячу миль, Копенгаген — город с миллионным населением, но единственный человек, который понимает тебя, находится не в Копенгагене, и дорога к главному почтамту, где уже несколько дней ничего нет, окаймлена словно бы не домами, а воспоминаниями о Юнгферштиге [1], при этом в Копенгагене есть превосходные квартирки как раз для женщин, которые хотят жить самостоятельно, спасибо за фотографию, сейчас как раз самолет пролетает над домом, так и проходит, проходит время, еще раз спасибо за фотографию; острое желание выпить холодного виски в горячей ванне и т. д.

Итак:

---

[1] Улица в Гамбурге.

Филимон не прочел писем, он включает первую скорость и отпускает ручной тормоз, не хватало еще теперь, чтобы из-за вас он застрял в этом карьере; колеса буксуют в глине, но потом все-таки дело идет на лад, и машина давно выбралась из карьера, но Филимон все еще в глине своих чувств, его мысли буксуют и буксуют, не сдвигаясь с места...

И так весь день!

Обычная непринужденная сердечность Бавкиды, ее вопрос, невзначай, без упрека, откуда это он так поздно, ее довольное замечание о том, что наконец-то он купил себе новые башмаки и что машина опять вымыта, эта совершенно естественная, подлинная, совсем не наигранная непринужденность, с какой Бавкида приветствует своего Филимона, вопиюща — я это признаю,— при условии, что в трех письмах из Дании содержится примерно то, что я предполагаю; но поклясться в этом я не могу!.. Да, машина вымыта, но на ней есть вмятина; где-то он, видно, задел за пенек, вероятно, когда выбирался из скользкого карьера; очень заметная вмятина. Это между прочим.

Филимон лжет.

— Ах,— говорит он,— это давно уже.

Не хватало еще теперь, чтобы у него, Филимона, была нечистая совесть, да, чтобы это он не мог смотреть другому в глаза...

Филимон, находит она, пьет слишком много виски.

Она не говорит, что он уже не так молод, что мужчина его возраста должен немного беречь себя. Ни слова об этом! Но он это слышит...

Филимон, находит она, слишком много работает.

— Да,— говорит он,— пойдем в кино.

— Сейчас идет новый фильм,— говорит она,— я слышала, превосходный, стилистически, говорят, превосходный...

— Кто говорит?

— Тебе не хочется?

— Что значит стилистически?

— Фильм,— говорит она,— в котором вообще нет сюжета, понимаешь, единственное событие — это, так сказать, сама камера, не происходит, понимаешь, вообще ничего, только движение камеры, понимаешь, связи, которые устанавливает камера...

— Кто это говорит?

Одно мгновение кажется, что он призывает ее к ответу, потому что она знает не только отсутствующий сюжет фильма, который идет в этой стране впервые, но и его стилистические особенности...

— Я об этом читала.

Читала!

— Да,— говорит она,— вчера в газете.

Итак, дальше:

Он бросает три письма, три вскрытых письма в уличный водосток в присутствии Бавкиды; но она не обращает на это внимания, хотя он еще три раза, по одному разу на письмо, подгребает носком ботинка; она видит, что это письма, но ей дела нет до его почты.

Пока все в порядке.

Острое желание выпить холодного виски в горячей ванне, этого я, конечно, не должен говорить, я же не знаю, что было в этих письмах, это только домысел, а теперь я вижу, как Филимон оцепенело стоит перед занавесками со стаканом холодного виски в руке.

Я спрашиваю, о чем Филимон думает.

Ответа нет.

Ты ревнуешь?

С какой стати?

Я спрашиваю.

Все зависит от того, считает он, что́ понимать под ревностью. Мысль, например, что женщина, которую я люблю, пьет в горячей ванне холодное виски с другим мужчиной... Я, конечно, ошибаюсь, если представляю это себе! — говорит он.

А все-таки?

Признаться откровенно, говорит он, представлять себе это мне неприятно...

Я смеюсь.

Он стоит в оцепенении.

Я спрашиваю Филимона, почему он представляет себе вещи, взятые, как я уверяю его, с потолка, чистые домыслы. Уж не взбрело ли ему в голову, что я ясновидящий, который видит письма насквозь, не читая? Не говоря уж о том, что такие вещи нас вообще не касаются...

Филимон, говорю я, иди работай!

Хорошо, что письма уже в водостоке, а то бы, я думаю, сейчас он их в самом деле прочел, только чтобы опровергнуть мой домысел.

Филимон, говорю я...

Входит Бавкида.

Я спрашиваю, чего, собственно, Филимон хочет.

Бавкида напевает.

Холодное виски в горячей ванне, я еще раз должен сказать, что это слепой домысел, только и всего, не основанный ни на каких реальных уликах, домысел, взятый из запаса моих собственных тайн, только и всего.

Бавкида напевает.

Почему он не требует от нее объяснения?

Ответа нет.

Страх?

Я представляю себе: Филимон требует от нее объяснения, и Бавкиде есть в чем признаться — Филимон не станет орать. Я его знаю. Он сделает вид, будто ничего особенного не случилось, а позднее опять зажжет свою трубку, поскольку она у него погасла. Значит, правда! Вот единственное, что ему придет в голову: значит, правда! Это как укол, который еще не действует, и возможно даже, что я улыбнулась, а Бавкида покажется себе дурой, что еще в январе этого не сказала. В январе? — спрашивает он, в январе? Но даты, так находит она, излишни; ей достаточно сейчас облегчения от того, что я сохраняю спокойствие. Зачем Филимону теперь знать, как зовут другого? Может быть, он настаивает на этом лишь потому, что ничего больше ему в голову не приходит. Зовут ли его Нильс или Олаф, какое мне дело! Но Филимон хочет это знать. Ему было бы легче, если бы я при этом не присутствовал. Я ведь уже знаю, что он это переживет. Действительно ли она любит другого и как она представляет себе будущее? — всё вопросы, которые и я уже задавал, я не могу помешать тому, чтобы Филимон все-таки задавал их, но без моего участия. Зачем мне каждый раз присутствовать? Я не слушаю ее ответы, я наливаю себе еще чашку кофе и понимаю, что Бавкида, стараясь совладать с собой, не предлагает сахару; запрещает ей этот привычный жест мучительная тактичность; сейчас ей не хочется создавать видимость идиллии. Теперь он все знает! — говорит она, а я тем временем кладу сахар и на языке у меня знакомый вкус. Два часа, пора, собственно, приступить к работе. Бавкида собирает чашки. Почему он не дает ей пощечины? В нас совершенствуется способность отличать чувства, которые мы испытываем, от тех, которые мы уже испытали. Со зрелостью это никак не связано. Я воспринимаю этот момент как воспоминание. Вот и все. Я вспоминаю, как много лет назад я тоже не

закричал, потому что это было тоже не первый раз, а первый раз, когда я услышал от женщины, что она была у другого, я закричал только потому, что это полностью совпадало с моим подозрением, а с тех пор это полностью совпадает с моим воспоминанием о первом разе ..

Итак:

Филимон не требует от нее объяснения.

Я иду работать.

Неделю спустя, неожиданно, Бавкида получает собственную машину, то, о чем она всегда мечтала, да, маленький спортивный «остин». Как ей это постичь, ей, которая понятия не имеет о сцене, что не состоялась за черным кофе? Я вижу ее в элегантном спортивном «остине», когда ей объясняют схему управления, она счастлива таким подарком ни с того ни с сего, хоть немного и смущена, и не может взять в толк, как все это действует...

Пока все в порядке.

Я испытываю облегчение, оттого что Филимон не призвал ее к ответу,— предположив однажды, что он это сделал, я знаю: за каких-нибудь десять дней он, конечно, не забыл бы того, в чем призналась Бавкида. но он превозмог бы это, как подобает, или считал бы, что превозмог, после того как извинился перед Бавкидой. Я не встречал еще ни одной женщины, которая не ждала бы извинения, побывав с другим, и не добилась бы такового, то есть извинения с моей стороны, чтобы ничто не препятствовало будущему. Какому будущему? Будущему Филимона и Бавкиды. Что еще? Ну, так вот. Почему не шампанского? Живем только раз. Чего там экономить! Она прямо-таки не узнает его, своего Филимона, он такой бесшабашный, что даже жуть берет, и что у него ни слово, то перл, так что она просто не может не смеяться, и какая-то в нем вдруг грация завоевателя, он и сам это замечает, когда он говорит, она глядит на него теперь, как девчонка, потерявшая голову от близкого великолепия этого неповторимого мужчины. Болтая, поставить на карту все, покуда они грызут ножки омара,— он может позволить это себе. Лишь про себя пугается он порой, когда видит, как Бавкида в ответ искренне забывает своего невидимого датчанина, которому они стольким обязаны. Официанты во фраках, сущие бесы, когда сидишь в разладе с собой, склоняются перед его прихотями и мчатся стрелой еще за одним лимоном. И луна тоже как по заказу, не какая-то вообще луна, а полная. Бавкида блаженствует; она чувствует себя под защитой. В первый раз Филимон отваживается не смущенным кивком одобрить откупоренную бутылку, а забраковать, и забраковать без обстоятельных объяснений, которые, как известно, ни к чему не приводят и вызывают лишь неприятный шум, сцену, оканчивающуюся тем, что после второго и третьего пробных глотков ты сдаешься и великодушно-иронически киваешь головой, нет, в первый раз достаточно немого взгляда, нахмуренного лба, мимолетной усмешки, ни на мгновение не прерывающей беседы Филимона с Бавкидой, и пыльная бутылка уже исчезла в белой перчатке официанта. Почему у женщины, которую любишь, не должно быть других мужчин? Это в самой природе вещей. Как на твой вкус? — спрашивает он, не придавая слишком большого значения еде. Вдруг игра слов, которая его самого кольнула, как нож; но Бавкида не поняла намека, к счастью, а фазан превосходен на вкус, фазан с апельсином, и вдобавок полная луна, как сказано, и радужная мечта Филимона жить в одиночестве. Что он имеет в виду? — спрашивает она; теперь он должен попробовать другое вино. Как так в одиночестве? Он кивает, одобряет молчанием, после чего официант, с облегчением, грациозным жестом, медленно наполняет бокалы бургундским. Они на-

слаждаются тишиной этого ритуала. Бавкида снова заводит речь о земельных участках, а Филимон видит себя холостым в Нью-Йорке. Жаль, что у Бавкиды нет аппетита. Зачем ему в Нью-Йорк, спрашивает она; но теперь ему нужна сигара: *Romeo y Julieta*. Что было бы, если бы Бавкида теперь ждала ребенка, в частности, вопрос, чей это был бы ребенок, Филимона, по-видимому, не занимает; во всяком случае, он курит свою сигару и говорит, глядя на ночное озеро, о загрязнении наших озер, что представляет собой серьезную проблему. Давно уже Филимон так много не говорил. За коньяком, естественным образом, благодаря пищеварительному процессу, несколько успокоившись, он никак не может понять, почему Бавкида плачет, и после того как он расплатился — ему приходится еще подождать, пока разменяют деньги,— ясно, что Филимон и Бавкида пойдут вместе домой...

Я представляю себе:

Однажды, много времени спустя, я еду в Мюнхен, чтобы встретить Лилю, жду в холле гостиницы «Четыре времени года» ее багаж и вижу молодого человека, оплачивающего счет, одноместный или двухместный номер, этого я не слышу, и смешно, конечно, что я сразу же думаю о том датчанине, хотя этот молодой человек совсем не блондин. Я жду, читая газету, чтобы не терять связи с реальностью. Я отдаю себе отчет в том, что я ведь не знаю, что было в тех письмах из Дании; только чтобы отговорить Филимона читать их, я изобразил ему, что примерно могло быть в тех письмах, которые он потом бросил в уличный водосток: Копенгаген весной, профессиональные успехи, острое желание выпить виски в ванне, суждения о фильмах, надежда на Мюнхен, гостиница «Четыре времени года». Чистейшее вранье. Правда состоит в том, что я сейчас сижу в этом холле в гостинице «Четыре времени года» и что какой-то молодой хлыщ (почему вдруг хлыщ?) только что оплатил счет. Наверняка есть и датчане с черными волосами, я не знаю даже, был ли блондином Кьеркегор; не знаю также, датчанин ли этот молодой хлыщ (да, конечно, он хлыщ, судя по его одежде!). Пускай он размахивает немецкой газетой, это еще не доказывает, что он не датчанин: все датчане читают и по-немецки, а датских газет здесь не бывает. Кроме того, Лиля, насколько мне известно, не понимает датского языка; должен же он, стало быть, понимать по-немецки. С другой стороны, говорю я себе, не каждый красавчик, только потому, что он понимает по-немецки, должен быть возлюбленным Лили. К тому же я не нахожу в нем той значительности, какую он на себя напускает. Его манера размахивать газетой, похлопывая ею себя по ляжкам, показывает только, что он нервничает. Потому что я явился? Могут быть и другие причины. Как ему узнать меня? И если он уже второй раз бросает на меня взгляд, то мало ли почему; любой человек, на которого пристально смотришь, нет-нет да оглянется... «Вот и ты!» — говорит Лиля, готовая в путь, внезапно оказавшись рядом со мной. Она, я вижу, порядком осунулась за время съемок — как всегда. Мой вопрос, оплатила ли она счет, она пропускает мимо ушей, занятая своим багажом, а я тем временем складываю газету и отмечаю, что хлыщ исчез. Мне бы сейчас увидеть его лицо, но он уже вышел раньше нас через стеклянную дверь, чтобы хлопать себя газетой по ляжкам, стоя на тротуаре. Фильм будет, наверно, опять жуткий, сообщает Лиля, когда мы садимся в машину; я надеваю перчатки, глядя без слов в автомобильное зеркальце. К сожалению, я вижу только ботинки и две штанины. И все. Верхняя часть, более, так сказать, личная, обрезана, а повернуть зеркальце я не осмеливаюсь. Я включаю мотор и жду, словно его нужно прогреть. Почему мне не закурить сигарету, прежде чем мы поедем? Сейчас я даже не знаю, но-

сит ли этот молодой человек бороду; возможно, но уверенность у меня вдруг исчезает. Мы застопорим движение, находит Лиля, если я не отъеду; но я не вижу движения, я вижу только нижнюю половину мужчины в жилетке, вот он сунул правую руку в брючный карман, чтобы не помахать ею, я понимаю, человек он тактичный. Какого он мнения может быть о моем затылке? Я вожусь с пепельницей, которая снова застряла. Почему этому молодому человеку не носить жилетки? Потом я еще раз спрашиваю, в самом ли деле оплатила счет Лиля. Мужчина должен ведь обо всем думать. Ну, ладно: я включаю первую скорость, отпускаю тормоз, щелкаю рычажком мигалки, все, как полагается, глядя в зеркальце, чтобы увидеть, не грозит ли какая-нибудь опасность, но зеркальце в самом деле сдвинуто, просто опущено чересчур, я должен приподнять его, честное слово, по объективным причинам. Тем временем предполагаемый датчанин вышел из моего зеркальца вбок. Какое мне дело, носит он бороду или нет! Когда я, выруливая на проезжую часть улицы, машинально, как всегда, гляжу назад, чтобы еще раз удостовериться, что никакой опасности нет, он уже отвернулся. Значит, вопрос о бороде остается нерешенным. Не надо, просит Лиля, ехать с такой сумасшедшей скоростью. Как тебе живется? — спрашиваю я небрежно, чтобы намекнуть, что о скорости не может быть речи. Когда я еще раз спрашиваю о счете, Лиля готова разозлиться: «Да, я же сказала!» Я был бы в ужасе, если бы моя фамилия связывалась с неуплатой по счету. Когда при ста шестидесяти на пустынном участке шоссе Лиля грозит, что выйдет из машины, я тут же перехожу на сто, чтобы ей было легче выйти; другой раз, когда она опять жалуется, я даже притормаживаю: «Пожалуйста!» Знаю, я становлюсь несносен...

Что, по сути, произошло?

У Бавкиды есть теперь собственный спортивный «остин», а всего остального не было: ни объяснения за черным кофе, ни ужина с омарами над озером при полной луне, ни глупого поведения на пустынном участке шоссе. Ничего этого не было! Единственное, что остается фактом: у Бавкиды есть теперь белый спортивный «остин», который приводит ее в восторг и служит на славу.

Пока все в порядке.

И Филимон — мужчина, которому не стыдно выйти на люди, мужчина среди мужчин, современник между Востоком и Западом, гражданин, который высказывается против атомного оружия, хотя и безуспешно, читатель, друг, который приходит на помощь, шахматист, голова, член общества, изменение которого представляется ему неизбежным, работник с утра до вечера, деятель, участник и противник, человек, которого волнуют мировые проблемы, нужды народов, надежды народов, ложь властителей, идеологические различия, техника, история и будущее, космонавтика,— он человек... Его захватывает мысль: если через миллионы лет наша земля охладится, но зато остынет и приобретет атмосферу Венера, то жизнь можно будет перенести в космос (*Science and Future* [1]).

Я испытываю облегчение.

Что касается писем с датскими марками, то я лично не вижу причины снова глупеть, оттого что они вдруг перестают приходить. Нет такой любовной переписки, которая бы не заглохла со временем. Только его пресная совесть заставляет Филимона вообще размышлять об этом в высшей степени естественном обороте дела. Его подозрение, почерпнутое из собственного опыта, достаточно просто: они заметили, что три письма пропали, и пишут теперь друг другу по условному адресу. Хотя бы и так!.. Я не вижу основания взламывать из-за этого

[1] Наука и будущее *(англ.)*.

стамеской ее запертый ящик. Три часа ночи. Я говорю: «Да ты же пьян!» Случилось это, должно быть, очень внезапно; он не мог уснуть, в то время как Бавкида спала, и стал искать снотворное. Причем тут этот ящик? Что открыто, то уж открыто. А теперь? Что он полон писем, мы уже знаем. Что дальше? Он почти надеется, что Бавкида проснется, войдет сейчас в комнату и застанет его у ее письменного стола. Что тогда? Но Бавкида спит, три удара соборных курантов ее не будят, она оставляет его одного с его позором. Он ненавидит ее. Он дрожит, Филимон в пижаме и босиком, но довольный, что ненавидит. Это еще раз, как первое чувство, так же горячо, так же однозначно. Он ненавидит ее. Вот до чего она его довела. Чем, собственно? Он ненавидит ее, и это все больше и больше дает ему право взломать ее ящик, что, однако, уже случилось — мне уже не удержать Филимона... *Любимая,* против этого ничего нельзя возразить, это не бог весть что, *моя любимая,* он хочет, собственно, лишь узнать, как называете вы друг друга, *любимая ты моя,* не нужно быть датским гением, чтобы это сказать, *моя Лиленька,* это тоже уже было, так и Филимон уже писал ей, мужчины вообще, кажется, похожи друг на друга, если не считать почерка. Черт знает в какие завитки позволяет себе превращать буквы этот господин, иное в спешке взлома вообще невозможно прочесть, и вдобавок сердцебиение, и когда взгляд вдруг застревает, как застревает внезапно якорь, то узнаешь, в сущности, мало что. Шифры любви, расшифровать их нетрудно, но они далеко не ведут, если читать вдумчиво, просто уму непостижимо, как мало содержания в настоящем любовном письме, почти никакого, если не принимать восклицательные знаки в счет чувств, одно-единственное сообщение: *я жду у киоска,* указание времени справа вверху: *четверг, в полночь, после твоего ухода,* числа нет, да, всякая радость хочет вечности, я знаю, глубокой, глубокой вечности, но не тут-то было. Может быть, почтовый штемпель укажет, когда это писалось? Но конвертов нет, в том-то и дело, ящик полон голых писем, а чтобы сесть, чтобы разобрать материал и поработать как историк, нет, для этого Филимон слишком пьян; стоя, только так, дрожа и даже не заперев двери, так, словно все вышло непреднамеренно, только так позволяет он себе неподобающе рыться в письмах, которые так неразборчивы от старости, хотя и пусты, так нежны, что он не узнает в них своих собственных писем. Лишь одно письмо осталось в конверте, одно-единственное на весь ящик; но это, как выясняется, письмо от ее первого мужа, *Твой старый Своб,* прекрасное, собственно, письмо, вполне осмысленное. На нем и число указано. Только это письмо и способен сейчас, присев на подлокотник кресла, целиком прочесть Филимон, ошеломленный и одновременно успокоившийся. Нежность, которая не делает темой себя самое, а содержится лишь в манере пишущего говорить об объективных предметах, в тоне, действительно соотнесенном с той, кому письмо адресовано, и только, я тоже нахожу, что такая нежность консервируется лучше, чем эти исступленные телеграммы: СКОРО ТЧК ПОСЛЕЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ТЧК СКОРО ТЧК ЕЩЕ ДВА ДНЯ ТЧК СКОРО СКОРО. Ну да. Почему Филимон, раз уж он роется в ящике, не хочет взглянуть на дату телеграммы? Ему нет покоя, он жаждет чего-то необычайного, но то, что он находит: *твой голос, твой голос вчера по телефону, твой далекий голос, ах, твой голос, вдруг твой голос,* это просто скучно, по-моему, житейская пошлость, но как только в этих письмах заявляет о себе настоящая личность, не просто самец, токующий шариковой ручкой или пишущей машинкой, личность, превосходящая его умом, по крайней мере когда он, Филимон, пьян, он не читает, нет, уважение к его спящей жене, вдумчивая похвала, к которой он мог бы присоединиться, он не читает, нет. Ищет

он вот чего: *напиши мне, куда тебе писать, чтобы у тебя не было неприятностей.* Это уже ближе к ране. *Чтобы у тебя не было неприятностей,* продолжение на следующем листке, *если Свобода не хочет, чтобы мы переписывались...* То есть как Свобода? Это значило бы, что перед ним его собственные письма. Ну да, говорю я, ты только сейчас это заметил? Странно, каким чужим кажется нам порой собственный почерк, особенно когда ждешь не его, когда взламываешь ящик, чтобы раскрыть интриги спящей жены, а раскрываешь при этом лишь собственные интриги.

Филимон, говорю я, иди спать!

Замок сломан...

Это первое.

Филимону не избежать признания, которое предостережет Бавкиду раз навсегда, а он с этой минуты только и будет знать, что где-то в квартире должен быть другой тайник...

Это второе.

Филимон, говорю я, брось это!

Я вижу спящую:

Ее распущенные черные волосы, она только что повернулась на другой бок, ее кораллово-красное ухо, руку с растопыренными пальцами у лица на подушке, она дышит ровно и медленно, как все, кто действительно спит, и не шевеля губами, детские и чуть приоткрытые губы, обнаженные левое плечо и начало груди, ее тело, покрытое лишь простыней, ее тело под простыней, четко очерченное, этакая Ника под предательскими складками мрамора, но теплое, даже горячее от сна, сухое, жаркое, ее кораллово-красное ухо под черными волосами, до которых я могу дотронуться, а она и не заметит, иногда вздрагивают ресницы, но она спит, ее сомкнутые веки, синеватые, блестящие холодно-восковой бледностью осенних безвременников, неподвижные над спящими глазами, не спят, кажется, только волосы, да и кончики пальцев у лица словно бы бодрствуют, но она спит, сон у нее на затылке, там он совсем глубокий, без сновидений, влажный, глубже, чем на лице, которое, кажется, плавает по темному сну, как зыбкое отражение...

Лиляиль.

Филимон, говорю я, ты любишь ее!

Все остальное вздор.

В Африке (так рассказывает один гость) есть будто бы такое племя, где определяют жребием, какого мужчину назначить какой женщине, причем он должен заботиться об этой женщине, когда она молода и здорова, когда больна, когда у нее родятся дети, когда она стареет; вообще же все сожительствуют со всеми. И будто бы (по словам гостя) это самый мирный народ в этой темной части света. Эрос наподобие земли общинного пользования, как то соответствует природе, пол и субъект подчиняются не одному и тому же закону; поэтому у туголи (или как там их называют) не бывает случаев, чтобы мужчины стреляли друг в друга из-за женщины. Духовные силы, как и стрелы, нужны им для охоты. Спор возникает только из-за добычи. Воровство карается смертью, вид смерти зависит от ценности украденного предмета. Простая смерть, удар ножом в сонную артерию, ждет похитителя домашней утвари. А похитителя украшений, например, женских серег, привязывают к двум пальмам, чтобы первый же ветер, раскачивая обе пальмы, разорвал его воровское тело. Похитителя стрел, которые представляют собой, по-видимому, важнейшую собственность, оскопляют, потом зарывают в землю живьем. Воровок сжигают их мужья. Но кроме воровства, нет ничего, что считалось бы у этих

людей позорным и наказуемым или хотя бы вызывало у них огорчение...

Бавкида в восторге!

Кроме этого восторга, разделяемого, между прочим, другими дамами компании, и кроме тех датских писем, которые тоже ничего не доказывают, покуда мы не знаем их содержания, и к тому же, как было сказано, перестали приходить, нет, собственно, ничего, что давало бы Филимону разумное основание предполагать, что Бавкида живет в браке à la тогули, вообще ничего...

Филимон, говорю я, мне хочется работать!

А хлыщ в жилетке в автомобильном зеркальце?

Филимон, говорю я, нельзя любой домысел, приходящий мне в голову, принимать вслепую за факт.

Но он не унимается:

Чтобы восстановить доверие, он прибегает к откровенности; без какой-либо настоятельной причины, хотя его не спрашивают, он вдруг рассказывает о своих шашнях со стенографисточкой, и на́ тебе, Бавкида хоть и не знала об этом, но она и не хочет этого знать, нет, не хочет и впредь знать...

Промах!

Я ставлю откровенность не очень-то высоко, я знаю своего Филимона, я знаю, признания маскируют сильней, чем молчание, можно сказать все, а тайна лишь спрячется за нашими словами, беспардонность еще не есть правда, не говоря уж о том, что всего никогда не расскажешь, например, истории с ящиком; наша искренность, когда она выступает как таковая, это большей частью лишь темная махинация с ложью, страховка других тайн.

Ее молчание чистоплотней.

Признание насчет взломанного ящика, в один прекрасный день, увы, неизбежное — иначе пришлось бы уволить по ложному подозрению нашу уборщицу,— происходит за черным кофе, да, в тех самых креслах и в точности так, как я представлял себе признание Бавкиды, только роли меняются, чего она опять-таки не может знать; теперь молча бледнеет она, вдавливая сигарету в пепельницу, а наливает черный кофе, не решаясь предложить сахару, он; она не в силах взглянуть на него, как он ни ждет этого. Только любовь молчаливо грустит о себе. Она не может заставить себя улыбнуться, когда он просит прощения за то, что однажды вечером прочитал свои собственные письма, она даже не находит это забавным.

— Да,— спрашивает она,— а теперь?

Филимон дотрагивается до ее руки.

— Нет,— говорит она,— пожалуйста.

Поцелуев мужчины, который читает свои собственные письма, Бавкида не хочет; она не ожидала от него такого, она думала, что знает его; она сидит перед чужим человеком.

Как дальше?

Бавкида больна, не серьезно, жар с головной болью, во всяком случае она лежит в постели, а я ставлю чайник, я стою в кухне и думаю о своей работе, покуда не вскипает вода, я сижу на краю ее кровати, Филимон и Бавкида, все как по писаному. Я верю в аспирин, но не нахожу его. Бавкиде плохо; она просит меня поискать у нее в сумке. Она не только разрешает мне это, она просит об этом, так плохо она себя чувствует. Но ее сумки нет в спальне, мне жаль, она там, в гостиной. Я всегда удивлялся хаосу в ее сумках, и было бы чудом, если бы я нашел аспирин, запустив наугад руку в сумку, как того ждет бедняжка; я делаю такую попытку, но чуда не происходит. Что я нахожу: ключи, денежные купюры, губную помаду, носовой платочек,

паспорт, духи, монеты, другую губную помаду, перчатки, билет на самолет, футляр с пинцетами, монеты разной валюты, два билета в какой-то мюнхенский музей, шариковую ручку, водительские права, гребенку, сигареты, пудреницу, счет гостиницы «Четыре времени года», одноместный номер с ванной, ключик от машины, вырезку из газеты, серьги, письмо с датскими марками, датированное позавчерашним числом, адрес — до востребования, письмо вскрыто...

Филимон, говорю я, брось это!

Это была бы дешевка.

Да, кричу я, нашел!

Я уже опять сижу на краю ее кровати с пустым стаканом в руке, другая моя рука на ее горячем потном лбу...

От Филимона жди всяких неожиданностей.

Накануне их отъезда в Гамбург, он вдруг заявляет, что разумнее ей поехать одной, на него вдруг нашло озарение, веселое озарение; он решил: сейчас в Гамбург, честно признаться, мне совсем ни к чему. Нет, говорит она, тогда я тоже не поеду. Почему? Нет, говорит она, уж в Кампен-то во всяком случае нет. Глупости, говорит он, недельку в Кампене, поверь, пойдет тебе на пользу. Без тебя? — спрашивает она, а он стоит на своем, как ни сердечны ее уговоры. Может, он надеется, что она не решится? Это было бы глупо. Как так это ничего для него не значит? Это ничего для него не значит. Хитрость? Издевка? Ни в коей мере. Что он собирается делать? Работать. Зачем мне в Гамбург? — говорит он и стоит на своем; непритворно веселый, он отвозит ее на следующий день в аэропорт; Кампен — здоровое место, все ясно и правильно, и нечего тут объяснять...

Другого решения нет.

Просто так: свобода действий...

...Пока в одно прекрасное утро не звонят у двери, и, поскольку Лиля еще спит, открывать иду я, за дверью стоит молодой человек, которого я, мне кажется, сразу же узнаю, хотя его еще никогда не видел. Я приглашаю войти. Я рад, что уже одет, хотя и без галстука. Он входит не колеблясь, достает трубку. Представляться мне, видимо, не нужно, поскольку он этого не делает. И вот, значит, он стоит передо мной улыбаясь, долговязый, молодой по сравнению с нами, студент с волосами ежиком или танцовщик, но без бороды, да и без жилетки. Красив ли он, я не могу судить; отвращения он не вызывает. Его взгляд меня не покоряет, но ведь он и пришел не ко мне. Я спрашиваю его, есть ли у него багаж. Его ответ сбивчив. Он не хотел бы мешать, говорит он, он может и в одиннадцать еще раз прийти. Вероятно, он оставил свой багаж в аэропорту, чтобы освободить обе руки для багажа Лили; багаж у нее должен быть немалый, если они летят в Уругвай. Он не снимает пальто. Немножко он все же смущен, но, наверно, лишь из-за меня; может быть, она писала ему, что я устраиваю сцены. Я возьму себя в руки, я его поражу, но ничего тут не изменишь, он, разумеется, знает, что Лиля не сможет сказать «нет», увидав его взгляд. Значит, не будем тянуть! Я говорю только: «Вы к Лиле?» Мой банальный вопрос вызывает у него улыбку. Я добавляю: «Лиля здесь!» Ведя его наверх к спальне: «Пожалуйте!» Это звучит несколько резко, так что молодой человек не знает, что ему делать. Уж не прошел ли его порыв? Однако он идет за мной, держа в руке трубку, которую он теперь, когда я стучусь, сует в карман пальто, возможно, чтобы освободить обе руки. В ту минуту, когда я это делаю, я не знаю, почему я это делаю, понятия не имею, я делаю это как единственно возможное и без сердцебиения. Я еще раз стучусь в дверь, то ли чтобы не испугать мою Лилю, то ли чтобы замашками собственника не выставить себя на посмешище перед этим молодым человеком, который знает, что соб-

ственности, конечно, в любви не бывает. Итак, я стучусь. Ответа нет. Тогда я тихонько нажимаю на ручку двери, чтобы не разбудить Лилю: она совершенно не выносит шума, когда спит. Надо бы ему это запомнить. Почему он остается теперь на пороге? Я включаю свет, поскольку ведь занавески еще задернуты. Разве он не знал, что у нас общая спальня? Он, я вижу, и правда немного смущен, а то бы он не сунул опять в рот свою трубку. Как всегда, когда Лиля не хочет, чтобы ее будили, она поворачивается на другой бок; я беру ее за плечо. Пора обратиться к действительности, мои дорогие, пора! Проходит несколько мгновений, и она капризно-блаженно потягивается. Я говорю: «Лилечка!» И поскольку она глядит еще невидящими глазами: «Единорог пришел!» Я говорю, как с ребенком. «Кто там?» — спрашивает она, зевая, и студент в расстегнутом пальто, студент или танцовщик, который, кажется, ждал иного, делает вид, что ни о чем не знает, снова с трубкой в руке; а Лиля кричит, словно в спальне оказался трубочист, кричит одно-единственное слово — мое имя, которое, как я нахожу, не имеет к данной ситуации особого отношения. Я смеюсь, но тут же беру себя в руки. «Вы уж простите!» — говорю я, выходя, а потом запираю дверь снаружи, кладу ключ в брючный карман, постепенно приходя в ужас от того, что я это действительно сделал, не просто подумал, а сделал, снимаю свой галстук с двери ванной, повязываю галстук, беру куртку и стою, проверяю, есть ли в кармане брюк ключик от машины, стою и, поскольку ничего не происходит, иду себе и сажусь в машину, не спеша завожу ее, еду. И поскольку утро солнечное, я еду с откинутым верхом, ветерок в волосах, еду насвистывая, на руле только правая рука, насвистываю, левую руку я свесил за дверцу машины, которая тихонечко катится по загородным местам; у меня есть время. Что-то терзающее, чего не прогнать насвистыванием, сомнение, которое обгоняет меня и тогда, когда я еду быстрее, внезапное сомнение в том, что незнакомец, которого я запер с Лилей, действительно предполагаемое лицо, упорно-медленно, как подъезжающий полицейский, вынуждает меня остановиться на шоссе, чтобы предъявить документы собственному своему подозрению. А если это не он? Никаких документов, удостоверяющих его личность, у меня нет, никаких, в самом деле. Откуда мне знать, какой вид у единорогов в действительности? Я лезу в карман брюк; ключ от их комнаты у меня действительно в правом кармане. Это не сон. Несколько мгновений я притворяюсь, что обдумываю. Что, собственно? Сигарету, которая должна меня успокоить, я бросаю, не успев поднести к ней огонь, включаю задний ход, кручу обеими руками баранку, переключаю передачу и нажимаю на газ, как будто скоростью можно эту историю свести на нет. Дверь взломана, спальня пуста, они сидят внизу в гостиной, Лиля в синем халатике, он уже снял пальто, свернул его на коленях, молодой человек, студент-медик, но мечтает о сцене и советуется с Лилей, нравы нашего дома несколько смутили его, но он старается этого не показывать. Разговор, который Лиля ведет с деловитостью, заставляющей забыть о ее неглиже, продолжается еще полчаса. Когда за ним захлопывается дверь, она говорит:

— Я ухожу.

Неделю спустя (к сожалению, разговоры, которые излишни, в жизни не вычеркиваются) Лиля уходит; она не может жить с сумасшедшим, я ее понимаю.

Что толку видеть!

Я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором. Вся мягкая мебель в белых чехлах, пепельницы опорожнены, все вазы для цветов опорожнены, чтобы не воняло гнилью, я сижу в пальто и кепке, потому что на дворе дождь. Ковры скатаны, ставни закрыты. О лицах, которые

здесь жили, можно сказать наверняка: одно было мужского пола, другое женского. Я вижу блузки в шкафу, немного дамского белья, которое не влезло в чемодан, галстуки по другую сторону, мои куртки; внизу в шкафу стоят мои башмаки, некоторые с распорками внутри, выстроившись, как на смотру. Все двери настежь; в кухне капает из крана, а вообще тишина, как в Помпеях. Я все еще сижу в пальто и кепке, засунув обе руки в карманы брюк. Как в Помпеях: можно бродить по комнатам, руки в брюки, пытаясь представить себе, как тут жили, до того как их вдруг засыпало горячей золой. Все на месте, только нет больше жизни. Не так уж давно это было. В ванной еще висит ее синий халатик. Не знаю, что было на самом деле...

Мы все еще сидим у камина, уже за полночь, я давно молчу. Лиля с развернутой газетой в руках. Я счастлив, что в руке у меня еще стакан из-под виски, хоть и пустой. Лиля зевает, и полено над углями снова погасло. Пора спать. Я точно помню, на чем закончился наш разговор.

— Ты это читал?

— Да,— сказал я,— читал.

Пауза.

— Нет,— сказала она,— как такое возможно!

Она имела в виду убийство.

— Ты представляешь себе,— спросила она,— как может человек это сделать? По-моему, это ужасно.

— Да,— сказал я,— читал.

— Слушай,— спросила она,— есть еще виски?

— Лиля,— сказал я,— я что-то сказал.

— Прости! — сказала она, и я видел ее лицо когда она спросила: — Что ты сказал?

— Я сказал,— сказал я,— я сказал, что я это читал.

— По-твоему, это не ужасно?

— Да...

После этого мы молчали.

— Да,— говорит Лиля теперь,— пойдем спать!

Я остаюсь Гантенбайном.

(Окончание следует)

КОНСТАНТИН ПРИЙМА

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

По страницам зарубежной прогрессивной печати

В 1928 году в Москве журнал «Октябрь» опубликовал 1-ю и 2-ю книги «Тихого Дона» Михаила Шолохова. В самых широких читательских кругах нашей страны — среди рабочих, крестьян, интеллигенции — роман вызвал колоссальный интерес.

Год спустя (октябрь, 1929) в Берлине коммунистическое издательство «Литератур унд политик» выпустило 1-ю книгу «Тихого Дона» на немецком языке в переводе Ольги Габор-Гальперн (секретаря Союза пролетарских революционных писателей Германии). Книга была издана в добротных полотняных переплетах, в яркой суперобложке с портретом автора в серой кубанке и с изображением казачки Аксиньи, стоящей на берегу могучего тихого Дона.

В 1930 году «Тихий Дон» выходит в свет в Париже, Праге, Стокгольме, Гааге и Мадриде. В 1931 году — в Токио и Шанхае. И вскоре привлекательный портрет юного Шолохова в кубанке обошел страницы мировой прессы, приветствуемый читателями Европы, Азии и Америки.

Это было, как известно, трудное для молодого Советского государства время, когда старый, отживший мир выставил против красной России «санитарные кордоны» от Балтики до Черного моря, пытаясь остановить часы истории, угрожая свастикой фашизма лишить народы мира будущего.

Вот в такое время и вступила в Европу, а затем и в Азию советская эпопея «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Ее автор повествовал о событиях 15—10-летней давности. Но русское вчерашнее было принципиально, неслыханно новым в истории — это была социалистическая революция, получившая в «Тихом Доне» яркое художественное воплощение.

Революция в России необычайно волновала умы человечества, искавшие правду века. Поэтому шолоховская эпопея об опыте Великого Октября привлекла такое внимание.

Отклики прессы на «Тихий Дон», появившиеся в Германии, Чехословакии, Франции, Швеции, Голландии и Испании за 1929 и 1930 годы, свидетельствуют о том, что прогрессивная общественность оценила произведение Шолохова по достоинству.

«Тихий Дон» сразу же вызвал среди зарубежных литераторов большие споры, касавшиеся освещения первой мировой войны и революции, наследования традиций русских классиков, путей развития советской литературы. Поставив Шолохова в один ряд с крупнейшими европейскими писателями, прогрессивные критики отмечали воздействие его таланта на читателя, общечеловеческую значимость «Тихого Дона». И те, кого трудно было заподозрить в симпатиях к молодому Советскому государству, вынуждены были это признать: статьи в газетах «Берлинер тагеблатт» (9.11.1931), «Дагенс нюхетер» (Стокгольм, 21.10.1930), «Берлингске тиденде» (Копенгаген, 27.4.1932), «Таймс» (Лондон, 5.4.1934), «Нью-Йорк таймс» (15.7.1934) и многих других.

Письма из разных стран света, отклики многочисленных переводчиков и издателей произведений Шолохова, огромное количество статей, опубликованных в зарубежной печати с 1929 года, дают убедительное подтверждение тому, что творчество Шолохова по своему воздействию на читателя выходит далеко за пределы нашей страны.

Начиная разговор об оценке творчества М. А. Шолохова в прогрессивной прессе Запада и Востока, прежде всего хочется привести высказывания ряда руководящих деятелей коммунистических партий.

«Тихий Дон» Шолохова, наряду с книгами Горького, Фадеева, Серафимовича и других советских писателей, стал для многих немецких рабочих, а потом и для растущего числа трудовых крестьян не только большим литературным событием, но и руководством к действию».

Вальтер Ульбрихт (1963 г.)

«...Что на меня производит наибольшее впечатление в книгах Шолохова — так это их масштабность и гуманизм. Если вы уж раз прочитали его описание Донского края, этой части Советского Союза с ее обширными, богатыми равнинами и величественною рекою, то такое незабываемо. Шолохов живописует не только природу этого края, а и человеческий ландшафт. Его герои — это живые люди, которые принадлежат Донскому краю и которым по развитию сюжета этот край со временем начинает тоже принадлежать. Они преобразуют край, и по мере того, как он изменяется, они сами также изменяются. Шолохов не идеализирует своих героев, они не являются святыми, вылепленными из гипса, нет, это живые люди со своими недостатками и достоинствами. Вот почему их трагедии так волнуют нас, а их успехи производят на нас такое радостное впечатление. Мы чувствуем жизнь во всем ее многообразии — изменяющуюся и развивающуюся».

Джон Голлан (1963 г.)

«Тихий Дон» познакомил итальянский народ с великой эпопеей революции и социалистического строительства во всей его реальности и правдивости. Поэтому для нас он — один из шедевров литературы всех времен».

Пальмиро Тольятти (1964 г.)

«Почему «Поднятая целина» Михаила Шолохова всегда потрясает и волнует?

Потому что это — живая, реальная картина трудностей борьбы, которые преодолела русская деревня в период коллективизации. И потому что автор, наш великий писатель М. Шолохов, живет и чувствует вместе с героями своего произведения.

И только так, только будучи способным целиком жить и чувствовать с народом, можно написать произведения всегда юные, как вечно юным является народ, чувства и страсти которого писатель сумел так прекрасно запечатлеть в «Поднятой целине».

Долорес Ибаррури (1965 г.)

«Тихий Дон» образно и общедоступно поведал всему миру, что такое настоящая пролетарская революция, каких она потребовала усилий народа, сколько было пролито крови и как, наконец, впервые в мире была установлена самая демократическая власть — Советская власть — на одной шестой части земного шара. «Тихий Дон» — это великое произведение нашей эпохи».

Генри Уинстон (1969 г.)

«Тихий Дон» — это правда очевидца и участника этих событий, правда о русской революции, нашедшая изумительное художественное воплощение. Вокруг имени Шолохова и его романа в буржуазном мире идет борьба. Книги Шолохова — наши соратники на передовой линии классовой и идеологической борьбы».

Родольфо Гиольди (1969 г.)

«М. А. Шолохов — не просто всемирно известный писатель. Это писатель — летописец советской революции. Писатель, который шагнул дальше других и сказал больше других художников в разоблачении первой мировой войны. И главное, он художественно ярко и правдиво показал всему миру советскую революцию, рождение нового мира, победу диктатуры пролетариата в России. В этом суть ответа на вопрос, почему реакция его боится. «Тихий Дон» — для нее опасен...»

Луис Карлос Престес (1969 г.)

I

Ко времени появления за рубежом первых переводов «Тихого Дона» там уже были изданы (хотя и в очень малых тиражах) лучшие произведения советской литературы о революции и гражданской войне — «Железный поток» Серафимовича, «Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева, «Бронепоезд № 14-69» Иванова и некоторые другие. Передовая общественность мира их горячо приветствовала. Однако для создания более полной картины великого преображения, происшедшего в народе, необходимы были и более крупные жанровые формы. Очень хорошо об этом сказал в статье «Новый Толстой в русской литературе» — кстати, это была, пожалуй, самая первая статья о «Тихом Доне» в зарубежной печати — венгерский писатель-коммунист Бела Иллеш.

«Рабочий класс,— писал Бела Иллеш,— настоятельно ждет от советских писателей большого, масштабного романа-эпопеи, в котором нашла бы отражение революция в целом».

(Журнал «100%», 1929)

Именно такое произведение и представил на суд читателей Михаил Александрович Шолохов.

«Шолоховский «Тихий Дон»,— отмечал известный писатель и критик Франц Вайскопф,— как мне кажется, является выполнением того обещания, которое молодая советская литература дала начавшему внимать ей Западу своими произведениями («Разгром» Фадеева, «Бруски» Панферова, новеллы и повести Бабеля и Иванова); он («Тихий Дон») свидетельствует о том, как развивается новая литература, которая широка и необъятна, как русская степь, молода и неукротима, как новое поколение там, в Советском Союзе. И то, что в известных уже произведениях молодых русских прозаиков часто еще только намечалось, было еще зародышем: новый угол зрения, обращение к проблеме с совершенно неожиданной, новой стороны, сила художественного отображения,— все это в романе Шолохова получило свое полное развитие. Величием своего замысла, многогранностью жизни, проникновенностью воплощения «Тихий Дон» напоминает «Войну и мир» Льва Толстого!»

(«Линкскурве» № 3, 1929)

Выступив как писатель-новатор, Шолохов явил нам в «Тихом Доне» свое видение пробуждения Человека, поиска правды в неистовой борьбе и кипении страстей, в противоборстве добра и зла, открывая новые, почти неведомые прежде литературе пласты народной жизни.

«Тихий Дон» поражал реалистической глубиной образов простых людей, эпической масштабностью изображения событий революции. Беспощадно правдивое истолкование истории, трагическая судьба труженика и правдоискателя Григория Мелехова, пристальное всматривание в противоречия жизни, необычайно объемное отображение действительности помогают читателю не только почувствовать накал борьбы, но как бы самому войти в стихию страстей и природы, ощутив на лице своем и дыхание ветра, и лучи солнца, и грозовой ливень, и баклановский удар сабли и услышав осенне-скорбный клич журавлей. Все это закономерно выдвинуло эпопею «Тихий Дон» в авангард советской литературы, поставило в ряд с классикой.

«Нас потрясает эпическая манера автора, сосредоточенность его мысли, его культура, суровость и непоколебимость,— писал немецкий критик Андреас Цайтлер. Сравнивая Шолохова с молодым поколением писателей Запада, он подчеркивал: — По зрелости мысли Шолохов оставляет их далеко позади себя... у него абсолютно отсутствует литературщина, надуманность, нервозность, что присуще в наши дни всем без исключения молодым писателям Запада... Его чудесный «Тихий Дон» неотвратимо течет к морю. Это неслыханно величественное течение было бы в Западной Европе только искусством. Но в России (у Шолохова) оно и идея!»

(«Дас дойче бух» № 7—8, 1931)

Датский критик Фратер отмечал:

«Шолохов — новый великий русский писатель, новый Толстой, вышедший из окопов и живущий требованиями реализма наших дней. При чтении книги тысячи раз наталкиваешься на удивительную простоту. Встречаешься с обыкновенными людьми. И все же надо сказать, что эта книга величественна в изображении водоворота человеческих судеб и гениальна своим искусством повествования. Мы радуемся и восхищаемся достижениями современной культуры. Так прочтите же «Тихий Дон»! Прочтите о жизни донских казаков в мирное время на их хуторах. Прочтите о войне на Восточном (русско-германском) фронте. И попытайтесь сами проследить, не озарена ли истина этого уголка средневековья новым светом!»

(«Л.-Ф. Венстреблад», 13.5.1932)

По словам американского публициста Эдвина Сивера:

«Тихий Дон» — необычайно интересный роман. История в этапах развития России давала Шолохову основу для симфонической структуры романа и марксистского толкования событий... В нем поражает глубина реализма в изображении исторических потрясений... Не будь Шолохова, потребовалось бы несколько поколений писателей, чтобы объективно разобраться в природе социалистического переворота...»

(«Нью рипаблик», 15.8.1934)

А. Гавальда, переводчик и главный редактор издательства «Матео», в предисловии к роману «Тихий Дон» (Испания, Барселона, 1965):

«Мы убеждены, что «Тихий Дон», как и все великие произведения искусства, пленит внимание читателей своим сюжетом, действующими лицами и обстановкой. История мировой литературы не может обойти молчанием это произведение, в котором изображена целая эпоха — появление коммунизма... «Тихий Дон» велик сочетанием и борьбой противоречивых начал, своеобразной музыкой языка, особой манерой письма, которые глубоко отражают человеческую сущность. Читая Шолохова, мы не знаем, чем восхищаться больше — поэтичностью языка или экспрессией повествования. Все эти достоинства воплощены в «Тихом Доне», все занимает свое истинное место во времени и пространстве. Эта эпопея — сама История и ее Герои».

При всей относительности аналогий вовсе не случаен тот факт, что «Тихий Дон» вышел в свет почти одновременно со знаменитыми романами о первой мировой войне, романами так называемого «потерянного поколения»: Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», Р. Олдингтона «Смерть героя», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». Писатели осмысливали тему «человек и война». Но в «Тихом Доне» восприятие истории, изображение войны как величайшего народного бедствия открываются в соотнесении и иных категорий: народ и война, война и революция.

«Книги Келлермана, Томаса Манна, Ремарка, Фейхтвангера, Генриха Манна, Ренна, Арнольда Цвейга при всем желании этих авторов критически осмыслить ход истории все же были окутаны идеями пацифизма,— говорила переводчица «Тихого Дона» Ольга Габор-Гальперн в 1965 году.— Эти писатели в меру своего таланта лишь объясняли мир, не зная, как его изменить. И «Тихий Дон» в это время ворвался в самую гущу борьбы. В писательских кругах, коммунистических ячейках, в рабочих кварталах, на студенческих вечерах, в клубах, на баррикадах и в тюрьмах — всюду он нес людям новое, правдивое, пламенное слово о революции. В Союзе пролетарских революционных писателей Германии роман называли шедевром...»

И даже буржуазная газета «Санди график энд санди ньюс» (Лондон), печатавшая на своих страницах более половины 2-й книги «Тихого Дона» в мае, июне, июле 1934 года, признавала, что «роман Шолохова удивил мир», что «еще никогда не было написано более ужасного обвинения войне, чем то, которое содержится в этом мощном и удивительно жизненном романе, являющемся сенсацией года».

Через восприятие войны в казачьем многоголосии на майдане, в вагонетеплушке, в строю перед боем и после пролитой крови, в отношении к войне рабочих, рядовых солдат, лучшей части офицеров Шолохов показывает нам само течение

жизни. Мы как бы воочию видим вызревание в народе возмущения, наблюдаем, как писатель анатомически вскрывает антинародную сущность кровавой бойни и естественное зарождение в сознании казаков и солдат ненависти к царизму и войне: ненависти, которая сплачивает и поднимает вооруженный народ на борьбу.

Достаточно вспомнить, как долго Григорий Мелехов пребывает в смятении из-за первого убитого им австрийца, как он, простой казак-труженик, нравственно не приемлет волчью философию Чубатого («человека руби смело»), как Григорий яростно стреляет в него за убийство пленного, как солдат-большевик Гаранжа разрушает в сознании Мелехова веру в царя и его понятия о казачьем воинском долге, внушая ему новую истину — повернуть винтовки против тех, кто посылает людей в пекло войны,— и как ненависть Григория к войне, наконец, прорывается, когда в госпиталь прибывает царственная особа со свитой, чтобы осчастливить раненых иконами... «Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть,— думал Григорий.— Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине! Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал? А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме...— клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы.— Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить...»

В то время как реакционная печать стремилась принизить художественную и идейную значимость шолоховского романа, замалчивая его антиимпериалистические аспекты и извращая гуманистическую направленность, прогрессивная критика за рубежом оценивала большевистскую позицию Шолохова в вопросах войны и революции как новый гуманизм, как шаг вперед в художественном истолковании проблем войны и революции в мировой литературе.

Коммунистическая «Роте фане» (8.11.1930) писала, что Шолохов был прозорливее всех буржуазных писателей, показав в «Тихом Доне» «рождение у солдат в окопах новых мыслей», показав «классовое отмежевание казаков от офицеров». Венгерский публицист Золтан Фабри в журнале «Корунк» (№ 12, 1930) отмечал, что «новый гуманизм Шолохова» зиждется «на марксистско-ленинском тезисе о превращении войны империалистической в гражданскую», что «в «Тихом Доне» этот социальный переворот на наших глазах становится живой действительностью».

А венгерский прозаик Петер Вереш сказал:

«...Я потрясен тем, как Шолохов схватил и изобразил рождение нового мира, новых людей и новых мыслей в окопах войны, на Дону и в ходе революции. Люди у Шолохова — живые!.. И как это своеобразно схвачено и запечатлено! Закон движения жизни в ходе революции и всепобеждающую логику революционного действия — вот что открыл Шолохов... Революционер-большевик Бунчук — это человек совершенно нового типа, неизвестного европейской литературе... Шолохов показал нам этого героя в движении, в росте и борьбе, сделав понятным для всех. Бунчук — это рыцарь, символ добровольной дисциплины в революции».

(«Гондолат» № 3, 1930)

«Чрезвычайно редко встречаются книги с таким огромным регистром, как «Тихий Дон»,— писал датский критик Стиг Альгрен в газете «Зюдсвенска дагбладет» в 1941 году.— Мастерская лепка характеров, точность и удивительная новизна метафоры и детали, объективность в изображении противоборствующих сил, кровь и желчь на каждой из сторон — все это кажется естественным, ибо писатель дает нам почувствовать, что из этой кровавой бойни выйдет новое, живое... Григорий — степной язычник, сын природы. Его конфликты трагичны... У Шолохова все это дано так страстно, по-язычески обнаженно и невыносимо, как у Шекспира».

Испанский критик Хосе Мариа Вальверде подчеркивал в предисловии к «Тихому Дону» (Барселона, «Планета», 1966):

«Ключ произведения таится на его последней странице: Григорий оставляет позади мир мертвых, чтобы вступить в новый этап своей жизни — и жизни вообще, неся на руках сына, единственное свое достояние. Ничего более не объясняется, ничто не решается, не связываются нити, как это было в эпилоге «Войны и мира»... Итог «Тихого Дона» в том, что с прошлым покончено и, как бы начиная с ничего, отец и сын входят в новое время».

II

«Правда жизни — вот главный девиз художника Шолохова»,— писала аргентинская газета «Пропоситос» 16.X.1965 года. Сам Шолохов об этом ясно и точно сказал во Вступительном слове на II съезде писателей Российской Федерации: «Социалистический реализм — это искусство правды жизни, правды, понятой и осмысленной с позиций ленинской партийности».

Вот эта правда Шолохова и привлекла к нему миллионы читателей. Правда жизни, правда чувства и любви, душевного смятенья и философского раздумья, правда исторических событий и великих мук, в которых родилась коммунистическая новь земли.

Видимо, поэтому сербский журнал «Ядрански дневник» (№ 172, 1937), восхищаясь «Тихим Доном», писал о том, что «у Шолохова нет украшательства, нет лжи, а полным голосом глаголет сама Истина». Испанцы утверждали, что «Шолохов пишет т о л ь к о п р а в д у, несмотря на всю ее горечь» («Серра Д'Ор» № 1, 1966), и даже весьма реакционная газета «Нью-Йорк таймс» (3.VIII.1941) в связи с изданием 3-й и 4-й книг «Тихого Дона» писала о «волнующей человеческой правдивости Шолохова».

Из великого множества откликов приведем еще один, принадлежащий перу крупнейшей писательницы ГДР Анны Зегерс:

> «Когда мы прочитали перевод «Тихого Дона» (1929 год)... мы проглотили огромный кусок жизни, который Шолохов бросил нам, страшно голодным до правды. И казалось, будто он при этом крикнул: «Вы хотите знать все? Здесь это все!..» [1]

Как верность правде истории мы рассматриваем, например, и тот факт, что Шолохов в «Тихом Доне» важнейшим узлом сюжета, его кульминацией, поставил Вешенское восстание 1919 года. Восстание, в котором наиболее глубоко и обостренно проявились противоречия эпохи революции — противоречия между рабочим классом и колеблющейся частью трудового крестьянства, которые затем были преодолены и разрешены благодаря политике партии.

Письмо Шолохова от 6 июня 1931 года к Горькому свидетельствует, что тогда многие наши критики и руководство РАППа, не зная истинного положения дел на Дону в 1919 году, ошибочно обвинили автора «Тихого Дона» в «оправдании восстания» и задержали публикацию продолжения романа в журнале «Октябрь» с 1929 по 1932 год. Буржуазная пресса за рубежом эту рапповскую возню вокруг «Тихого Дона» длительное время истолковывала как колебания Шолохова. Но в действительности позиция Шолохова в этом вопросе была с самого начала совершенно ясной. Она соответствовала правде жизни и свидетельствовала о смелости и честности писателя.

В упомянутом письме к Горькому Шолохов писал: «Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции».

Многие прогрессивные и буржуазные критики за рубежом отмечают, что у Шолохова тема крестьянства приобрела совсем иное освещение, чем в литературе прошлого. Великие исторические изменения, принесенные революцией в деревню, породили много нового и прежде всего выявили новых людей, вставших в союзе с рабочими на путь преобразования мира и активного строительства социализма. В «Тихом Доне», а затем и в «Поднятой целине» этот процесс получил глубочайшее художественное обобщение.

Новизна изображения крестьянства Шолоховым заключается в том, что он повествует о народе с революционных, пролетарских позиций. В «Донских рассказах», а затем и в «Тихом Доне» писатель рассказывает о трудовом казачестве, которое под руководством большевиков и рабочего класса взяло оружие в руки для устранения великой социальной несправедливости.

В «Тихом Доне» Шолохов показал всему миру простого труженика Григория Мелехова, его любовь к труду, его честность, высокое понимание человеческого достоинства, его бунт против старых традиций и обычаев, его трудный и трагический поиск истины и справедливости.

В «Поднятой целине», на новом этапе нашей действительности, Шолохов сумел увидеть качественно новые, уже социалистические черты советских крестьян.

Недаром в Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, ГДР, Вьетнаме «Поднятая целина», изданная миллионными тиражами, была своего рода художественным учебником в социалистическом преобразовании деревни.

> В «Поднятой целине», писал Фр. Вайскопф в 1934 году, «крестьянин у Шолохова велик не своей нищетой. Нет, он велик потому, что встал у истоков новой жизни, в ходе которой он еще не перестает быть бедным, но перестает быть собственником».

В «Тихом Доне» Шолохов запечатлел национальные типы с широким художественным обобщением: народный борец за свободу Федор Подтелков, русский правдоискатель простой казак Григорий Мелехов, Аксинья, рыцарь революции Бунчук и его любимая — Анка Погудко, суровый, непреклонный Штокман, бдительный и ожесточенный Кошевой, даже безымянные красные трубачи, которые перед неминуемым расстрелом вдохновенно исполняют, как свою лебединую песнь, «Интернационал»,— все эти люди с их героизмом, мужеством, поиском истины, заблуждениями, беззаветным служением революции заставляют ощутить живое дыхание свершающейся истории.

[1] «Шолохов». Москва, «Правда», 1966, стр. 118.

Вот почему Шолохова называли «великим писателем современности, истинно русским Поэтом, вышедшим из гущи народа и сохранившим всю свою самобытность» («Юманите», 2.3.1930), «художником-революционером, ни на секунду не теряющим из поля зрения человеческой стихии, живого народа, творца этой борьбы и истории», писателем, у которого «правда жизни и революции нашла своеобразное национальное воплощение» («Дейли уоркер», 13.7.1934, США).

Французские переводчики В. Сухомлин и С. Кампо в предисловии к парижскому изданию «Тихого Дона» (изд-во «Пайо», 1930) отмечали, что Шолохов, крепчайше связанный с родной землей, силен традициями, идущими «от героических мятежников Степана Разина, Булавина, Пугачева, чьи подвиги до сих пор еще сохраняют свое значение в истории России».

Ромен Роллан в знаменитой статье «О роли писателя в современном обществе» (1935), говоря о новаторстве молодой советской литературы, обратил внимание на эпическую масштабность произведений Шолохова, отметив его веру в массы («дух коллектива»), социалистический пафос и глубинную преемственность традиций русского реализма.

Эту мысль как бы подхватывает болгарский писатель Камен Калчев:

> «Я был просто ошеломлен, когда впервые прочел «Тихий Дон». Я был в восторге не только от художественного и эмоционального воздействия этого романа, но и от самого факта, что такую поэтическую книгу написал советский автор. Это наполнило меня благородной гордостью, которую я не скрывал. Нет, думал я, не пропало дело Толстого, не прервалась нить русских традиций, оставленных великими реалистами... Живы и Тургенев, и Чехов, и Короленко! И как будто из огня революции возникло оно (как птица феникс!), волшебное русское слово, и сияет алмазным блеском, с неповторимой красотой, наперекор всем пессимистам и самозваным пророкам, которые предрекали гибель культуры и искусства в Советской России».
>
> (Сб. «Советская литература в Болгарии», София, 1961)

Норвежское издательство «Тиден» (1956) представило своим читателям четыре тома «Тихого Дона» «как жемчужину мировой литературы, самобытный, сверкающий всеми цветами радуги роман революционной эпохи, великий эпос, осветивший жизнь».

Известное испанское издательство «Планета» (1966), отмечая новизну стиля, национальный колорит «Тихого Дона», насыщенность романа народными пословицами и песнями, в коих живут «мудрость и здоровье нации», осторожно акцентировало внимание читателей на изображении социальных сдвигов в России:

> «Шолохов сумел нам показать русского человека — донского казака, ввергнутого в великое историческое потрясение, каким была Октябрьская революция. Он сделал это с точностью, с пониманием, как это умеют делать только гениальные художники».

Слова румынского прозаика Эуджена Барбу — еще одно свидетельство в пользу этого утверждения:

> «Шолохов — это прежде всего то, что называется н а ц и о н а л ь н ы й писатель, воплощающий характерные черты, культуру и лицо нации... «Тихий Дон» — не просто «казацкая эпопея», как его подчас узко понимают. Четыре тома богатейшей прозы воплотили в единое целое грандиозность видения пророка из Ясной Поляны, гоголевский юмор и эпос старых Боянов России... История продиктовала ему с дантевской тщательностью описание чистилища нации, прошедшей через кровь и смерть, через колоссальные жертвы, положенные в основание нового мира... Шолохов хотел и сумел сказать многое. Как каждый великий национальный писатель, он отлично знает р у с с к у ю душу, ее стремление к чистоте, тягу к идеальному, к той грани, без достижения которой нации, как и личности, ничего не значат... Шолохов положил в основу своего романа извечное стремление русского человека к справедливости, к правосудию и правде. В этом, в сущности, и заключается смысл его «Тихого Дона».
>
> («Лучафэрул», 23.X.1965)

III

Вклад М. А. Шолохова в сокровищницу русской, советской и мировой литературы неизмеримо велик. Не случайно коммунистическая и прогрессивная критика, писатели и литературоведы рассматривают творчество Шолохова как закономерное развитие лучших традиций русского реализма и как качественно новый этап советской и мировой литературы, связанный с методом социалистического реализма.

По мнению югославского писателя, академика Братко Крефта, «советская литература благодаря «Тихому Дону» заняла п е р в о е м е с т о в современном мировом романе» (сб. «Портреты», Любляна, 1956).

В «Ежемесячном бюллетене» токийского издательства «Кавадэ сёбо синся» в статье «Тихий Дон» и социалистическая литература» (1960) профессор университета «Васэда» Ямадзаки Хатиро писал:

> «Мне кажется, сам факт существования «Тихого Дона», могучего народного эпоса, и то, что социалистическая эпоха родила подобный шедевр,— все это имеет очень большое значение для новой литературы... Современная литература пессимизма, основной мотив которой — отчаяние и одиночество — это «печальная песнь» человечества, оказавшегося в таком крайнем положении... Однако человечество пытается вновь стать здоровым. Уходит в прошлое эпоха «печальных песен», и постепенно начинается эпоха нового эпоса. Я думаю, что мы уже можем говорить об этом. Я хочу признать большое историческое значение «Тихого Дона» как произведения, которое стоит в авангарде этой эпохи нового эпоса».

Будучи произведениями подлинно новаторскими, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» оказали поистине огромное воздействие на весьма сложный, интенсивный процесс зарождения новой, социалистической литературы. Творческий опыт М. А. Шолохова воспринимается прогрессивными писателями Запада и Востока как урок социалистического реализма, как художественное откровение XX века. Польские писатели, по заявлению поэта Станислава Гроховяка, «обращаются к Шолохову как к великому, неисчерпаемому морю — морю мудрости». Известный английский писатель Джек Линдсей признается в письме к автору этой статьи (январь, 1965), что Шолохов в «Тихом Доне» «достиг изумительного совершенства и создал нечто такое, к чему мы все можем постоянно возвращаться для вдохновения и совета». Директор стокгольмского издательства «Тиден» Бент Кристель считает, что «Шолохов оказал огромное влияние на шведских писателей Ивара Лу-Юхансона, Вильхельма Муберга, Яна Фридегорда и Эйвинада Юнсона» (1965). Болгарский писатель Эмил Коралов отмечал, что, работая над романом «Септемврийцы», постоянно черпал вдохновение в «Тихом Доне». Заметно огромное влияние Шолохова на китайского писателя-коммуниста Чжоу Ли-бо в его романе «Ураган». О плодотворном воздействии Шолохова на индийских писателей сообщается в сборнике Пенджабского университета «Литературные исследования» — «Вклад М. А. Шолохова в мировую литературу» (1968) и в статье секретаря Индийской Академии искусств профессора П. Мачве («Совьет лэнд» № 13, 1973). Австралийские прогрессивные писатели, по словам романиста Джуды Уотена, считают «Шолохова одним из чудес советской литературы» (1974). Писатели арабского мира, сообщил в беседе с автором этих строк видный египетский поэт и драматург Абд ар-Рахман аль-Хамиси, по «Тихому Дону» Шолохова учатся «ценить в человеке гуманность, поиск истины и справедливости».

> «В литературных спорах вдохновителем наших сердец,— говорит он,— всегда был Шолохов. Буржуазные идеологи — писатели и критики — говорили: «Социалистический реализм сковывает дух писателя, губит искусство». А посмотрите, господа, на гения социалистического реализма Шолохова,— отвечали мы своим противникам.— За истекшие 30—40 лет из литературы Запада и Востока что вы можете противопоставить равное «Тихому Дону»?.. Благодаря этому бессмертному произведению мы стали завоевывать молодежь, студенчество. Шолоховский эпос — «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» — это высшие достижения социалистического реализма. И Шолохов — не просто великий русский писатель, он уж давно принадлежит всему прогрессивному человечеству. Шолохов — одна из величайших вершин в современной мировой литературе. Сила и мощь Шолохова состоит в том, что его искусство зиждется на неувядаемых традициях культурного наследия человечества, на глубочайшем и страстном чувствовании и понимании боли, страданий и радостей человеческих» (1974).

Документы современников и материалы зарубежной прессы, рассмотренные нами, дают основание сказать, что М. А. Шолохов создал не только свой самобытный, неповторимый стиль, но и своего рода шолоховскую традицию в литературе.

Во многом именно произведения Шолохова способствовали тому, что и в буржуазном мире начался пересмотр отношения к советской литературе, стали признаваться ее жизненность и бесспорные художественные достоинства.

Подтверждением факта признания художественных достижений советской литературы явилось и присуждение М. А. Шолохову Нобелевской премии Шведской Академией в 1965 году. Некоторые органы западной печати (лондонская «Таймс», «Нью-Йорк таймс» и др.) высказывали по этому поводу свое недовольство, но вместе с тем очень многие влиятельные буржуазные газеты, такие как «Экспресс» (Париж), «Мессаджеро» (Рим), «Майнити» (Токио), «Ууси Суоми» (Хельсинки), вынуждены были присоединиться к мнению: «Значение награды Шолохова заключается в том, что Шведская Академия впервые признала представителя направления в искусстве, называемого социалистическим реализмом» («Ууси Суоми», 16.10.1965).

Верно отметила «Юманите» (16.10.1965): «Нобелевская премия Шолохова — это победа духа мирного сосуществования, духа справедливости...»

«Тихий Дон» находил дорогу к зарубежному читателю не только благодаря значительности высказываемого и художественному мастерству — для многих коммунистов мира это был правдивый и захватывающий рассказ о революции, о задачах их собственной борьбы. Шолоховский роман они воспринимали и как могучее идеологическое оружие.

В Германии одновременно с выпуском коммунистическим издательством «Литература унд политик» «Тихого Дона» массовым тиражом двадцать окружных коммунистических газет полностью публиковали его на своих страницах, систематически печатали рекламы-призывы:

> «Нашим товарищам следует прочитать книгу «Тихий Дон» Шолохова. Они могут из нее узнать многое о работе большевиков на войне и многому научиться... Эту книгу надо рекомендовать всем пролетариям!»

Полностью первый том «Тихого Дона» печатала газета «Юманите» (с 25.3.1930). Член Политбюро Французской компартии, директор «Юманите» Марсель Кашен в разговоре с переводчиками «Тихого Дона» В. Сухомлиным и С. Кампо назвал их труд «подвигом», а роман Шолохова «подлинным шедевром». По свидетельству С. Кампо, присутствовавший при этом Анри Барбюс сказал:

> «Путь «Тихого Дона» будет опасным и тернистым. Реакция сделает все, чтобы запретить его, фальсифицировать, сжечь или предать забвению. Но я уверен в том, что, отмеченный знаком вечности, «Тихий Дон» дойдет до читателя».
>
> (Из письма к автору статьи от 26.XI.1965 г.)

Это замечание не случайно. В большинстве буржуазных стран власти, цензура, полиция вели ожесточенную борьбу против ввоза из СССР, а также издания и распространения переводов советской литературы, в том числе «Тихого Дона».

Так, например, МИД и дирекция печати правительства боярской Румынии еще в 1929 году ввели в действие тайный «Приказ № 103», имевший силу закона, согласно которому «запрещалось ввозить и распространять в стране любые издания из СССР (газеты, журналы, книги), в том числе и беллетристику». А 3 июля 1931 года эта дирекция печати в секретном «Бюллетене № 14» потребовала от органов полиции всей Румынии «принять энергичные меры, чтобы впредь повсюду конфискозались и не достигали адресатов книги Л. Толстого, М. Шолохова, Вс. Иванова, Ф. Гладкова, А. Серафимовича, Б. Лавренева, И. Эренбурга». В Италии «Тихий Дон» был запрещен в начале 1930-го, а в конце года фашистское правительство отказалось дать Шолохову визу на въезд в Сорренто к А. М. Горькому. В Болгарии, Польше, Венгрии, Югославии «Тихий Дон» был также запрещен с 1930 года к ввозу и изданию, как роман о «красной революции». Тем не менее, несмотря на все запреты, книги Шолохова проникали в эти страны и даже в тюрьмы! А венгр Людвиг Сюч писал, что в тюрьме г. Плевена узники из каравая хлеба (полученного с воли) вынимали хитро скрытую речь Г. Димитрова (от 17 мая 1934 г.) и главы из «Тихого Дона», публиковавшегося в болгарской газете «Ново време». В фашистской Германии, Италии, Испании, в чанкайшистском Китае и в Китае времен «культурной революции» книги Шолохова, как и другие произведения советской литературы, сжигались на кострах.

В тридцатые годы в ряде стран — в Болгарии, Польше, Швеции, Югославии, Венгрии, Китае, Японии, Румынии «Тихий Дон» был подвергнут цензурным сокращениям. Содержание романа обеднялось, а подчас и грубо фальсифицировалось. Но самая жестокая расправа постигла «Тихий Дон» в Англии и США в 1934 году и в Ливане в 1968—1969 годах. В издательствах «Путнам» (Лондон) и «А. Кнопф» (Нью-Йорк) из романа Шолохова было вырублено свыше 100 страниц, без указания на титуле о сокращениях. Выпуск романа «Тихий Дон» в переводе И. Джазини в издательстве «Дар аль-Камус аль-Хадис» (Бейрут) представляет собой неслыханное глумление над шолоховским произведением. Достаточно сказать, что из 61 печатного листа трех книг романа сокращено 50 печатных листов, а слово «Конец» поставлено на страницах, где Григорий Мелехов возглавляет мятежную дивизию.

Множество писем, полученных от антифашистов Европы, убеждают в том, как велико было значение «Тихого Дона» и «Поднятой целины» в формировании классового самосознания пролетариата, в становлении коммунистического мировоззрения.

> «Мы не знали России,— пишет спартаковец, член КПГ с 1918 года Макс Валенда из г. Фалькензее.— «Тихий Дон» открыл всему миру душу донских казаков и величие русской революции... Михаил Шолохов сказал новое слово о России, ярко изобразил диалектику революции... Как ни одна книга, «Тихий Дон» вызвал в 30-е годы дискуссии в пролетарских клубах и горячие споры в рабочих семьях».

Известно, что пресса социал-демократических партий Германии, Франции, Англии в те годы систематически выступала с клеветническими статьями против СССР, и в осо-

бенности против советской литературы. Их газеты «Форвертс» (Берлин), «Попюлер» (Париж) и «Дейли геральд» (Лондон) в рецензиях на «Тихий Дон» извращенно трактовали идейно-художественный замысел Шолохова и не рекомендовали его в профсоюзные библиотеки. Несмотря на это, книги Шолохова попадали в руки рабочих, рассказывали им правду о Советском Союзе.

«Тихий Дон»,— пишет Герман Бах, рабочий из города Гюзена,— дал мне возможность составить яркое представление о мощи и значении русской революции, о сущности классовой борьбы и путях к победе, которые указал бессмертный Ленин. И тогда, в 1930 году, я вступил в компартию».

Иоахим Шульц из Берлина пишет:

«Есть книги, которые входят в семью на всю жизнь! Такой книгой оказался «Тихий Дон» Шолохова для нашего деда, партийного ветерана Макса Курейбера, и всех нас — его потомков».

Член Компартии Германии с 1923 года прислал из Берлина томики «Тихого Дона» издания 1929 года со следующей надписью:

«Двенадцать лет фашистского господства пережили эти книги Шолохова. Было небезопасно хранить их в то время. Я прятал их в мешке с хламом, в погребных нишах, зарывал в землю. И люди в подполье всегда с радостью и трепетом принимали их, даже если это было опасно. Чтобы читать «Тихий Дон» в то время, нужны были вера в человека и немного личного мужества. Друг, когда ты берешь в руки эти книги, помни, с какой заботой они были спасены для нас в черное время нацизма. Берлин. 3.8.1966. Вилли Линке».

Бойцы республиканской Испании Анхель Эрраис и Хосе Молина, переведшие «Поднятую целину» на испанский язык (Москва, «Прогресс», 1965 г.), рассказывают, что в 1937 году в Испании во время боев книги Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина» выдавались командирам вместе с гранатами и патронами.

И редакция «Юманите», конечно же, была права, когда в январе 1934 года, предсказывая великое будущее «Поднятой целине», утверждала, что широкие массы читателей «найдут в ней не только песнь о борьбе, но и оружие борьбы».

По сообщению бывшего секретаря одной из комсомольских организаций Варшавы, узника фашистских концлагерей Станислава Ковальского, в середине 30-х годов они в подполье имели книги советских писателей — Горького, Серафимовича, Шолохова, Фурманова...

«В 1935 году, по выходе из тюрьмы,— пишет С. Ковальский,— в Варшаве, на ул. Дикой, № 5, мы собирались на тайные читки (при керосиновой лампе) книг Шолохова... Мы читали Шолохова и жили жизнью Давыдова и Бунчука. Закалка и революционное сознание героев Шолохова придавали нам стойкость в битвах с исконным врагом — фашизмом в Польше, а затем — с гитлеровскими оккупантами».

Любомира Ружич из Загреба (Югославия) писала, что у них «и во время гитлеровской оккупации родители воспитывали детей в общеславянском и свободолюбивом духе... И вообще, чем сильнее был фашистский гнет, тем больше люди сопротивлялись и читали Шолохова и Горького. На культурном горизонте человечества литературные гении русских и французов — Л. Толстой, Горький, Шолохов, Золя и Ромен Роллан — сияли нам, как звезды, и во время войны...»

А руководитель одной из берлинских групп Сопротивления фашизму в 1933—1945 годах Эрвин Шлейзенер сообщал:

«...В труднейшей борьбе с фашистским режимом образ коммуниста Бунчука из «Тихого Дона» был для подпольщиков примером мужества и стойкости перед лицом смерти. «Тихий Дон» Шолохова помогал нам укреплять классовое сознание рабочих, вдохновлял на борьбу с ненавистным режимом».

И еще два письма. Из Испании [1]:

«Дорогой, далекий и незабвенный отец наш! Спасибо за чудесный подарок — вестник весны! До нас все же дошла изданная в Москве в переводе Анхеля Эррайса «Поднятая целина» Шолохова — изображение величайшего переворота на Востоке. Со страниц «Поднятой целины» на нас повеял живительный ветер Русской революции... Ты знаешь, отец, как нам трудно. Но и мы знаем, что Время, так же как вода, каплями, медленно, но неотвратимо долбит и рушит камни. Мы верим, что и над нашей многострадальной землей еще пробьют часы Истории. И присланная тобою шолоховская «Поднятая целина» (она уже по-

[1] Письмо написано ветерану боев за Мадрид, живущему сейчас в Советском Союзе, двумя его детьми, которых он долгое время считал погибшими во время фашистского мятежа в Испании.

шла тайком по рукам!), и ваши давние жертвы, и мы, в подполье,— приближаем то время, когда наш народ снова поднимется, чтобы перевернуть вековую целину в жизни Испании.

Привет тебе и Анхелю Эррансу!

Март, 1965 г.»

Из Венесуэлы:

«Шолоховский фонд музея краеведения.
Ростов-на-Дону

Впервые я прочитал «Тихий Дон» — этот великолепный роман — в тюрьме. Его страницы открыли картину классовой битвы высочайшего накала; вот почему эта книга очень важна для нашего народа, для его борьбы, во главе которой идут коммунисты.

«Тихий Дон» — это прекраснейшее произведение — я рассматриваю как послание надежды всем тем, кто в различных местах земли ведет борьбу за свободу народных масс и независимость своей родины!

Хесус Фариа,
Генеральный секретарь
Компартии Венесуэлы.
20 июня 1969 г.»

И действительно, книги Шолохова — со дня их появления в СССР и в переводах за рубежом — находились на переднем крае идеологической борьбы. Оруженосцы реакции и антикоммунизма в своей прессе, по радио и телевидению, в брошюрах и монографиях, с кафедр в университетах и академиях, на различных форумах вот уже почти полвека ведут ожесточенную борьбу против творчества М. А. Шолохова.

Одни из них — Г. Струве (США), Ф. Сечкарев, Ф. Нейман (ФРГ), стремясь принизить «Тихий Дон», называли его «хроникой войны и революции», которая «не является классическим творением». Другие, как, скажем, критик газеты «Пари-Норманди» (Франция), трубили, что «Шолохов никогда не придерживался метода социалистического реализма, чем, собственно, и оригинален». А критик тоже французской газеты «Эст репюбликэн» доказывал обратное, будто «Шолохов, осыпанный почестями, вынужден был принести себя в жертву... социалистическому реализму». Третьи, вроде Г. Ишрейта (ФРГ), стремятся доказать, что «Тихий Дон» это «не начало советского русского искусства, а последний плод старых традиций», и зачеркивают четвертую книгу романа, так как в ней «очень сильно чувствуется коммунистическая тенденция». Четвертые, подобно профессору Е. Мучник (США), видят в «Тихом Доне» «примитивный эпос», «заземленных героев», «без поэзии и противоречивых страстей», приписывают Шолохову философию прагматизма, суть коей такова: «Как совершать действия, которые не по нутру, как приучать себя к безжалостности, как надо учиться убивать по обязанности и превозносить свои убийства как оправданные». (Но ведь известно, это уже философия империалистов разбойников, а не коммуниста Шолохова!) Не обошли вниманием произведения писателя и маоисты из «Жэньминь жибао», объявив Григория Мелехова бандитом, «Тихий Дон» — «ядовитой травой», Шолохова же — «врагом ленинского принципа партийности в литературе», «врагом Великого Октября».

Мы привели некоторые из высказываний такого рода, чтобы подчеркнуть, что реакция в слепой ненависти к социалистической литературе, к творчеству Шолохова использует любые средства, вплоть до чудовищной лжи; пример тому — попытки Ренстата Ю. Рюле (ФРГ, 1963), Дж. Бэррона (США, 1974) и некоторых других гальванизировать, вернуть к жизни старую, траченную молью сплетню о плагиате, публикуя об этом бредовые измышления.

В свое время троцкисты (1929—1930), почуяв, что Шолохов в третьей книге «Тихого Дона» поставил задачу сказать всю правду о Вешенском восстании 1919 года и разоблачить их злодеяния в «расказачивании Дона», в целях дискредитации писателя пустили в ход клевету о плагиате.

Однако, как известно, еще в марте 1929 года по инициативе редакции газеты «Правда» для выяснения вопроса об авторстве «Тихого Дона» была создана авторитетная комиссия под председательством А. Серафимовича в составе А. Фадеева, В. Ставского, В. Киршона и Л. Авербаха.

М. А. Шолохов привез из Вешенской в Москву и вручил в правлении РАППа этой комиссии автографы рукописей «Донских рассказов», «Лазоревой степи», черновики

«Донщины», а также планы, наброски и все автографы первой, второй и три четверти третьей книги «Тихого Дона»[1].

Весной 1929 года в «Правде» было опубликовано заключение комиссии — письмо в редакцию по этому вопросу, которое авторитетно реабилитировало молодого, тогда еще беспартийного, писателя М. А. Шолохова перед общественностью всей страны.

«...Мелкая клевета эта,— читаем мы в «Правде» от 29 марта 1929 года,— сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже не искушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей.

Пролетарские писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном»,— материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей. Никаких материалов, порочащих работу т. Шолохова, нет и не может быть...

По поручению секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей:
А. Серафимович, Л. Авербах, В. Киршон, А. Фадеев, В. Ставский».

Тогда же А. Серафимович в письме к своему другу литератору П. Е. Безруких высказался по этому вопросу со всей откровенностью.

«Читали ли Вы Шолохова «Тихий Дон»? — писал А. Серафимович.— Чудная вещь. Успех громадный. Шолохов еще мальчуган — лет 25—26. Талант огромный, яркий, с своим лицом. Нашлись завистники — стали кричать, что он у кого-то украл рукопись. Эта подлая клеветническая сплетня поползла буквально по всему Союзу. Вот ведь псы!» [2]

Действительно, иного тут и не скажешь!

■ ■ ■

Прошло уже почти полвека, как вышли в свет первые книги романа «Тихий Дон». В мае нынешнего года народы Советского Союза, всего социалистического лагеря и прогрессивная общественность мира отмечают знаменательную дату — 70-летие писателя, академика, лауреата Ленинской премии, Нобелевской премии, Героя Социалистического Труда Михаила Александровича Шолохова.

Новаторство Шолохова в стиле, проблематике, в изображении пластов народной жизни на исторических поворотах, очарование его редкого таланта-самородка, самобытно сверкнувшего уже в ранних рассказах и достигшего вершин мировой классики в «Тихом Доне», «Поднятой целине» и «Судьбе человека», его чувство боли народной и открытие человечеству душевных богатств великого русского народа, преображающего мир под водительством партии Ленина,— все это давно и заслуженно снискало у миллионов читателей планеты безграничную любовь к писателю-юбиляру.

Борьба вокруг творчества М. А. Шолохова за правду века продолжается на всех континентах. И книги его как знамя и оружие социалистического гуманизма по-прежнему находятся на переднем крае.

◆

[1] Благо тогда они были в сохранности. Но, как известно, осенью 1941 года М. А. Шолохов (сложив в цинковый ящик автографы «Тихого Дона», первой книги «Поднятой целины», черновой вариант второй книги, письма и телеграммы Сталина, диплом лауреата Сталинской премии, уникальные зарубежные издания своих произведений) сдал все это под замком на хранение Вешенскому районному отделу НКВД, а сам уехал на фронт.

Летом 1942 года при прорыве фашистской армии к Дону и станице Вешенской ящик с шолоховским архивом был в суматохе эвакуации потерян. И поутру комбриг-танкист и наши бойцы, державшие оборону Вешенской, обнаружили на улице станицы более сотни страниц автографов из третьей и четвертой книг «Тихого Дона», которые были собраны, сохранены и после войны переданы М. А. Шолохову.

Летом 1968 года Михаил Александрович передал эти бесценные страницы на хранение мне как заведующему Шолоховским фондом.

В конце 1968 года по указанию М. А. Шолохова я отправил две страницы автографа (1-я и 2-я стр. первой главы шестой части третьей книги) «Тихого Дона» в дар фонду Нобелевских лауреатов в Королевскую библиотеку Швеции. Все остальное — 134 страницы автографов и 109 страниц машинописных, правленных рукой Шолохова, в настоящее время хранится в сейфе Госбанка. Вскоре они будут опубликованы с научным комментарием.

[2] А. Серафимович. Собр. соч., т. VII. Москва, ГИХЛ, 1960, стр. 550.

Критика

Г. ИЛЬИНА

«ЧТИШЬ, ПОЭТ, СВОЙ ДОЛГ?»

Так называлось стихотворение, появившееся в нелегальной печати Югославии 6 сентября 1941 года. Под ним стояла подпись: Антон Песник (по-словенски «песник» означает поэт). Вся Словения знала, что под этим именем скрывается Отон Жупанчич[1], член Словенской Академии наук и искусств, крупнейший словенский поэт. Над поэтом, родные которого участвовали в народно-освободительном движении висела постоянная угроза ареста, но Жупанчич не мог стоять в стороне. Он открыто выражал свою солидарность с борющимся народом. Жупанчич был тогда не одинок. На его вопрос: «Чтишь, поэт, свой долг?» — утвердительно ответить мог не только он сам. Мишко Кранец — подпольщик, один из организаторов освободительного движения в Словении; Михаило Лалич испытал ужасы гестаповского застенка, концлагеря, совершил побег. Оскар Давичо, Радован Зогович, Векослав Калеб, Бранко Чопич, Славко Яневский — эти и многие другие югославские писатели встали в ряды борцов Народно-освободительной армии.

В Югославии, пожалуй, трудно назвать крупного писателя, который бы так или иначе не затрагивал в своем творчестве темы антифашистского Сопротивления. Но естественно, что больше всего стала дорога она тем, кто принимал непосредственное участие во второй мировой войне, на собственном опыте познал горечь поражений, трагедию гибели близких и товарищей по оружию, познал подлинную цену победы. В мирные дни свой долг перед народом, долг писателя и гражданина, они видели в правдивом изображении пережитого их соотечественниками, которые в ходе народно-освободительной борьбы совершили социалистическую революцию.

В 1974 году в Югославии почетные литературные премии были присуждены роману «Водоворот», рассказывающему о днях антифашистского Сопротивления. Автор этой книги Юре Франичевич-Плочар — в прошлом боец, комиссар, командир, член Комитета Народного освобождения Далмации. Он один из тех писателей современной Югославии, для которых народно-освободительная борьба стала главной темой творчества.

Обращение к опыту военных лет связано для югославских писателей со стремлением художественно воссоздать конкретно-историческую обстановку тех лет, выявить истоки народной победы, ее общественные и психологические причины. В то же время внимание к этой важнейшей вехе в истории народов Югославии было продиктовано и потребностью разобраться в вопросах социального и этического порядка, мысленно соотнести недавнее прошлое с настоящим, принять участие в развернувшемся в мировой литературе споре о природе человека, о его взаимоотношении с историей, о свободе и необходимости, добре и зле, гуманизме, совести. Суровая обстановка времени войны изобиловала сложнейшими политическими, нравственными и психологическими коллизиями. Она и стала предметом пристального внимания, объектом художественного исследования писателей всех

[1] Стихотворение О. Жупанчича в переводе А. Суркова вошло в сборник «На марше. Народно-освободительная поэзия Югославии 1941—1945 годов». Москва, «Художественная литература», 1969.

национальных литератур Югославии. Естественно, каждый находил свой ключ к этому времени, выбирал свой ракурс его освещения, свой индивидуальный поворот. Изменения вносило и время, общее движение общественной мысли и литературы: акценты перемещались с одних слоев художественного освоения действительности на другие, выделялись разные проблемы, различна была степень их разработки. Но на всех стадиях этическая обобщенность постановки проблем югославскими писателями вытекала из конкретного, иногда подчеркнуто детализированного и строго документированного изображения нравственной атмосферы и реальной обстановки тех лет. Уроки военной поры, ее конфликты не могли стать для них только моделью абстрактных поисков меры добра и зла.

«Наше дело жить и продолжать их дело»,— скажет герой романа М. Лалича «Облава» (1960) [1], имея в виду погибших за свободу родины. Но чтобы продолжать их дело, надо знать, за что они боролись, и помнить об этом. В то же время литература об антифашистской борьбе не заняла бы такого места в современной жизни, если бы она ограничила себя только лишь свидетельством о времени войны. Период собирания фактов, их фиксации и первого эстетического осмысления был необходим как плацдарм, с которого началось восхождение к вершинам художественного освоения этой темы.

И оно началось уже в 50-е годы, не случайно рассматриваемые югославской критикой как годы стремительного развития романного жанра почти во всех национальных литературах Югославии. Книги о народно-освободительном движении занимали тогда ведущее место, являя многообразие художественных форм и индивидуальных творческих манер. Роман Б. Чопича «Прорыв» (1952), трилогия Франичевича-Плочара «Немой колокол» (1956), «Трещины» (1957), «Бей в набат» (1961), несколько позже появившееся произведение М. Кранъца «К светлым горизонтам» (1960—1963) — многоплановые эпические полотна. Сербский, хорватский и словенский писатели, исследуя социально-психологические корни народно-освободительного движения, отразили всенародный размах антифашистского Сопротивления, происшедшую в сознании людей революцию, их быстрое классовое возмужание. Повышенный интерес к событию в его непосредственной исторической конкретности был свойствен тогда литературе. Она не только рассказывала, она свидетельствовала, раскрывая характер в действии, отражая участие героя в происходящем. На этом пути были достигнуты несомненные успехи в показе массового характера освободительного движения, а также в создании истинно народных характеров: Николетина Бурсач («Случаи из жизни Николетины Бурсача» Чопича), Грише (названная трилогия Франичевича-Плочара), Тадия Чемеркич («Свадьба» Лалича).

[1] Рецензии на книги М. Лалича «Свадьба», «Облава», «Военное счастье» опубликованы в «ИЛ» № 5, 1965, № 3, 1971, № 10, 1974.

Вместе с тем уже в те годы, собственно, почти параллельно, в литературе, в том числе и в названных произведениях, шел процесс все большего углубления в психологию отдельного человека или группы людей. Примером могут служить такие хорошо известные советскому читателю произведения, как романтически приподнятая повесть В. Калеба «Прелесть пыли» (1955) [1] и своеобразный роман-притча Ц. Космача «Баллада о трубе и облаке» (1957) [2], психологически заостренный роман М. Лалича «Лелейская гора» (1957, вторая редакция — 1963). Не отступая от восприятия поведения личности как социально обусловленного, писатели стали явно тяготеть к освещению проблем нравственных, что позволило им более широко поставить проблему личной ответственности человека. Здесь, в самом выделении этого вопроса, в выборе «крайней ситуации», требующей от человека наибольшего напряжения физических и душевных сил, особенно четко проступает отличие их позиции от концепции экзистенциализма.

Эти общие для прозы изменения отчетливо проступают и в романе Франичевича-Плочара «Мир» (1971). Сюжет его в чем-то напоминает рассказ Б. Лавренева «Сорок первый». Молодая партизанка Мария ведет в штаб добровольно сдавшегося в плен поручика домобранской армии[3] Карло Цвиича. Партизаны надеются обменять его, сына одного из главарей хорватских фашистов, на своих попавших к врагу товарищей. Путь пролегает через горы Далмации. Идет нескончаемый дождь. Измученная бессонницей, огромным нервным напряжением, девушка заболевает. Воспользовавшись этим поручик отнимает у нее оружие и бежит. Однако, не зная дороги, он возвращается к шалашу, где оставил Марию, и врет ей, что вернулся из-за нее. Партизанка умирает.

Писатель намеренно сузил рамки действия. На переднем плане — двое: убежденная комсомолка, боец народной армии, наивная и добрая, но непреклонная к врагу, и слабовольный офицер, мечтающий убежать в Загреб и переждать там под крылом любовницы все военные грозы. В отличие от рассказа Лавренева между героями не возникает обоюдной симпатии. В глазах Карло девушка прежде всего фанатичка, со своим револьвером в озябших руках она лишь помеха на пути в Загреб. Марию многое роднит с лавреневской Марюткой—отвага и поэтичность, наивная прямота суждений и любовь к поэзии, суровая ненависть к «господам», «подлецам» и «выродкам», женская незащищенность. Психологическое противостояние героев опирается на противостояние идеологическое. Но появляется третья сила в лице фашиста Гаврича. Снявший сутану священник, Гаврич выступает в романе как символ зла — зла, однако, имеющего четкую социальную окраску. По собствен-

[1] Рецензия на эту повесть была опубликована в «ИЛ» № 7 за 1956 г.

[2] Опубликован в «ИЛ» № 2, 3 за 1970 г.

[3] Армия марионеточного «Независимого государства Хорватия», созданного оккупантами.

ному признанию, он «выстрелил бы и в бога, если бы тот встал на его пути». Пытаясь унизить Цвиича, Гаврич предлагает поручику жизнь за выстрел в мертвую девушку. Вот тут-то и выявилось, что общение с Марией не прошло для Карло бесследно. Этого выстрела он сделать не может. Душевная чистота девушки, ее благородство и человечность исподволь оказали свое воздействие на поручика. Идти с людьми типа Гаврича и его собственного отца он больше не может. Для Карло создалась именно та самая «крайняя ситуация», когда от его решения зависело, останется ли он человеком в собственных глазах. Он понимал: сделай он выстрел, и этот выстрел будет преследовать его всю жизнь.

Роман Франичевича-Плочара примыкает к тому направлению в югославских литературах, которое в центр повествования ставит интерес к «состоянию души», выявлению внутренней жизни личности, без проникновения в которую трудно понять подлинную природу героизма и трусости, человечности и жестокости, верности и предательства. Эта книга находится в одном ряду с романом О. Давичо «Песня», романами М. Лалича «Лелейская гора» и «Облава», Ц. Космача и С. Яневского, произведениями, сочетающими четко очерченный социально-исторический контекст с обобщенно-этическим раскрытием напряженных психологических коллизий. Во многом это та проблематика, к которой обращаются и писатели-экзистенциалисты. Вот почему некоторые критики Югославии, отвлекаясь от решения поставленных вопросов, оценивают творчество таких, например, писателей, как Лалич, исходя из принципов экзистенциализма. Так, Р. Йованович пишет статью «Об одиночестве в романах Лалича» и называет в ней его романы «симфонией одиночества» [1]. Да, Лалич исследует психологию человека, убеждения, выдержка и душевное мужество которого проходят проверку в суровых условиях, когда только от него самого зависит принятие того или иного решения. Момент выбора предстает в романах этого писателя как кульминационный в нравственном развитии персонажа. Ладо Тайович—герой романа «Лелейская гора»— в ожесточенных спорах с самим собой приходит к выводу, что одиночество для человека — состояние, чуждое его природе, превращающее его в «жалкого безумца, который занимается мучительным самоанализом, бесполезными диспутами и измышлениями». И если экзистенциализм, признавая свободу выбора как проявление индивидуальной свободы личности, отрицает при этом общественный смысл самого деяния, то подвиг партизан в романе Лалича «Облава» рожден прежде всего пониманием долга перед народом. «Нас никто не заставлял разжигать и поддерживать огонь восстания,— говорит один из героев романа.— Мы сами этого хотели, и если бы пришлось снова выбирать, мы снова выбрали бы то же самое. Наверняка бы выбрали, потому что это единственный способ умереть с честью и так, что частица тебя останется и будет жить столько же, сколько живут камни на Свадебном кладбище...»

Это же единство понимания долга общественного и чувства собственного достоинства характерно и для молоденькой девушки — героини романа Франичевича-Плочара «Мир».

В романе «Водоворот» как бы слились две уже подвластные писателю стихии: психологический анализ внутреннего мира личности в период высочайшего напряжения всех человеческих сил тесно спаян с исследованием объективных факторов. Центр тяжести в нем переносится с конфликта между двумя враждующими идеологиями, двумя разными представлениями о чести, достоинстве и справедливости, как это было в «Мире», на сложные психологические коллизии внутри самого народно-освободительного движения. Зависимость между идеологической позицией и характером человека не рассматривается больше как прямая и не требующая своего исследования. Последняя книга Франичевича-Плочара, нам кажется, в чем-то близка той линии в советской военной прозе, которую представляют В. Быков, Г. Бакланов, Ю. Бондарев. Как сказал однажды Быков, он видит свою задачу не в красивом описании необычайных подвигов бесстрашных богатырей, а в «показе нескольких будней войны, маленьких капель в необъятном море борьбы, которое до краев было полно и людской крови, и людских слез». Думается, сходную цель преследовал и хорватский писатель.

Действие романа развертывается зимой 1944 года, в тылу врага. В Далмации оставлен особый батальон Народно-освободительной армии, который должен создать в этом районе видимость действия большого войскового соединения. Гитлеровцам удается обнаружить, что перед ними всего лишь один батальон, и они стягивают силы для его уничтожения. Командир батальона Шимун Банкович принимает решение выходить из окружения и идти на соединение с основными частями народной армии. Содержание романа и составляют эпизоды, рассказывающие о трудном пути бойцов, обессиливших от голода, холода и неравных боев. Эпизоды расположены не только в прямой временной последовательности, но и параллельно во времени, что дает писателю возможность выхватить из общей массы одного или нескольких персонажей, внимательно проследить их ход мыслей, их поведение. Собственно событие при этом играет подчиненную роль. Главным становится исследование психологии героев, их нравственного потенциала. Отряд из десяти человек под командованием гранатометчика Маркето Оштрича оставлен в засаде, чтобы отвлечь внимание противника от основной части батальона и хотя бы на время скрыть от неприятеля его передвижение. Преданный боец, великолепно знающий свою воен-

[1] "Savremenik". Beograd, № 2, 1974, str. 128.

Г. ИЛЬИНА

ную профессию, Маркето оказывается плохим командиром. Во многом по его вине, из-за его заносчивости и самонадеянности погибают почти все доверенные ему люди. Он заслуживает сурового наказания, и лишь его славное боевое прошлое, глубокое осознание своей вины перед погибшими товарищами дает основание командиру батальона, коммунисту с довоенным стажем, заступиться за него. Маркето исключают из партии, но с правом возвращения в нее.

Каждый из эпизодов романа, как и только что рассказанный, раскрывает тот или иной характер в действии и ставит сложные вопросы, требующие немедленного решения. В интересах спасения батальона можно ли отказать в помощи населению, активно поддерживавшему партизан? Заслуживает ли струсивший девятнадцатилетний парень расстрела перед строем или стоит дать ему возможность искупить вину в бою? В суровой военной обстановке испытывались не только характер человека, его воля, но и нравственные принципы. Пережитое в совместной борьбе сделало многих героев романа более чуткими к страданиям людей, более человечными и совестливыми.

Близится конец войны (Далмация была освобождена в декабре 1944 года), и среди бойцов все чаще возникают разговоры о мирной жизни. Командир батальона, Маркето, санитарка Томажина и многие другие мечтают о возвращении к своему прежнему труду крестьянина, рабочего, учителя. Лишь комиссар Звонко откровенно связывает свое участие в народно-освободительном движении с будущей карьерой.

Нам хорошо известен героизм и бескорыстная преданность делу югославских коммунистов, возглавивших антифашистскую борьбу в своей стране,— подтверждение этому мы находим и в полнокровно выписанных персонажах романа. Поэтому Звонко не может восприниматься как типический образ югославского коммуниста периода войны.

Для антифашистской литературы Югославии характерно непременное напоминание о верности памяти погибших, более того, идеалы народно-освободительного движения остаются в ней и по сей день самым строгим критерием в оценке настоящего. Красной нитью проходит эта мысль и через роман Франичевича-Плочара. Заместитель командира батальона Роко говорит, перечисляя погибших в трудном походе: «Мы будем считать их всю жизнь. Я не плачу, но храню их всех в себе». «Некоторые думают, что все это забудется, — размышляет одна из героинь,— а я думаю, что нет. Об этом должны помнить». Старый пастух — партизанский связной — говорит, что если потом, в мирные дни, люди будут возвращаться к местам боев и могилам товарищей, значит он правильно себе представляет будущее.

Как-то А. М. Горький сказал В. Луговскому: «Вы думаете, что единственное жизнеутверждающее чувство есть радость? Жизнеутверждающих чувств много: горе и преодоление горя, страдание и преодоление страдания, преодоление трагедии, преодоление смерти».

В книгах югославских писателей, посвященных народно-освободительному движению, много крови, смертей, страдания. Ведь эта страна потеряла каждого десятого своего жителя — миллион семьсот тысяч человек. Но нравственное возмужание литературных героев, их выстраданная убежденность в необходимости и высочайшем человеческом смысле их борьбы являются основой жизнеутверждающего пафоса этих писателей. Они рассказывают о том, как во имя жизни люди преодолевали горе, страдание и смерть. Это были рядовые люди и рядовые дни антифашистской борьбы.

Критика

М. ЛАНДОР

ДОРОГИ ЮГА

В последние годы жизни Фолкнер не раз возвращался к ключевым фигурам Иокнапатофы,—всю ее, создававшуюся десятилетиями, живо обсуждали тогда в литературных столицах и провинциях Старого и Нового Света. И о Лине Гроув, чья история открывает «Свет в августе», он говорил особенно любовно: с нею были связаны и неразрушимые ценности, и жизненный ритм, придавшие долгое дыхание его работе эпика. С нею связано и само фолкнеровское понимание искусства как остановленного движения: момент жизни закреплен в слове, чтобы остаться живым, движущимся для поколений.

Теперь роман Фолкнера вошел в русскую культуру: в переводе Виктора Голышева он напечатан в трех номерах «Нового мира» (№ 7—9, 1974). Он заставит по-новому задуматься о прозе Фолкнера как целом, о его герое и всей его вселенной. И у читателей «Иностранной литературы», многих из них, он не может не вызвать встречную мысль. Ведь на страницах журнала впервые выступили у нас вызывающе гордый Абнер из рассказа о поджоге сараев, и Минк из «Особняка», преследующий свою цель вопреки всем препонам и провалам времени. На страницах журнала появились и «Осквернитель праха», и «Реквием по монахине» в инсценировке Камю: две столь разные вещи, единые в классическом подходе к местному и беспощадности моральных интонаций, прошибающих моральную глухоту. Наконец, здесь появился самый дерзостный роман художника — «Шум и ярость»[1], и в нем Дилси, прожившая свой век милосердия в обреченном доме былых аристократов Юга: и она на свой лад для Фолкнера героиня — эмблема всей его Иокнапатофы, как и Лина Гроув.

Перевод Виктора Голышева внутренне свободен и точен,— за этим, конечно, долгая история «русского Фолкнера». Ведь поныне живой перевод одного из самых известных его рассказов — «Когда наступает ночь», выполненный Ольгой Холмской в 1934 году, был напечатан в антологии «Американская новелла XX века». А разветвленная фраза и захватывающий десятилетия период Фолкнера-романиста впервые были воссозданы по-русски Ритой Райт-Ковалевой в ее версии «Особняка» (1961). К нашему времени есть—наряду с небрежными или удавшимися не до конца — немало мастерских переводов, и читатели успели уже привыкнуть к обычной для Фолкнера чересполосице времен и стилей. Но чтобы появилась русская версия «Света в августе», надо было преодолеть особые трудности. В этом романе — срезы национального сознания и подсознания, которым поражались в самых разных странах. И в нем, вбирающем разные стили мысли, свой секрет стилевого единства. Во всем тексте слово и история Лины остаются фолкнеровским камертоном простоты и свободного дыхания.

В самом начале книги она сидит у дороги, по которой поднимается повозка; за плечами у Лины много «рыжих миль». Молодая женщина с захолустной лесопилки, из «недодеревеньки» в Алабаме, где ее брат, как почти все, режет сосну, отправляется искать возлюбленного, отца своего будущего ребенка, без малейшего сомнения, что найдет его; отправляется с узелком и веером из пальмовых листьев да братниными башмаками в руках. И Фолкнер сразу выводит этот ее путь по жаре, в «неведомо чьих повозках», если не пешком, за пределы текущего и повседневного: за путем Лины, в ритме мерного и ленивого шага мулов, давно завершенный и закрепленный в искусстве путь поколений — «вечное движение без продвижения на боку греческой вазы».

Лина въезжает в Иокнапатофу,— она слышала, что ее «Лукас Берч» теперь работает

[1] Упомянутые произведения Фолкнера печатались в следующих номерах «Иностранной литературы»: № 8, 1958; № 9—12, 1961; № 1, 2, 1968; № 9, 1970; № 1, 2, 1973.

в Джефферсоне, на строгальной фабрике. Бесхитростная история, которую она рассказывает снова и снова, и благожелательные вопросы и переспросы встречных, оживающие в ее сознании,— все это возникает в романе как повторы фольклора: местное и обычное на наших глазах входит в молву, легенду. Дорога для Лины полна «безымянных добрых лиц». Однако эти отзывчивые фермеры, тугодумы и острословы, не сомневаются: бедняжку надули, что же до ее «Лукаса» — то ищи ветра в поле. А Лина — подлинно фолкнеровская героиня — безмятежна и спокойна: она не может не идти, куда идет, и не найти того, кого ищет. Острый юмористический эпизод с продубленной жизнью фермершей открывает, конечно, как наивна Лина, если сбежавший «Лукас» для нее — воплощенное молодое веселье. Но открывает в ее взгляде и разговоре, в ее стойкой расположенности к людям и мудрость поколений, непреложную для той же доброй фермерши, с ее грубоватым и соленым словцом.

Взгляд Лины будто поверх тягостного и грязного и ее слово, порою невпопад, поэтически выделены в романе. При въезде в Джефферсон возница показывает ей на пожар, а она совсем о другом: «Ну и ну. Носит же человека по свету». Пожар и простор: Фолкнеру важно, чтобы за первой реальностью для читателя не пропадала вторая. Путь Лины на свой лад вводит в еще не завершенную историю Кристмаса — едва ли не самого крупного и сложного из фолкнеровских поджигателей. Она снялась с места там, где сводят леса, а сейчас перед нею пожар в районе негритянской бедноты и «истощенных замаенных полей»: рядом человечески высокое, воспитанное землей, и злосчастный удел самой земли в историческом времени, описываемом Фолкнером.

Желтый столб дыма над бывшим плантаторским домом, откуда выносят тело его хозяйки, мисс Берден, с почти отрезанной головой: в Джефферсоне это запомнят на годы и годы. И Кристмас, как будто приживщийся в бывшей негритянской лачуге у ее дома (о чем мало кто знал), после убийства и поджога надолго заинтересовал город: перебирается все, что известно о нем,— и знакомство с ним читателя начинается с появления этого чужака с пергаментным лицом на строгальной фабрике. Он появляется в городской одежде, хотя без гроша и бутерброда на обед; полный презрения к работягам в комбинезонах, хотя тем имя новичка, Джо Кристмас (Рождество), кажется едва ли подходящим белому, да и вообще человеку. Перед нами проходят, как на экране, его дни и часы накануне убийства,— памятные эпизоды из всех его 33 лет, до этого критического периода жизни, наконец, дни погони и его последний час. Джо, со своей столь необычной судьбой, входит в легенду Иокнапатофы,— и в то же время город и моральные представители автора по ходу романа стремятся понять его.

Судьба Джо проглядывает уже в его перемещениях по округу. Из своей хибарки на отшибе он протоптал по лесу тропинку на фабрику. Столь же скрыто от посторонних глаз то, как он доставляет издалека запретное виски,— расхаживая вечерами франтом, не думающим узнавать фабричных, по центральной площади. В канун убийства, августовской ночью он выходит из хибарки на дорогу и — голый, в бурьяне — попадает в свет фар: перед визжащей белой дамочкой он держится презрительным африканцем. И когда снова спускается ночь, пройдя по негритянскому кварталу, мимо черных лачуг с тусклым светом керосиновых ламп, он слышит обращенное уже к нему, привычное: «Белый человек», «начальник». Джо до конца остается бездомным, каким увидел его Джефферсон.

Фолкнеровские «взгляды назад» — в пору детства и возмужания Джо — складываются в своеобразный «роман воспитания» XX века. Столкновения с жизнью, ранящей, гнетущей, шибающей в нос, тут мало напоминают Смоллета (одного из фолкнеровских любимцев). Перед Джо, по преимуществу, ухмылка жизни,— и весь его рост идет гротескно мимо жизни «всех» (что предполагает неподатливость натуры и воспитывает эту неподатливость). В приюте он свыкся с судьбой парии, не ожидая встретить за его стенами иных нравов и правил.

Ночной город виделся ему из приюта: «Высвеченная улицей стальная ограда стояла, как строй изможденных солдат». А когда религиозный фермер Макихерн, решивший его усыновить, показывает кнутом на огонек в сумраке и говорит «дом», молчание и видимая непонятливость мальца вызывают этот авторский комментарий: «Ребенок по-прежнему не отвечал. Он никогда не видел своего дома, поэтому ему нечего было сказать. А чтобы говорить, ничего при этом не сказав, он был еще слишком мал».

«Дом» Макихерна остался для Джо угрюмым и угрожающим. Для живого парня это была сама ложь и мертвечина — под стать хозяину, с невыносимо праведными глазами, с головой, напоминавшей однажды «мраморные ядра на памятниках Гражданской войны». Ярый кальвинист, не ведающий соблазнов, как и сострадания, бьющий Джо на конюшне за невыученный катехизис,— это сама противоположность фолкнеровского героя. Он методичен и бесстрастен и в наказании, одержимости здесь нет и в помине. Фермер и на лошади—желая покарать грешного Джо — странен и неестествен; он не живой и как человек верхом.

Два дома Джо находит себе сам.— чтобы в обоих почувствовать себя потом чужим. Его героини очень разные, но есть нечто родственное ему и в проститутке Бобби, и в старой деве мисс Берден: одна пария, другая всю жизнь брала сторону парий, мужская жесткость у одной в привычке, у другой в крови. И обе эти встречи привносят нечто в мир Джо, заставляя пересмотреть его.

Ресторанчик, где Джо встречает Бобби,— в предместье, среди убогих домишек, там люди, «вчера приехавшие ниоткуда, завтра уезжающие невесть куда». Это серый городской мир,— и в нем деревенщина Джо находит неожиданный отклик; его встрече с Бобби Фолкнер дает разные повороты. У

нее вид человека, вырвавшегося из тьмы и ждущего удара: встретились двое, знающие удары судьбы. И он и она, умудренная, с вечным «надо же!» кажутся «монахами» в часы созерцания; вместе они выделяются, отрешенные от городского убожества, внутренне сосредоточенные и значительные. Но после того как Джо ударил стулом своего приемного отца, появившегося с библейски-мертвыми проклятиями на деревенской танцульке, его самого ждет удар — и от своих. В дело вовлечена полиция, и друзья Бобби — люди подпольного мира, с подпольным виски — по-свойски обходятся с парией, давая ему понять, что он на порядок ниже них. То, о чем Джо обмолвился как-то Бобби: в нем течет негритянская кровь, тут-то и всплывает. И когда он лежит избитый в доме на окраине, в доме, где его ждала Бобби, и в сознании застревают голоса, слова, клички его бывшей среды: то ли это «нигер», то ли «деревенский ублюдок»,— дело доходит до прямых, как недавние удары кулаком, слов, режущих, как бритва: *«Сейчас поглядим черная у него юшка или нет».*

И в другом доме, где он оставался три года, его принимали лишь как будто бы своего. Джоанна Берден [1], которой кричали вдогонку «Негритянская хахальница!», была рада встретить *такого* негра, жившего столько лет среди белых как белый и умеющего подняться над расовой ненавистью. Ей, чьи родные, стремившиеся защитить право негров голосовать, были застрелены полковником Сарторисом, встречается этот необычный негр, вздыхающий: до каких же пор «кровь» будет приводить к убийствам? (Но и признающий вскоре, что отомстил бы, не дал бы полковнику уйти — этому-то его научили общество жестокости и пройденная им «школа воспитания».)

Если Джо и вхож в дом Джоанны, если он и желанный любовник, с которым она наверстывает упущенное для любви время, не зря он селится у дома, в развалюхе, стоящей со времен рабства. И тогда, когда у нее вырывается страстный вопль «Негр! Негр!», и тогда, когда она предлагает ему благородный либеральный вариант: выйти за него замуж, а он возьмет на себя ее дела, став негритянским адвокатом, Кристмас воспринимается ею как человек-стереотип, между нею, белой, и им, черным, остается порядочная дистанция. Ему же, исходившему Юг, нелепо сказать «нигерам», что он сам — «нигер»; для него несносна предусмотрительная заботливость белой филантропки о его будущем; и совершенно невыносимы ее молитвы за него. Он попросту не может примириться с миром, получив такую подачку судьбы: жениться на мисс Берден — значит зачеркнуть тридцать лет жизни, отречься от себя. А поднять руку на добрую мисс, наделенную таким неотвязным чувством вины, и предать огню ее старинный дом — значит свести счеты с миром, тем, где ему, белому с черной кровью, жить оказалось нельзя.

Фолкнер заставляет нас пережить два — столь разных — времени в жизни Джо: до мисс Берден и после убийства и поджога. До — это когда он, избитый, выбрался из дома, покинутого Бобби и прочими, с мертвым огнем лампочек, и вышел на улицу, протянувшуюся на пятнадцать бродяжнических лет: он успел побывать шахтером и зазывалой горного притона, солдатом и дезертиром; и все эти пятнадцать лет остались для него чем-то замкнутым, как отбывание срока: он был внутри *механического* времени. Время после поджога — совсем другое, это воля, но жизнь на бегу никак не вписывается во *время природы.* Бунт против праведности (освящающей жизнь насилия и унижения) ведет Джо к вызывающему пренебрежению ко всем церквам, а вместе с тем — и к богу человечности: жизнь других для него значит мало. Отправляя в небытие праведного истязателя Макихерна в дни юности, он столь же верен своему «я», сколь и много позже, в дни воли, наводя ужас в негритянской церкви, богохульствуя и бездумно отнимая жизнь у того, кто стал ему поперек дороги. И настойчивый вопрос Джо в эти дни воли и бега: «Какой сегодня день?» — определяет грань между ним и неграми, живущими в ладу с природой, по ее календарю. В негритянской церкви он ведет себя как белый буян, и все эти дни показывают, что он выпал из природной жизни.

И в то же время о людях, шарахавшихся от него в эти дни, даже если они давали ему поесть, он говорил себе, что они «брата своего боялись». Кристмаса, настаивал Фолкнер, нельзя причислять к его «злодеям»,— это не садист Лупоглаз из «Святилища». Незадолго до смерти, выступая в Уэст-Пойнте, писатель вернулся к ситуации своего героя: «Для меня Джо Кристмас — одна из самых трагических фигур, какие я мог вообразить, поскольку сам он не знал, кто он,— не знал, негр он на какую-то часть или нет,— и ему не суждено было это узнать». [1] В психологии этого фолкнеровского гордеца своеобразно преломились века унижения и изоляции негров в США; натура сильная, без корней, без принадлежности, Джо в большей мере пария, чем патриархальные негры, и в то же время он — не брат и черным. Как подлинно трагическую фигуру Фолкнер называл Кристмаса рядом с Дилси,— но они, конечно, контрастны по существу. Старая негритянка, с ее стойкой заботой о других «без надежды на награду», представляет мораль всего человечества. А Кристмас, явившийся «ничем» на Юге социальных перегородок и психологических несовместимостей, обречен, по Фолкнеру, жить «вне человеческого рода» — и это предопределяет его гибель.

[1] Сам Фолкнер говорил, что его значащие имена навеяны дошекспировской драматургией, они восходят к традиции моралите и мираклей. Мисс Берден (Burden) — буквально: бремя — несет бремя белого человека, конечно, не в смысле Киплинга, а либералов Севера.

[1] Faulkner at West Point, New York, Random House, 1964, p. 83.

М. ЛАНДОР
ДОРОГИ ЮГА

Характер героя проявляется и перед смертью — во время последнего бегства Кристмаса, уже арестанта, в наручниках.

Джо бежит в дом Хайтауэра, священника-изгоя,— это последний порыв к спасению, и в то же время оно уже невозможно. Это еще один, под занавес, бунт против праведности — Хайтауэр узнал тяжесть рук беглеца, они опускаются на его голову — «сверкнув огнем, как перуны в руках разъяренного мстительного бога». И это горькая насмешка судьбы — линчевать вечно бездомного должны именно в доме священника. А встретить своих преследователей Джо должен, повернувшись к ним лицом,— «он не сдался, не оказал сопротивления». Перед мурлом преследователя — лицо человека, у которого было с рождения отнято право жить в обществе, оставаясь собой, сосредоточенное, задумчиво-отрешенное. Таково оно в последнюю минуту — как и там, после всех ударов в доме Бобби; Джо на полу, с бездонным взглядом страдальца, парии, это вновь возникающий здесь очеловеченный образ героя.

Такой герой, без имени и принадлежности, вечно между белым и негритянским миром, помог *особенно* резко показать в романе облик расистского Юга. То-то и бесит добропорядочных южан, что он вел себя «ни как нигер, ни как белый». Три фигуры, зловеще освещенные этой погоней и травлей, кажутся поразительно живыми и десятилетия спустя.

Конечно, это дед Кристмаса — «дядя Хайнс». Бедняк, живущий рядом с неграми и неистово проповедующий им, в их церквах, «превосходство белой расы». Существо землистое, словно иной породы, поднявшееся откуда-то из грязи захолустья,— весь пыл этого самозваного проповедника, вернее шамана из глуши, бессвязно и исступленно изрекающего нечто на языке Ветхого Завета, обращен против негров. Для него нет родства с внуком, если дочь родила его — пусть говорят, что от циркача-мексиканца, но он-то знает: в том была негритянская кровь. И дядя Хайнс подбрасывает малыша в приют — и, став там сторожем, неусыпно следит за этим «нигером», источником скверны. А спустя годы требует, чтобы толпа учинила самосуд над его внуком. Ш. Андерсон не зря говорил в 30-е годы, что Фолкнер «действительно добирается» до застойного Юга, с тупой силой его белого захолустья, замешанной на бедности и Библии. А писатели 60-х находили, что сегодняшний Юг не понять без таких фигур, как дядя Хайнс.

Совсем в другом роде бывший напарник Кристмаса по подпольной торговле виски — «Браун». Это человеческая пыль фабричной страны; Фолкнеру, с его острым чувством традиции, удается резко схватывать таких юрких людей индустриальной поры, без всякой традиции, легко меняющих и место, и промысел, и имя. Покинувший Лину «Лукас Берч» выныривает на строгальной фабрике как «Браун», смазливый и смешливый, сыплющий словами паяц, балагур, ставший бутлеггером. Это он огорошивает всех, начиная с шерифа, сообщив, что Кристмас — «нигер»; и боико-ироническая фраза, которой он отводит подозрение от себя, топя напарника: «Обвините белого, а нигера — на волю», повторяется в романе как рефрен преследования. Своим рвением в травле Джо (за поимку которого объявлена премия в 1000 долларов) «Браун» комически превосходит ищеек.

И, наконец, Перси Гримм. Молодой человек, не успевший попасть на мировую войну, но преклоняющийся перед физической храбростью и желающий доказать превосходство белой расы в мирное время. Это он устраивает самосуд над Кристмасом, и в последней погоне есть нечто комически жуткое: Перси катит за беглецом на отобранном по дороге велосипеде,— он велит дать сигнал пожарной тревоги, будоража город. И он храбро расправляется с Кристмасом — не сопротивляющимся, лежащим на полу: «Теперь ты даже в аду не будешь приставать к белым женщинам!» — это расхожее словцо расиста, мясницким ножом оскопившего умирающего.

Известно, что Фолкнер печатал эту главу романа как отдельную новеллу,— она у нас переводилась. В 1957-м его спросили об этом типе в связи с ситуацией на Юге, с мрачной активностью советов белых граждан. Он тоже находил, что в этих советах хватает Перси, он был уверен, что этот тип встречается не только на Юге. «Я писал ту книгу в 1932-м, до того, как я услышал о гитлеровских штурмовиках, он был именно нацистским штурмовиком, но я тогда еще о них не слышал...»[1] Эти слова заставляют задуматься над антифашистским контекстом, в который история вписала этот роман о Юге.

В 1935 году в Германии появился его перевод. В третьем рейхе были под запретом Драйзер и Хемингуэй; цензоры объявляли «разлагающими» романы Дос Пассоса (в особенности «нежелательной» считалась его антивоенная книга «Три солдата»). В разрешенном же романе Фолкнера они усмотрели, по-видимому, книгу почвенника о Юге. Хотя весь Юг тут явно и мучительно близок рейху расовой ненависти и глумления над неарийцами, хотя Фолкнер открывал и европейцам расовую напряженность внутри самого малого сообщества, ажиотаж травли, «отеческую» бесцеремонность властей. Известно, что «Свет в августе» сразу привлек немецких читателей, и Фолкнер, более чем другие американцы, участвовал в духовном формировании немецких прозаиков-антифашистов послевоенного поколения. Недаром говаривал этот уроженец Миссисипи, имея в виду Перси Гримма, что «создал нациста» еще до Гитлера.

И в фашистской Италии Фолкнер пробуждал «жажду справедливости». Это слова Элио Витторини — видного писателя Сопротивления и страстного приверженца американской прозы. Еще в 1937-м, передавая впечатление от фолкнеровской прозы, он сравнил ее с криком пораженного ребенка в ночи и находил, что «Свет в августе» среди его романов — это «самый ужасающий и

[1] Faulkner in the University. New York, Vicitage Books, 1965, p. 41.

прекрасный крик...». А в 1950-м, после присуждения Фолкнеру Нобелевской премии, имея в виду весь его путь и все его книги, до недавнего «Осквернителя праха», Витторини говорил о высоких нотах надежды, в которые переходит у Фолкнера горестный вопль отчаяния: «трубы звучат перед Иерихоном», даже если мы и не можем ожидать, что стены крепости рухнут у нас на глазах.

Как видим, современность этой книги 1932 года ощущалась еще в 30-е, далеко за пределами Америки,— и в Америке же ее заставили ощутить по-новому события на Юге, в 50-е и 60-е. У романа такой исторической судьбы было и свое историческое измерение.

Джоанна Берден рассказывает Кристмасу о дороге, которая привела сюда ее род — пуритан Новой Англии. На странице-другой романа возникает одна из самых ярких его фигур. Это дед Калвин, из неоседлых янки, мальчишкой проплывший вокруг мыса Горн в Калифорнию; сын священника, наставляющий собственного сына, хватив неразбавленного виски, что два ненавистных зла — это «ад и рабовладельцы»; он погиб в Джефферсоне, от руки недавнего рабовладельца Сарториса, вместе с внуком Калвином. Здесь, под кедрами, его могила, и Джоанна слышит от отца, что проклятие белой расы на каждом и на ней, хоть она и ребенок,— и именно оно убило ее деда и брата.

К другой дороге всю жизнь приковано воображение бунтующего священника Хайтауэра. Для него легендарен его дед, совершивший головокружительно опасный рейд в тыл северян: об этом безрассудно юношеском рейде будущему пастырю рассказывала няня-негритянка, и гром копыт слышался в его проповедях. А ныне ухо Хайтауэра-отшельника, узнавшего позор и травлю, улавливает этот гром, когда до его тихого сада доносится церковная музыка. В сложной истории пастыря героическая легенда оттеняет бессилие гуманного порыва. «Несчастное человечество»,— вырывается у преподобного, узнавшего, что в Кристмасе негритянская кровь (ибо равновесие нарушено, и насилие неостановимо). Но он же отчаянно уверяет, что Кристмас был у него в ночь убийства,— и отчаянно взывает к преследователям: «Люди! Люди!» — пока Гримм его не отшвыривает. История Хайтауэра, как и рода Берденов, помогает читателю воспринять всю картину Юга как движущуюся, прошлое не дает воспринять настоящее, с его страданием без меры и трагикомедией без конца, как нечто замкнутое.

Фолкнер принадлежал к писателям, склонным к критической самооценке. Он не забывал, что воспитан маленьким городком, и в годы мировой славы называл себя южанином из сельских мест. Он не раз говорил, что слишком мало знает об идеях. И в начале 30-х с готовностью согласился со своим французским переводчиком, что дух пуританства прежних веков сильно сказался в его романах,— там, где речь идет о любви и смерти. Но если Фолкнер так чувствовал свои духовные границы, «Свет в августе» дает их ощутить читателю меньше, чем другие его книги. Сарторис, расправившийся со стариком и мальчиком, мог прослыть в городе «героем», но здесь это освещено так, что исключает всякую легенду. Провинциал-философ, комментирующий действие, обычен у Фолкнера — но Хайтауэр, не в пример Стивенсу поздних книг, не становится из действующего лица чистым резонером: автор сохраняет по отношению к нему критическую дистанцию, комментируя действием его идеи. Наконец, Новый Свет предстает в романе как земля пуритан — этим определено воспитание, жизненный кодекс, натура не одного героя. Но тем более убедительно роман выводит наружу, из исторического далека, прорывающиеся в XX веке среди видимого процветания и благолепия ненависть и насилие. И это оценили в нем, еще в 30-е годы, молодые французские писатели, настроенные антибуржуазно.

«Свет в августе» давно причислен к фолкнеровским шедеврам — и в то же время не раз вызывал сомнения как роман. В переведенной у нас статье Малькольма Каули, объяснившей американцам всю прозу Фолкнера как целое, говорится, что он, «в сущности, не романист», ибо в каждой его большой вещи «есть композиционные недостатки. В одних, как в романе «Свет в августе», например, соединяется сразу несколько почти самостоятельных тем...»

Мы хотим решительно возразить Каули. И при этом вовсе не будем доказывать, что «Свет в августе» безупречен с точки зрения композиции. Не будем рассматривать и тех особенностей его построения, о которых шла речь в фолкнеровской литературе: так, Ирвинг Хау в своем критическом очерке говорит о сопоставлениях-противопоставлениях героев, сцена за сценой, из которых складывается целостная картина. Нас прежде всего интересует: в каком смысле роман Фолкнера — один из самых влиятельных в нашем веке — представляет собой художественное единство?

Само собой, проза Фолкнера родилась в атмосфере поисков всего американского критического направления (включая новеллу, поэзию) и всего искусства Запада XX века (включая живопись, кино). Не удивительно, что у нас Сергей Эйзенштейн, много размышлявший над методами монтажа и в большой прозе, не мог миновать замечательных американцев XX века, и среди них Фолкнера.

Два пассажа из большой работы Эйзенштейна «Неравнодушная природа» в особенности имеют отношение к тому, в каком смысле нетрадиционный роман Фолкнера един.

Эйзенштейн приводит известные слова Андерсона из «Истории рассказчика»: «Я считал, что нужна не интрига, а форма — вещь гораздо менее уловимая и доступная...» И продолжает: «Со времени Шервуда Андерсона американская литература далеко двинулась вперед по этому пути, во многом предначертанному его рассказами». За этим — острая характеристика «Человече-

---

М. ЛАНДОР
ДОРОГИ ЮГА

ской комедии» Сарояна (любопытно, что сразу — романа и фильма). Такие вещи «кажутся свободно нанизанными друг за другом, независимыми эпизодами — часто без начала и конца; на самом же деле они представляют собой тончайше сплетенную ткань единой тематической картины, которую так же строго сдерживает единая внутренняя система лирических лейтмотивов, как держат в едином напряжении пьесу Скриба или детективный роман — внешние перипетии головокружительной интриги». Здесь, конечно, больше имеется в виду путь американского искусства, чем одна вещь Сарояна. И, переходя от «Человеческой комедии» к Фолкнеру, не забудем его всегдашний интерес к детективам и насыщенность его романов действием. Но тем важнее, что акцент у Фолкнера не на интриге, а на глубинных импульсах, исторических связях и современной атмосфере. А внутренняя система лирических лейтмотивов здесь сложнее и богаче, чем у других американских прозаиков XX века,— так это и в «Свете в августе», романе о смерти и рождении.

Другое интересное место у Эйзенштейна: «...на исходе монументальной литературы высокого реализма XIX века — в XX веке — мы вновь встречаемся с любопытнейшими образцами того, что мы назвали «контрапунктом распада». В качестве примеров он приводит «Антологию Спун-Ривер» Ли Мастерса «или во много раз более сложный строй романов и рассказов Фолкнера». Дальше дается острая характеристика знаменитой поэтической книги надгробий Спун-Ривер, но она прямо касается нашей темы. Вот ее начало: «У Ли Мастерса люди обмениваются не письмами, а... надгробными надписями. Здесь эпистолии заменены эпитафиями! И как это характерно для поэта, созерцающего крушение целого мира иллюзий и представлений, вскормленных этапом капиталистического расцвета Америки вслед за окончанием Гражданской войны, борьбы Юга и Севера!» [1] Построение книги Эйзенштейн связывает с особенностями исторической жизни,— «контрапункт распада», в непривычных и сложных американских вещах, неотделим для него от крушения целого мира иллюзий и представлений. Добавим, что сама художественная структура у Фолкнера, по отношению к миру цепких национальных иллюзий, есть отрицание и вызов.

Очень важна и эта сторона дела: к какому типу романа стремился Фолкнер? Он дал это понять в особенности в ходе одной беседы 1947 года, когда его спросили, был ли написан «Великий Американский Роман».

«Гека Финна» люди будут читать долго. Однако Твен на самом деле ни разу не написал романа. Его проза слишком несвязанна. Признаем, что у романа есть установленные правила. Его же проза — только масса материала, лишь серия событий». И затем, когда писателю напомнили, что и сам он признает минимум ограничений: «Я даю роману себя написать, не устанавливая принудительной длины или стиля». В этой же беседе, высказавшись о построении романа, Фолкнер должен был ответить, романы какой нации были величайшими или лучшими в XIX веке. На этот размашисто-американский вопрос был дан ответ — очень серьезный, при типично фолкнеровской шутливости. «Вероятно, русские — я помню больше русских имен, чем каких-либо еще» [1].

Эта беседа многое проясняет.

«Свет в августе» надо рассматривать как *роман национального опыта,* — конечно, Фолкнер дал ему «себя написать», введя в него «массу материала». Но перед нами мощное целое, и принципы организации материала здесь близки русской традиции. После «Анны Карениной» — одной из любимых книг Фолкнера — трудно не увидеть, что «почти самостоятельные темы» историй Лины, Кристмаса и Хайтауэра представляют с разных сторон момент в жизни страны и Юга, ту связь прошлого с настоящим, которая и открывается в романе через внутреннюю соотнесенность этих историй. После внешне не связанных судеб-историй Анны и Левина, за которыми открывается, хотя и по-разному, одна эпоха, один момент, это можно считать уже «установленным правилом», живым и для романа XX века. Романическая стихия этой книги Фолкнера достаточно близка и «Мертвым душам». Столько мертвого, хватающего живых, накопившегося в национальной жизни, выведено здесь на свет божий, столько агрессивно ископаемого проходит в трагикомедии, особенно в главах о Кристмасе. И как важна для романа гоголевская тема дороги. У дороги роман начинается, рассказом о дороге (в юмористически народном преломлении, как и в эпизоде с доброй фермершей) он завершается. Это «история Лины» прежде всего, говорит Фолкнер. Название романа он связывал с тем светом, что бывает в его местах, в Миссисипи, в особые, «светящиеся» августовские дни, предвещающие зрелую осень,— для него это название ассоциировалось с языческими временами, «более давними, чем наша христианская цивилизация», и с языческой натурой Лины, для которой превыше всего рождение ребенка. И последними словами книги стали ее слова — умиления перед простором и миром: «Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, и уже Теннесси».

На то, что было особенно важно Фолкнеру, при его жизни откликнулся русский поэт — Борис Пастернак. Он сказал в одной беседе: «Свет в августе» — чудесная книга. Образ маленькой беременной женщины не забыть. Когда она идет из Алабамы в Теннесси, в этом как-то схвачена огромность Юга Соединенных Штатов, его суть и передается нам, никогда там не бывшим». И ныне советских читателей этой трагической книги великого американца не может не привлечь в ней поэзия простора — и дороги.

[1] Сергей Эйзенштейн. Избранные произведения в 6 томах; т. 3, стр. 307, 299.

[1] Lion in the Garden. New York, Random House. 1968, p. 56, 58.

Письма из-за рубежа

ЯН ФЕРЕНЧИК

ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ

Ян Ференчик — известный словацкий переводчик русской и советской литературы. Знают его и как теоретика перевода и как издательского работника (многие годы он руководил словацким издательством «Татран», выпускающим художественную литературу и литературу по искусству).

Переводческий труд Я. Ференчика получил высокую оценку чехословацкой критики и литературоведения. В 1973 году он был награжден премией Яна Голлого, которой в Словацкой социалистической республике отмечаются высшие достижения в области художественного перевода.

Редакция «Иностранной литературы» обратилась к Я. Ференчику с просьбой рассказать о своем творческом пути и о роли, которую сыграла русская и советская литература в его жизни и переводческой судьбе.

Когда завершилась война, я заканчивал филологический факультет Братиславского университета по специальности «русский язык и литература». Передо мной открывались самые широкие возможности.

Послевоенная культурная жизнь в Словакии развивалась бурно и стремительно. Творческие силы народа, которые были скованы веками, особенно в мрачный период фашистского гнета, высвободились, и творческая жизнь страны забурлила подобно горным ручьям, переполняющимся под лучами весеннего солнца. Пожалуй, ни одно поколение в истории словацкого народа не получило такой возможности применения своих сил, как поколение молодежи после 1945 года.

Культурный голод был сильнее, чем голод, который утолялся скудными нормами отпускаемых тогда по карточкам продуктов, но источники были бедны и недостаточны, кадры творческих работников немногочисленны.

Интерес к культуре первого в мире социалистического государства, освободителя чехословацого народа, проявлялся во всех областях жизни. Литература, общественное воздействие которой было наиболее сильным, встала перед необходимостью как можно скорее и на должном художественном уровне представить словацкому читателю — прежде всего новому читателю — лучшие произведения советской литературы. Недостаточно развитые переводческие градиции, ограниченные возможности профессионализации и нередко случайный отбор переводимых произведений были характерны для состояния художественного перевода, когда заявило о себе новое поколение, которому теперь пятьдесят,— мое поколение.

После окончания учебы я некоторое время работал ассистентом кафедры русского языка и литературы, занимаясь в основном педагогической деятельностью и созданием специальной библиотеки. Начало было очень трудным: в библиотеке, кроме русских классиков и старых изданий Горького, не было почти ничего. Изучать советскую литературу в таких условиях было очень сложно, нередко нужные книги приходилось доставать частным образом, а учебные тексты для студентов — размножать самим. Кафедра русской литературы еще не была укомплектована, а я, начинающий ассистент, мог предложить студентам лишь свои скромные знания. Но мой

интерес к литературе оказался сильнее всех препятствий и трудностей.

В 1946—1947 годах произошли два события, сказавшие сильное влияние на мое будущее. Во-первых, участие в изучении библиотеки в поместье Бродзяны, до 1945 года принадлежавшего семье графов Фризенгофов; в этом поместье во второй половине прошлого столетия жила сестра жены Пушкина Александра Гончарова, вышедшая замуж за графа Фризенгофа. В библиотеке мы нашли свидетельства того, что Бродзяны посетила жена Пушкина с детьми. Там же мною было обнаружено стихотворение В. А. Жуковского «Мотылек и цветы», вписанное им самим в альбом Н. И. Ивановой-Загряжской, первой жены графа Фризенгофа. Текст его был опубликован в журнале «Словенске погляды».

Вторым событием, сыгравшим огромную роль, было посещение кафедры русского языка и литературы Братиславского университета А. Фадеевым. Его обаяние, ум, принципиальность и человеческое тепло покорили меня, и когда он на прощание подарил мне только что вышедшую в издании «Роман-газеты» «Молодую гвардию», я тотчас же с интересом начал ее читать. Книга поразила меня и своими художественными достоинствами, и своей документальностью, вызвав глубокое восхищение и уважение к автору, к героическому народу, чья борьба и жертвы спасли мир от фашизма. Тогда я еще не знал, что позднее переведу эту книгу и что перевод советской литературы станет делом моей жизни.

О советской литературе я написал в ту пору много заметок, статей и рецензий для газет, журналов, театров, а в 1947 году наше издательство «Правда» предложило мне перевести «Мои университеты» М. Горького. Хотя я уже переводил рассказы для журналов, работа над произведениями Горького представлялась мне трудным и серьезным экзаменом, который должен решить, быть ли мне переводчиком. Можно сказать, что экзамен этот был сдан, но я все же не мог решиться полностью посвятить себя переводу, поэтому, когда издательство «Правда» обратилось ко мне с просьбой перевести «Молодую гвардию» А. Фадеева или «Отцы и дети» Тургенева, я испугался сложности и особой ответственности первой задачи и выбрал роман Тургенева. Этот перевод был отмечен Почетной грамотой Художественного и научного совета, ставшей моей первой наградой переводчика. Но «Молодая гвардия» все же дождалась меня: после двух удачных переводов смелость моя возросла, а издательство в это время вновь предложило мне перевести «Молодую гвардию». Наконец-то с трепетом и уважением взял я в руки подаренную Фадеевым книгу и принялся за работу. Тогда же я окончательно отказался от работы в университете и в конце 1949 года стал редактором переводов советской литературы в издательстве «Правда».

Много лет прошло с тех пор и многое изменилось — и во мне, и вокруг меня,— но и поныне я верен двум привязанностям: переводу и издательской работе, этому я посвятил все свои силы и все творческие устремления. Конечно, я не стоял в стороне от острых и актуальных споров по вопросам перевода, развития литературного словацкого языка и культурно-политических и издательских проблем. В центре моих интересов, однако, оставался перевод советской литературы. С ним была тесно связана и моя издательская работа.

Из года в год росло число сделанных мной переводов. За Фадеевым последовали Горбатов, Крымов, а затем и А. Н. Толстой, Шолохов, Катаев, Казакевич, Симонов и другие. В пятидесятые годы я активно занимался переводом пьес — перевел все 16 пьес Горького, несколько пьес Островского. Позднее этот список пополнили и другие пьесы Островского, а также драматургия Л. Толстого, Чехова, Маяковского и инсценировка Н. Охлопкова по роману Горького «Мать» — всего около 30 пьес. Переводы русских классиков — прозы Пушкина, произведений Достоевского, Добролюбова — чередовались с переводами советских авторов.

Особое удовлетворение приносили мне переводы юмористической и сатирической литературы. Работа над ними увлекала меня: со страстью любителя кроссвордов искал я самые подходящие выражения и обороты, а найдя их, радовался этому как победе в борьбе за улыбку человека. Так были переведены «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Рассказы» Зощенко, «Баня» и «Клоп» Маяковского, «Избранное» Козьмы Пруткова.

Чем больше я переводил русскую и советскую литературу, тем сильнее и осознаннее любил ее, восхищался ею. Художественная чистота и завершенность произведений Пушкина, глубина мысли и принципиальность, способность создавать монументальные произведения в малых формах навсегда сделали его властелином моей души. Перевод художественной прозы Пушкина я и по сей день считаю своей самой почетной работой.

Особое место в моей переводческой деятельности занимает Максим Горький, который дорог мне как человек и как художник Я переводил его произведения в основном в пятидесятые годы: вслед за упомянутыми уже «Моими университетами» вышли переводы некоторых его рассказов, «Песни о Буревестнике», «Песни о Соколе».

Трудно даже коротко выразить свое отношение ко всем авторам, которых мне довелось переводить: к большому мастеру и поразительному эпику Шолохову, к рассказчику Катаеву, по-человечески сердечному и увлекательному, к удивительному психологу Казакевичу, к Крымову, Горбатову, Симонову, не говоря уже о классиках, из которых после Пушкина на меня особенно глубокое впечатление произвел Тургенев.

Должен признаться в следующем: становясь старше, я работаю все с большим напряжением и все медленнее. Чувство от-

ветственности перед читателем и автором, а также и повышенная самокритичность человека в «зрелом возрасте» — все это замедляет стук моей пишущей машинки и удлиняет интервалы для оформления мысли в слова и предложения. О только что законченном переводе «Записок охотника» Тургенева я, перефразируя нашего классика Ивана Краско, мог бы сказать, что к каждому слову «кровь моего сердца присохла». Теперь мои переводы более отшлифованы и точны, чем в те годы, когда я был моложе, но (кто знает!), может быть, они менее смелы, менее свежи. Об этом судить другим; для меня же, пожалуй, и для всех моих коллег, вечная проблема перевода — соотношение между его верностью и красотой — остается открытой.

В сегодняшней Словакии условия для переводческой работы неизмеримо благоприятнее, чем в то время, когда я был начинающим переводчиком. Появились десятки молодых квалифицированных специалистов в этой области. Подготовке переводческих кадров уделяется большое внимание в вузах и на специальных курсах и семинарах, которые создает Организация переводчиков при Словацком литературном фонде, учреждены премии и награды за лучшие переводы. В издательствах работают опытные редакторы, есть современные словари, из которых пятитомный «Большой русско-словацкий словарь» является самым большим двуязычным словарем в Словакии.

Переводческая работа носит планомерный и организованный характер, развивается теория и критика перевода. Словацкие теоретики и практики в области перевода успешно выступают на международных форумах.

Возможность обучения в Советском Союзе, живые связи с советскими писателями, переводчиками и литературоведами стали обычным делом, значение которого можем оценить, главным образом, мы, «родившиеся ранее». Словом, простор для творческой работы широк — такие условия может создать лишь социалистическое общество.

Переводческое творчество — важная составная часть национальной литературы, оно стимулирует оригинальную литературу и в то же время выполняет важную общественную миссию посредника, обеспечивая обмен культурными ценностями между народами. Эта роль благородна, и я горд, что своим скромным вкладом также помог приблизить к словацкому читателю огромные ценности, созданные русской и советской литературой.

г. Братислава

Перевод со словацкого
Л. И. ВАСИЛЬЕВОЙ

Культура и современность

Заметки на полях

«ГУТЕНБЕРГОВА ГАЛАКТИКА» СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Прошло вот уже более двух десятков лет, как вышла в свет книга Маршалла Маклюэна «Гутенбергова галактика». Она была сенсационна: канадский профессор, преподаватель литературы впервые со всей остротой поставил вопрос о будущем печатного слова в век новых электронных средств связи.

Попутно Маклюэн возложил на плечи Гутенберга ответственность едва ли не за все институты современной цивилизации, вызвав атомный взрыв дискуссий. Для судеб книги его выводы во всяком случае были неутешительны. Казалось, что новым динамичным «телевизионным» поколениям не будет дела до старого, медлительного и неэкономичного занятия — чтения книг, что больше нет резона усовершенствовать печатное дело, вкладывать средства в новое оборудование, размышлять о месте и назначении книги в общественной жизни.

Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Пока шли дебаты о будущем «гутенберговой галактики», в недрах ее происходили те необратимые общие процессы, которые мы привыкли обозначать именем научно-технической революции.

Один из номеров «Таймс литерари саппламент» посвящен настоящему и будущему печатного дела. Еженедельник как бы подвел итоги десятилетию, прошедшему с прошлого, столь же фундаментального обзора этой проблемы на своих страницах.

На первую полосу вынесена шапка «Вторая революция в печати». Редакция предоставила страницы журнала тем, кто хорошо разбирается в типографском деле.

И вот выяснилось, что за истекшие десять лет

> «произошла революция, которая изменила способы распространения письменного слова более, чем вся послегутенберговская эпоха...
>
> Это — переворот в умах и вкусах создателей и потребителей книг, который изменил привычки, укоренившиеся с гутенберговских времен, и он более всеобъемлющ, чем любой поверхностный проект или преходящий механизм» (Никлас Баркер).

Речь идет, однако ж, именно о техническом преобразовании всех сторон книжного дела под давлением экономики, во-первых, и научно-технической революции, во-вторых.

Джеймс Моран отмечает два направления технического прогресса в книгопечатании: общий, связанный с успехами научно-технической революции в целом — автоматизация, применение компьютеров, электроники и проч., и частный — фотомеханические методы, переход от металла к пластикам и т. д.

«Четыре области должны быть выделены особо,— пишет Баркер,— это производство «бумажных обложек» [1], офсетно-литографская печать, фотонабор и применение компьютеров в самом широком смысле».

Энтони Роу рассказывает о реально существующих уже сегодня типах нового печатного оборудования — «Cameron», «Ink Jet», «Laser» и «OKR», основанных на вышеупомянутых принципах. К примеру, «Cameron» —

«американская машина, требующая вложений в размере 500 000 долларов, обслуживаемая штатом из девяти человек и печатающая 5000 «бумажных обложек» в течение трех часов. Это время включает в себя все — набор, печать и брошюровку. В настоящий момент в Северной Америке действуют девять машин «Cameron», из них последняя печатает одновременно в два цвета.

«Ink Jet» пользуется компьютерной технологией и не нуждается в наборной машине.

«Laser» ускоряет и упрощает фотонабор.

«OKR» — это система, которая может размножать копию оригинала (а затем и оригинал) без посредства набора. Еще семь лет назад это было дорогостоящей фантазией...»

Но и теперь, как свидетельствует еще один автор подборки, Джеймс Уэллс, большинство технических новинок печатного дела пока еще слишком дорого стоит, чтобы найти широкое применение в практике.

Итак, какой станет в будущем книга? Сохранит ли она хоть частично свой прежний богатый наряд или без остатка придет к торжествующему ныне экономичному и рациональному виду «бумажных обложек»? Уцелеет ли высокое искусство ручного переплета? Что означает — на фоне компактного и удобного, «карманного» формата «бумажных обложек» — неожиданный бум крупноформатной книги? Склонится ли книжное дело под влиянием «клубов книголюбов» к принципу «серийности», очевидно сближающему его с журнальным делом, а журнальное дело, в свою очередь, к специализации и превращению журналистики в литературу, сближающими его с делом книжным? Будет ли продолжаться падение интереса к беллетристике [2] и рост интереса к информации? Не нуждается ли беллетристика в новых формах подачи — ну, например, том с дыркой в страницах, сквозь которую можно все время видеть счастливый конец? Каким должно стать искусство книжной графики и — шире — книжное оформление? Стоит ли вообще печатать книгу в привычном, гутенберговском смысле и не лучше ли «воспроизводить» ее без посредства набора?

Эти и многие другие вопросы будоражат умы конструкторов и рабочих-печатников, чья профессия становится анахронизмом, дизайнеров и книгоиздателей.

«Большинство бизнесменов,— пишет Энтони Роу,— ждут каких-нибудь предзнаменований, чтобы внести их в свои пятилетние планы, которые устаревают уже в тот день, когда они печатаются. Любой книгоиздатель мечтает о магическом кристалле, который ответил бы ему хоть на основные вопросы: останется ли книга главным источником информации и развлечения, хотя бы пока он доживет до пенсии? Какой из новых методов книгопечатания окажется более эффективным? Как сделать доходы достаточными, чтобы платить за новое оборудование, цены на которое безостановочно растут?»

Таким образом, после первого «шока телевидения» и призрака немедленной электронной смерти «гутенберговой галактики» последнее десятилетие, вопреки некоторому снижению годового прироста книжной продукции (5% вместо прежних 8%), принесло определенное успокоение за судьбы письменных средств связи. Зато начавшаяся «революция печати» поставила «гутенбергову галактику» перед лицом всех проблем и парадоксов технического прогресса.

И хотя 10, 20 и 30 лет даже в наше быстротекущее время не срок для осуществления апокалипсических видений конца письменной эры человечества, все же сегодня специалисты по печати на Западе склонны скорее отрицательно ответить на вопрос: «Не стало ли слово «читать» всего-навсего набором из шести букв?»

Так озаглавил свой отклик на книгу крупного французского издателя и журналиста Ж.-Л. Серван-Шрайбера «Власть информации» Рой Макмаллен на страницах журнала «Уорлд».

---

[1] Термин «paperback» — книга в бумажной обложке,— ставший на Западе названием целой новой отрасли книгопечатания, означает в действительности не просто переход от более дорогой твердой обложки к более дешевой бумажной и к компактному формату без полей, но и к новой технологии. Если первоначально «бумажные обложки» печатались обычным матричным способом и не брошюровались, как книги в переплете, а просто склеивались (предполагалось, что по прочтении их выбрасывают), то сейчас их печатают по принципу ротации и машина выдает готовую книгу в бумажной обложке.

В дальнейшем я буду употреблять термин «бумажные обложки» именно в этом смысле и слово «переплет» будет означать совсем другую технологическую операцию.

[2] Весьма приблизительный аналог термина «fiction», обозначающего все виды литературы вымысла в противоположность литературе «non-fiction», обнимающей собой не только документальные жанры, но и все виды специальной и научно-популярной литературы, книги по искусству и проч. Сейчас уже в публикуемых списках бестселлеров рядом с колонкой «fiction» обязательно стоит колонка «non-fiction».

«В целом Серван-Шрайбер оптимистичен в отношении печатного слова. Он думает, что чтение, подвергнувшись испытанию «смотрением» и «слушанием», будет в свою очередь стимулировано образованием, более высоким жизненным стандартом и утвердится как форма «высокого развлечения».

Действительно, если поначалу казалось, что в энергичном и шумном окружении электронных средств связи дни медлительного письменного слова сочтены, то по мере того как телефон, кино, радио, магнитофон и телевизор занимали свое место в бюджете времени современного человека, они между тем и освобождали время для чтения. Выяснилось, что слово устное все же не заменяет письменного, как самый совершенный экран не заменил театра.

Еще совсем недавно теоретики и практики с уверенностью предрекали конец театра. Аргументы казались неотразимыми: не говоря уже о тождественности функций обоих видов зрелища в обществе, не говоря о дешевизне кино и его универсальности — налицо был стремительный технический прогресс кино по сравнению с театром, где «deux ex machina» — «бог из машины» был одним из немногих и чуждых элементов механизации.

Но время шло, кино совершенствовалось, появилось телевидение, которое в свою очередь занесло над ним дамоклов меч, а театр на Западе не только не хотел умирать, но переживал своего рода обновление. Он вдруг прорастал в районах прежде нетеатральных, на рабочих окраинах и в студенческих сообществах. Как ящерица, сбрасывая ущемленный хвост, он выходил на улицу, на голые подмостки, отбрасывая, если нужно, все машины вместе с их богами, порождая новые полуимпровизационные формы «хеппенинга», ревниво охраняя свою привилегию — присутствие зрителя при самом акте творчества.

Технический прогресс обгоняет воображение, но воображение, в свою очередь, оказывается прихотливее и упрямее технического прогресса.

Забавно, что похороненная было книга стала восстанавливать свое общественное реноме в разгар энергетического кризиса как единственное средство связи, «не требующее посторонних источников энергии».

Несколько высокомерно прозвучало напоминание одного из защитников книги на страницах журнала «Харперс» Дэниела Бурстина, которому принадлежит и выше приведенное определение, что «подобно тому, как бог дал человеку ноги для ходьбы, а он заменяет их колесами, так сложные, зависящие от энергетических источников электронные средства связи заменили собой простое и естественное средство общения — книгу». Даже и сейчас, когда грамотность и образование в развитых странах практически становятся всеобщими, это выглядело бы аристократической замашкой, если бы автору не служило основанием для сознательно-элитарной утопии будущего книги в век массовых средств связи.

«Мы вдруг открыли для себя, чем книга не является. Она не кино, не радиопередача, не телевизионная программа. Зато у нее есть четыре вновь открытых достоинства, делающих ее незаменимой как для автора, так и для читателя.

Для автора:

1. Книга относится к разряду предметов кустарного производства...[1]

2. В наш век всеобщего согласия, комитетов и конвенций... книга остается островком индивидуализма, утопией несогласных...

Для читателя:

3. Книга — вещь на все времена, притом в двух смыслах. Она доносит до нас сообщение... из любого момента прошлого, и мы можем получить его в любой момент настоящего.

4. Книга — реликтовый предмет, прибежище внерыночности. В нашей странной цивилизации, где хорошее непрерывно заменяется новым, где признаком процветания является возможность выбрасывать еще годное, остается лишь одна отрасль торговли, где сосуществуют модели всех времен и народов...

То, что издатели именуют «революцией бумажных обложек», более точно было бы назвать «воскрешением в бумажных обложках». Бумажные обложки вернули из небытия множество книг — для развлечения, для информации, для потрясения...»

Однако в реальных условиях цивилизации «Лжезамены», как ее называет Бурстин, книга не может оказаться исключением и «революция бумажных обложек», не говоря уж о дальнейших преобразованиях печатного дела, уже сегодня приносит двойственные плоды.

С одной стороны, книга — не какой-нибудь усеченный «дайджест», а культура всех времен и народов в полном ее объеме — впервые становится доступной действительно массовому читателю. Это позитивная сторона дела, значение которой трудно переоценить.

С другой стороны, потребительская психология «не минует и книги, которая если

[1] Буквально: do-it—yourself thing — вещь «сделай сам» — широкое поветрие в странах Запада.

и не подлежит» «Лжезамене», то, как все уникальное, оказывается не только и часто не столько духовной ценностью, сколько ценностью престижной.

Речь идет даже не о том, что «собрания сочинений», серии книг по искусству, философии или модные новинки становятся украшением квартир, где их в действительности не читают,— это бы еще полбеды.

Дело в том, что в условиях буржуазной потребительской цивилизации, в окружении массовых средств связи не только сама книга как вещь, но и ее содержание становятся предметом потребления, зачастую низводясь до привычных масштабов «массовой культуры». Если еще два десятка лет назад спор шел о полноте воспроизведения, о том, чтобы массовый читатель получил, наконец, не урезанного до «дайджеста» Достоевского или Рабле, то сколь часто сегодня усушка и утруска происходят не на уровне издателя, а на уровне полуобразованной широкой публики, вычитывающей из полного Достоевского банальный детектив, из Рабле — голый секс, а из маркиза де Сада — моральную вседозволенность.

По мере того как культура с помощью массовых средств связи становится все более общедоступной, для поборников ее в западном обществе становится все более очевидно, что само по себе приобщение к культуре, как полагали в эпоху Просвещения, еще вовсе ничего не гарантирует. Чистая культура в окружении «массовой культуры» не только не стала самостоятельной этической ценностью, но оказалась подверженной морально-этической девальвации, интеграции ее духовных ценностей потребительской «массовой культурой». Увы, книга «для себя» («предмет кустарного производства» и «утопия несогласных»), превращаясь в «книгу для всех» — в престижный потребительский товар на рынке свободного времени,— часто оказывается вовсе не тем, о чем мечтал автор...

Итак, если даже считать доказанной позицию оптимистов, справедливо утверждающих, что книгу, являющуюся уникальным хранилищем опыта и духовных поисков человечества, заменить ничем нельзя и «гутенбергова галактика», пережив технологические перевороты и потрясения, уцелеет для будущих поколений, то, по-видимому, мало ответить на вопрос, быть ли книге? И даже — какой быть книге? По мере того как книга будет становиться все более доступной, все острее будет вставать вопрос — для чего быть книге? И это главное.

М. ТУРОВСКАЯ

ДВУЯЗЫЧИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Одна из важнейших проблем, стоящих сейчас перед странами «третьего мира»,— возрождение национальной культурной традиции. Для Туниса, Марокко и особенно Алжира это связано с необходимостью обрести во многом утраченный за период колонизации арабский язык. Интересная дискуссия на эту тему прошла на страницах алжирской газеты «Аль-Муджахид».

Корреспондент газеты взял интервью у известного марокканского историка и философа Абдаллы Ларуи — большого знатока национальной и европейской культур. Эрудиция и популярность среди интеллигенции стран Магриба придает его мнению особый вес.

Отвечая на вопрос о его отношении к классической арабской культуре и национальной самобытности, Ларуи сказал:

> «Мне кажется, что понятие национальной самобытности должно быть определено с исторической точки зрения. Мы были надолго отрезаны от нашей классической культуры... В результате она словно отдалилась от нас, потеряв связь с полученным нами новым жизненным опытом... Каким же образом вновь обрести национальную самобытность? Конечно, не посредством механического овладения классической культурой, скажем, переписав и заучив философские сочинения Ибн-Сины. Обрести национальную самобытность — это, по-моему, прежде всего создать культуру, отражающую современную жизнь. Однако для этого необходим новый язык, новая идеология, новая как философская, так и литературная терминология. Я отнюдь не отказываюсь от классического наследия. Однако пока оно лишь символ национальной культурной самобытности, к которой мы стремимся и которую можем воссоздать лишь с помощью современных понятий и представлений».

Подобная задача, по словам Ларуи, требует обновления арабского языка — лишь тогда он сможет служить эффективным средством преобразования действительности. Арабизация? Да. Но сначала надо знать, какой именно арабский язык изучать и как изучать его. Возьмем для примера арабское письмо. Вопрос о его упрощении хоть и был поставлен уже давно, однако не рассматривался с достаточной тщательностью.

«Многие ли задумывались над тем,— пишет Ларуи,— отчего ученик, тратя одинаковое число часов на изучение французского языка и арабского, гораздо легче и быстрее овладевает именно французским языком... Конечно, кое-кто возразит мне, что любые изменения, внесенные в язык, еще более отдаляют нас от того языка, на котором создавали свои произведения наши классики, на котором говорили наши предки; а другими словами: пусть язык остается усложненным, пусть введение подобного языка способствует общей экономической отсталости страны — зато мы останемся верны прошлому, верны заветам наших предков!.. Нет, что касается меня, я считаю необходимым всестороннее преобразование арабского языка. Это первейшая задача наших лингвистов... Правда, следует отметить, что попытки обогатить арабский язык новой терминологией делаются сейчас во многих арабских странах, особенно в Сирии и Египте, однако недостаточно целенаправленно и не на должном научном уровне... Повторяю, на каком бы языке мы ни говорили и ни писали (будь то французский или арабский), написанное и сказанное нами должно отражать современную национальную действительность, а не особенности жизни французского современного общества,— точно так же, как и не особенности жизни Багдада в IV веке» [1].

Ответы марокканского ученого по сути представляют завершенную программу того, что он называет «обретением национальной культурной специфики», и ее более конкретного выражения — арабизации. Причем программу, единственным недостатком которой нам представляется ее подчеркнуто идеальный характер. Преобразование арабского языка, его упрощение и модернизация — над этой задачей, по заявлению самого Ларуи, уже давно трудятся лингвисты во многих арабских странах, и отсутствие достаточно ощутимых результатов кажется нам следствием особой сложности стоящей перед ними задачи: ведь речь идет не только о том, чтобы преобразовать язык в рамках одной страны, но и унифицировать этот язык совместными усилиями, выработать его «межарабский» вариант (если это в настоящее время вообще возможно).

Сложнее всего дело обстоит в странах Магриба, особенно в Алжире, так как в первые годы после завоевания независимости там почти полностью отсутствовали национальные кадры языковедов и пришлось прибегать к помощи других арабских стран, их лингвистов и преподавателей, подчас имеющих слабое представление о специфике страны, в которой им предстояло восстанавливать культурную арабскую традицию.

Идеальная программа освоения арабского языка и арабского культурного наследия, предложенная Абдаллой Ларуи, требует для своего воплощения многие годы. Она хороша как абсолют, к которому необходимо стремиться, как эталон, помогающий ориентироваться в преодолении отдельных промахов и ошибок. Однако своевременность проведения арабизации в Алжире очевидна: освободившийся от колониальной зависимости народ должен был вернуться к своему прежнему языку, развитие которого сдерживалось колонизаторами более полувека. Этого требовал не только естественный ход событий (что может быть естественнее, чем создавать произведения литературы и культуры на родном языке), но и национальный престиж страны. Тратить время на предварительное преобразование арабского языка не было возможности. Сохрани Алжир французский язык в качестве государственного, не начни он тотчас же после завоевания независимости повсеместное введение арабского языка (пусть даже в его несовершенной для условий Алжира форме), он тотчас стал бы мишенью для насмешек своих бывших колониальных хозяев с их лозунгами о национальной несостоятельности, незрелости алжирцев и т. д. Другое дело, что это положение отнюдь не оправдывает несовершенство тех или иных методов освоения арабского литературного языка и классического арабского культурного наследия в Алжире.

Каково же все-таки реальное положение в стране? Каковы результаты, достигнутые более чем за десять лет обучения арабскому литературному языку? Достаточно подробный ответ на эти вопросы дает статья «Заметка о двуязычии», опубликованная в той же газете «Аль-Муджахид». Автор статьи — алжирский литературовед и лингвист Абдалла Мазуни, написавший известную не только в Алжире, но и за его пределами книгу «Культура и образование в Алжире и других странах Магриба». Так же как Абдалла Ларуи, Мазуни владеет и литературным арабским и французским языками, а следовательно, к нему нельзя отнести упрек в пристрастном («одноязычном») отношении к проблеме арабизации. По словам Мазуни, двуязычие представляет в современном Алжире неоспоримую реальность.

«Совершенно ясно,— пишет он,— что алжирский местный диалект арабского языка [2], не имеющий письменности, не может рассматриваться как полноценный язык, а следовательно, его нельзя приравнивать ни к арабскому литературному языку, ни к французскому. Двуязычие, о котором я говорю,— сочетание арабского литературного языка и французского».

---

[1] По мусульманскому календарю. Соответствует X в. н. э.— *Прим. ред.*

[2] Алжирский диалект арабского языка и лексически, и фонетически настолько отличается от литературного арабского языка, что знание диалекта очень мало облегчает изучение литературного арабского.

При всем уважении к автору статьи о «двуязычии» невозможно согласиться с подобной категоричностью его суждений. Отметая самую возможность разговора о диалекте, Абдалла Мазуни наталкивает читателей статьи (мы не имеем в виду алжирцев) на ложные выводы относительно языковой ситуации в стране не только в наши дни, но и в колониальный период. Наличие алжирского диалекта арабского языка, которым владеет подавляющая часть населения страны,— такая же реальность, как и проблема двуязычия. И с этой реальностью надо считаться в первую очередь. Диалект не только существовал во время французского владычества в Алжире и не только являлся, хотя и при отсутствии письменности, средством общения для самых различных слоев алжирского населения: на нем говорила и та действительно подавляющая часть алжирской интеллигенции, которая воспитывалась в средних и высших французских учебных заведениях. Более того, диалект оказывал заметное влияние на насаждаемый колонизаторами французский язык. Ведь обширная алжирская франкоязычная литература (роман, новелла, поэзия, драма), существующая и развивающаяся и в наши дни, не раз обращала на себя внимание зарубежной критики именно благодаря своей необычной «языковой» форме. Вот что писал Пьер Гамарра о стиле известного алжирского франкоязычного романиста и драматурга Катеба Ясина:

«...Читая его книги, ясно ощущаешь какую-то совершенно иную языковую традицию... особый внутренний ритм, прекрасно переданный средствами французского языка».

А вот высказывание живущего в Алжире французского писателя Жана Пелегри:

«...несомненно, можно писать на французском языке так, что это уже будет не французский, а «алжирский» язык. Стоит лишь постараться передать структуру разговорного диалекта, его строение».

Быть может, такой подход к бытующему в Алжире специфическому французскому языку, взгляд на него «через диалект» помог бы Абдалле Мазуни более убедительно отразить нападки на французский язык тех самых слишком горячих сторонников арабизации, которых Абдалла Ларуи метко назвал «абсолютистами».

«Для алжирцев, говорящих на французском языке, этот язык — средство труда, коммуникации, интеллектуального обогащения»,— замечает он.

Разумеется, эти функции французского языка в Алжире, называемые Мазуни, а также его особый, если можно так выразиться, алжиризованный характер отвоевывают для него право мирно сосуществовать с арабским литературным языком в ходе развития современных культурных процессов.

Как сегодня развивается языковая ситуация в Алжире? Как соотносится арабский литературный язык с французским при существовании — обратим на это внимание еще раз — диалекта, не имеющего письменности, однако в обиходных ситуациях служащего звеном между франкоязычными и арабоязычными алжирцами?

«В современном Алжире французский язык преобладает... он очень распространен в среде городской молодежи, особенно на севере страны, а также в среде государственных служащих, особенно в учреждениях технического профиля... Двуязычие развивается и распространяется согласно закономерности, с изучением которой мы, к сожалению, медлим...»

Трудно что-либо возразить против такой точки зрения Мазуни. Однако расценивать ее можно с разных позиций. Преобладание французского языка в современном Алжире представляется Абдалле Мазуни плодом недостаточно эффективного проведения арабизации, и в значительной мере это справедливо. Но, во-первых, следовало ли ожидать особых результатов за такой срок, как десять лет? Далее, если вспомнить, что в 1962 году (завершение войны за национальную независимость) арабским литературным языком в Алжире владели лишь единицы, то уже сама возможность ставить вопрос о «двуязычии», о соотношении арабского литературного и французского языков — свидетельство немалого успеха.

Впрочем, автор статьи, в иных случаях, быть может, слишком сурово относясь к проводимым в его стране языковым реформам, вполне объективно указывает на те преобразования, которые помогли бы более успешному проведению этих реформ.

«Необходимо усовершенствовать преподавание арабского языка применительно к различным категориям населения: детям, юношам, взрослым, людям, полностью неграмотным, людям, имеющим какое-либо представление о языке, служащим разных профилей и т. д. Это разделение методов и характера преподавания — один из залогов успеха...»

Трезвость в оценках происходящего помогает Абдалле Мазуни завершить свою статью выводом, к которому мы можем целиком присоединиться:

«Арабизация в Алжире достигла определенных успехов, однако многое еще остается сделать».

Г. ДЖУГАШВИЛИ

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ ФРАНЦИИ

Авиньонский фестиваль прошлого года был двадцать восьмым по счету и третьим после смерти Жана Вилара, его создателя и бессменного руководителя. Организация Авиньонского фестиваля в конце 40-х годов знаменовала собой поворот в истории театрального искусства Франции, впервые покинувшего столицу и традиционные подмостки, чтобы прийти на улицы и площади старинного Авиньона, окунуться в бурлящую толпу, повести ее за собой. За прошедшие три десятилетия Авиньонский фестиваль, сохраняя роль смотра интереснейших театральных работ, неизменно оставался барометром культурной жизни страны. И неудивительно, что три параллельно расположенных ключа — эмблема Авиньонского фестиваля — в течение трех фестивальных недель постоянно появляются на страницах французских газет и журналов. Авиньон как в фокусе собирает проблемы, к которым приковано внимание деятелей французской культуры.

Периодические издания Коммунистической партии Франции заинтересованно и подробно освещали события последнего фестиваля, в рамках которого ФКП провела целый ряд мероприятий: пресс-конференцию по поводу реорганизации французского государственного радио и телевидения (ОРТФ), выставку-продажу книг, кинематографическую неделю, пресс-конференцию секретаря ЦК ФКП Ролана Леруа, трехдневный коллоквиум о проблемах творчества и месте интеллигенции в современном обществе.

Вынесенные в заголовок корреспонденций «Юманите» темы коллоквиума: 1) Свобода творчества и ее значение, 2) Творчество, вопросы организации и распространения, 3) Место интеллигенции в единении французского народа — красноречиво свидетельствуют о важности и насущности обсуждавшихся в Авиньоне вопросов.

Андре Жизельбре, занимающийся разработкой проблем взаимодействия и взаимовлияния общества и творческого процесса, в своем выступлении, в частности, говорил:

> «Главные препятствия свободе творчества — социальные и материальные... Прошло то время, когда художники зависели от меценатов. Единственным меценатом должен стать народ. Социальный заказ должен поступать только от народа, становящегося все более и более образованным».

На коллоквиуме в Авиньоне отмечена важность единых действий творческих работников и всех трудящихся. Было подчеркнуто, что сегодня

> «под ударом находятся не только художники левых политических убеждений, но художники в целом. Объединение необходимо для борьбы против кризиса культуры, за предоставление деятелям культуры материальных средств, за демократию во всех областях, за включение культуры в социальную жизнь».

Насущная необходимость защиты интересов всех демократических деятелей культуры подтвердилась еще до окончания Авиньонского фестиваля. Авиньон был буквально потрясен сообщением о принятом государственным секретарем по вопросам культуры Мишелем Ги решении отстранить ведущих деятелей от руководства демократическими театрами: режиссера Жака Ланга, которому всего два года назад было поручено возглавить театр во дворце Шайо, вместо закрывшегося там Национального народного театра, и который уже много успел сделать для создания жизнеспособного театрального организма (в частности, весной 1973 года под эгидой театра Шайо прошел интересный фестиваль спектаклей для детей). Еще более ошеломляющим было известие об отстранении от руководства Театр де л'Эстр парижьен (ТЕП) Ги Реторе, который не только создал известный всему миру ТЕП, но и бессменно руководит им вот уже почти два десятилетия. Предполагаемое назначение на его место одного из популярных сегодня режиссеров Марселя Марешаля (в октябре—ноябре 1974 г. руководимый им театр гастролировал в СССР) неизбежно изменит направление деятельности прекрасного коллектива ТЕП и одновременно обезглавит лионскую Компани дю Котурн, деятельность которой связана уже много лет с именем и творчеством Марешаля. Подобная волюнтаристская «циркуляция художников» закономерно вызвала тревогу среди французских деятелей культуры. В выступлениях в Авиньоне Ролана Леруа, режиссера-коммуниста Антуана Витеза, бывшего содиректора Ланга, в заявлениях многих других деятелей культуры говорилось о необходимости защитить завоевания демократической национальной культуры, честь и достоинство ее творцов. Жак Кремер, руководитель ТПЛ (Народный театр Лотарингии), более чем определенно высказался об устроенном Мишелем Ги «вальсе директоров»:

> «Речь идет не больше не меньше как о нашем праве на существование».

Выступления в Авиньоне свидетельствовали и о том, что по-прежнему не разрешена проблема финансирования театральных коллективов. В последнее время во французской печати стали появляться упреки в адрес руководимого Роже Планшоном лионского Театра де ля Сите, получившего в 1973 году статус (и соответственно субсидии) Национального народного театра. Планшона упрекают в чрезмерной эффектности его спектаклей, пытаясь «натравить» на него деятелей других демократических театров, которые получают еще меньшие субсидии, ведь продолжающаяся много лет борьба за выделение на нужды культуры хотя бы одного процента национального бюджета все еще не увен-

чалась успехом. А в близких к правительственным кругам изданиях делаются попытки эстетически обосновать пользу финансовых трудностей, стимулирующих-де творческое воображение художника. Выступая в дни Авиньонского фестиваля на страницах «Юманите», Роже Планшон заявил:

> «Восхваление бедности театра — это скандальное явление, потому что оно обрекает нас на роль отверженных. Никоим образом нельзя путать эстетику нищеты с ее прославлением».

В корреспонденциях с Авиньонского фестиваля много внимания уделялось вопросу о возможностях и месте художника в современном обществе. Часто шла речь о тревоге деятелей французской культуры в связи с тем, что культура часто еще недоступна широким слоям населения. В Авиньоне ФКП еще раз уточнила свою позицию в этом вопросе:

> «Коммунисты никогда не были в числе тех, кто полагал, что территориальное приближение сцены к трудящимся, снижение цен на билеты и повышение качества спектаклей автоматически увеличат посещаемость театра. Коммунисты знают, что условия труда и жизни, доступность образования — включая современную систему образования, которую мы не раз обличали,— являются решающими факторами в формировании общей культуры, потребности в ней, без которых невозможны кардинальные перемены».

Коллоквиум в Авиньоне еще раз убедительно подтвердил, что проблема зрительской аудитории остается сегодня центральной в деятельности демократического французского театра, упорно борющегося за привлечение на спектакли как можно большего числа людей. В уже упоминавшемся нами выступлении на страницах «Юманите» Планшон говорил:

> «Существует публика, которая меня глубоко интересует и реакция которой значительно более важна для нас, художников, чем многие предполагают. Публика — непредвзятая и неиспорченная, жаждущая знаний и открытий, которую мы лучше узнаем во время гастролей по городам страны, во время дискуссий после спектаклей».

Большой интерес у зрителей вызвали спектакли, показанные в Авиньоне Компанией Котурн, представившей на фестивале две свои прежние работы: «Кукла» и «Одинокий рыцарь»[1] Жака Одиберти и новый спектакль «Гёльдерлин» по пьесе Петера Вайса. Театральные обозреватели многих газет и журналов выделили новую постановку Марешаля. В центре спектакля — судьба немецкого поэта Гёльдерлина, чье имя и творчество рассматривались большинством исследователей, начиная с конца XIX века, как пример пророческого ясновидения безумца-одиночки вне времени и вне истории. Вайс и Марешаль (он не только постановщик, но и исполнитель главной роли) стремились отразить современную интерпретацию творчества Гёльдерлина, делающую акцент на связи поэта с Великой французской революцией.

Работа Марешаля и театра над спектаклем будет еще продолжена. По мнению критики, пьеса много проиграла при постановке.

> «В этом супермарешалевском спектакле,— пишет во «Франс нувель» Бернадетта Бост,— перегруженном штампами театрального празднества и утяжеленном несколько демагогическими апелляциями к публике, бесполезно искать точного, адекватного прочтения пьесы Петера Вайса, той серьезности и строгости, которые характерны для этого произведения».

Существующие в пьесе противоречия, ее статичность, поверхностность некоторых сцен в спектакле оказались не только непреодоленными, а, наоборот, углубились. По мнению обозревателя «Юманите диманш» Франсуа Сальвена, предложенное Марешалем сценическое решение

> «недостаточно и не может быть достаточным для того, чтобы позволить зрителям понять сложность пьесы и сложность эпохи, о которой она написана».

Требовательность критики, и особенно коммунистической, к новой работе Марешаля закономерна, так как французский театр в последние годы ставил в разных аспектах вопрос об отношении художника к революции, о его месте в революционном преобразовании мира. Примером наиболее интересного подхода к этой проблеме может служить спектакль «Толлер» Патриса Шеро, который вместе с Планшоном руководит лионским Театр де ля Сите. В «Толлере» показана причастность поэта к истории, к революции, столкновение «идеальной революции», «революции мечты» с политической реальностью. В обращении французского театра к проблеме творческой личности в революционной борьбе очевидны отголоски событий мая 1968 года, стремление разобраться в сложных вопросах, которые они поставили перед французским обществом.

Отсвет мая 1968 года лежит на показанном в Авиньоне спектакле «Против чего воюет племя Каркана?», написанном и поставленном Арманом Гатти.

«Спектакль сплетает противоречия, как паук паутину»,— так охарактеризовал но-

[1] Спектакль был показан во время гастролей театра в СССР в октябре—ноябре 1974 года.

вую работу Гатти театральный обозреватель «Юманите» Жан-Пьер Леонардини. История жизни и смерти испанского анархиста Рамона Каркана, умершего в 1939 году в день падения Республики, стала в спектакле предлогом для туманных разговоров о революции и анархии, для странного, причудливого сценического действия: одетые в черное (цвет анархии) мужчины и женщины разыгрывают сцены из жизни Каркана среди сделанных из папье-маше, увеличенных в несколько раз частей человеческого тела. По замыслу Гатти, собирание этих кусков в единое целое, а затем «разделение тела» на составные части как раз и призвано символизировать различные этапы человеческой жизни. Спектакль обрывается призывом к публике: «Будьте несоразмерны!»

«Против чего воюет племя Каркана? — пишет Франсуа Сальвен.— По ходу спектакля зрителям не раз хочется задать этот вопрос автору. Из всех стрел, которые посылает блистательное, хотя и многословное, перо Гатти и за полетом которых не всегда удается проследить, лишь немногие, по-моему, посланы в ту цель, которая служила мишенью для Каркана и продолжает сегодня оставаться ею для трудящихся: капитализм. Но многие стрелы, как мне показалось, падают на территорию борцов против фашизма, вчерашних и сегодняшних... И может быть, не случайно сегодняшняя туманная и запутанная идеологическая позиция Гатти рождает театр, где поток слов намного опережает ясность действий».

Резкость суждения критика «Юманите диманш» тем более оправданна, что еще недавно, а не только летом 1968 года, экстремистски настроенные деятели культуры предпринимали попытки превратить Авиньонский фестиваль в смотр работ «архиреволюционного» театра. Отрезвляющее заявление Вилара о том, что «не театр рождает революцию, а революция рождает театр», стоило ему в устах гошистов ярлыка прислужника буржуазной культуры. В связи со спектаклем Гатти Ж.-П. Леонардини очень точно определяет сегодняшнее место «крайне левого искусства»:

«Отдавая себе все больше отчет в отсутствии у него какой-либо власти над реальностью, этот театр становится все более элитарным, рядится во все более изысканные одежды».

Для Авиньона-74 было характерно обращение к реальным событиям сегодняшней борьбы прогрессивных сил, и прежде всего — манифестации солидарности с борьбой чилийского народа. К открытию фестиваля, состоявшемуся в парке Шанфлёри, французские и чилийские художники создали огромное красочное панно, воспевающее солидарность в борьбе и искусстве. А на площади Часов Союз студентов-коммунистов совместно с Национальной федерацией театральных работников и Движением за молодой театр устроили демонстрацию в поддержку прогрессивных сил Чили, к которой примкнули многие участники и зрители фестиваля.

Стремясь как можно шире представить культурную жизнь страны, организаторы фестиваля дали журналу «Нувель критик» возможность провести кинематографическую неделю, на которой были показаны ленты разных лет, не демонстрировавшиеся в широком прокате. Популярная программа французского радио «Франс-кюлтюр» организовала в одной из аудиторий города прослушивание и дебаты на тему «Музыка нашего времени». Оперное искусство было представлено «Волшебной флейтой» Моцарта (постановка Луи Эрло) и «Убю в Опере» (постановка Жоржа Вильсона и Антуана Дюамеля). Большой успех выпал на долю балета, представленного сольными выступлениями Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, кубинским балетом с участием Алисии Алонсо, американской балетной труппой под руководством Альвена Алея.

В оценке критикой музыкальных спектаклей превалируют не столько художественные критерии, сколько социологические. Когда представления «Убю в Опере» закончились и оказалось, что тысячи желающих увидеть этот спектакль не смогли попасть в монастырь Селестинок, где он шел, критика расценила этот факт как свидетельство возрастающего интереса к классическому и современному музыкальному искусству у самых широких слоев публики, расширение диапазона ее интересов, развития вкусов. Обозреватель «Франс нувель» Жозеф Онетт видит в этом одну из особенностей Авиньонского фестиваля:

«Зрители (становящиеся год от года все моложе) благодаря необычайному разнообразию спектаклей (58 в один день!) учатся в Авиньоне ориентироваться, выбирать, формировать свой вкус и свою оценку».

Готовя незадолго до смерти программу Авиньона-71, Вилар стремился сделать музыкальный театр полноправным участником Авиньонского фестиваля. Он считал насущно необходимым приобщение к классическому музыкальному наследию и к современным достижениям самых широких слоев населения, и прежде всего молодежи. Он мечтал о преодолении «социальной сегрегации», о театре, доступном для всех.

Конечно же, многое из того, о чем мечтал и над чем работал Вилар, остается пока нереализованным. Но и короткие отклики «с места событий», и вдумчивые аналитические статьи о последнем Авиньонском фестивале свидетельствуют о том, что детище Вилара — не просто «коллекция спектаклей», а своеобразный «духовный перекресток», на котором встречаются и сталкиваются различные тенденции, как художественные, так и политические.

Т. ПРОСКУРНИКОВА

◆

Публицистика

К 30-летию Победы над фашистской Германией

КАДРЫ ВЕЛИКОЙ ЭПОПЕИ

Теперь нам предстоит прочитать нечто совершенно новое о войне, о которой мы столько читали (да и писали!). Во всяком случае, мне не приходилось читать таких увлекательных литературных и, как принято называть,— человеческих документов.

Да, во время Великой Отечественной в Москве, что называется «у нас», находилась невеликая группа иностранных корреспондентов, писателей, адресовавшихся из Москвы и с «нашего» фронта к своему читателю.

Мне почти не случилось встречаться с ними — я находился на фронтах, отдаленных от Москвы. Но в первый свой приезд в Москву с фронта я видел в Доме литераторов американских корреспондентов. Их привел Евгений Петров (тот, который Ильф и...) и представил мне их как друзей. Потом я видел одного из них в Сталинграде, у генерала Родимцева — когда исход битвы был решен.

Мы теперь с интересом читаем честную книгу Александра Верта, удачную попытку обобщения и соединения личных впечатлений и собранных доброжелателем фактов и материалов.

Заметки и фото Маргарет Борк-Уайт и радиовыступления на Францию из Москвы Жана-Ришара Блока, хотя и текут в одном русле с репортажами и статьями Александра Верта, имеют свою особую окраску, свое неповторимое звучание; они вызвали у меня, полагаю, что вызовут и у других читателей, глубокое волнение.

Маргарет Борк-Уайт — не писательница, в большей степени она фоторепортер. Впрочем, она и писательница, но, надо полагать, нелегко ей было писать за одним столом с мужем, таким выдающимся мастером слова, как Эрскин Колдуэлл.

Итак, американская пара — знаменитый писатель и его жена с фотоаппаратами на плечах — в Москве и на фронте, у нас на фронте.

Что они увидели? Их взгляд и взгляды запечатлены в фоторепортаже и очерках Маргарет Борк-Уайт и говорят сами за себя.

Но Маргарет еще и пишет — бесстрашная во всех отношениях женщина — рядом с Колдуэллом! Ее короткие и беглые зарисовки с редкостной точностью воспроизводят настроение и обстановку, в которую попали два знатных американца в лагере союзников. (Впрочем, Колдуэллы оказались в Москве с самого начала, еще до того, как образовалась военная антигитлеровская коалиция.)

Митинг на товарной станции, дети, проверяющие затемнение, девушки-пожарницы, спрашивающие разрешения проехать через двор британского посольства,— рядом пожар — все это драгоценные свидетельства! А как дорога моему сердцу бывшего метростроевца нарисованная фотомастером в прозе картина тревоги в туннелях метро. Наша гостья замечает: «Сидеть на путях московского метро можно даже в нарядном платье — в такой чистоте оно содержится». Многого стоит упоминание о москвиче, читающем Пушкина во время воздушной тревоги.

Отважная американка побывала вместе с мужем на передовой, в войсках. С трогательной симпатией рисует она портреты красноармейцев и командиров.

Не хочу быть наивным и могу засвидетельствовать, что не все иностранные корреспонденты и, уж во всяком случае, далеко не всегда так доброжелательно писали

о нас. Тем ярче это начисто лишенное репортерского цинизма и мнимой объективности свидетельство непредубежденных и честных гостей, попавших далеко не на праздник.

Жан-Ришар Блок прибыл в СССР, чтобы бороться за свободу Франции. В этом смысле его позиция — в сравнении с позицией Колдуэллов — была более активной, бойцовской. Мы имеем сегодня возможность прочитать его радиовыступления, которым был предназначен путь через границы, через пылающий фронт. Приготовленные для устного звучания, эти речи имеют свою — хотя бы стилевую — специфику. Надо полагать, что написал бы Жан-Ришар Блок по-иному, мы знаем его изысканное перо. Но в данном случае мы слышим его голос, мы видим сражающегося писателя, подлинного француза, истинного патриота своей — тогда обездоленной — Родины. Вот как он говорит об обстановке в Москве: «Атмосфера сдержанного спокойствия и твердой веры в победу». Физически и духовно Блок находится в СССР, но духовно еще и во Франции. На двадцать четвертый день войны, или, как он иронически выражается, «блицкрига», Блок в Москве на народном митинге ищет — и находит — поддержку своей борьбе, ищет — и находит — веру в свободу своего народа.

Он говорит о будущей победе Красной Армии, «от которой зависит судьба мира и судьба Франции».

Если Маргарет Борк-Уайт передает нам лишь свои переживания и впечатления, то Блок пользуется и материалами, как полагается подлинному пропагандисту. Да, его страницы — иного жанра, а все же и та и другая публикация чем-то родственны.

Эти тексты уже не просто заметки фоторепортера и радиоречи французского писателя-патриота. Они стали документами, время сделало их таковыми, ее величество История приобщила их к своим анналам.

Для нас — интернационалистов — эти страницы дороги и как свидетельства силы антифашистского единства честных людей земли.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

МАРГАРЕТ БОРК-УАЙТ

С ФОТОАППАРАТОМ НА ВОЙНЕ В РОССИИ

Фрагменты из книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Когда у мужа есть собственные профессиональные интересы, а у жены свои, им остается либо как-то объединять их, либо каждому заниматься своим делом. В нашей семье мы используем оба способа. Иногда Эрскину хочется писать об Америке, а я чувствую, что умру, если немедленно не уеду с фотоаппаратами куда-нибудь в Центральную Азию. Вопрос в таких случаях решается просто: он занимается своим делом на одном континенте, а я — на другом. Но время от времени мы решаем, что настала пора поработать где-нибудь вместе, и отправляемся туда — он с пишущей машинкой, а я с моими камерами. И в Россию мы решили поехать вдвоем. Мы оба не сомневались, что нужно торопиться: мы чувствовали приближение грозного вала войны и считали своим долгом запечатлеть надвигающиеся события с помощью слов и фотографий.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

По всему городу проходили митинги.

— Давай выйдем, посмотрим, что делается на улицах,— сказала я. И мы отправились.

Мы оказались в густой толпе. Она увлекала нас все вперед и вперед, пока мы не очутились возле вокзала Октябрьской железной дороги. Товарная станция была заполнена машинистами и другими железнодорожниками. В дальнем конце станции на задрапированной красными полотнищами трибуне стрелочник кричал в микрофон:

— Мы будем сражаться не только за нашу Родину, но и за будущее всего прогрессивного человечества!

На резиновой фабрике работницы торжественно обязуются заменить мужчин, чтобы те могли уйти на фронт. На автомобильном заводе число добровольцев росло с такой

стремительностью, что людей, занятых на важных операциях, пришлось даже убеждать, чтобы они не оставляли работу, пока их не смогут сменить женщины.

В эти первые драматические недели войны на любом предприятии рядом чуть ли не с каждым рабочим можно было увидеть его жену, невесту или какую-нибудь постороннюю женщину, которую он обучал своей профессии. Женщины занимались на вечерних курсах, стремясь повысить свою квалификацию: для них стало делом чести поддерживать производство на том уровне, которого добились их мужья и братья.

Советские граждане всегда относились к работе с большой серьезностью, а уж работе на оборону они отдавали себя целиком. Люди овладевали новыми профессиями, учились работать лучше, чем прежде. Продавщица садилась за руль грузовика, учительница осваивала пулемет, на фабриках и заводах работницы в свободное время занимались на курсах санитарок.

Я побывала в кинотеатре, переоборудованном для таких занятий. В одном из помещений отрабатывались приемы оказания первой помощи. По знаку преподавателя учащиеся принялись бинтовать друг другу головы с удивительной быстротой и такой энергией, что ее хватило бы на целую армию раненых. В соседней комнате, где по стенам были развешены пожарные лестницы, шланги, ведра и каски, группа старшеклассниц разбиралась в устройстве различных огнетушителей.

С наступлением сумерек по улицам патрулировали дети и стучались в квартиры, предупреждая хозяев, если сквозь плохо занавешенное окно пробивался свет. Дети следили еще и за тем, чтобы ящики с песком и ведра с водой, приготовленные для тушения зажигательных бомб, были всегда полны. Пионеры ходили в магазины и помогали по хозяйству женщинам, которые сменили у станков ушедших на фронт мужчин.

И день за днем под балконом нашего номера в отеле «Националь» проходили мужья этих женщин. Стройными шеренгами они шли к вокзалу, чтобы отправиться дальше на фронт, а по тротуарам торопливо шагали провожающие их матери и жены.

Стихийная запись в добровольцы сменилась более организованным процессом мобилизации. Теперь актеров и оперных певцов, которые просились в действующую армию, уже не брали солдатами, а направляли на специальные мобилизационные пункты, где работа велась под звуки арий. И вслед за армейскими частями к линии фронта отбывали концертные бригады, чтобы выступать на передовых позициях.

Весь июль напряжение продолжало нарастать. День и ночь мимо наших окон ехали грузовики с красноармейцами вверх по улице Горького — на запад.

На башни и соборы Кремля поднимались люди с приставными лестницами и красили сверкающие купола и шпили в серый защитный цвет. Перекрашивалась вся Москва. Мостовые площадей и улиц и даже тротуары покрывались изображениями крыш и окон, которым был искусно придан эффект глубины. В самых неожиданных местах строились макеты деревушек, чтобы вражеским летчикам было труднее ориентироваться. Для той же цели реку прятали под камуфляжными крышами.

В июне и первой половине июля было несколько воздушных тревог. Мы каждый раз послушно спускались в убежище, а затем раздавался сигнал отбоя — тревога оказывалась учебной.

Когда в ночь на двадцать второе июля ровно в десять часов вечера заревели сирены, мы с Эрскином вышли из отеля и спустились в метро, твердо рассчитывая, что задержимся там недолго — у нас обоих было много работы. Поезда метро стояли, и люди спускались на пути, где свободно разместилось несколько тысяч человек. Сидеть на путях московского метро можно даже в нарядном платье — в такой чистоте оно содержится. И вот я сидела на путях и считала часы. Рядом со мной человек в комбинезоне и вышитой тюбетейке читал иллюстрированное издание стихов Пушкина. Я извлекла из кармана учебник русского языка, и за эту ночь мой словарь обогатился словами, которых я, возможно, так никогда и не узнала бы, будь эта тревога короче. Наконец, через пять с половиной часов раздался сигнал отбоя, все три эскалатора пошли вверх, и вскоре все мы оказались на улице. Предрассветное небо было зеленоватым. Со всех сторон к Кремлю бежали люди, и я побежала с ними. Возле кремлевской стены, как раз напротив наших окон, зияла огромная воронка от бомбы, но к ней уже съезжались грузовики с песком и ее начинали засыпать.

В эту ночь фашистские летчики очень старались попасть именно в Кремль, но это им не удалось, зато их бомбы ловко угодили в здания итальянского и японского посольств.

На следующий вечер мы с Эрскином отправились в резиденцию американского посла, не сомневаясь, что в любом другом месте ревностные бойцы противовоздушной обороны заставят нас спуститься в убежище.

— Хочешь, побьемся об заклад, что они опять прилетят ровно в десять? — сказал Эрскин.

Он сел с часами в руках, и действительно, за пять секунд до десяти с севера донесся нарастающий гул немецких самолетов.

Мы выбрались на крышу и приготовились наблюдать. Должна сказать, что таких ночей в моей жизни было немного. Мне приходилось попадать под бомбежки в других городах, но никогда еще я не видела, чтобы все небо непрерывно озарялось вспышками рвущихся снарядов, белым пламенем осветительных ракет, пунктирными прочерками трассирующих пуль и багровыми сполохами, похожими на хвосты огромных комет. По всей окружности горизонта метались лучи прожекторов. Потом эти столбы голубого света сошлись пучком, и в месте их скрещения серебряной молью сверкнул самолет. Он кружил и пикировал, стремясь нырнуть

Метро — это идеальное бомбоубежище, так как станции в большинстве расположены очень глубоко.

Организовано все безупречно. Койки, уложенные днем в углах, к вечеру расставляются по платформе. Они предназначены для женщин с детьми. Движение поездов прекращается в восемь часов, и больных детей укладывают в вагонах на специально отведенных для них сиденьях. На некоторых станциях установлены киноэкраны, и на всех без исключения имеются отгороженные в конце платформы пункты неотложной помощи, где дежурят врачи и сестры.

Поскольку платформы отведены главным образом для детей и женщин, остальные располагаются прямо на путях.

В довоенное время движение поездов метро прекращалось в час ночи и до шести утра шла уборка — метро содержится в такой чистоте, какой позавидует иная кухня.

Женщины с маленькими детьми уходят ночевать в метро, не дожидаясь сигнала воздушной тревоги, и к вечеру возле станции выстраиваются длинные очереди. Днем поездка на метро стоит 30 копеек, но после восьми часов туда пускают бесплатно. Те, кто ночует в метро, домой возвращаются примерно в четыре утра, когда кончается комендантский час.

Эта необычайно длинная станция находится на площади Маяковского, названной так в честь знаменитого поэта. Она очень красива — колонны отделаны нержавеющей сталью, а потолок украшен мозаичными картинами, на которых изображены самолеты, кремлевские башни и парашютисты. Другие станции также сверкают мрамором разных цветов, золотой и синей мозаикой.

в темноту, но лучи не выпускали его, а потом он резко пошел вниз и упал. Так мы в первый раз увидели, как сбивают немецкий самолет.

Через четверть часа Эрскин ушел — ему было пора отправляться на радио. Я осталась на крыше одна и начала снимать. Повсюду в городе рвались зажигательные бомбы, и благодаря их свету мне было легче наводить на резкость. Гул самолетов все чаще раздавался прямо у меня над головой. В небе сходились и перекрещивались лучи прожекторов. И тут я вдруг заметила, что у воздушного налета есть своя музыка. Эхо залпов напоминало басы бетховенских аккордов, а в своеобразном свисте, по которому скоро научаешься распознавать падающую бомбу, было нечто гершвинское.

Не знаю, почему я вдруг почувствовала, что вот сейчас рядом упадет еще небывалая бомба. Не звук и не вспышка, а какое-то сжатие воздуха заставило меня покинуть крышу и юркнуть через окно в кабинет посла. За ничтожные доли секунды (хотя мне они казались минутами) я успела схватить камеры, влезть в окно, аккуратно положить камеры на дальний угол ковра и броситься на него ничком. И тут раздался взрыв. Все окна в доме разлетелись вдребезги, и на меня посыпался дождь осколков. К счастью, тяжелый оконный вентилятор упал в стороне. Только позже я обнаружила, что брызги стекла впились мне в пальцы. В то мгновение я сознавала только одно: насколько приятнее было бы находиться сейчас в подвале.

Эта бомба весом в полтонны упала на Театр имени Вахтангова, разрушив здание. К большому горю москвичей, там погиб всеми любимый директор театра Куза, который именно в эту ночь дежурил на крыше.

Одно из двух бомбоубежищ под театром, в которых, кроме его работников, укрылись также и прохожие, застигнутые тревогой на улице, было разрушено, причем имелось много жертв, в другом же все остались целы и невредимы.

Необычность зрелища, которое развертывалось в московском небе во время налетов, объяснялась чрезвычайно мощным огнем зенитных батарей, окружавших город кольцами, куда более плотными, чем даже Лондон в дни блицкрига.

Русские страстно любят читать, и летом в Москве повсюду появляются импровизированные книжные киоски — на штабелях мешков с песком, в подъездах. Тут можно найти самые разные книги — от руководства по ведению партизанской войны и авиационных справочников до детских сказок.

Особенно быстро раскупалась книга, в которой были напечатаны силуэты немецких самолетов для того, чтобы каждый человек мог научиться их распознавать. Столь же молниеносно разошлись «Гроздья гнева» Стейнбека в дешевом издании с бумажной обложкой. В первый день было продано 50 000 экземпляров.

Вернувшись под утро в отель, я тут же приступила к проявлению пленки. Однако едва драгоценные плоды моих ночных трудов погрузились в проявитель, как вновь завыли сирены. Спасти пленки я могла, только продолжая работу — задача весьма нелегкая, поскольку дежурные обходили все номера и отсылали постояльцев в убежище. Раздался стук в дверь, и я, не раздумывая, юркнула под кровать. Мне было слышно, как дежурные осматривали номер. Убедившись, что он пуст, они удалились, и я под грохот новых залпов проявила, закрепила и принялась промывать свои пленки.

С этих пор семейству Колдуэллов вновь и вновь приходилось прибегать к таким чисто военным хитростям. Я так часто ныряла в мой тайник под кроватью, что это превратилось в чистейший рефлекс — едва раздавался рев сирен, как я уже лежала на полу. Однако мой муж считал ниже своего достоинства прятаться под кроватью. Возможно, впрочем, что человек с такой могучей грудью и широченными плечами (наследие долитературной поры его жизни, когда он был профессиональным футболистом) там просто не уместился бы. Но как бы то ни было, Эрскин облюбовал для себя угол за диваном, а для надежности натягивал на голову шкуру белого медведя. Так он и сидел в углу, выглядывая из-под шкуры и блюдя свое достоинство, пока дежурные проверяли, не остался ли кто-нибудь в нашем затемненном номере.

Постепенно у нас выработался определенный порядок действий. Я начинала с того, что ставила безделушки к дальней стене и под пианино. Секунды, проведенные под стеклянным дождем в кабинете американского посла, еще были свежи в моей памяти, и я предпочитала обезопасить себя от более близкого знакомства с фарфоровой лампой или малахитовой пепельницей. Помнила я и о том, что все посольские пишущие машинки, слетев на пол, вышли из строя, а потому убирала наши машинки под письменный стол. Эрскин отнюдь не восхищался моей предусмотрительностью и называл ее стародевической. Но я утверждала, что и он тоже переменил бы свое отношение к предметам домашнего обихода, если бы у него над самым ухом пролетел тяжелый вентилятор.

Через некоторое время мы завели обычай запасаться на случай тревоги пивом, а также бутербродами, и позже, когда в отеле поселились другие корреспонденты, наш номер во время воздушных налетов превращался в ночной клуб. Едва дежурные кончали обход, как в дверях начинали возникать темные фигуры, облаченные в пижамы. Я убеждена, что материал большей части корреспонденций о ночных налетах на Москву, появлявшихся в американской печати, был почерпнут с нашего великолепного балкона. Сама же я, использовав его на все сто процентов, начала подыскивать новую точку для ночных съемок, и глава английской военной миссии в Москве пригласил нас в английское посольство на все ночные налеты, какие могли мне понадобиться. Много раз, едва раздавался вой сирен, мы прыгали в нашу машину и мчались в английское посольство, успевая добраться туда до того, как сирены смолкали.

Однажды ночью (шла третья неделя августа), едва мы приехали туда, как в небе начало твориться нечто невообразимое. Я поняла, что мне понадобятся все мои четыре аппарата. Генерал проводил меня на чердак и светил потайным фонариком, пока я отбирала объективы и кассеты. Мы надели каски, набили карманы фотопринадлежностями и вылезли на крышу. Когда мы поползли на четвереньках по ее скату, генерал внезапно крикнул мне:

— Укройтесь за трубой! Эти штучки, когда свалятся, будут довольно-таки горячими.

Я не поняла, о каких «штучках» он говорит, но тут в воздухе словно зашуршал жесткий шелк, и на город посыпался град зажигательных бомб. Ослепительно белые вспышки озарили сотни крыш. Кое-где за ними вслед взметнулись багровые языки пламени, но почти везде бомбы были немедленно погашены. Я знала, что повсюду на крышах дежурят пожарные посты из жильцов, которые уже несколько недель готовились к такой ночи, как эта. И вот мне выпал случай наблюдать результаты их трудов в поистине гигантском масштабе.

Совсем рядом загорелся гараж, и во двор посольства влетела пожарная машина.

В красных отблесках огня я разглядела, что пожарная команда состоит из девушек в касках, асбестовых костюмах и рукавицах.

— Можно мы проедем напрямик через ваш двор? — донесся снизу приятный женский голос. — Нам нужно побыстрее ликвидировать пожар.

Пламя, охватившее гараж, было скоро сбито, и пожарницы умчались в сторону Библиотеки имени Ленина, где к небу поднялся новый столб огня.

Начиналась следующая фаза налета. Приближалась вторая волна бомбардировщиков «люфтваффе» с фугасными бомбами. Летчики, несомненно, рассчитывали, что свет от возникших пожаров поможет им найти цель. Я попробовала представить себе, каким видят сейчас город фашистские летчики там вверху, и подумала, что им вряд ли пришлась по вкусу столь быстрая ликвидация «освещения», на которое они возлагали такие надежды.

Теперь время от времени слышался пронзительный вой тяжелых бомб, по крыше и по мостовой внизу барабанили осколки зенитных снарядов.

Это была одна из тех ночей, которые длятся словно бесконечно. Казалось, будто вся сталь, какая только есть в мире, обрушивается с небес на землю и взлетает с земли к небесам. Едва залпы зенитных батарей начинали стихать, как снова слышалось зудение приближающихся фашистских бомбардировщиков, и опять начиналась стрельба.

Генерал учил меня отличать советские самолеты от фашистских по звуку. Русские самолеты гудели ровно, а фашистские — прерывисто, словно покашливая. Я еще раз установила аппараты, наведя их на разные

Роль этих дежурных невозможно переоценить. Круглые сутки во всех подъездах, во всех закоулках, на всех крышах стоят на посту люди, сменяясь каждые четыре часа. Эта женщина, пока она находится на посту, обладает значительной властью. Она имеет право потребовать документы у любого неизвестного ей человека. Заметив что-нибудь подозрительное, она может вызвать милицию. «Пятой колонне» рассчитывать не на что. Человек, который идет по городу ночью, то и дело должен предъявлять свой пропуск таким дежурным. Когда раздается сигнал воздушной тревоги, дежурные у входа в бомбоубежище помогают отводить туда детей. А если возле их поста падает зажигательная бомба, они все вместе дружно берутся за дело и быстро ее тушат.

участки неба, и тут услышала то, на что раньше, всецело поглощенная своим делом, попросту не обращала внимания.

На крышах домов позади посольства перекликались дежурные. Голоса были ребячески звонкими, и я решила, что там орудует одна из детских пожарных команд, которые начали организовываться в последние дни. Я не слишком хорошо знаю русский,

но понимаю отдельные короткие фразы, и когда вновь посыпались зажигательные бомбы, я разобрала, что мальчишеский голос кричит:

— Следующая чур моя!

— Как бы не так! Моя очередь!

Мы с генералом, который знал русский чуть лучше меня, принялись переводить этот разговор друг другу и в конце концов поняла, что мальчишки спорят за право погасить следующую бомбу—каждый жаждал поставить личный рекорд!

Наконец, шелковое шуршание зажигательных бомб прекратилось, прерывистое зудение фашистских бомбардировщиков замерло, и в небе слышался только ровный гул советских самолетов, которые мигали красными и зелеными огнями, показывая зенитчикам свое местоположение.

Я собрала аппараты под голос диктора, доносившийся с соседней площади, где были установлены громкоговорители:

— Граждане! Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!

МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ФРОНТ

Мы с Эрскином твердо знали, что нам совершенно необходимо попасть на фронт и своими глазами увидеть, как сражается Красная Армия. Мы стремились туда с самого начала войны, и вот во второй половине сентября нас однажды вечером вызвали в Наркоминдел и предупредили, что утром мы должны быть готовы. Нам рекомендовали одеться потеплее в предвидении холодной погоды и всяких походных неудобств.

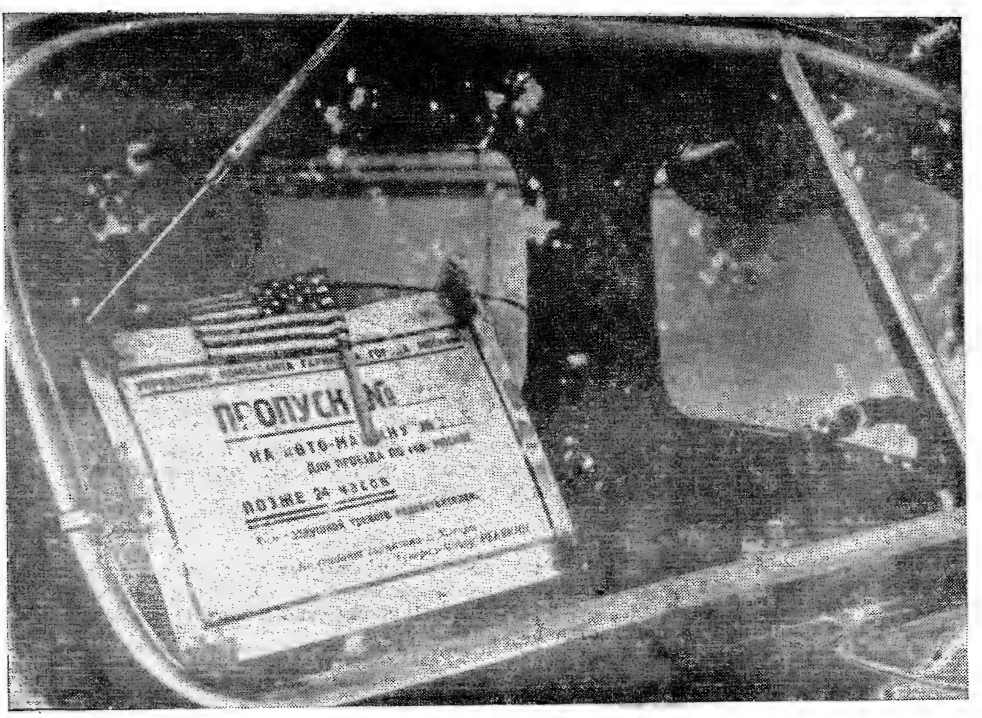
Большая радость иной раз парализует голосовые связки, и всю ночь, собираясь, мы были способны говорить только шепотом.

Когда мы вышли из отеля, было еще темно и холодно. У входа в Наркоминдел возле бочки, в которой хранилась вода для тушения «зажигалок», стояли, сбившись в кучку, корреспонденты — пятеро англичан и шестеро американцев.

Нас рассадили по пяти машинам, шоферы которых были вооружены, и в каждую сел сопровождающий офицер. В ногах у нас

Ночной пропуск, разрешающий ездить по городу во время комендантского часа, который продолжается от 12 часов ночи до 4 утра,— это один из важнейших документов в военной России, и получить его очень нелегко.

При этом пропуска только на машину еще мало. У шофера должен быть свой пропуск, как и у всех пассажиров. Развозить по домам «беспропускных» друзей во время комендантского часа — развлечение весьма рискованное, даже если они и скрючиваются на полу у заднего сиденья. В любой момент машину может остановить милиционер, но главная опасность — красный сигнал светофора, потому что тут почти наверное могут потребовать пропуск. Светофоры в связи с затемнением горят очень тускло, к тому же их стекла замаскированы и видны только узенькие полоски красного или зеленого цвета.



пристроили кульки с едой, а шофер уложил в сумку с инструментами несколько ручных гранат.

Уже зарядили осенние дожди, и над шоссе и полями висела завеса мелких капель. Через 140 миль мы добрались до Вязьмы — небольшого городка, в центре которого высился элеватор. Низенькие оштукатуренные домики были украшены резными карнизами и наличниками — обычай, еще сохраняющийся в этой части России.

В Вязьме было тихо, но наш приезд туда совпал с началом нового фашистского наступления на Москву. Правда, в тот момент мы не отдавали себе отчета, что это, собственно, означает.

После ужина мы все отправились спать, уговорившись встать ровно в половине шестого. Я всегда скептически отношусь к подобного рода договорам и думаю, любой фотограф согласится со мной, что люди, не занимающиеся фотографией, просто не понимают, как следует ценить и беречь каждую минуту дневного света.

Впрочем, мы с Эрскином встали в половине седьмого, но, как я и опасалась, все остальные крепко спали, будить же эту орду корреспондентов мы не рискнули.

Десять минут спустя, когда Эрскин брился в коридорчике крохотной гостиницы, а я готовилась чистить зубы, мы внезапно услышали знакомый воющий свист. Я только успела дернуть Эрскина за плечо, и мы бросились на пол.

Взрыв первой бомбы прекрасно заменил будильник: по всему коридору разом распахнулись двери, и из них на четвереньках вывалились полуодетые корреспонденты.

Я, к счастью, была одета и, схватив камеру, выскочила наружу. Там резко пахло карбидом и в воздухе висело то особое облако, которое всегда поднимается после взрыва фугасной бомбы. В этом тумане из пыли, мельчайших частиц штукатурки и кирпича в первую минуту было невозможно ничего разглядеть. Потом я разобрала, что домики напротив гостиницы превратились в груду развалин. Сквозь пыль я вдруг заметила какое-то движение. Навстречу мне брел белый щенок. Не понимая, каким образом он уцелел, я взяла его на руки. Он дрожал от ужаса.

Тут начали подъезжать спасательные команды. По большей части это были девушки в форме медицинских сестер. Они принялись обыскивать развалины. Четверо скрылись за грудой бревен, которая несколько минут назад была человеческим жильем. Почти сразу же они вернулись, таща на носилках тело старика, настолько засыпанного мелкой штукатуркой, что он производил впечатление незаконченной статуи с только-только намеченными бровями и бородой. Внезапно, напугав и меня и санитарок, старик приподнялся и сел.

Радуясь тому, что он жив, я углубилась в развалины. Пыль уже оседала, и внезапно я увидела, что в обрушившихся сенях

Спасательные команды обыскивают развалины, проверяя, не остался ли среди рухнувших стен кто-нибудь живой.

неподвижно лежат четыре человека — четыре изуродованных трупа. Я опустила щенка на землю и начала снимать.

Когда мне надо снимать что-либо подобное, со мной происходит странная вещь: мое сознание словно отключается и только бесстрастно определяет, какую поставить диафрагму, какую дать выдержку. Это отключение длилось все время, пока я снимала. Но когда много дней спустя я проявила эти негативы, то не смогла заставить себя взглянуть на них. Дальнейшую работу с ними мне пришлось поручить другим.

Пока я снимала, на землю рядом с трупом молоденькой девушки ничком бросилась какая-то женщина. Из того, что говорилось вокруг, я поняла, что это ее мать. Когда упала бомба, она была у соседки и только сейчас узнала, что ее дочь убита.

Подъехал большой грузовик и увез останки еще одной маленькой семьи, которая даже не подозревала, что стоит между Гитлером и его мечтой о «жизненном пространстве».

Оставив позади слезы и кровь Вязьмы, наши машины съехали с шоссе и начали пробираться вперед к фронту по речкам жидкой глины, которые прежде именовались дорогами. Порой речки разливались в широкие озера — там, где дорогу и окружающие поля взрыли гусеницы танков и тяжелых орудий, непрерывным потоком устремлявшихся навстречу врагу.

Порой, пока мы ползли по этим полужидким дорогам, появлялись фашистские самолеты. В первый раз, когда это произошло, мы выскочили из машин, скользя по глине, добрались до обочины и залегли среди низеньких кустов.

Странно, как некоторые вещи навсегда врезаются в память. Я помню, как думала, лежа там, что еще никогда в жизни не видела столько горечавок. Они покачивались на уровне моих глаз. И вдруг над этим голубым бордюром в небо взметнулись три огромные полотнища жидкой глины и на мгновение замерли в воздухе, словно подвешенные на невидимых шестах. Когда они обрушились на землю, оказалось, что на дороге позади нас зияют три неглубоких абсолютно круглых кратера, а наши машины, хотя и остались целы, покрыты толстым слоем глины и блестят, точно куски глазированного торта.

Я начала собирать букет из горечавок, однако наши шоферы занялись более практичным делом. Они наломали веток, засунули их за бамперы и привязали к крышам. Когда мы вновь тронулись в путь, то больше всего напоминали передвижной древесный питомник.

В сумерках мы добрались до школы, от которой до передовой было шесть миль. После ужина нас пригласили в класс, посредине которого были поставлены три стула. Фитиль единственной керосиновой лампы, подвешенной к потолку, был привернут, но тем не менее молодой красноармеец тщательно проверил, плотно ли прилегают к раме шторы из черной бумаги.

Затем в класс в сопровождении конвойных вошли три молодых человека, почти мальчишки. У одного была забинтована рука, у другого — голова и рука, третий, целый и невредимый, смотрел на нас с тупым вызовом.

— По-моему, вы уже немножко знакомы,— сказал советский полковник.— Это они бомбили вас сегодня утром.

Их «юнкерс-88» был подбит советским истребителем и совершил вынужденную посадку в пшенице всего в шести милях от линии фронта. Все члены экипажа остались живы и сдались в плен.

Не знаю, что испытывали другие корреспонденты, задавая вопросы людям, чьи бомбы, упади они на несколько метров ближе, могли убить и нас. Но мне на помощь пришло обычное умение сосредоточиваться только на моих профессиональных обязанностях, и я просто радовалась тому, что их сбили неподалеку от места нашего ночлега.

Совсем недавно эти мальчишки бомбили Лондон, и когда их спросили почему, они без запинки ответили, что англичане первыми бомбили Берлин. Однако когда их начали спрашивать про войну с Россией, они признались, что она явилась для них полной неожиданностью — они узнали, куда их теперь посылают воевать, только когда уже были у самых границ Советского Союза.

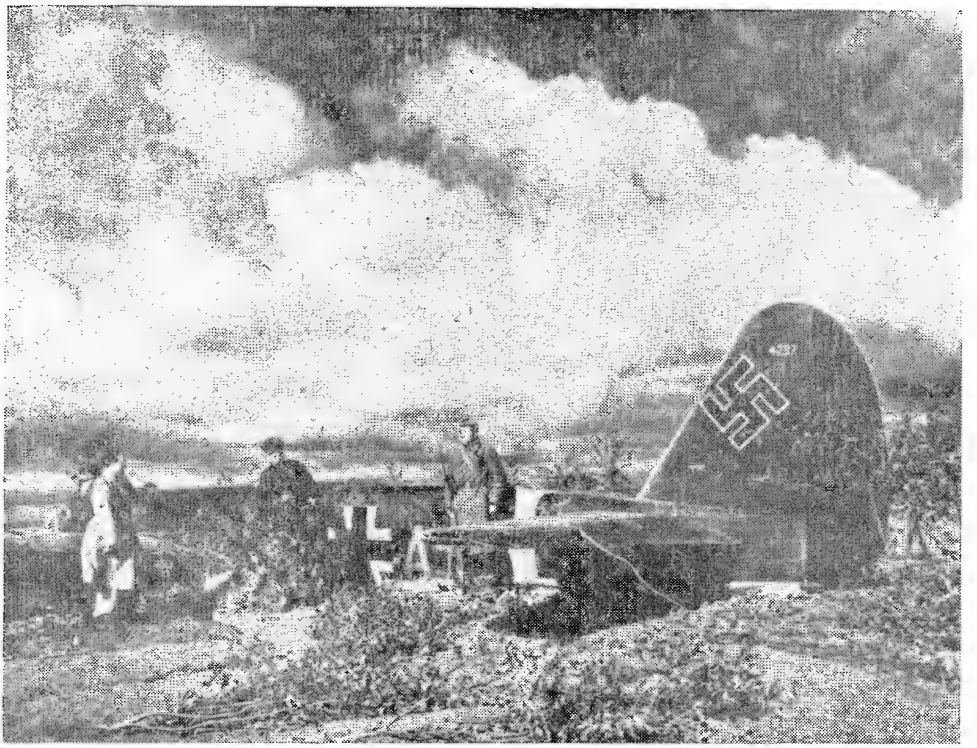
Вероятно, люди, попавшие в плен, как правило, производят худшее впечатление, чем в обычной обстановке. И все-таки эти летчики порождали во мне твердое убеждение, что нацистам пришлось бросить в бой всех, кто только способен носить оружие. Передо мной были незрелые юнцы, неспособные мыслить самостоятельно, ко всему равнодушные. Возможно, лихорадочное обожание фюрера действительно существует, но мне ни разу не довелось с ним столкнуться. Не заметила я и ненависти — ничего, кроме слепой привычки выполнять приказ. А в эту минуту они, казалось, были даже довольны, что сидят в тепле и рядом лежит пачка русских папирос. Но их сознание было сознанием автоматов. Возможно, они типичны для молодого поколения третьего рейха, которое росло, втиснутое в жесткие рамки. Быть может, именно в этом и заключается одна из величайших опасностей войны и постоянной нацеленности на нее.

Когда их спросили, зачем они бросали бомбы на женщин и детей в Вязьме, они ответили:

— Мы выполняли свой долг перед фатерландом.

Почти весь следующий день непрерывно моросил дождь. Средняя скорость нашего продвижения составляла около двух с половиной миль в час. Нас сопровождал грузовик с саперами, которые то и дело вытаскивали наши машины из грязи.

В такую погоду, разумеется, рассчитывать на хорошие снимки нечего. Но я старалась использовать любую возможность, и стоило нашему каравану увязнуть в очередной раз, как я выскакивала из машины и начинала снимать. Конечно, мне приходилось ограничиваться тем, что было в непосредственной близости от дороги. Но и тут находилось немало интересного. То танк лихо катил на-



Накануне этот «юнкерс-88» бомбил Вязьму. Советские летчики заставили его приземлиться всего в нескольких километрах от вражеских линий. Совершая вынужденную посадку, он разбился. Оказалось, что весь его фюзеляж и даже винты изрешечены пулеметными очередями.

прямик по скользким склонам и болотистым лощинам, вызывая черную зависть у всех, кто вынужден был довольствоваться автомобилями. То неподалеку пас стадо пастух с противогазом за плечом. То из рощи выходили пехотинцы, держа в руках каски, доверху полные грибов.

К вечеру тучи несколько разошлись, и вскоре над нами появились три немецких самолета. Когда они возникли над горизонтом, мы находились на совершенно голой вершине холма. Тем не менее мы ухитрились забраться под жидкие кустики, которые словно нарочно выросли тут, чтобы послужить бомбоубежищем для группы журналистов.

Из нашего укрытия мы наблюдали, как самолеты старательно сравнивали с землей крохотную деревушку в полумиле от нас.

Едва пылающая деревня скрылась из виду, как мы очутились на фронте. Он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла.

Мы въехали в березовую рощу, где на первый взгляд не было ни души. Но едва наши глаза свыклись с лесным полумраком, мы обнаружили, что вокруг полно людей. В окопах солдаты что-то кричали в телефонные трубки. Часовые охраняли склады боеприпасов, замаскированные ветками. Кое-где виднелись башни зарытых в землю танков, и даже стволы их пушек были прикрыты ветками. Между березами стояли грузовики, укрытые вдобавок навесом из молоденьких деревцов.

А ельник неподалеку был и вовсе искусственным — он маскировал посадочную площадку для самолетов связи.

Хотя до немецких позиций было меньше трех миль, здесь имелось даже пианино. Оно стояло в двухкомнатной землянке, которая носила название «красный уголок». На пианино играла медицинская сестра, аккомпанируя поющим солдатам.

В соседней комнате три пары бойцов играли в шахматы — игру, которая пользуется в Красной Армии особенной любовью.

Затем нас пригласили к ужину, накрытому на длинном столе, который был замаскирован букетами из еловых веток вперемешку с ромашками и лилово-желтыми цветами, носящими название «Анна и Иван». Даже пианино у самой передовой удивило меня меньше, чем устроенный для нас банкет. Впрочем, в дальнейшем я успела убедиться,

что грохот вражеских пушек не оказывает никакого влияния на хлебосольство и сердечное гостеприимство русских.

Мы начали с рыбы — копченой, соленой и маринованной — и еще с огурцов, как маринованных, так и свежих. Свежие огурцы мы ели на русский манер — с кожурой, словно яблоки.

Тосты произносились под водку трех сортов — обычную белую, слегка отдающую бензином, грузинскую, бледно-желтого цвета, считающуюся особенно изысканным напитком, и коричневую «охотничью», от которой в желудке словно вспыхивают огоньки.

А над деревьями одна за другой загорались осветительные ракеты. Со стороны позиций врага доносился нарастающий грохот канонады.

— Стараются воздействовать на психику,— заметил русский полковник.— Когда они нервничают, то пускают ракеты тысячами, надеясь отпугнуть наши патрули. Сегодня они что-то особенно расшумелись и переводят снаряды почем зря.

— Вы хотите сказать, что они боятся темноты? — спросила я.

— До смерти трусят, что наша артиллерия накроет их в темноте. Мы это узнали от пленных. У них там кое-кто рехнулся от ночных обстрелов.

Спать мы легли в госпитальной палатке в шести милях от передовой. Стены палатки были увешаны плакатами и лозунгами. В углу, который облюбовали мы с Эрскином, красный боец поражал штыком изогнувшуюся свастикой черную змею с гитлеровскими усиками. Подпись гласила: «Смерть фашистской гадине».

Спали мы под фашистской гадюкой на редкость крепко и только утром узнали, что всю ночь вокруг нашей палатки падали осколки немецких снарядов.

День за днем мы тащились по вязкой грязи, а ночи проводили на командных пунктах — то в палатках, то в домиках, то в сараях. Как-то мы ночевали все вповалку в тесной комнате крохотной дачки над вздувшимся Днепром возле города Дорогобужа, лежавшего в развалинах.

К этому времени я научилась тихонько ускользать из-за стола, едва начинались тосты.

Как-то раз, когда тосты за ранним обедом провозглашались с особенным энтузиазмом, один из наших корреспондентов незаметно очутился под столом. Мы уже рассаживались по машинам, чтобы отправиться на по-

Солдаты вот в таких плащах вытаскивали наши машины всякий раз, когда они увязали в раскисшей глине. От долгих дождей дороги во многих местах стали вообще непроезжими. Однако красноармейцы не сетуют на дождь, зная, какие затруднения причиняет он немцам.

Русские части громят увязшую в грязи фашистскую технику. За линией фронта советские партизаны используют все преимущества, которые дает им погода, чтобы препятствовать переброскам сил противника.

Эти летчики сфотографированы на маленьком аэродроме, затерянном среди лесов. Самолеты днем откатывают под защиту деревьев, где они, замаскированные, и ждут ночи.

Советские летчики — красивые ребята, и некоторым из них могли бы позавидовать голливудские киноавиаторы. Почти все они имеют ордена. Второй слева в заднем ряду накануне ночью сбил вражеский самолет — двадцать седьмой на его счету.

левые батареи, как вдруг Эрскин хватился нашего спящего коллеги.

— Его нельзя оставлять тут! — объявил Эрскин.— Он не переживет, если узнает, что пропустил такую поездку.

Затем мой муж подхватил бесчувственного корреспондента на руки и уложил на заднее сиденье машины, где тот мирно похрапывал, даже не подозревая, что находится у самой границы «ничьей земли». Утром он долго отказывался верить, что побывал на передовой, а потом написал свой репортаж, воспользовавшись записями, которые ему кто-то одолжил.

Обычно я вставала на заре, задолго до остальных, чтобы воспользоваться бесценным утренним светом. Интересные сюжеты для съемки можно было найти всегда. Красноармейцы — татары, украинцы, сибиряки, казахи, узбеки, туркмены, и у всех влажные от дождя лица под мокрыми капюшонами.

По вечерам я старалась незаметно ускользнуть из-за стола, за которым нас гостеприимно угощали обильным ужином, и тоже видела и слышала много интересного.

Как-то раз красноармейцы показали мне захваченную немецкую технику, замаскированную елками,— разведывательные бронемашины, гигантский бронетранспортер с разбитыми гусеницами, тягач «мерседес», полевые орудия, пулеметы и танки, разрисованные свастиками.

В другой раз танкист, вернувшийся с поля боя, где было окружено и взято в плен несколько вражеских танков, рассказал мне, что фашистские танкисты забили все свободное пространство в своих машинах женской одеждой, которую отбирали в деревнях.

Иногда я разговаривала с разведчиками, которые уходили за линию фронта налаживать связь с партизанами, и от одного из них услышала, как группа крестьян остановила железнодорожный состав с боеприпасами, обрушив на рельсы несколько горящих деревьев. Когда солдаты попытались расчистить путь, крестьяне открыли по ним стрельбу из двух винтовок — другого оружия у них не было,— а затем начали бросать в них камнями.

Другой разведчик вернулся из местности за Смоленском, где партизаны, спрятавшись

в бурьяне у шоссе, выжидали, пока с ними не поравнялись немецкие танки, и забрасывали их бутылками с горючей смесью. Три танка были выведены из строя. На обратном пути этот разведчик побывал в деревне, где местные партизаны захватили два вражеских танка буквально голыми руками. Хотя танкисты стреляли по ним из пулеметов, несколько человек под командой кузнеца с молотами и топорами добрались до танков и согнули стволы пулеметов. Затем они принялись бить по броне так, что полуоглохшие танкисты были вынуждены сдаться.

Еще от одного разведчика я слышала рассказ о том, что произошло в деревушке в девяти милях за линией фронта. При приближении врага мужчины ушли в лес и в деревне остались одни женщины. Фашистские офицеры расположились в деревянной школе, которую ночью крестьянки подожгли, обложив ее сеном, намоченным в бензине. Полуодетых офицеров, которые выпрыгивали в окна, они встречали вилами.

Из всех моих фронтовых знакомых мне особенно запомнилась медсестра Таня. У нее были голубые глаза, белокурые волосы до плеч и крепкая ладная фигурка. Я познакомилась с ней под Ярцевом, неподалеку от Смоленска. Это были ее родные места, где она знала каждую тропку. Вечер за вечером, едва темнело, Таня пристегивала пистолет и исчезала в высокой траве. Она по-пластунски переползала через линию фронта и в тылу врага собирала сведения о передвижениях частей, о том, где находятся батареи. К рассвету она возвращалась обратно и докладывала о том, что ей удавалось узнать. Потом, поспав несколько часов, шла ухаживать за ранеными, а ночью, если было надо, снова отправлялась в разведку.

В тот вечер, когда мы с ней познакомились, нам разрешили побывать на передовой. Нас вывели на опушку и объяснили, что мы должны будем перебежать через луг к леску, до которого было около четверти мили. Бежать полагалось гуськом, примерно в трех метрах друг от друга. Когда мы были на середине луга, весь горизонт вдруг опоясался ослепительным светом и над нами загрохотал гром. Это открыли огонь советские батареи. В ответ раздались пулеметные очереди. Пулеметы, разумеется, били в нашу сторону. Мы побежали быстрее. Лесок был уже совсем рядом, но тут немцы пустили осветительные ракеты. Я увидела прямо перед собой озаренные белым светом стволы берез и от души пожелала, чтобы Тане, где бы она в эту минуту ни находилась, удалось хорошенько спрятаться.

Секунду спустя мы очутились под деревьями.

От передовой до немецких позиций было меньше четверти мили. Нас попросили ходить на цыпочках и говорить только шепотом. О фотографировании нечего было и думать — лампы-вспышки сразу выдали бы нас врагу.

В темноте орудийные расчеты спокойно и четко заряжали свои пушки и вели огонь.

На следующий день перелески и березовые рощи остались позади. Мы приближались к местам сражения под Ельней, где война бушевала с сокрушительным неистовством и где после боев, каких еще не знал мир, русским удалось окончательно отбить город у врага. Это была поистине священная земля — первая, на которой после неслыханной битвы вновь был водружен советский флаг, и мы явились туда почти сразу же вслед за победой.

Да, тут не осталось березовых рощ и ельников. Мы ехали через пустыню, сотворенную людьми.

Поля были перепаханы гусеницами танков, и лишь кое-где груды золы указывали, что прежде тут стояли деревни.

Под Устиновом немцы вкопались в крутой склон холма над ручьем. Дотами им служили башни зарытых в землю танков. Узкие ходы сообщения соединяли первую линию с командными пунктами. Каждый крохотный дзот был обложен мешками с песком и укреплен бревнами, а внутри все еще стояли металлические ящики и плетеные корзины с гранатами и минами, укрытые соломой. Судя по количеству этих боеприпасов, немцев выбили с холма внезапно. Мы отправились дальше по унылой дороге под дождем и снежной крупой. К вечеру мы приехали в Ушаково, где разворачивались основные бои за Ельню. Кругом, насколько хватал глаз, простиралась мертвая пустыня, изрытая воронками, пробуравленная окопами заваленная искореженным металлом, который непрерывно обрушивался на нее во время полуторамесячного сражения.

Повсюду, точно пустые черепашьи панцири, валялись тысячи касок с маленькими свастиками в белых кружках. Измятые, пробитые насквозь каски.

Эрскин подозвал меня к извилистому окопу. На дне его почему-то валялись дохлые мыши. И всюду — следы чьей-то жизни: оторванный рукав, подметка, лохмотья плаща, раскисшие обрывки немецкой газеты. Эрскин нагнулся и дернул что-то, торчащее из земли. Это оказалась рукоятка офицерского кинжала.

Нам приходилось все время смотреть себе под ноги, потому что земля была усеяна минами и неразорвавшимися снарядами. Я наступила на что-то мягкое, и меня окутало зеленоватое облако. Оказалось, я споткнулась о груду заплесневелых хлебных буханок. Рядом валялся пробитый пулей мельхиоровый самовар. Я представила себе, как вокруг него собиралась русская семья — во времена, которые теперь казались незапамятными.

Когда мы въехали в Ельню, неподалеку еще продолжался бой. Фронт находился всего в нескольких километрах оттуда, и все время слышался треск пулеметов и грохот артиллерийских залпов.

До войны население Ельни составляло 5 тысяч человек, а теперь это был город-призрак. Тучи немного разошлись, и косые лучи заходящего солнца пронизывали черные остовы, которые когда-то были домами. Только собор с позеленевшим медным ку-

Виктор Талалихин — двадцатитрехлетний советский герой летчик.

Он родился на Волге. Летать начал в 1934 году, когда ему едва было 16 лет. «Сейчас я обороняю Москву,— сказал он,— но скоро надеюсь побывать над Берлином».

Этот снимок был сделан за день до того, как он получил в Кремле из рук Калинина Золотую Звезду Героя Советского Союза за то, что протаранил своим самолетом фашистский самолет. Совершая этот подвиг, он был убежден, что погибнет, но ему удалось выпрыгнуть с парашютом и благополучно приземлиться.

Теперь о знаменитой советской тактике тарана знают все. Но Талалихин был одним из первых героев, ее зачинателей.

Он невысок, волосы у него белокурые, глаза голубые, и он удивительно красив. Этот снимок был сделан после его первого тарана, когда его ранило пулей в правую руку.

полом каким-то чудом еще стоял, хотя и он был сильно разрушен. А вокруг, точно костлявые пальцы скелетов, указывающие в небо, торчали трубы больших печей, на которых кое-где сохранились глазурованные изразцы. Но там, где кренились хотя бы две стены или нависал хотя бы кусок кровли, уже хлопотали люди, вернувшиеся на родные пепелища. Некоторых встречали их кошки, которые остаются возле родного дома, даже когда он сровнен с землей.

Наступила темнота, и русский офицер сказал, что нам пора уезжать. Эрскин разговаривал с группой солдат у собора, а я смотрела, как люди на остатках своих печей греют пищу, которой поделились с ними солдаты. Их кухонные принадлежности показались мне странными. Приглядевшись, я увидела, что кастрюльки и сковородки сделаны из обломков фашистских самолетов и танковой брони. Эрскин и офицер окликнули меня. Их голоса заглушил нарастающий гром пушечных залпов. На западе, там, где проходила линия фронта, в темно-синем небе зажглась осветительная ракета. Пора было уезжать.

Но возвращаясь к автомобилю, я остановилась и посмотрела на женщину, которая попросила у соседки углей. В чем она их несет? Горшок с углями показался мне знакомым. Она несла угли для своего очага в немецкой каске.

■

Через сутки после возвращения домой я уже выступала перед первой своей аудиторией. Когда я начала говорить о том, что мне довелось увидеть за эти месяцы, я вдруг осознала, чем была для меня наша поездка. Я своими глазами видела, как творится история. Я нашла новых друзей, принадлежащих к доблестному народу. Я видела, как стойко они защищают свою родину — с тем мужеством и самоотверженностью, на которые способны только люди, глубоко верящие в то, во имя чего они трудятся и за что сражаются.

ЖАН-РИШАР БЛОК

РЕПОРТАЖИ ИЗ МОСКВЫ

Комментарии, переданные по Московскому радио в 1941—1944 годах

Фрагменты из книги

Перевод с французского Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ

Француз из оккупированной зоны

9 июля 1941

Только после десяти месяцев, проведенных в оккупированной Франции, в деревне и Париже, мне удалось наконец выбраться из тех мест, где моим уделом стали бездеятельность, молчание, а то и тюрьма, и уехать туда, откуда мой голос снова будет слышен на родине. Мог ли я предвидеть, что из всех стран судьбе будет угодно направить меня в ту, которой выпадет жребий принять на себя страшной силы удар врага рода человеческого.

Обратиться к вам я не мог по вполне понятной причине. Я вынужден был уважать гостеприимство нейтрального государства, которое строго, до мелочей, соблюдало нейтралитет со всеми вытекающими из него последствиями.

Воспользовавшись первыми попавшимися фальшивыми предлогами, без предупреждения, без предварительных переговоров взбесившийся пес Европы набросился на того, кто еще вчера был осыпаем лицемерной лестью.

Соотечественники мои, с каким жаром и с каким сочувствием расспрашивали меня здесь с первого же дня о моральном и материальном состоянии нашей родины! С какой жадностью слушали здесь новости, которые я сообщал! Какую глубокую симпатию к Франции ощущал я повсюду! И как горячо просили меня советские люди объяснить причины и обстоятельства ее военного краха!

Я описал им преследования нашей интеллигенции: наших крупных ученых, оторванных от лабораторий, наших университетских профессоров, лишенных ка-

федр, а зачастую и брошенных в тюрьмы, преподавателей лицеев и замечательных школьных учителей, уволенных и изгнанных, наших государственных служащих, подвергающихся издевательствам, членов муниципалитетов, тысячами снятых с работы, писателей, вынужденных молчать в то время, как книги их конфискованы, уничтожены, изуродованы цензурой нацистов и коллаборационистов, описал продажность наших газет, обращение со школьными учебниками, изъятыми и запрещенными, если они не поносят Великую французскую революцию и ее бессмертный девиз, если они не втаптывают в грязь век энциклопедистов и Виктора Гюго, Клода Бернара и Берлиоза.

Я описал им забитые рабочими тюрьмы и в оккупированной зоне, и в так называемой свободной зоне, концлагеря, откуда свыше ста тысяч лучших сынов французского народа отправлены на гибельные стройки транссахарской железной дороги.

Наконец, я описал им страшный июньский «исход», непростительную вину за наш разгром, объяснявшийся беспечностью одних, предательством других, попустительством фашистам, которое, увы, слишком пышно расцвело в кругах нашего генштаба, нашей администрации и правящих классов.

Но я описал им также и то, как французский народ опомнился от первых минут растерянности, как он тайно готовится к борьбе за национальное освобождение, говорил об его ненависти к фашизму и фашистам, под какой бы они личиной ни прятались.

Теперь, соотечественники мои, я с гордостью приношу вам иное свидетельское показание.

Когда 22 июня, в 12.15 дня, после переданной по радио речи Молотова по Москве разнеслась весть о подлой агрессии, когда страшное слово «война» багряными буквами загорелось на чистом небе летнего воскресенья, я дал себе слово когда-нибудь вам передать впечатление могучего спокойствия, производимое русским народом. К вечеру того же дня со всех концов необъятного Советского Союза уже сообщали, что несмотря на варварские бомбежки, внезапно в 4 часа утра обрушившиеся на жителей крупных городов, выдержка была и осталась характерной чертой всего двухсотмиллионного населения СССР...

Советские люди полны непреклонной решимости сразиться и победить в этой битве против врага рода человеческого. Каждый день, выигранный русскими воинами, — это день, выигранный также и для свободы Франции. Никогда еще я так остро не ощущал солидарность обоих наших народов.

Подлинное лицо Москвы

15 июля 1941

Сегодня ко мне заглянул один русский друг из Харькова — поезд прибыл в Москву минута в минуту по расписанию. К концу дня мы решили пройтись по городу. И что же я увидел? Трамваи и троллейбусы, до отказа набитые людьми, возвращающимися из пригорода с охапками сирени, васильков и прелестных лесных цветов, хрупких и серебристых, которые здесь называют «ночными фиалками». Множество людей, выходящих из продовольственных магазинов с полными пакетами крупной и сочной клубники. Это Крым посылает ее столице. Булочные, магазины с их обычными витринами — горами цветной капусты, тыквы, огурцов, знаменитыми русскими колбасными изделиями и разнообразнейшим ассортиментом белого и черного хлеба — одним из предметов гордости этой страны.

Война давала о себе знать скоплением народа у витрин, где вывешиваются сводки, перед географическими картами, которыми облеплены снаружи газетные киоски, перед едкими карикатурами, изображающими нацистских главарей, перед многокрасочными плакатами на антифашистские темы. Толпа, смеясь, повторяет хлесткие четверостишия, которыми известные или еще не известные поэты сопровождают эти впечатляющие рисунки. То и дело слышится имя «Гитлер», приправленное соответствующим эпитетом.

Меня попросили выступить на митинге, который должен был состояться в Центральном парке культуры и отдыха.

В парке, где входной билет стоит 60 копеек, нам сообщили, что к семи часам вечера кассы уже зарегистрировали 150 000 посетителей. Кафе, площадки для игр, кино, театры, эстрадные площадки, рассеянные по всей территории парка, были полны народа. Толпа советских людей, вся по-летнему в белом, подчеркивавшем золотистый загар шей, плеч, рук,— эта красивая, молодая, спортивная и веселая толпа теснилась вокруг эстрад, где исполнялись военные марши, перед вышкой для тренировки парашютистов-любителей, перед киосками на открытом воздухе, где на глазах у внимательных зрителей военные — младший командный состав — разбирали автомат, винтовку, казенную часть пулемета, объясняли на

макете принцип аэрофотосъемки или хитроумное устройство противогаза, вновь и вновь отвечали на вопросы о химической войне, на другие вопросы.

Наш митинг состоялся среди зелени под открытым небом. Председательствовал русский писатель, бывший участник войны 1914—1918 гг. Немецкие поэты (эмигранты-антифашисты) читали стихи. Крупный немецкий биолог, полвека назад закончивший Сорбонну, прекрасно говорил по-русски — единственное, что смутило собравшихся, это то, что в порыве горячности он запустил в публику стакан с водой.

Я говорил о том, что как ни старались наши вероломные генералы, фашистские генштабисты, предатели всех мастей свалить ответственность за поражение на фронтовиков и народ, француз не утратил присущей ему отваги, и всюду, где в его распоряжении были боеприпасы или его не покинул командный состав, солдат 1940 года сражался как достойный потомок солдата Вердена и Марны, Жемапа и Флерюса. Я описал им нацистскую тиранию, обрушившуюся на оккупированную Францию, и чувствовал, как люди дрожат от гнева, когда я говорил им про гитлеровских прихвостней, которые позволяют себе выступать от имени правительства Франции.

В заключение я сказал им о надежде, возлагаемой нашим народом на победу Красной Армии, и о том, с каким напряжением он следит за титанической борьбой, от которой зависит судьба мира и судьба Франции.

И как же я был взволнован, когда по окончании митинга ко мне вдруг подошли два пехотных командира — лейтенант и совсем молодой командир батальона. Они только что приехали с фронта. У обоих на гимнастерках красовалась тогда еще редкая Золотая Звезда Героя Советского Союза. Лица их были отмечены печатью страшной серьезности и страшной усталости, той самой, какую знавали и мы двадцать пять лет назад после окопов Вердена. Они крепко пожали мне руку и, краснея как девушки, пробормотали: «Спасибо, товарищ, большое спасибо».

Как же так? Это я должен был выразить им благодарность, и вдруг, робея, они принесли мне, французу, свою. Что я такого сказал, что мы поменялись ролями?

Мы возвращались через многолюдный суровый город. Праздничный вечер? Да нет. Просто вечер передышки в атмосфере сдержанного спокойствия и твердой веры в победу. Метро, трамваи, троллейбусы в сумерках отвозили людей домой — сотни тысяч людей, тех, кто назавтра чуть свет приступят к работе — работе, которой они отдаются бескорыстно, не щадя сил, с энтузиазмом добровольного подвига во имя победы, во имя спасения родины, во имя свободы.

Таково подлинное лицо Москвы на 24-й день блицкрига, который, в сущности, несмотря на все ужасы, оказался блицкрахом. И если в будущем что-либо может служить для нас источником непоколебимой уверенности — то именно это лицо Москвы, эта ее душа, эта ее правда, что я и призван удостоверить, выступая здесь перед вами со своим свидетельством.

Ленинград держится

18 сентября 1941

Битва, развернувшаяся за Ленинград, поистине грандиозна. Я хочу, соотечественники мои, рассказать вам о ней подробнее.

Заводы работают под бомбежкой. Однако производительность труда не только не падает, но растет. Сначала они перевыполняли план на 10%, потом на 40%, а теперь перевыполняют в два раза.

А между тем с этих заводов почти все рабочие отправлены оборонять город.

Прежде всего ушли молодые. После речи Сталина 3 июля они по окончании рабочего дня сразу же приступили к активной военной подготовке. Когда опасность приблизилась к городу, заводы сформировали отряды, присоединившиеся к Красной Армии, многие из которых уже покрыли себя боевой славой. А в цехах ушедших заменили отцы, старики, пенсионеры.

По мере того как опасность росла, эти старики, ветераны гражданской войны, уже защищавшие город в 1919—1920 гг.— тогда от армии Юденича,— требовали винтовки и уходили на фронт. Теперь на их место у фрезерных и токарных станков встали их жены и дочери. Правда, эти женщины, эти девушки дежурят также и в госпиталях, и пунктах «скорой помощи». Ну и что из этого? Просто один рабочий день следует у них за другим: восемь часов в госпитале, десять часов на заводе. А по окончании смены в цехе на стенде, как и накануне, рядом с именем красуется: «200% нормы». Вот почему держится Ленинград!

Ленинград держится, как держался Верден. Горы фашистских трупов растут перед заградительными сооружениями в пригородах. В бои за город враги бро-

сают всю последнюю продукцию немецких заводов, едва сошедшую с конвейера. Например, новые «мессершмитты-115».

Но вот послушайте, что делают с ними советские летчики. Бринько, летчик с Балтики, расстрелял всю обойму. Патронов у него больше нет. Тогда он разворачивается на крыле своего маленького быстролетного гидроплана, которым сбил уже 12 вражеских самолетов, и бросается на хвост «мессершмитта». Страшный треск — и огромный бомбардировщик, развалившись надвое, камнем летит вниз. Бринько кое-как приводняется, а на следующее утро снова вылетает на своем маленьком гидроплане за четырнадцатой победой. Вот почему держится Ленинград.

Возгласы «ура!» на улицах, машины, набитые солдатами в касках... Это дивизия Бондарева, едущая на отдых с фронта,— надолго запомнят ее фашисты. Дивизия Бондарева оказалась в самом пекле сражения. Это в ее секторе немцы изо всех сил пытались прорвать оборону, обрушив ураган мин, бомб и танковых атак. Но бондаревцы не дрогнули. Наоборот — решив, что у них недостаточно минометов, они захватили их у врага и направили против прежних владельцев.

Сегодня дивизия Бондарева приехала на отдых, и заводы Ленинграда чествовали ее. Бойцов принимают на каждом предприятии, в каждом цехе. Они говорят: «Вот что мы сделали, но вот чего нам недостает, вот что нам надо». И радио сообщает всей стране, каждому дому, каждому заводу о подвиге бондаревцев и об их требованиях. «Больше снарядов, пушек, автоматов, самолетов!» — просят солдаты. «Будет, клянемся»,— отвечают рабочие. И назавтра всю ночь пламенели заводские печи, еще напряженнее трудились люди, и выпуск продукции поднялся еще на одну ступень. Седьмого сентября более полумиллиона юношей и девушек дополнительно отработали день в пользу героического города. Вот почему держится Ленинград.

Тьма опустилась над плещущим уже по-осеннему Финским заливом. Ночь черна, как совесть Лаваля. Бесшумно продвигается советский морской патруль. Внезапно на фоне непроглядного мрака вырисовывается еще более темное пятно. Это баржа с буксиром. Стрелять — значило бы насторожить врага. Нет! Сторожевой корабль таранит буксир и топит его, разворачивается и с ходу врезается в баржу с сотнями вражеских солдат. Крики, потом тишина.

За этим транспортом следуют еще пять. Командиры Жесков и Тунгусков берут их на себя и, обновив приемы старого морского боя, отправляют на дно тысячу гитлеровцев, крича им вдогонку: «Будете соваться к нам в Ленинград!» Вот почему держится Ленинград.

Звучит радио. Вся страна замолкает. На улицах приостанавливается движение. В чем дело? Говорит Ленинград. Голос, хорошо известный каждому русскому. И имя, тоже известное всему миру,— имя композитора Дмитрия Шостаковича: Я говорю с вами из своего рабочего кабинета. Я сижу за роялем. Рядом со мной винтовка. Я только что отдежурил в окопах вместе со своими товарищами. Сейчас я дома. И чтобы дать вам представление о решительном и гордом спокойствии, царящем в умах, хочу объявить вам, что сегодня вечером я закончил свою Седьмую симфонию. Вслед за голосом Шостаковича звучит голос ученого Байкова, члена советской Академии наук: Я старый металлург. Я привык думать, что на свете нет ничего прочнее стали. Я ошибался. Я вижу, что существует нечто прочнее стали. И это — гражданин Советского Союза!

Вот почему держится Ленинград.

В Комитет обороны приходит человек. Он инвалид, у него нет пальцев на ногах.

Зачем он пришел? Он получает пенсию. Чего он просит?

— Я прошу работу. Хочу помочь обороне Ленинграда.

Вот почему Ленинград держится.

Вот что власть, завоевавшая всеобщую любовь и доверие, может получить от своего народа в дни испытаний. Вот что мог бы сделать французский народ для защиты родины, если бы его призвали к борьбе и вооружили!

Советские и французские партизаны

15 февраля 1942

В среду я рассказывал вам о подвигах советских партизан. А вот и еще примеры.

В одном из оккупированных крупных городов директор завода организует своих рабочих в отряд, который выбирает его командиром. За месяц операций отряд не менее десяти раз вступает в открытый бой с вражескими колоннами, в результате чего убито 200 гитлеровцев, уничтожено 8 танков, 25 грузовиков, 12 артиллерийских орудий, в большинстве своем — крупного калибра. Ночью

партизаны пробираются в танковый парк врага, закладывают мины в гусеницы машин, и назавтра, когда танки выводят из укрытия, они взрываются один за другим. Это о директоре завода.

Прошлой осенью колхозники заметили, что несколько вражеских подразделений с минометами и противотанковыми пушками укрываются среди зреющих хлебов, и тогда под предводительством своего председателя они незаметно поджигают ниву, и почти все солдаты гибнут в кольце огня, а все, что может взорваться, взрывается — материальная часть противника выведена из строя. Это о председателе колхоза.

Известный эстонский писатель, имя которого начинается с буквы «В», сколотил небольшой партизанский отряд. Когда они как-то раз шли ночью по шоссе и в темноте не видно было, что они вооружены, навстречу им попалась колонна немецких грузовиков. Шофер головной машины остановился и попросил огонька прикурить. Спичка осветила его порванную перчатку. «Хотите новую вместо рваной?» Тот с радостью согласился и протянул руку. И за эту руку его выволокли на землю и пронзили штыком. Писатель сел за руль вместо него и повел послушную колонну за линию фронта, прямо в расположение частей Красной Армии. Совсем неплохо для литератора.

Отряд, возглавляемый агрономом, получил известие, что колонна из двенадцати вражеских грузовиков со снаряжением остановилась из-за поломки головной машины. Шоферы и солдаты-сопровождающие воспользовались этим обстоятельством, чтобы перекусить и погреться у костра. Неожиданно появившись на опушке леса, партизаны забросали их гранатами; солдаты, оставшиеся в живых, сдались в плен; партизаны подорвали все двенадцать грузовиков и исчезли. Это об агрономе.

Я не берусь рассказывать все аналогичные истории об учителях, учительницах, лесниках, сельских почтальонах, железнодорожниках и инженерах. Им несть числа.

И все же я хочу упомянуть еще об одной. Несколько дней назад в занятом оккупантами порту комендатура потребовала, чтобы паромщик переправил через бухту роту солдат. На паром погрузилось 150 человек. На самом глубоком месте паромщик спустился на нижнюю палубу, открыл заградительный щит и потопил паром. Ни одному из 150 солдат не удалось спастись, но и паромщику тоже. Это ли не великолепный, невиданный пример храбрости партизан?

Вам ничего не напомнила эта последняя история? Произошла она не в русском порту, а случилась в Шербуре на прошлой неделе!

Да, соотечественники мои, грядет день, когда Франция узнает имя этого героя и мы воздадим должное его доблести.

Отныне такие истории доходят до нас из всех уголков нашей страны.

В Дижоне пылают заводы, работающие на гитлеровскую армию. На прошлой неделе загорелась мастерская, где шьют обмундирование, на позапрошлой — лесопильня. На той же неделе была брошена бомба в поезд, направляющийся из Дижона на русский фронт.

По сообщению из Швеции, такое положение вещей, распространяясь по всей стране, деморализует немецкие гарнизоны. Как правило, они состоят из дивизий, потрепанных на русском фронте и посланных набраться сил к нам.

«Набраться сил». Чудесные слова. Да, соотечественники мои, немецкие дивизии, потрепанные в боях, «набираются сил» в нашей прекрасной стране за счет французов, на деньги французов. Матери семейств, вы не можете достать молока своему младенцу? Но разве солдатам Гитлера не нужно молоко, чтобы «набраться сил»? Не можете достать мяса для мужа и сына? Это потому, что у фашистов разыгрался аппетит там, на Востоке, где русский крестьянин все уничтожил на их пути! Французский крестьянин, ты вынужден отдавать свои последние запасы по первому требованию оккупантов? Что ж! Разве фрицы не едят твой белый хлеб, твою картошку, твоих кур, разве они не пьют твое вино, чтобы «набраться сил»? Ведь они так долго ничего этого не видали!

Франтиреры Франции, это благодаря вам каждый проглоченный кусок покажется им горше полыни. Вы стоите на верном пути.

Враг уже не радуется. Враг не видит конца своим испытаниям. Ему обещали победу — в единственном числе. Теперь Гитлер обещает ему уже только победы — во множественном. Вот случай, когда множественное меньше единственного. И сами эти «победы» Красная Армия превращает в постоянное отступление, непрерывные и кровавые поражения

Враг видит, как на глазах тает его рота, его батарея, вся материальная часть. День за днем атаки Красной Армии становятся все многочисленнее и сильнее.

И если теперь, даже на отдыхе, на расстоянии пяти тысяч километров от фронта, он вынужден постоянно быть начеку, если и здесь, у нас, его на каждом шагу подстерегают опасности, страх, о-о, не сомневайтесь, его боевой дух мало-помалу иссякнет.

Знайте же, мои соотечественники, краска стыда заливает нам лица, когда в бесчисленных письмах и записных книжках немецких солдат, подобранных

Красной Армией на русском фронте, мы читаем одну и ту же фразу, как неотвязный припев: «Да, здесь житуха уж не та, что во Франции!»

Спасибо вам, франтиреры Франции, французские рабочие, крестьяне, инженеры, техники, интеллигенты, за то, что вы смываете с лица Франции печать позора, которым заклеймили нашу родину предатели 1940 года, за то, что прекрасная наша земля уже перестала гостеприимно предлагать оккупанту себя для увеселительной прогулки.

Но речь идет не только о восстановлении чести. Речь идет о нашем спасении. Речь идет не только о том, чтобы деморализовать немецкого солдата, но и о том, чтобы лишить его оружия, без которого он не сможет оказывать сопротивление советской технике.

Гитлеру требуется все, что производят заводы Франции, все, что произрастает на ее полях. Иначе он не смог бы продолжать войну.

Каждый состав с оборудованием, продовольствием и войсками нацистов, который пересекает Францию, направляясь на русский фронт, каждый рельс, каждый кусок листового железа, каждый мотор, каждый грузовик, каждый самолет, изготовленный у нас,— это столько же проигранных битв за Францию, столько же дней и месяцев, добавленных к вашим страданиям, столько же преждевременных могил, которые мы роем собственными руками для наших детей, стариков, заложников, для наших героев.

Ни одного поезда для Германии! Ни одного болта, ни одного гвоздя, ни одного килограмма зерна, ни метра сукна для Германии!

Победа Сталинграда

3 февраля 1943

Вчера, 2 февраля 1943 года, командование армии Донского фронта послало рапорт Верховному Главнокомандующему вооруженными силами Союза ССР Сталину. Этот рапорт гласит:

«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.II.43 г. ЗАКОНЧИЛИ РАЗГРОМ И УНИЧТОЖЕНИЕ ОКРУЖЕННОЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА».

Затем следует перечисление уничтоженных армейских, танковых корпусов, артиллерийских полков, перечисление трофеев.

«В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе СТАЛИНГРАДЕ и в районе СТАЛИНГРАДА прекратились. Подсчет трофеев продолжается». Боевое донесение подписали: представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Воронов, член Военного Совета Донского фронта генерал-майор Телегин, командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский, начальник штаба Донского фронта генерал-лейтенант Малинин.

И все. Факт, не имеющий прецедента в истории человечества, не нуждающийся в риторических украшениях.

Итак, 2 февраля 1943 года стало свидетелем бесславного конца одной из лучших, одной из самых отборных армий врага, прекрасно оснащенной ударной армии, почти сплошь нацистской по своему составу. И эта-то армия капитулировала во главе с генералами. В последние дни сражений, начиная с 10 января, русские войска только вокруг Сталинграда и в Сталинграде взяли в плен 91 000 человек — среди них одного маршала, 24 генерала и более 2500 офицеров. 23 ноября VI армия вермахта была отрезана от остальных армий Гитлера. В этот момент она насчитывала 330 000 человек. 330 000? Это три пятых всех сил великой армии Наполеона при ее вторжении в Россию в 1812 году! Сколько же времени требуется на то, чтобы вооруженная до зубов армия численностью в 330 000 человек, высокомерных, чванливых, превратилась в беспорядочное скопище завшивевших, посиневших от холода доходяг, растерявших свои винтовки и автоматы, с трудом шагающих в своих лохмотьях по снегу, пачками сдающихся в плен, смиренно поднимая над своими отрепьями отмороженные синие руки? VI немецкая армия, армия Гитлера даст нам ответ: для этого достаточно семидесяти двух дней. За десять недель 235 000 человек из 330 000 погибло — погибло под пулями и снарядами, от русского штыка, от голода, холода, болезней.

Еще несколько дней тому назад перед лицом судьбы, перед лицом правды Геринг осмеливался лгать: «Мы побеждаем на Волге». Еще несколько дней назад по случаю годовщины тройственного пакта Риббентроп имел дерзость говорить: «Когда-нибудь Сталинградская битва станет символом борьбы Европы за свободу». Да, конечно! Но весь мир воспринимает эти слова в смысле, противоположном тому, какой придает ему циничный агент по сбыту шампанских вин. Красная Армия и советский народ выиграли эту битву, ставшую символом борьбы за свободу.

Целая армия Гитлера, несмотря на все ее грозные доспехи, была сокрушена на месте. Поражение, не имеющее равного в истории Германии, не имеющее рав-

ного во всей истории войн. По всему миру прогремел слух об этом поражении — об этом симптоме неизлечимого недуга. Правительство Бельгии объявило о нем бельгийскому народу в своем прекрасном послании, переданном по лондонскому радио. Оно напоминает, что VI армия — именно та армия, которая 10 мая 1940 года нарушила нейтралитет и границу бельгийского государства и предала Бельгию огню и мечу. 10 мая 1940-го — 2 февраля 1943-го! Эти две даты отмечают срок, потребовавшийся VI армии, чтобы пройти путь от преступления к наказанию.

В дорожном дневнике павшего под Сталинградом немецкого ефрейтора 578-го танкового полка читаем следующую фразу: «Что сделал я такого плохого, чем заслужил такую суровую кару?» Что плохого ты сделал, глупый гитлеровский солдат? Значит, ты не вспомнил ни сожженного тобой Намюра, ни сожженного тобой Амьена, ни сожженного Бове, ни сожженного Тура, ни сожженного Орлеана, ни сожженного Жьена? Убийца, ты не вспомнил заложников, падавших тысячами под пулями твоего автомата? Значит, для тебя звук пустой, о разбойник с большой дороги, и Бельгия, и Франция, изнасилованные, обесчещенные, и разграбленная Европа, ее замученные граждане, отчаяние, позор и смерть, которые ты весело сеял на своем пути от Норвегии до Парфенона, от Лотарингии до Бидасоа? Значит, ты не помнишь ни французского масла, которым смазывал втулки своих машин, ни молока, украденного у детишек Франции, чтобы откармливать свиней своей роты? Ни рек крови, которые по твоей милости лились по Чехословакии, Польше, Украине и Белоруссии?

Соотечественники мои, Гитлер в спешке собирает на Западе свои дивизии, чтобы бросить их в зияющие бреши, проломленные Красной Армией на Востоке. Этих дивизий насчитывается 22. Девять других находятся в пути. Итого, 31. Немецкие самолеты, подбитые советскими летчиками, две недели назад находились в Сицилии. И это не конец! Другие ошметки гитлеровской армии, окруженные на западе и юге под Воронежем, агонизируют и тоже сдаются в плен во главе с генералами. 86 000 пленных тут, 16 000 — там. Какие огромные перспективы открывает для действий французских партизан, всего французского народа то обстоятельство, что уже не так плотно, не так тесно сжимает нашу страну кольцо немецкой оккупации, и при одной мысли об этом чье сердце в груди не забьется надеждой? Вести, идущие из Франции и Бельгии, подтверждают, что ослабевшим и деморализованным врагам патриоты устраивают не очень-то сладкую жизнь. И если каждый приложит к этому силы, каким бы крепким еще ни казался зверь, он рано или поздно издохнет.

Как Сталинград выкачал из Франции солдат Гитлера

9 февраля 1943

Солдаты 304-й пехотной дивизии привольно жили в прекрасной стране Франции. В один из декабрьских дней прошлого года 304-ю дивизию подняли по тревоге и погрузили в вагоны. Место назначения не известно. Фашистам это не нравилось. Маршрут: Бельгия, Голландия, Саксония, затем Польша. Зигзаги пришлось делать из-за того, что пути были разбиты британской авиацией и партизанами. Путешествие длилось бесконечно, не хватало паровозов — результат превосходной работы железнодорожников и партизан Северной Франции и Бельгии.

В дороге фашистские офицеры старались поднять боевой дух своих людей наигранно товарищеским тоном. «Да не расстраивайтесь вы,— говорили они,— остатки Красной Армии окружены под Сталинградом и вот-вот сдадутся. Уж мы так устроимся там на зимние квартиры! Ведь там же полно сала и меда. Немецкий солдат будет там как сыр в масле кататься, станем самыми богатыми во всей Европе».

Дивизия высаживается. И в первом же бою эти вояки попадают в плен. И впрямь, видать, русские очень сильны. 573-й и 574-й пехотные полки разбиты наголову. Командование приказывает отступать. Полная неразбериха — кто в лес, кто по дрова. Раненых бросают, не внемля их стонам и мольбам о помощи. Наутро на поле боя валяются замерзшие трупы. Выжившие сдаются в плен. Вот каков был конец 304-й пехотной дивизии вермахта, попавшей прямо со сладостного отдыха во Франции прямо в мясорубку Восточного фронта.

На днях Илья Эренбург говорил вам о 383-й гитлеровской дивизии, прибывшей из Кутанса, 340-й — из Кале, 323-й — Каена, чтобы оказаться уничтоженными под Воронежем.

6-я танковая дивизия, считавшаяся оборонной и находившаяся в резерве в Бордо, 371-я пехотная дивизия из Безансона, 71-я пехотная дивизия из Реймса, 24-я танковая дивизия из Парижа — все они похоронены под Сталинградом.

Из края каннских мимоз 323-я дивизия была переброшена прямо в снега и уничтожена под Воронежем.

А теперь, парижане, слушайте внимательно: первые три дивизии, в июне 1940 года вступившие в Париж, три дивизии, которые по любезному приглашению французского генерала Дентца завладели нашей столицей,— эти три дивизии, 100-я, 113-я и 295-я, больше не существуют! Перемолоты под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию!

За последнее время Красной Армии удалось установить номера восемнадцати дивизий — хорошенько запомните эту цифру, соотечественники мои,— срочно отозванных из Франции для подкрепления и погибших в СССР! В данный момент Гитлер не в состоянии заткнуть такую брешь.

Говоря о зимней кампании прошлого года, Гитлер признался в апреле: «Мы были близки к катастрофе!» Зимняя кампания этого года оказалась еще более суровой. Потери, которые она приносит, которые влечет за собой, несравнимы с прошлогодними. Гитлеру нанесен сокрушительный удар. Никогда еще он не был так слаб. Итак, для французов существует один-единственный лозунг: сплачивайте свои силы, вооружайтесь, наносите врагу удар за ударом!

Непокорные

20 марта 1943

Гитлеровская армия потеряла столько боевой техники, что замена ее потребует многих месяцев работы, изнурительной работы, миллионы тонн стали, алюминия, меди, каучука, редких металлов и миллионы рабочих.

Этих миллионов рабочих у третьего рейха больше нет. Они спят вечным сном в морозной русской степи. Жак де Ледэн, один из презренных борзописцев — прислужников Германии, писал в «Иллюстрасьон» следующие строки: «Рейх принял твердое решение заставить служить всех наших молодых бездельников, сибаритов, подсмеивающихся над кровавыми битвами, в которых немецкая молодежь проявляет себя с лучшей стороны».

И французы отлично поняли, в чем тут дело. Однако угроза депортации не только не согнула гордую нацию, но распрямила ее. Из партии в 6000 лионцев, назначенных к отправке на Восток, полиция сумела схватить лишь 50, да и тех освободили женщины, неожиданно напав на помещение, где они были заперты.

В Изере с 12 намеченных к отправке заводов не уехал ни один человек, в Верхней Вьенне из 108 инженеров и техников отправили только двух, у Мишлена в Клермон-Ферране тоже только двоих из 74, у Хочкисса мгновенно вспыхнувшая забастовка спасла намеченные к отправке жертвы, в Коломбе рабочие и работницы при поддержке всего населения освободили, напав на гестапо, тех, кого должны были увезти в Германию. Состав с рабочими, выехавший из Нанта, 34 раза останавливался по сигналу тревоги, и, когда он прибыл в Манс, в вагонах не оказалось ни души.

Гестапо и его французские лакеи мстят как могут.

7000 мужественных франтиреров Савойи мало-помалу становятся настоящей французской армией, на французской земле, во французской форме, под началом французского командного состава. Все население с ними и сердцем, и делом. Этот пример электризует всю Францию. Мобилизованная молодежь, видя перед собой такой пример, понимает, что на бога, как говорится, надейся, а сам не плошай. Франция не одинока. У нее великие союзники. Красная Армия крушит гитлеровскую военную машину. Союзники в Тунисе тоже не сидят сложа руки. Силы союзников Франции растут, а итало-немецких фашистов — слабеют. Победа брезжит на горизонте. Еще, может быть, не совсем светло, но уже светает. Гул пушек в пустыне Платей, в Верхней Савойе свидетельствует о прямом вступлении Франции в войну — не в войну Лаваля и Петэна, войну гитлеровскую, а в войну французов за Францию.

Несколько фактов

15 мая 1943

Письмо девушки:

«В Курске нас загнали в неотапливаемые вагоны для перевозки скота, по 50—60 человек в вагон. Выходить было запрещено. Часовые осыпали нас побоями. Во Львове нас высадили, повели к врачу. Нас заставили раздеться догола перед солдатами и подвергли полному медицинскому осмотру. Чем ближе мы подъезжали к Германии, тем людей оставалось меньше, потому что чуть ли не на каждой станции выбрасывали на полотно железной дороги больных и умирающих с голоду».

А вот выдержки из двух писем молодой Нины Ж. от 8 октября и 10 ноября 1942 года, присланных из нацистского лагеря:

«Мамочка, мы живем хуже собак. Я хожу босиком, обувки никакой нет. С виду я настоящая нищенка. Я выплакала все глаза. Сегодня мы проработали

не евши 12 часов подряд. Но какая работа, если все время хочется есть? Надсмотрщица меня то и дело понукает: «Ну, ну, арбайтен, шнеллер, шнеллер!» («Ну, ну, работай, быстрей, быстрей!») Дорогая моя мамочка, здесь есть вещи еще похуже, еще страшней, но у меня нет духу о них писать. Мы привыкли к тому, что в два часа ночи открывается дверь и надзиратель кричит: «Ауфштейн!» («Встать!») Нас выводят во двор. Стоим там целый час. Нас пересчитывают. Мы замерзаем. Почти все босиком. То идет дождь, то подмораживает. Мы работаем с французами и сербами. У меня цинга».

Юная Маша Н. пишет матери:

«Здравствуй, дорогая и любимая мамочка. Я живу у хозяина. За все время меня только раз отпустили из дому — в воскресенье. Я опоздала на полчаса. Мама, если бы ты видела, как хозяин бил меня по лицу, таскал за волосы! Я этого никогда не забуду! Я износила свое последнее тряпье. Мама, нам велели написать домой, чтобы нам прислали пальто и валенки. Умоляю тебя, дорогая мамочка, даже если будут тебя заставлять, ничего сюда не присылай. Все равно мне ничего не передадут».

В каком веке мы живем, соотечественники мои? Неужели правда, что прошло 153 года с того дня, когда Национальное собрание торжественно провозгласило равенство всех человеческих рас? 95 лет с того дня, когда Французская республика и Великобритания торжественно декретировали или возобновили декрет об отмене рабства?

Гитлеровская Германия, обосновывая свою мрачную и зверскую доктрину о смехотворном этническом превосходстве, воскресила для собственной пользы античное рабство и ужасы работорговли.

Вот что пишет Надя С., школьница из Ворошиловграда, 16 лет:

«Вместе с еще 16 девочками меня отвезли в город Шван. Там устроили настоящий рынок, где продавали русских. Нас заставляли поворачиваться туда-сюда, обмеряли и щупали. Меня купил булочник Карл С. Он заставляет меня работать с шести утра до поздней ночи. Хоть я живу у булочника — хлеба почти никогда не ем. Каждый день — мытье полов, стирка утром и вечером, дети. Фрау меня толкала, щипала, била по голове. Я учила французский язык, историю, а теперь я стала рабыней, как во времена римского владычества».

Нота протеста советского народного комиссара иностранных дел представляет собой целое досье, и при чтении его кажется, что слышишь предсмертный крик ужаса, к глазам невольно подступают слезы, а сердце сжимается от ярости.

Мать немецкого солдата Вильгельма Бока, 22-я пехотная дивизия, спокойно и хладнокровно пишет сыну:

«Недавно соседка купила себе работницу. Она уплатила деньги, и ей разрешили выбрать из женщин, пригнанных на днях из России».

А вот письмо другой мерзавки, адресованное мужу, Отто Теску, 6-я рота 4-го пехотного полка:

«В среду похоронили еще двух русских женщин. Сейчас на кладбище их уже пять, а две при смерти. И нечего им жить. Было бы лучше всех поубивать».

Жена унтер-офицера Иозефа Викерта пишет из Франквейлера:

«Я тебе еще ничего не писала о ста марках, которые ты мне прислал. Я их сразу же отдала твоей матери, чтобы она купила себе военнопленных. Сейчас они стоят недорого».

Тысячи молодых русских, не умерших в вагонах, лагерях, лазаретах или на заводах-душегубках, возвращаются искалеченными, с выколотыми глазами или больные чахоткой. Никогда систематическое истребление народонаселения не осуществлялось с подобной ненавистью. Я сказал «систематическое», потому что в ноте приводятся точные тексты Геринга и Заукеля, вдохновителей этой депортации, разработавших все ее приемы, включая самые зверские, самые неистовые. А пока эти ужасы творятся по пути или по прибытии в Германию, гитлеровская армия силком сгоняет население на сборные пункты, сжигает деревни, вешает, расстреливает, уничтожает, превращает оккупированные территории в пустыни и бойни.

В самом сердце Европы гитлеровская Германия возродила рабство с дикарской утонченностью, что могло бы отбросить цивилизацию на двадцать веков назад, если бы у фашизма было хоть что-то общее с цивилизацией. На все эти ужасы можно ответить только борьбой, борьбой не на жизнь, а на смерть. Что и делает Красная Армия и советские партизаны.

Эти орудия войны глядят на меня с немым укором

3 июля 1943

Я на выставке среди плотной толпы людей. Группы зрителей неторопливо переходят от одного экспоната к другому. Вслух разбирают пояснительные надписи. И вдруг я слышу, как рядом со мной кто-то по слогам читает знакомые имена: «Пежо... Лафли... Заурер... Хочкисс... Рено».

Где же мы в самом деле? В Москве, на огромной впечатляющей Выставке трофеев, захваченных Красной Армией. На этих орудиях, предназначенных убивать русских,— французские фабричные марки. Они глядят на меня с немым укором. А вот и новые имена: Ситроен, Денлоп (заводы Монлюсона), Гудрич (Коломб), Мишлен.

Вот французское противотанковое орудие 47-го калибра, а вот — 75-го. Раздел полевого оборудования: чугунные печурки, обыкновенные или покрытые для красоты эмалью. Наклоняюсь, чтобы разглядеть их марку: Артюр Мартен.

Вот площадка, отведенная танкам. На броне одного из них выбито клеймо Сен-Шамон. На броне соседних танков — Крезо, Фив.

То и дело на этой выставке я наталкиваюсь на видимые или скрытые следы французской работы. Сплошь и рядом солдат подвозили к передовой на грузовиках Пежо, Рено, Лафли, собранных на «Мишлен комфорт». Слово «комфорт» звучит весьма многозначительно. Те, кого везли в этих трофейных грузовиках, теперь с полным комфортом покоятся на прифронтовых солдатских кладбищах. Но сколько еще других французских грузовиков, оснащенных французскими моторами, на французских шинах «комфорт» по-прежнему доставляют на поле боя вооруженных фрицев — фрицев с пулеметами, с автоматами, фрицев, вероломно вторгшихся в Россию, чтобы уничтожить народ, который был исконным другом народа французского, разграбить его добро, воровски завладеть его землей и тем самым укрепить свое господство над Францией.

И особенно наводит на эти мысли одно совпадение. Я посетил выставку позавчера. А позавчера было 1 июля. Позавчера исполнилось ровно два года, как вишистские подлецы по свистку из Берлина прервали дипломатические отношения между Францией и Советским Союзом.

Два года прошло с того позорного дня 1 июля 1941 года. А Гудрич в Коломбе продолжает снабжать гигантскими покрышками немецкие тяжеловозы. Клермон по-прежнему невозмутимо смотрит на дымящиеся трубы Мишлена. Ситроен, Хочкисс, Сомюа, Испано-Суиза, Гном и Рона преспокойно пребывают на месте.

Французские рабочие и инженеры, если вы собственными руками остановите заводы, работающие на фашистских убийц, это обойдется нашей отчизне куда дешевле, чем если вы в этом отношении целиком положитесь на бомбы союзной авиации. Уже благодаря доблестным деяниям наших партизан ежедневно выходят из строя заводы, работающие на Гитлера. Этот великий патриотический почин должен быть подхвачен всеми: пусть каждая авария на заводе, обслуживающем оккупантов, породит десятки подобных акций.

Французские рабочие и инженеры, патриотические чувства большинства из вас не вызывают сомнений. Вы жили надеждой во время битвы за Москву, во время защиты Сталинграда. Вы ликовали, узнав о поражении гитлеровцев прошлой зимой. Вы жадно ловите новости, поступающие из Лондона и Москвы. А назавтра вы возвращаетесь на завод к своей повседневной работе, которая по сути является ныне работой на вашего врага, работой против друзей Франции. Доколе будет длиться ваше терпение? Доколе вы будете пилить сук, на котором сидите?

Выставка трофеев в Москве, где я увидел французское оружие,— это предупреждение, дружеский и суровый призыв. Удвойте же ваши усилия, чтобы расшатать военную машину врага и тем самым приблизить час победы, час возрождения Франции.

История Ганса Франкенфельда

17 июля 1943

Ганс Франкенфельд, обер-лейтенант, командир 7-й роты 2-го батальона 11-го моторизованного полка 9-й танковой дивизии, перешел на сторону Красной Армии. Собственно, нет ничего примечательного в том, что какой-то Ганс Франкенфельд дезертировал из рядов гитлеровской армии. Нынче подобные факты дезертирства из гитлеровской армии — постоянное явление на советском фронте. Все больше и больше случаев дезертирства из армии, которую безумцы швыряют в нелепые и трагические бои, из армии, потерпевшей жесточайшие поражения. Почему же мы выбрали именно этого Ганса, а не сотню других? Потому что этот Франкенфельд — типичный гитлеровец. В 1932-м, в двадцатитрехлетнем возрасте, Франкенфельд, не помня себя от радости и гордости, вступил в фашистскую партию, напялил коричневую рубашку. Всем известно, сколько крови пролилось в Германии в 1933—1939 годах по милости этих людей — этой коричневой чумы. Надо думать, что Франкенфельд проявил тут немало рвения, если так быстро пошел в гору. Вскоре он уже группенфюрер СА, затем командир отряда штурмовиков. В своих показаниях этот аккуратный служака скромно обходит сии страницы собственной биографии. Он предпочитает расписывать свои военные подвиги. Голландия, Франция видели его в оккупационных войсках. Он лейтенант. Награжден Железным крестом. Балканская кампания: Сербия, Гре-

ция — еще один Железный крест. Русская кампания — благодарность в приказе, личная благодарность фельдмаршала Браухича. Но вот наступает осень 1941-го. В своих речах 3 октября и 9 ноября фюрер предсказывает решающие победы. А заканчивается все это кровавым поражением под Москвой при первом большом зимнем контрнаступлении Красной Армии. Наш милейший Франкенфельд удивлен. Он пишет, как и всегда, педантично до смешного: «Непрерывные занятия развили мою способность понимания». Читай: «Полученные удары открыли мне глаза». Оценив силу Красной Армии, он понял, что война перестала быть приятной прогулкой. Прошлогоднее летнее наступление Гитлера не внушило ему особых надежд. Даже первые успехи не опьянили его, потому что теперь он знал, с каким противником пришлось столкнуться, и предвидел контрнаступление. Результаты известны: Сталинград, Кавказ, Дон, Курск! Франкенфельд записывает с грустью: «Мы потеряли много своих старых дивизий». И он опять сравнивает факты с бахвальными речами фюрера в начале зимы 1942 года, столь бедственной для гитлеровских армий.

Но вот настала весна сорок третьего года. Она раскрыла ему глаза на растущую мощь Красной Армии. Он беспокоится все сильнее. Он задается вопросом: «Куда мы идем?»

Его тревожит лишь одно. Он знает, что пресловутый «атлантический вал» — блеф. Он говорит буквально следующее: «Решающие операции воздушного десанта и высадка на Западе возможны в любой момент». И добавляет: «Особенно если учесть, что эта высадка будет в основном опираться на французский народ».

Узнав, что гитлеровские заправилы бросили свою армию в новое наступление, он, исходя из предыдущих событий и учитывая силу Красной Армии, пишет: «Совершенно ясно, что наше наступление приведет к тяжелым потерям, затем — к контратаке русских и к катастрофе». События этих последних дней подтверждают справедливость такого прогноза.

5 июля мы прочли послание Гитлера. Фюрер еще раз объявляет о предстоящей битве, которая, как и последняя, необходима для победы третьего рейха. За несколько дней жестоких боев гитлеровцы понесли страшные потери в людях и технике. Франкенфельд, войсковые офицеры напрасно шлют рапорты в штабы — операции становятся все беспорядочнее, одна бессмысленная атака следует за другой.

Восьмого июля приходит приказ перейти к обороне. Франкенфельд пишет: «Наши офицеры так и остолбенели». Они поняли, что кампания этого года проиграна. И больше, чем кампания,— война. Единственный вопрос, который он теперь пытается решить, это: «Когда же наступит окончательное поражение: через два месяца или через полгода?» И поскольку десятки полученных ударов еще сильнее обострили его «способность понимания», он говорит себе: чем раньше, тем лучше. И вот в одно прекрасное утро часовые увидели, как к советским окопам идет, подняв руки, по ничейной земле обер-лейтенант Франкенфельд.

Так рассеялись иллюзии штурмбанфюрера СА, стопроцентного пруссака и вчера еще образцового гитлеровца.

Заметили ли вы брошенную им мимоходом фразу о неизбежных действиях французского народа? Он грустно добавляет: «Сразу же после первого крупного поражения Германии можно ожидать восстания или саботажа во всех оккупированных нами европейских странах». Вот вам доказательство того, соотечественники мои, как сильно влияют на моральный дух гитлеровской армии героические деяния французских партизан и диверсантов.

Старинное французское фаблио называется «Как девицы набираются разума». Сейчас фрицы преподнесли нам современный вариант этого фаблио: «Как боши набираются разума». Метод один — бить. Без передышки. Без жалости. Без колебаний. Бить все сильнее и сильнее. Это метод Красной Армии и советских партизан. Другого нет. Только он может приблизить час победы.

Армия, идущая впереди народа

6 июня 1944

Вот он пришел, долгожданный день. Операция колоссального размаха и смелости! Но прежде всего вспомним о тех, кто подготовил ее и сделал возможной. И в первую очередь о бесчисленных советских героях, сражавшихся на фронтах и решивших судьбу мира. Вспомним и о героях суровых кампаний в Африке и Италии. Не забудем несгибаемых и упорных тружеников подводной охоты, а также морские военные конвои. Не забудем тысячи отважных артиллеристов, осуществлявших столь необходимую и трудную артподготовку.

В этот час вспомним всех французских патриотов, которые в течение четырех лет подготовляли и морально и физически почву для этой минуты, борясь в жесточайших условиях и усеяв тысячами трупов голгофу французского воскресения.

Это благодаря вам, безвестным и смелым борцам Сопротивления, вам, упрямо непокорявшимся всем и всяческим унижениям, вам, изобретательным и отважным диверсантам, вам, франтирерам и партизанам, участникам боевых групп, всем вам, из Па-де-Кале, Дордони. Жюра, Эна, Бретани, Савойи, Гренобля, Лиона, Парижа, это благодаря вам, заложники, шедшие на смерть с песней на устах, вам, подлинным мученикам и героям, именно благодаря всем вам — авангарду народа — высадка в Нормандии стала реальной. Враг будет раздавлен. Правда, чем скорее он поймет, какая смертельная опасность ему грозит, тем яростнее будет сопротивляться. Но не сомневайтесь, зажатый мощными тисками союзных сил и вашей ненависти, враг будет истерт в порошок.

Только сейчас на улицах Москвы я слышал аплодисменты толпы, собравшейся у громкоговорителей. Надежда окрыляет мир. Вчера был освобожден Рим. Освобождение Парижа не за горами. Гром с Востока и гром с Запада, прозвучав вместе, оповестят о часе справедливости, о часе возмездия.

Я их видел

19 июля 1944

Я только что видел их всех, 57 600! Остатки гитлеровской армии «Центр». Пленные из-под Витебска, Бобруйска, Минска — зверье, которому удалось выбраться живым из ловушек, расставленных Красной Армией, за те двадцать дней, пока она переносила советские знамена с западного берега реки Сож на восточный Неман.

Они шли через Москву нескончаемой колонной — 57 600 военнопленных, взятых в последних боях. Во главе с генералами — их 19. И офицерами — их целый полк.

Я вышел посмотреть на них, как и все москвичи. Густая толпа. Радио призывало ее к спокойствию. Излишняя предосторожность. Московская толпа поражала иностранцев достойным своим поведением. А между тем какой народ столько настрадался от жестокости гитлеровцев? Вокруг меня стояли женщины, пережившие оккупацию. Они рассказывали про методическое зверство, изощренную жестокость захватчиков. Глаза русских не созданы для ненависти. И тем не менее глаза этих женщин сверкали — в них пламенела накипевшая ненависть, которую они передадут грядущим поколениям, даже вплетут ее в сказки для детей.

Русские — народ человеколюбивый. Глядя на поверженного врага, они сдерживали свой гнев. Скорее уж на их лицах было написано недоумение, возмущение. Как же так? Эта однообразная вереница людей в отрепьях и есть та самая армия, которая претендовала на завоевание мира? Эти вшивые вояки и есть та самая раса, что провозглашала себя по праву рождения владычицей нашей планеты?

Стояла хорошая погода, и москвичи были одеты в полотняные белые костюмы и светлые платья. И землистый, серо-черный поток побежденных тек как бы между двух человеческих берегов, как бы меж двух цветочных гирлянд, и шепот голосов, сдерживаемых чувством достоинства, сливаясь воедино, шелестел подобно летнему ветерку.

Эти тысячи людей только раз переступили границу презрительного созерцания. Момент был настолько типичен для советских людей, что о нем следует упомянуть. Когда последний ряд колонны прошел, появились поливочные машины Моссовета, сверкающие серебряной окраской, и залили асфальт потоком дезинфицирующей жидкости. Вот тут-то русский народ разразился смехом. А когда смеется гигант, в этом есть что-то особое. Этот смех был неким символом благодарности москвичей своим депутатам за то, что они выразили общие чувства с такой смачной и высокомерной иронией... И в то же время в такой форме, что это не прозвучало пощечиной несчастью.

В нескольких шагах от меня стоял немецкий поэт Эрих Вайнерт, председатель Комитета свободной Германии, прославленный бард, который в течение стольких лет призывал своих соотечественников к возмущению. А еще чуть подальше вновь назначенный итальянский посол задумчиво созерцал нескончаемую вереницу этих побежденных, своих вчерашних союзников, которые увлекли его родину на дно пропасти.

Внезапно угрюмая колонна пленных вздрогнула, как от удара электрическим током. По ее рядам пробежал шепот, и все пленные, как по команде, повернули головы к машине, которая медленно ехала вдоль колонны. В этой машине сидел дивизионный генерал Эрнест Пети, глава французской военной миссии, с несколькими своими офицерами. «Ein französischer General!» [1] — зашептались пленные. Их изумление вполне можно было понять. И так уж эта Москва, нетронутая и величественная, хотя ей давно полагалось бы, если верить фашистской пропаганде, лежать в руинах после налетов «люфтваффе», наводила их на печальные раз-

[1] Французский генерал.

мышления, а тут еще новый сюрприз. Этот французский генерал возник перед ними как призрак возрождающейся Франции, той Франции, которую они считали поверженной навеки и которая поднималась из пепла у них на глазах, воскрешенная к жизни, к присущей ей верности своим исторически сложившимся союзам и заповедям своего национального сознания.

Лично я никак не мог насытиться этим зрелищем. Ведь я сам видел, как оккупант входил в наши города, со всеми удобствами располагался там.

Я пристально рассматривал этих людей, которые в течение стольких лет превозносили или просто терпели Гитлера и его свору, примирившись с тем, что немецкий народ отождествляют с самым что ни на есть низким на свете — нацизмом; этих людей, в большинстве своем павших так низко, что они видели будущее нации лишь в порабощении и уничтожении других наций; этих людей, большинство которых, несомненно, проходило гусиным шагом по улицам Парижа, мечтало о погибели моей родины или, на худой конец, покорно соглашалось на это без всякого возмущения; этих людей, которые собственными руками или руками себе подобных предали огню половину Европы и не скрывали, что готовят такую же участь Франции; этих людей, прохладу зеленых лесов предавших за деревянные виселицы да плахи; этих людей, позволивших превратить себя в армию палачей; я смотрел на них, на этих голубоглазых истязателей.

Ах, друзья мои! Это шествие по Москве тысяч немецких пленных, взятых в последних боях, являло собой грандиозное зрелище. Все, вплоть до торжественного молчания, окутывавшего колонну, было живым воплощением одного из самых крутых поворотов колеса фортуны, которому предстоит войти в историю.

Но этим поворотом мы обязаны не переменчивому счастью. Он — итог неслыханной энергии русских, их длительного упорства, прозорливости, беспримерного напряжения воли.

Близок день, когда по Парижу пройдет такая же колонна. Но нет, это тоже не будет просто грубым реваншем! Эта минута станет для нас священной, она освятит великий труд нашего морального возрождения и очищения. Так мы освятим свой выбор между легкомыслием и героизмом.

Слабость французов, кульминационным моментом которой стал 1940 год, привела не только к национальной катастрофе, но и способствовала вовлечению всей Европы в беду. Таким образом, вражеская оккупация нашей территории — осязаемый образ наших собственных ошибок. Когда побежденный и обезоруженный враг пройдет по улицам Парижа, мы будем смотреть на него в молчании, презрительно, с достоинством, как если бы перед нами проходили наши собственные побежденные ошибки, наша преодоленная слабость, наши промахи, искупленные борьбой, мужеством, жертвами.

Только такой ценой, не большей и не меньшей, это зрелище окажется достойно великого народа, отважного и гордого. А пока что постучим на счастье по дереву, как это принято у русских.

◆

В. СКОПИН

ИСКУССТВО БЕРНХАРДА ХАЙЗИГА

Искусство Бернхарда Хайзига, с чьей выставкой, посвященной 25-летию образования Германской Демократической Республики, недавно познакомились москвичи, сложилось в период после второй мировой войны, когда многие художники ГДР переживали процесс творческой перестройки, связанной с созданием нового социалистического общества.

Бернхард Хайзиг родился в 1925 году в семье живописца, с отцом связаны первые шаги в искусстве. Самостоятельная деятельность мастера начинается после войны: работа в качестве художника-графика, Лейпцигская школа художественного ремесла, педагогическая деятельность.

Уже в 50-е годы в первой серии литографий на тему Парижской коммуны Бернхард Хайзиг заявляет о себе как художник-публицист, способный решать трудные задачи историко-революционного жанра.

Выразительностью отличается следующий по времени большой цикл литографий «Фашистский кошмар» (1967—1968). Бывший солдат, участник войны, художник обладает острым чувством социальной ответственности. Продолжая традиции немецкой обличительной графики первой трети столетия, он изображает людей, изуродованных насилием. Цикл взывает к зрителю страстным чувством протеста и боли, поднимается до символического обобщения кошмарного и мрачного мира фашизма.

Антивоенная тематика находит свое выражение и в живописных произведениях. Он идет к образу посредством смелого применения современных живописно-пластических средств. Работы конца 60-х — начала 70-х годов («Осквернённые боги», «Крепость Вроцлав — город и его убийцы», «Под свастикой» и другие) отмечены обостренностью живописного видения. В экспрессивной, аллегорической форме обращается художник к зрителю. Напряженный колорит, резко диссонирующие цветовые отношения, энергичные мазки позволяют эмоционально передать жестокость и бессмысленность войны.

Более сдержанными, но не менее выразительными средствами драматические события военного времени переданы в работе «Война» по роману писателя-антифашиста Людвига Ренна. Сумрачный и холодный колорит картины передает давящую атмосферу обреченности, немое отчаяние прижатых к земле и сгорбленных под тяжестью напряжения, страха и жестокости солдат.

Трагические ноты звучат в работе, посвященной событиям в Чили. Из темного фона картины в мрачной и беспощадной решимости выступает фигура солдата-палача. Лицо его жертвы — крик протеста бесчеловечному, душащему все живое миру фашизма.

В антивоенных многофигурных композициях Бернхарда Хайзига часто присутствуют символы философского звучания, используется яркий язык метафор. Художник постоянно находится в поиске, пополняет свой опыт новыми впечатлениями, его живопись включает в себя большое количество сюжетов и тем, рожденных новой действительностью его социалистической родины.

В портретах Хайзига виден интерес к характеру человека, передаче его внутренней значимости. Современники предстают перед зрителем как люди эпохи социальных преобразований, живущие идеалами своего времени. Яркие, красочные акценты, пульсирующий свет для художника — средство передачи внутреннего богатства и активности человека.

Многие пейзажные работы отмечены свежестью живописных ощущений. Мир, увиденный во время путешествий, многогранен и богат. В сложной колористической гамме, где живость и легкость мазка раскрывают светлую и красочную сторону мира, решены пейзажи, выполненные в г. Созополе,— серия, навеянная венгерскими впечатлениями.

Популярность профессора Бернхарда Хайзига в Германской Демократической Республике велика. Он участник многих выставок, занимается преподавательской деятельностью, является действительным членом Немецкой Академии искусств, удостоен Национальной премии.

АРТУРО УСЛАР ПЬЕТРИ: ДИАЛОГ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

— Лишь несколько первых шагов сделал я по советской земле. Однако мне посчастливилось: повидал не только Москву, но и Волгоград, Ленинград. Перед моими глазами были те знаменитые центры, откуда в годы последней войны советский народ наносил сокрушающие удары по нацизму. Ценой огромных жертв защитив мир тогда, Советский Союз действенно отстаивает отвоеванный мир сегодня. Я могу это сказать, непосредственно познакомившись с советскими людьми, мировосприятие которых здесь, на месте, мне стало понятнее. Нам, живущим на Западе, очень важно развивать дружеские контакты с советским народом, расширять и углублять взаимопонимание...

Высказывания одного из крупнейших венесуэльских писателей, академика Артуро Услара Пьетри в беседе с нами тем более привлекают внимание, что принадлежат они человеку, который, придерживаясь консервативных позиций, прежде предпочитал «быть поодаль» от всего, что связывалось в той или иной степени с нашей страной, с нашей борьбой за построение нового общества, за мир и свободу на земле.

Как он говорил в Москве, так и писал в Каракасе. В цикле очерков «Башни Кремля», опубликованном им по возвращении из СССР в венесуэльской влиятельной газете «Эль насьональ», он не мог не подчеркнуть, насколько поразил его подвиг советских людей в Великой Отечественной войне и в мирном строительстве.

Вспоминая свое посещение района Сталинградской битвы, он писал: «В ходе этой битвы, одной из самых длительных и кровопролитных в мировой истории, гитлеровские полчища неоднократно штурмовали город, прилагая чудовищные усилия, чтобы его захватить. Но город, буквально сметенный с лица земли, которую покрывал миллион убитых, выдержал. И название его — Сталинград — превратилось в символ невиданного героизма. Отсюда начался военный разгром нацизма... Статуя на Мамаевом кургане олицетворяет непокоренный дух города... Мемориал Павшим — это нечто более, чем исторический монумент, это — алтарь благоговения. Тут испытываешь сильное волнение перед всем, напоминающим героические свершения тридцать лет назад...»

Венесуэльских читателей он познакомил со своим выступлением на вечере, устроенном писателями Волгограда:

«Среди первых приглашают выступить меня. Поднимаюсь на трибуну и произношу слова сердечного привета. Обращаюсь к собравшимся: я приехал из далекой страны, по своей географии и истории не похожей на вашу,— страны, где также верят в справедливость, где долго сражались за справедливость и за свободу человека, где счи-

Из работ Бернхарда Хайзига

Чили. 12 сентября 1973 года

Читающая девушка

Дебрецен

По роману Людвига Ренна «Война»

тают, что каждый народ имеет право жить в мире согласно избранной им системе... Слушающим меня я высказываю восхищение их героической борьбой в годы войны. Говорю, что все мы должны лучше знать друг друга и что отныне Советский Союз для меня уже не будет являться лишь информацией, почерпнутой из книг: в моей памяти навсегда останутся многие и многие —мужские, женские, детские — лица советских людей, озаренные улыбкой, располагающей к общению...»

Поездка в Советский Союз для Артуро Услара Пьетри, по его словам, не только помогла ему «открыть другой мир, далекий и вместе с тем близкий», но и убедила его в необходимости «всемерно поддерживать диалог между Западом и Востоком, между нашими государствами и народами, между венесуэльскими и советскими писателями — все это служит делу мира на земле».

«Диалог — прежде всего»,— заявляет Артуро Услар Пьетри, за спиной которого — почти полвека литературной деятельности, с именем которого тесно связана новейшая политическая история Венесуэлы.

Еще в двадцатых годах Услар Пьетри, уже опубликовавший первый сборник своих рассказов, поступает на дипломатическую службу, назначается членом венесуэльской делегации в Лиге Наций. В тридцатых — сороковых годах он — министр просвещения, секретарь президента республики, министр финансов, министр внутренних дел. С пятидесятых годов и до недавнего времени — сенатор. В шестидесятых годах выдвигается кандидатом на пост президента Венесуэлы, был генеральным секретарем буржуазной партии «Национальный демократический фронт»... А не так давно, выступая в Национальном конгрессе, он сообщил, что не намерен впредь занимать общественно-политические или государственные посты, решил целиком посвятить себя литературному труду.

К слову Артуро Услара Пьетри прислушивается не только его страна (хотя с его мнением по вопросам внутренней политики и экономики значительная часть венесуэльцев не всегда соглашалась, да и у нас точки зрения по некоторым вопросам не всегда совпадают) — поныне его статьи, комментирующие различные актуальные проблемы, еженедельно печатаются в полусотне ведущих газет латиноамериканского континента, в США, в Канаде.

Если выступления политического деятеля Артуро Услара Пьетри в прошлые годы не раз вызывали полемику, подвергались серьезной критике в венесуэльской печати, то произведения писателя-гуманиста Артуро Услара Пьетри издавна и неизменно пользуются бесспорным успехом среди читателей, известны во всем мире.

О значительнейшем вкладе писателя в литературу, в культуру Венесуэлы свидетельствует и недавно изданный муниципалитетом Каракаса том в четыреста страниц «Библиография Артуро Услара Пьетри», в котором приведено около двух тысяч названий его произведений, а также публикаций венесуэльских авторов о нем, о его творчестве.

— Конечно, я не могу забыть,— говорил нам Артуро Услар Пьетри,— что почти сорок пять лет назад в Москве появились первые переводы моих рассказов, что примерно тогда же о моей литературной работе сообщал советский журнал «Иностранная книга»...

С чувством удовлетворения он узнал у нас, что его творчество было представлено в вышедшем на русском языке несколько лет назад сборнике рассказов венесуэльских писателей и что одно из московских издательств предполагает опубликовать перевод его исторического романа «Алые копья», воспроизводящего эпизоды борьбы венесуэльского народа за свою независимость и свободу в начале прошлого века.

Между прочим, нельзя не вспомнить, что этот роман, принесший автору литературную славу и уже переведенный на многие языки мира, был создан писателем, не достигшим еще и двадцати пяти лет.

«...Кое-кто из нас, тогда молодых венесуэльских писателей,— позднее писал Артуро Услар Пьетри,— остро ощущал необходимость внести перемены в нашу литературу... Наша страна во всех ее аспектах представлялась нам нуждающейся в полном обновлении... В один прекрасный день мы открыли, что недостаточно декларировать и дискутировать — нужно создавать такие произведения, которые утверждали бы появление нового течения в нашей литературе и доказывали бы возникновение нового восприятия венесуэльской жизни. Я был одним из тех, кто взялся за такого рода задачу... В моих первых рассказах я уже не следовал старым образцам... Позже родилась мысль написать «Алые копья», мой первый роман. Я писал его в Париже, весной — перед окном, выходившим на невзрачную улицу, однако не глядя ни на окно, ни на улицу,— осаждаемый видениями моей страны».

Много лет прошло с той поры. Ныне в творческих планах писателя — новый экскурс в далекое прошлое.

— Я собираюсь писать новый роман. О жизни Венесуэлы в период гражданской, «федеральной» войны между либералами и консерваторами в пятидесятых — шестидесятых годах XIX века,— говорит Услар Пьетри.

И, предупреждая наш вопрос, уточняет:

— Да, по замыслу — роман исторический, но его социальная проблематика будет перекликаться с проблемами нашего времени.

«Уход в историю», кстати, и ранее не означал для писателя отход от современности.

«Я вступил на путь исторического романа,— писал он об «Алых копьях»,— не из-за увлечения археологией, не намеревался превозносить прошлое. Мне хотелось, отойдя от чистого «пейзажизма», выразить нашу национальную суть. Я подумал, что это национальное следует искать в те часы истории, когда дух народа раскрывался с наи-

большей силой. По-моему, именно в сокрушительном и созидательном порыве нашей войны за Независимость ярче проявилась суть нашей тогда еще очень молодой нации, впервые безоглядно и неукротимо заявившей о своем становлении. Поэтому в моем романе... главные усилия направлены на то, чтобы показать многоликую массу, показать отношение людей из народа к событиям».

В латиноамериканской критике отмечалось, что в романе «Алые копья», выделяющемся оригинальностью стиля и высокой поэтичностью языка, выведены массы, а не отдельные исторические деятели той эпохи (даже о Симоне Боливаре лишь упоминается), и главным персонажем предстает сама Венесуэла, сбрасывающая оковы испанского колониального гнета, мучительно борющаяся с жестоким, беспощадным врагом.

«Алыми копьями», по оценке венесуэльского исследователя Орландо Араухо и других литературоведов Латинской Америки, Артуро Услар Пьетри открыл новый этап в истории венесуэльского романа. Еще молодой писатель, в первых произведениях которого наблюдалось некоторое влияние сюрреализма, сумел создать реалистический роман, к слову сказать, поддавшись убеждению впоследствии знаменитых романистов Алехо Карпентьера и Мигеля Анхеля Астуриаса, его друзей по парижской жизни в двадцатых — тридцатых годах, попробовать силы в «большой прозе».

Спустя четыре десятка лет, в предисловии к очередному изданию «Алых копий», Мигель Анхель Астуриас назовет этот роман «ключом к пониманию нашей латиноамериканской действительности» и акцентирует: «В орбите одной этой книги — преобразуемый мир». По суждению такого волшебника слова, как Астуриас, страницы романа Услара Пьетри «нам кажутся не написанными, а звучащими. И даже сегодня, читая, мы слышим их... Слово-камень, слово-дерево, слова-металлы...»

Реалистическими тенденциями характеризуется и позднейшее творчество Услара Пьетри, а творческий диапазон писателя поистине обширен — романы и повести, рассказы, пьесы, не говоря о поэзии, эссе, литературоведческих трудах. Богатство жанров, в которых выступает Услар Пьетри, побудило Мигеля Отеро Сильву назвать своего коллегу по перу «наиболее организованным мозгом поколения».

— Художнику слова, человеку, испытывающему муки творчества, горящему желанием выразить свои мысли в произведении искусства,— говорит Услар Пьетри,— надо исходить от живого человека и от реальных обстоятельств, но не от абстракции, не от симуляции или имитации. Для подлинного художника нет более реального человека, чем тот, который идет рядом с ним, и нет более реальных обстоятельств, чем те, что окружают его. Надо искать человеческое и подлинное в том единственном, что мы можем попытаться глубже узнать,— в том, что нас окружает, что нас формирует, что нас определяет. Для настоящего искусства нет иного пути... Искусство исходит от человеческого, от самого живого и ощутимого в человеке...

Среди своих «духовных учителей», кроме отдельных классиков Запада, он также упоминал Льва Толстого и Достоевского, Чехова, и Максима Горького, и Леонида Андреева.

Касаясь проблем творческого метода, Артуро Услар Пьетри замечает:

— Нет формулы, по которой можно создать роман, как нет формулы, следуя которой можно стать творцом, нет формулы, чтобы стать художником. Не существует готовых рецептов или каких-то фиксированных приемов для того, чтобы написать литературное произведение. Плохи писатели, запасающиеся формулами, рецептами, трюками... Потому так трудно настоящему писателю говорить о своем произведении. Произведение должно говорить за автора.

Услар Пьетри критикует некоторых молодых латиноамериканских писателей, «увлекающихся искусственной усложненностью языка и структуры произведения, что само по себе ставит барьер между произведениями и массами». Здесь уместно процитировать венесуэльский журнал «Имахен»: «Артуро Услар Пьетри никогда не писал для меньшинства — он всегда обращается к широкому читателю, к человеку улицы, к большинству».

— В венесуэльской литературе, как и в других литературах Латинской Америки, мы видим процесс бурного созидания... Насколько я знаю, советские читатели уже познакомились и знакомятся со многими произведениями наших писателей старшего поколения. Появилось много имен молодых авторов, интересных, хотя наша литературная молодежь, откровенно говоря, могла бы создать больше...

— Что ей мешает, дон Артуро?

— Литературный труд требует, прежде всего, жесткой самодисциплины. Тому, кто не работает над рукописью каждый день, угрожает риск отстать. Один старый испанский матадор говаривал, что настоящий тореро должен ежедневно видеть перед собой морду и рога быка — только это позволит сохранить боевую форму. Тот, кто не работает каждый день над словом, теряет возможность стать хорошим писателем...

Неожиданно он добавляет:

— Мне кажется, что отдельные наши молодые литераторы, забывая о рукописи, с головой утопают в политике ради политики. Не хочу и не могу утверждать, что писатель должен быть аполитичным. Я сам отдал много лет политической деятельности. И теперь, решив отойти от активной политической борьбы, решив заниматься лишь литературным трудом, я не собираюсь повернуться спиной к проблемам моей страны. Как-то я уже говорил: будучи готов в любую минуту потушить пожар, я не намерен стать пожарным. Политика и литература идут вместе. Но произведение, поднимающее политическую проблематику, должно быть непременно высокохудожественным.

— Кроме исторического романа, о котором, дон Артуро, вы уже говорили, еще что намечено в ваших творческих планах?

— Два произведения, точнее два романа, почти подготовлены к печати. Но только «почти», они еще требуют работы. В ближайшее время выйдут две книги эссе. В одной из этих книг — «Другая Америка» — я касаюсь проблем нашего латиноамериканского мира, проблем взаимоотношений между Латинской Америкой и Европой, между Латинской Америкой и Соединенными Штатами.

Наш собеседник возвращается к очень затрагивающей его теме:

— Всегда я был и остаюсь сторонником контактов между странами и народами. В настоящее время, в условиях международной разрядки, для этого открываются новые горизонты. Но, конечно, нам предстоит еще многое сделать — нельзя забыть, что активно действуют и противники разрядки. По мере того как наши народы будут лучше узнавать друг друга, будут укрепляться позиции всех, кто стоит за мир. В этом свете я вижу чрезвычайно важную, ответственнейшую роль литературы. Своими произведениями мы, писатели, наилучшим образом можем содействовать диалогу между народами. Литературу я всегда понимал как реальную возможность вести плодотворный диалог.

— Однако кое-кто на Западе пытается умалить значение печатного слова, литературы вообще в эпоху научно-технической революции...

— Находятся ниспровергатели романа, да и литературы вообще. Есть и проповедники, призывающие молиться на технику... Но ведь телевидение, скажем, не уничтожило ни радио, ни кинематографию, ни прозу, ни поэзию. Будут, конечно, будут сосуществовать и телевидение, и кино, и радио, и книга. Литература не погибнет. Несколько лет назад мною было написано эссе «Нужно ли помнить о Троянской войне?». Я писал, что да, мы не можем жить без достижения науки и техники, но и научно-технические специалисты не могут обойтись без знания гуманитарных наук. Литература учит человека быть человеком. Какой компьютер отразит все краски, все многообразие жизни человека! Компьютер — прекрасный помощник, слуга человека, но не его заменитель. Литература нам напоминает: мы остаемся людьми, должны быть людьми. И о Троянской войне надо знать... тем более есть помышляющие о новых, неизмеримо более страшных войнах, и военные расходы все еще грандиозны... Не опасаюсь повториться: нам нужны контакты, нужен диалог, нужно взаимопонимание. Это поможет нам действовать сообща.

Артуро Услар Пьетри подчеркивает:

— Во время второй мировой войны советские люди пожертвовали очень многим во имя мира на земле. И для нас, венесуэльцев, как и для всех латиноамериканцев, слово м и р — не пустой звук.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ДОКУМЕНТ ВЕЛИКОГО МУЖЕСТВА

Писатели против фашизма. Произведения писателей социалистических стран Европы. Предисловие П. Топера. Составители П. Вегин, Н. Замошкина, Б. Слуцкий. Москва, «Прогресс», 1975. 535 стр.

Само название этой книги говорит о ее содержании. В ней опубликованы рассказы, фрагменты из повестей, документальной прозы и поэтические произведения более ста писателей-антифашистов социалистических стран Европы. Вошли сюда и воспоминания участников Сопротивления, подпольные листовки, стихотворные надписи на памятниках жертвам фашизма. Не все авторы книги живы, иные из них погибли, замученные или расстрелянные в гитлеровских застенках.

Книга, составленная из написанного когда-то и как будто уже ушедшего в прошлое, в которой оживает трагедия — все еще недавняя — миллионов людей, заставляет сердце снова содрогнуться и отозваться на высокий человеческий подвиг и светлое мужество борцов. Кроме того, а это сегодня, быть может, самое важное, она заставляет задуматься и глубже разобраться в уроках минувшей войны, в уроках прошлого, чтобы вернее увидеть дорогу к будущему. Обращение к прошлому во имя будущего всегда было непреложным условием развития, сегодня это имеет особое значение, ибо вторая мировая война, разожженная фашизмом, несла в себе то, чего не знала ни одна другая война за всю историю человечества. Война эта, в отличие от прежних, сразу же определилась не только как война одного государства против другого или одних государств против других, а как всеобщая схватка добра и зла, и, вследствие этого, ее исход был небезразличен для всего человечества.

Целиком посвященный борьбе против фашизма, сборник ведет нас к истокам этой борьбы, к ее историческому осмыслению. Надо сказать, что составители книги, собирая материал, глубоко продумали свою задачу. Вот почему книга открывается стихотворением болгарского поэта Христо Смирненского «Красные эскадроны», написанным в 1920 году, задолго до второй мировой войны:

На заре великой эры, сея искры новой веры,
в бой несутся эскадроны, взоры их грозой горят.
. . . . . .
Ах, летите, эскадроны! Взор огромный миллионов
к вам надеждою прикован и огнем любви живым.
. . . . . .
И когда последний камень крепостей, зажатых в пламя,
рассыпаясь черным пеплом, обратится в пыль и прах,
вы с коней своих слезайте, землю — нашу мать — лобзайте
и навеки утверждайте правду в мире, мир в сердцах!

(Перевод с болгарского С. Городецкого)

Все честное и светлое в человечестве, мечтавшее веками о правде и справедливости, все угнетенные люди труда увидели наконец-то свою надежду и свое спасение

в этих красных эскадронах, и все страшное и гнусное, что было в старом мире и подкармливалось им, так же безошибочно узнало в тех же красных эскадронах своего смертельного врага и могильщика. В ту пору все эти силы зла еще не назывались фашизмом. Но фашизм — не случайная вспышка чумы, а явление, имеющее глубокие корни.

В «Возвращении на родину» Бела Иллеш пишет: «После падения Венгерской советской республики в 1919 году меня разыскивали за убийство. Кого я убил, где и когда, власти, издавшие приказ о моем аресте, знали столь же мало, сколь и я, зато я точно так же, как и власти, разыскивавшие меня, знал, что если меня схватят, то повесят. Не потому, что я убийца, а потому, что сражался против убийц, потому что я коммунист».

Болгарский писатель Николай Христозов в документальной повести «По следам «пропавших без вести»[1] описывает подавление апрельского восстания в Болгарии 1925 года так, что мы сразу узнаем кровавый почерк фашизма, хотя только еще «...на европейском небосклоне подымаются фигуры Муссолини и его болгарских единомышленников во главе с Цанковым. Гитлер — пока еще лишь мало кому известный политический авантюрист, отбывающий наказание за неудачную попытку совершить в Мюнхене фашистский переворот. Это позднее взовьются огненные языки над рейхстагом, разразится невиданная в истории военная гроза, задымят трубы крематориев».

И дальше, перелистывая сборник, это страстное обвинительное слово против фашизма, мы встретим «Послание товарищу Димитрову в те дни, когда он боролся с фашистским судом в Лейпциге» Бертольта Брехта, стихи Десанки Максимович «Детская косичка в Освенциме» и «Освенцим» Лойзе Кракара, стихи югославского поэта Миле Клопчича «Ловим бурю», написанные в фашистском лагере, «Лидице» чехословацкого поэта Франтишека Галаса, документальную повесть польского писателя Збигнева Вилямовского «Рейхстаг в огне». Писатели разных поколений, разной судьбы, разных стран, изобличая фашизм, часто сравнивают его с первобытным варварством: «Столбенеем, словно при виде прорастающих из окровавленной земли зубов дракона» (Ян Парандовский. «Макулатура»). И это не случайно. Только фашизм мог объединить все худшее со времен дикости и подняться с этим на человека, решившего навсегда покончить с извечным злом.

Все произведения, собранные в книге, созданы не сторонними людьми, не наблюдателями, а борцами и жертвами фашизма, которые столкнулись с ним лицом к лицу. Меньше всего думаешь о литературных достоинствах, о литературе вообще, когда читаешь, например, стихи молодого поэта Николы Вапцарова, написанные в день казни, или стихи Миклоша Радноти, сочиненные им в лагере Хайденау. Потрясает судьба мюнхенских студентов Ганса и Софи Шоллей, которые в самом логове фашизма подняли против него свой голос — нож гильотины пресек их молодую жизнь. В этих юношах и девушках, в немецких коммунистах, во всех, кто сберег честь и совесть нации, жила Германия. Именно в казненных своих братьях Иоганнес Бехер видел истинную Германию:

Назвать ли тех Германией мы вправе,
Кто жег дома и землю окровавил,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке невинным детям
И грабил города? И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!
. . . . . .
Где трупы изувеченных, распятых
Безмолвно проклинают палачей
И где к отмщенью призывает жалость —
Там новая Германия рождалась,
Там билось сердце родины моей!

(«Где была Германия?»
Перевод с немецкого Л. Гинзбурга)

Один из авторов книги справедливо замечает, что «мрачные фигуры палачей терялись в безмолвном сиянии человеческой доблести и духовной силы». Да, эта книга — не только свидетельство трагедий и слез, убийств и разрушений, которые принес миру фашизм, но и документ великого мужества борцов с фашизмом. И где бы люди ни боролись против фашизма — в партизанских ли отрядах Югославии и Словакии, в подполье Германии или в застенках палачей, в лагерях и смертных камерах,— везде их осеняло красное знамя Страны Советов, надежду и силу для борьбы они черпали в сознании, что есть на свете страна красных эскадронов, стоящая во главе мирового сражения с фашизмом.

«Под Москвой и наш пролег рубеж... И рассвет надежды нашей — там»,— писала югославская поэтесса Мира Алечкович. Польский солдат в стихотворении Владислава Броневского, отправляясь в бой, просит: «Серп и молот свободы дайте мне на дорогу». К России обращается и болгарский поэт Веселин Андреев:

Так не давай врагам ты спуску,
отважный русский человек,
пусть сгинет на просторах русских
кровавый, гитлеровский век!

(«Россия».
Перевод с болгарского М. Павловой)

Надписи в зале Красной Армии в Мавзолее на горе Витков в Праге. Среди берущих за душу сильных слов, идущих из уст павших в боях с фашизмом, есть и такие:

Кто там? Брат мой? Сестра? Кто там молча простился со мною?
Я не слышу — я мертв. Твоего я не вижу лица.
Но я верю тебе, что свой долг перед этой страною
Честно выполнишь ты, как солдат, до конца!

Читая эту книгу, еще раз убеждаешься, что музы не молчали, когда гремели пушки.

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 10 за 1974 год.

не молчали даже перед казнью. «А писатели,— говорится в стихотворении Станислава К. Неймана «Люди в отеле»,— не были бы писателями, путеводными кострами народов, если бы не выступали против войн и фашизма». Пушки той войны умолкли, а музы звучат и по сей день, и голос их стал слышней. Они не только поведали человечеству всю правду о фашизме, закрепили в нашей памяти его звериный облик, но и восславили те силы, которые раздавили фашизм. Но мы знаем, что пока существует социальная система, породившая это чудовище, борьба с фашизмом — какие бы обличья он ни принимал и как бы он ни назывался сегодня или завтра — не окончена. В этом — главный урок минувшей войны, к этому взывают живые и павшие борцы за светлое будущее человечества.

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

ОТВЕТ ТОЛЬКО ОДИН — СОПРОТИВЛЕНИЕ

Великое утро Фотиса Загориса. Рассказы европейских писателей о судьбах молодежи во время второй мировой войны. Составитель В. Коткин. Предисловие Дм. Холендро. Москва. «Молодая гвардия», 1974. 416 стр.

Ранним утром, когда первые лучи солнца осветили пенно-розовый куст цветущего миндаля, оборвались две юные жизни. Сраженный пулей, погиб в приморском городке оккупированной фашистами Болгарии безымянный юноша-художник. Другим выстрелом — на железнодорожном полустанке в Греции — был убит двадцатитрехлетний Фотис Загорис. Оба — члены подпольных антифашистских организаций, оба попали в лапы гитлеровской охранки по нелепой случайности.

Сходство сюжетных линий вовсе не означает, что рассказы болгарского писателя Эмила Манова «Веточка миндаля» и греческого — Димитриса Демердзиса «Великое утро Фотиса Загориса» повторяют друг друга.

И все-таки есть много общего в этих ла и остальных героях рассказов, собранных в одной книге. Итальянские рабочие, норвежские лесорубы, румынские железнодорожники, чехословацкие крестьяне, югославские школьники и учителя — все они ненавидят фашизм, все они храбры и самоотверженны. Это книга о людях, принимавших участие в массовом антифашистском движении, имя которому — Сопротивление. Оно возникало всюду, где появлялись гитлеровцы, и объединяло самых разных людей. Борцы-антифашисты поначалу не имели опыта борьбы, были неорганизованны и безоружны. «Никто не учил их технике сопротивления,— пишет голландский публицист П. Паапе,— а потому им приходилось полагаться на себя, действовать по наитию, совершать те или иные акции по собственной инициативе» («Пепел Клааса...»).

Норвежский солдат Арнол, узнав, что его командование намерено капитулировать перед гитлеровцами, с возмущением заявляет: «Мы не изменники! Мы знаем, чего хотим». С группой таких же, как и он, солдат-патриотов Арнол совершает побег из военного лагеря и вступает в бой с захватчиками (Ханс-Сельмер Эр. «Упорство»). Дружная семья итальянских крестьян—братьев Черви устроила в своем доме убежище для людей, бежавших из фашистского плена, и немецких дезертиров (Итало Кальвино. «Семеро братьев Черви»). Югославский гимназист Божидар С. Петрович в годы гитлеровской оккупации распространял антифашистские листовки, проводил подпольные собрания Союза коммунистической молодежи Югославии. Вместе с товарищем он разоружил двух полицейских. Фашисты расстреляли Божидара (Младен Оляча. «Амнистии не подлежит»).

Со временем участники Сопротивления все больше убеждались, что самыми последовательными, надежными и твердыми борцами за свободу и независимость были коммунисты. Герой рассказа Жозефа Кесселя «Побег» голлист инженер Жербье, попавший в концлагерь, рассказывает товарищу по бараку: «Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда. Между коммунистами и остальными французами нет больше ненависти, нет подозрений, нет вообще никаких преград. Все мы ведем одну и ту же борьбу, и враг обрушивает самые страшные удары в первую очередь на коммунистов. Мы это знаем. Мы знаем, что они смелее всех и лучше организованы».

Дальнейший рост антифашистского Сопротивления, как известно, был связан с событиями на Восточном фронте, где решалась судьба всех сражений, что также нашло отражение в рассказах, очерках и публицистических статьях, собранных в книге. Вот как в июле 1943 года говорил об этом известный французский писатель-коммунист Жан-Ришар Блок: «Разбитые и отброшенные на Волге, Дону, Кавказе после са-

мых кровавых битв в истории человечества, изгнанные из Африки, проигрывая битву в Атлантике, осаждаемые и преследуемые день и ночь на собственной территории воздушными силами союзников, пять дней назад немцы предприняли яростное наступление на Восточном фронте. Они снова обламывают когти о гранит Красной Армии...»

Сборник рассказов не может воскресить события тех лет во всей их полноте, не может передать масштабов движения Сопротивления. Но читатель получает представление о людях, сражавшихся против «коричневой чумы», о том, что их вдохновляло и вело на подвиг.

Книга эта о молодежи. Почти все герои рассказов — ровесники юношей и девушек, начинающих сегодня трудовую жизнь. Мирную жизнь! Книга напоминает им, что фашизм не канул в небытие. И сегодня идет зримая и невидимая борьба с фашизмом, которая требует активного участия молодого поколения.

Думается, что произведения, включенные в сборник, прозвучали бы с большей силой и убедительностью, если бы редакция сопроводила их краткими справками об авторах. Ведь наряду с большими мастерами слова, такими, как герой Чехословакии Юлиус Фучик, польский писатель Ян Парандовский, югославский прозаик и публицист Младен Оляча, в сборнике представлены менее известные советскому читателю авторы. Читателю интересно и важно было бы узнать, например, что Ян Эдвард Кухарский — польский писатель и драматург, автор рассказа «Приговор Кучере», сам участвовал в движении Сопротивления. Подпольщиком-антифашистом был видный датский писатель Оле Юль. Сражался в партизанском отряде югославский поэт и прозаик Радован Зогович, а писатель Казимеж Зенон Скерский во время знаменитого Варшавского восстания руководил работой повстанческой радиостанции.

Почти все авторы книги — очевидцы и участники описываемых событий. Они верили в правоту своего дела, а значит, и в победу. Они сражались во имя цветения болгарского миндаля и пышной пражской сирени. Они шли на смерть во имя счастливого будущего, того будущего, которое национальный герой Франции Габриэль Пери перед расстрелом назвал «поющим завтра».

А. ПУТКО

НОВЫЙ ЧАПЕК

Карел Чапек. Собрание сочинений. Том первый. Рассказы. Москва, «Художественная литература», 1974. 680 стр.

Издание семитомного собрания сочинений Карела Чапека — радостное событие для нашего читателя. Чапек принадлежит к любимейшим в нашей стране зарубежным авторам XX века. Со времени выхода в свет первого пятитомного собрания сочинений на русском языке прошло почти пятнадцать лет. С тех пор у нас вышло три не публиковавшихся ранее романа, много рассказов и статей писателя. Настала пора подытожить все эти издания и подумать о заполнении тех пробелов, которые остались еще для советского читателя в творчестве автора, являющегося гордостью чешской литературы. Эту задачу и призвано решить новое собрание сочинений Чапека.

Первый, недавно вышедший том содержит рассказы писателя. Думается, что отбор материала по жанровому признаку в данном случае вполне оправдан: рассказы, создававшиеся писателем на протяжении всего творческого пути, принадлежат к шедеврам современной новеллистики. В книге много не переводившихся до сих пор произведений, в том числе и ранние рассказы и юморески, написанные Карелом Чапеком совместно с его братом, художником Йозефом Чапеком. Среди новых для нашего читателя рассказов, публикуемых в этом томе, немало таких, которые помогут ему получить более верное и глубокое представление о сложном творческом облике Чапека. Юмористика Чапека, а также его антифашистские произведения 30-х годов намного лучше знакомы нашему читателю, чем другие аспекты его творчества. С появлением на русском языке философских романов Чапека впервые приоткрылась завеса над его глубокими философскими раздумьями. В этом же плане важны и рассказы из сборника «Распятие», включенные в первый том. Сам Чапек придавал большое значение этой книге, утверждая, что заглавие ее подразумевает «муки поисков высшего смысла».

Впервые полностью публикуются на русском языке популярные «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана». Познакомившись с рассказами из этих сборников, читатель ясно поймет, почему Чапек не мог согласиться с теми из современных ему критиков, кто воспринял «карманные рассказы» как очаровательные пустячки, и почему он настаивал на том, что в них трактуются важные для него проблемы возможностей человеческого познания и критериев справедливости.

Расширяет наши представления о творчестве чешского писателя и раздел под заголовком «Маленькие рассказы», в котором впервые публикуются газетные миниатюры Чапека. Здесь мы найдем наряду с виртуозными по своему лаконизму юморесками острые сатирические зарисовки, откликающиеся на политическую ситуацию 30-х годов (например, «Если бы в суде заседали дипломаты»), а также философские притчи, выдержанные в ироническом тоне («Ореол», «Человек, который умел летать», «О всемирном потопе»). Нельзя без волнения читать одну из последних миниатюр Чапека

«Десять сентаво», созданную в то время, когда родные писателя вынуждены были прятать от него злобные и угрожающие послания, которыми забрасывали писателя в послемюнхенские дни анонимные корреспонденты, обвинявшие его в том, что он ссорит Чехословакию с ее могущественным соседом — фашистской Германией.

Значительно дополняет новое издание произведений Чапека предисловие Б. Л. Сучкова, и на нем стоит специально остановиться. Оно обладает всеми достоинствами, присущими трудам этого исследователя, оригинальностью и широтой в постановке вопроса, глубиной эрудиции, блеском мысли.

Б. Л. Сучков подходит к Чапеку с масштабом и критериями мировой литературы. Именно такая позиция позволяет исследователю увидеть самое значительное в творческом наследии Чапека, то, что видится на расстоянии и порой не сразу обнаруживает себя среди мелкого и второстепенного. В предисловии делаются новые и чрезвычайно интересные сопоставления, скажем, с Достоевским, который занимал немаловажное место в творческом мире чешского писателя. Генезис чапековских утопий возводится к Рабле и Свифту, и они противопоставляются утопиям Уэллса и антиутопиям Хаксли. Не менее продуктивно и противопоставление философской трилогии Чапека романам-притчам Камю, Голдинга, Беккета. Чрезвычайно убедительно и своеобразно рассмотрен художественный метод Чапека и показана его эволюция от экспрессионизма ранних произведений к зрелому творчеству, которое вливается в общий поток, знаменующий трансформацию и обогащение критического реализма в современной западноевропейской литературе.

Под пером критика крупным планом вырисовывается место Чапека в том мощном духовном потоке, который представляла собой европейская прогрессивная литература между двумя войнами, и его вклад в разрешение тех духовных проблем, многие из которых не утратили своей актуальности и поныне. Не затушевывая иллюзий писателя, видевшего в противоречиях буржуазной демократии «родовые черты всей человеческой цивилизации», Б. Л. Сучков показывает, что Чапек хотя и не изображал социальную действительность Чехословакии в классовой обнаженности, прогрессивный смысл его творчества не может быть раскрыт только на уровне тематики.

Автор предисловия формулирует один из основных конфликтов, всю жизнь мучивший Чапека, как «резкое расхождение и несовпадение духовного и научно-технического прогресса в собственническом обществе». С этим кругом вопросов Б. Л. Сучков связывает разоблачение Чапеком фабрикации мифов и стандартизованного, пассивного, оглупленного массового сознания, которое может быть легко использовано самой черной реакцией. В предисловии убедительно показано, как эти постоянно беспокоившие писателя проблемы приобретают четкий антифашистский смысл в 30-е годы.

Отмечая достоинства первого тома собрания сочинений Чапека, нельзя не упомянуть комментарии О. Малевича, сделанные с любовью и отличающиеся богатой эрудицией. Конечно, немалая заслуга в успехе первого тома принадлежит переводчикам, среди которых можно назвать и таких опытных мастеров, ранее переводивших Чапека, как Т. Аксель, Ю. Молочковский, Н. Аросева, и более молодых, как, например, В. Мартемьянова, удачно справившаяся с трудным для перевода «Распятием».

Мы привыкли к добродушному, улыбчивому Чапеку, бесподобному юмористу и насмешнику. Том, который лежит перед нами, заставляет увидеть писателя в другом ракурсе, обратить внимание на его философские искания и трепетную озабоченность судьбами человечества. Первый том собрания сочинений Чапека заставляет с нетерпением ожидать последующих.

И. БЕРНШТЕЙН

Издано за рубежом

СТРАНИЦЫ ДРУЖБЫ

Bohuš Chňoupek. Generál s levom. Bratislava, Pravda, 1974.

Книга Богуша Хнеупека «Генерал со «львом», изданная к 30-й годовщине Словацкого народного восстания в Чехословакии, получила высокую оценку читателей и критики. В книгу вошли репортажи, написанные этим известным публицистом во время его пребывания в Москве в качестве корреспондента братиславской «Правды».

«Репортажи и очерки Хнеупека — это искренний и взволнованный рассказ о Советской стране, это убедительный документ, свидетельствующий о прочности чехословацко-советской дружбы и братского интернационального сотрудничества»,— пишет в послесловии к книге словацкий журналист Милош Марко.

Один из центральных очерков (по нему назван сборник), «Генерал со «львом», посвящен герою Великой Отечественной войны А. Н. Асмолову. О легендарном руководителе партизанского движения в Словакии писали многие журналисты — и у нас, и в Чехословакии,— но Хнеупек сумел найти свои средства, ярко обрисовав жизненный путь талантливого военачальника, столь исключительный и в то же время обычный в нашей стране.

В первые дни Великой Отечественной войны капитану Асмолову было поручено выработать план партизанских действий в тылу врага. «Ценность плана доказала сама жизнь. Структурное деление частей, установленное Асмоловым, было принято и существовало до окончания войны»,— пишет автор репортажа.

Мужественный, отважный генерал, удостоенный высшей награды Чехословакии, ордена Белого льва, и скромный, сердечный, простой человек — таким предстает на страницах книги один из самых популярных в Словакии советских людей.

В каждом репортаже — о суровых годах войны или о мирном труде советских людей — для Хнеупека важно раскрыть истоки советского патриотизма, который помог советскому народу победить фашистских захватчиков и, восстановив разрушенное, строить коммунизм, осваивать Крайний Север, вечную мерзлоту, преображать пустыни, покорять космос. И читатель отчетливо понимает то, что оказался не в состоянии понять американский посол Дэвис, ужаснувшийся при виде Сталинграда, лежавшего в руинах. «По-моему, город надо строить в другом месте... Этот город мертв»,— заявил он тогда.

С гордостью пишет Хнеупек о возрождении города-героя и подчеркивает (очевидно вспоминая прогнозы Дэвиса): «Волгоград построили там, где он стоит, в знак вечной памяти о сражении, в котором не выдержали сталь и стены домов, но выстояли советские люди.

Волгоград стоит там, где героизм раз и навсегда разбил миф о непобедимости фашистской гидры...» («Над Волгой»).

О совместной борьбе советских и чехословацких людей в годы войны рассказывается в статьях «Поднимись и иди», «Реабилитация легенды», «Последний парламентер», «На границе», «О «катюшах», «Словаки из катакомб», «Яман-Таш». Б. Хнеупек много ездил по нашей стране в поисках свидетельств боевой дружбы советских людей с чехами и словаками. «Я ищу улицы, давно переименованные, и людей, которые пропали неизвестно куда...» — пишет автор в репортаже «Словаки из катакомб». Как часто уже казалось, что следы найти невозможно, ведь прошло столько лет. Просто было известно, что в одесских катакомбах среди советских партизан было и сто шестьдесят словаков, об их подвигах рассказывали легенды, но никто не знал их имен откуда они и как оказались в Одессе, какова их дальнейшая судьба. И Хнеупек решил обязательно выяснить, где кончается легенда и начинается действительность. Репортаж «Словаки из катакомб» открывает новые факты в истории героической борьбы одесской «подземной советской республики» и читается с напряженным вниманием. Обращаясь к читателям, автор пишет: «Все мы должны честно исполнить долг в отношении небольшой, но светлой страницы нашего недавнего прошлого. Во имя тех, кто жив, в память о тех, кого героическая Одесса чтит салютом в самые большие праздники». В 1964 году этот репортаж был отмечен в Чехословакии премией имени Юлиуса Фучика.

Репортаж «Яман-Таш» посвящен словацким солдатам и офицерам, сражавшимся вместе с крымскими партизанами; очерк «Поднимись и иди» — это история словацкого солдата, которого долгие годы считали погибшим. В канун двадцатилетия победы над фашизмом в Кремле герою была торжественно вручена высокая награда, дожидавшаяся его двадцать лет,— орден Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги».

Война, память о героической борьбе против фашизма постоянно присутствуют и в репортажах Хнеупека о сотрудничестве наших народов в годы мирного труда. В очерке «Короткое письмо» публицист рассказывает о создании проекта двух чехословацко-советских металлургических «близнецов», Кошицкого и Череповецкого комбинатов, спроектированных на Уралмаше, где до войны работал конструктором советский разведчик Николай Иванович Кузнецов.

Какую бы гему ни избрал Хнеупек для своего репортажа, пишет он ярко и динамично. Статьи его содержат много нового и интересного для читателя и написаны они настоящим другом нашей страны.

Л. И. ВАСИЛЬЕВА

МИР, ОБРЕТЕННЫЙ В БОЮ

Se naște o lume. Culegere de proză românească antifascistă. București, Editura Albatros, 1974.

Человек роет на задворках колодец... Люди в военных шинелях хватают его, ведут в гестапо и жестоко избивают: оказывается, он перерезал важный провод, связывающий Бухарест с Берлином. Случайность? «В теперешних обстоятельствах,— рассуждает один из следователей,— любая подобная случайность есть акт саботажа».

А крестьянин, истязаемый в подвале гестапо, твердит, что он тут ни при чем, и дивится, как это палачи не могут уразуметь

простейшей истины: когда человеку нужна вода, он роет колодец.

До сих пор он был убежден, что политика, война — «дело господ».

«— Это и твое дело,— шепчет ему теперь внутренний голос.

— Мое дело — рыть колодец.

— Но твой колодец наткнулся на их провод.

— Нет, это их провод наткнулся на мой колодец...»

И вот крестьянин, поседевший от пыток, превращенный в полуинвалида, поспешит, как только его выпустят из застенка, к себе домой, чтобы — на этот раз обдуманно, сознательно — вновь перерезать восстановленный провод войны... (Б. Рэдулеску. «Колодец»).

Таких небольших, но емких рассказов в сборнике «Рождается новый мир» немало. Эта антология антифашистской прозы, выпущенная молодежным издательством «Албатрос», объединяет произведения 64 писателей, отдавших лучшие силы воплощению темы войны и освобождения Румынии от гитлеровской тирании. «И если сегодня можно говорить об идейном и качественном обновлении современной румынской литературы,— отмечается в кратком введении к книге,— то это оказалось возможным прежде всего благодаря тому, что главной ее темой стало освобождение страны от ига фашизма, когда новая армия борцов, почти совсем неведомых прежней нашей литературе, вышла на авансцену истории».

Многие страницы этой книги напоминают боевые донесения, каждый второй герой погибает — и все же составители были вправе подчеркнуть в названии сборника, что речь идет не просто о войне, а о битве за новый мир.

Читателю (и советскому в том числе) хорошо известны многие из включенных в антологию произведений. Но собранные вместе в этом массивном томе, они приобретают особую силу воздействия.

Представленные здесь рассказы, отрывки из романов, воспоминания, очерки, поэтические заметки принадлежат самым крупным прозаикам Румынии — от получивших признание еще до войны (М. Садовяну, Т. Аргези, Дж. Богза) до писателей, утвердившихся в литературе в послевоенные годы (З. Станку, Л. Фулга, Т. Попович, Ф. Нягу, Ал. Ивасюк, М. Преда, Э. Барбу, И. Григореску, Д. Р. Попеску, Н. Веля), включая и самых молодых (А. Бузура, А. Чернеску). Как отмечают составители, здесь «средствами литературы выявлены самые главные силы и факторы, сыгравшие решающую роль в завоевании победы, в результате которой была свергнута фашистская диктатура, Румыния вышла из гитлеровской коалиции и повернула оружие против нацизма».

Убедительно раскрыта в книге решающая роль румынских коммунистов, не сломленных десятилетиями подпольной борьбы и травли, самоотверженно выступающих против военной машины фашизма (К. Бэрбучану. «Ночной экспресс»; П. Сэлкудяну. «Поезд ноль сорок один» и другие). На фронте и в тылу, в тюрьмах и лагерях они боролись за выход Румынии из преступной войны, за свержение диктаторского режима Антонеску, за мир и демократию (А. Хаузер. «Почтовые открытки»; Н. Мэрджану. «Каков он, товарищ Нистор?»).

В новелле Екатерины Лазэр «Падают цепи» (в сущности, это отрывок из автобиографической повести «Мне было тогда восемнадцать») с подкупающей простотой рассказывается о юной подпольщице, приговоренной к смерти за антивоенную деятельность и спасенной благодаря самоотверженным действиям коммунистов и победоносному наступлению советских войск. Вся эта история, полная драматических событий, уместилась позже в двух строках справки, полученной узницей: «Приговоренная к расстрелу на основании решения суда от 19 мая 1942 года № 1405 амнистирована согласно Декрету № 442/1944 от 29 августа 1944 г.».

В книге звучат голоса и тех, кто нашел в годы войны прибежище на советской земле, а затем вернулся освобождать родину в составе румынских частей, сформированных на территории СССР (Д. Рэдулеску. «Возвращение»).

Рядом с упоминавшимся уже «Колодцем» Б. Рэдулеску стоит назвать талантливый рассказ Н. Вели «Ботинки на толстой подошве», посвященный людям, которые, как и крестьянин в «Колодце», на собственном трагическом опыте открыли для себя сущность захватнической, античеловеческой войны.

Именно такие честные труженики, прозревшие истину, становились помощниками коммунистов и вместе с ними боролись против врага, все чаще обращаясь сердцем и мыслью к восточным рубежам страны, где в кровопролитных сражениях советские войска громили армии гитлеровцев (Н. Тейкэ. «Эта ночь» и другие).

Подобные произведения помогают глубже понять всенародный характер того поворота, который произошел в августе 1944 года, когда румынская компартия возглавила антифашистское восстание, решимость, с которой части румынской армии во взаимодействии с патриотическими отрядами защищали столицу от гитлеровских частей (М. Преда. «Голубая заря смерти»; Э. Барбу. «Северное шоссе»). Столь же значительны и произведения, посвященные встрече советских солдат-освободителей на румынской земле (Т. Попович. «Дорога на Берлин»).

Но рассказ о тех днях был бы неполным, если бы не содержал страниц, свидетельствующих о стремлении румынских трудящихся к новым общественным формам, при которых невозможны ужасы войны. С особой силой выразил эту устремленность Михаил Садовяну в прощальном слове, обращенном к сыну, павшему смертью храбрых в боях с оккупантами: «Мальчик мой... Ты мечтал об этом торжестве добра, правды, демократии, во имя которых я растил тебя, окружал твою жизнь любовью... Мне следовало бы радоваться победе, оплаченной такими страданиями... Но у

меня нет сил радоваться. В этот день великого освобождения и великого возрождения глаза мои застланы слезами, душа измучена. Мысль о том, что злодеи наказаны, уже не утешает. Единственным утешением было бы знать, что мир отказался от ненависти и решительно перебрасывает мост от прошлого к будущему, поднимаясь на новую, более высокую ступень в своем мучительном восхождении, ступень, о которой ты так мечтал...» («День победы»).

Вот почему естественно и закономерно включение в антологию произведений, запечатлевших первые шаги на пути демократизации общественной жизни страны («Гул» И. Лэнкрэнжана и другие).

Книга «Рождение нового мира» адресована молодежи, не знавшей войны. Поэтому очень важно, чтобы и молодые — со своих сегодняшних позиций — осознали сущность понятий «фашизм» и «антифашизм», подчеркнул в своих «Размышлениях по поводу великой годовщины» Джео Богза: «В эти юбилейные дни наша обязанность — а у нас всегда будут обязанности — быть может, в том и состоит, чтобы в глубинах нашего сознания точно определить, что такое фашизм и антифашизм. Во имя разгрома фашизма в определенный период миллионы людей включились в борьбу, от которой зависело возрождение или падение человечества. Впрочем, от понимания этого и сегодня зависит возрождение или падение человечества...»

И закрывая антологию, в которой речь идет прежде всего о торжестве человечности, о великой победе разума, испытываешь чувство признательности к труду составителей, подаривших нам книгу, взывающую не только к памяти очевидцев, но и к сердцу и совести сегодняшних поколений.

М. ФРИДМАН

ПЯТЬ ВЕКОВ НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Politische Lieder '73-74. Oberhausen, Asso Verlag, 1974.
Annemarie Stern. Lieder gegen den Tritt. Politische Lieder aus fünf Jahrhunderten. Oberhausen, Asso Verlag, 1974.

«Песня политическая—значит скверная»—внушали простому народу немецкие князья. И все же народ неизменно обращался к политической песне как к оружию в борьбе за свободу и справедливость. Многие из таких песен пережили века и вошли в сокровищницу народного творчества:

Холод мучит, голод гложет,
Хворь съедает мужика.
Кто в нужде ему поможет?
Чья спасет его рука?
Плача, от гнета себя не избавим!
Если проклятых господ не раздавим,
Если не свергнем своими руками
Тех, кто давил нас и мучал веками![1]

(«Мучайся, крестьянин»)

Во время Великой крестьянской войны в Германии родилась знаменитая песня, ставшая в ту пору своеобразным гимном порабощенного крестьянства:

Когда Ева пряла
И Адам пахал — господи помилуй! —
Никто о дворянах
И не слыхал!
Эх, для чего ты, добрый бог,—господи помилуй!
Попов от плахи уберег.—господи помилуй!

(«Мы—коршунов черная стая»)

Особенно расцвела политическая песня с подъемом рабочего движения в Германии. Она агитировала, звала на борьбу, вселяла уверенность и надежду. Отмечал это и В. И. Ленин в заметке «Развитие рабочих хоров в Германии»: «...никакие полицейские придирки не могут помешать тому, что во всех больших городах мира, во всех фабричных поселках и все чаще в хижинах батраков раздается дружная пролетарская песня о близком освобождении человечества от наемного рабства»[2]. На песни налагали запрет, авторов преследовали, но несмотря на это творения их приобретали известность даже за пределами Германии. Так, например, песню «Молодая гвардия», написанную бременским учителем Айльдерманом в 1907 году, поют во всем мире уже почти семьдесят лет:

Вперед заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе!

(Вольный перевод А. Безыменского)

Разразилась первая мировая война, и по всей Германии — в солдатских эшелонах, на фронте — можно было услышать частушки, которые распевали на мотив подходящего «патриотического опуса»:

Не за отчизну бой идет,
Не против «изуверов».
А чтобы миожился доход
Господ миллионеров.
Ишь, как разбухла касса!
А трудовая масса —
Лишь пушечное мясо!..

(«Война за богачей»)

Даже в самый мрачный период немецкой истории, в эпоху фашизма ничто не могло заставить умолкнуть песни протеста. Известно, что нацисты в обязательном порядке насаждали хоровое пение на митингах и собраниях, опираясь в своей «песенной продукции» на мелодии старых народных и рабочих песен. Делалось это в целях пресловутого «сплочения нации». Антифашисты пародировали нацистское стихотворчество и на мотив уже упомянутой старинной крестьянской песни «Мы — коршунов черная стая» в те годы пели:

Для Гитлера мы последний оплот—хэй-я хэй-хо!
Пешком, босиком на Москву он нас шлет, хэй-я, хэй-хо!

---

[1] Здесь и далее—стихи в переводе Л. Гинзбурга (кроме песни «Молодая гвардия»).
[2] «Ленин о культуре и искусстве». М. 1956, стр. 132.

Вперед! Вперед! — ротный орет.
Лучше бы деда-мороза — вперед!..

(«Мы — Гитлера последний оплот»)

Доставалось и известным националистическим гимнам «Германия» и «Хорст Вессель». Вместо «Германия, Германия превыше всего» часто пели «Германия пренише всего», а «знамена выше» заменяли на «сковородки выше» [1]. Поэты-антифашисты использовали в своей борьбе и популярные в военные годы шлягеры. Так, беспечная песенка «Лили Марлен» превратилась в издевку над нацистским демагогическим тезисом «братства»:

Как могила ни полна,
Но все же б р а т с к а я она,
И каждый, каждый рад,
Что рядом с братом — брат.

(«Братская могила — ах, как это прекрасно»)

Закончилась война, рухнула фашистская диктатура, лишь немногие из авторов дожили до разгрома нацизма. Памяти павших поэтов-борцов посвящены печальные строфы известнейшего современного западногерманского поэта и композитора Франца Йозефа Дегенхардта:

О том, как жили вы, боролись и любили,
Как, не продав себя, упрямо шли вперед,
Останутся в веках легенды, песни, были,
А остальное все — забудется, умрет...

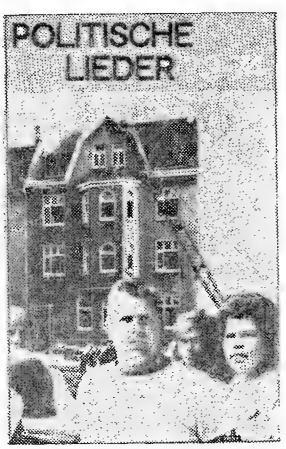
(«Бикфордов шнур»)

Поколения сменяют поколения, на смену погибшим борцам приходят новые. В историю вошли зажигательные песни протеста против ремилитаризации Федеративной Республики Германии, песни движения сторонников мира — «пасхальные марши», направленные против угрозы атомной войны. В одном из популярных зонгов периода «холодной войны» западногерманская молодежь издевалась над политикой Аденауэра:

Вчера миллионы марок у нас отнимала
война,
Сегодня мы тратим миллиарды, а
победа-то все не видна.

(«Старая война»)

[1] Пародия на нацистский гимн «Хорст Вессель», построенная на игре слов.



Современную жизнь в ФРГ невозможно представить без острой политической песни. Правящие круги и поныне именуют ее «скверной», но с ростом антиимпериалистического и антимонополистического движения политическая песня приобретает все больший вес. Она звучит во время рабочих собраний, митингов и забастовок. Многочисленные группы политической песни устраивают представления на улицах и площадях, призывая в своих скетчах к борьбе против безработицы и роста цен. Особенно популярна политическая песня среди молодежи, которая живо откликается на все проявления общественного неравенства:

Ученик Фолькер, восемнадцати лет,
вместе с друзьями вступил в комитет...
Вдруг раздается окрик хозяйский:
«Как это так? Вы живете по-райски!»
Босс недоволен. И как ни крути —
вынужден Фолькер с работы уйти...
Вышвырнут боссом,
ты должен заставить
боссов заносчивых
спесь поубавить,
требуя твердо гарантий надежных
для представителей
молодежных!

Это строки из знаменитой «Песни молодежных представителей», отстаивающих свои права. Тема эта весьма актуальна для сегодняшней экономической ситуации в Федеративной Республике Германии. Но не только проблемам своей страны посвящает песни молодежь. Ее волнуют и все важнейшие политические события, происходящие в мире:

Взяв задаток, поехал Джим Грей во
Вьетнам,
и, как доллар, сияла луна.
И качало корабль, и несло по волнам,
и война была не война.

А спустя неделю лежал Джимми Грей,
перекошен от боли был рот.
потому что осколок, ножа острей,
пропорол Джимми Грею живот...

Зонг «Джимми Грей» написан Дитером Зюверкрюпом. Он и Ф. Й. Дегенхардт являются, пожалуй, наиболее популярными авторами и исполнителями современной политической песни. Широкую известность приобрел зонг Зюверкрюпа «Песнь об экскаваторщике Виллибальде», написанный в подражание стилю детской песенки. В тысячах дис-

ков разошлась его «Баварская песня о родине», высмеивающая демагогию «архисоциалиста» Штрауса:

...Он шлет проклятья империализму,
он любит мир, и этим он велик,
он душу отдает социализму,
стремясь к нему, как Тиссен или Флик.
Он за социализм! Но за нормальный!
И просит, чтобы каждый это знал:
социализм хорош *национальный*!
Он — *соцьялист*, но только — *нацьонал*...

В поле зрения авторов песен — самые «горячие точки планеты». «Станция Чили» — зонг Дегенхардта, посвященный освободительной борьбе чилийского народа:

В испанском селе, в бухенвальдском
бараке —
фашизма кровавого страшные знаки.
Среди искореженных русских лесов —
кровавые знаки коричневых псов.
Испачкана кровью всемирная карта:
деревни Вьетнама... Сант-Яго... Джакарта...
Но как ни безмерна людская беда,
фашизму людей не сломить никогда!..
Пусть черные тучи угрозу таят:
народы бессонно на страже стоят.
¡Venceremos, venceremos! — взывают народы!
¡Venceremos! — добьемся свободы!

С этими строками перекликается песня мюнхенской зонговой группы:

Дорогие демократы,
что б вы сделали сейчас,
если б пламенем объято
Чили было здесь, у нас?!
Действовать надо! Сони, не спите!
Чили взывает: единство крепите!
(«Солидарность с народом Чили»)

Песни, рождающиеся на улицах, написанные известными поэтами или безвестными авторами, публикуются в молодежных журналах, профсоюзных газетах и в сборниках политических песен. Прогрессивным западногерманским издательством «Ассо» только за последние годы выпущена целая серия таких сборников. Среди них выделяется книга «Политические песни 1973—1974 гг.», в которую входят тексты самых распространенных зонгов, созданные различными рабочими группами. Особое место в этой серии занимает антология Аннемари Штерн «Песни против несправедливости», где, наряду со старинным немецким народным творчеством, представлены важнейшие политические песни, в которых нашли отражение история Германии, а также наиболее популярные песни международного рабочего движения.

...Песни пяти столетий, самые старые и самые современные, они — как эстафета, передаваемая из поколения в поколение, как яркое свидетельство крепнущего политического сознания трудящихся.

ГУБЕРТ КУШНИК

ПОЭЗИЯ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

The Poetry of War. 1939-1945. Edited by Hamilton. London, Shenval Press. 1973.

В западном литературоведении установился вполне определенный взгляд на английских поэтов второй мировой войны. Их творчество рассматривается чаще всего как весьма незначительная страница в истории английской поэзии, особенно в сравнении с творчеством плеяды «окопных поэтов» 1914—1918 годов, создавших яркую стихотворную панораму первой мировой войны. При этом литературоведы Англии и Америки считают, что английской поэзии 1939—1945 годов, как правило, не хватает чувства трагедии, высоты страдания, без чего стихи недолговечны. Сравнивая стихи французских и английских поэтов, творивших в годы последней войны, молодой английский критик Милдред Дэвидсон пишет в своей книге «Поэзия — в сострадании»: «Поэзия Сопротивления выросла из скрепившего французов чувства поражения, из ощущения боли за судьбу наций, поставленной на колени. Английские поэты подобных чувств не испытали и не могли испытать. Вот почему большинство стихов, созданных англичанами в годы последней войны, не пережило своего времени».

Возникает вопрос: действительно ли английские поэты не создали в годы второй мировой войны таких стихов, которые отвечали бы чувствам и мыслям людей, живущих в далеко не спокойном нынешнем мире?

Ответом на этот вопрос может служить антология «Поэзия войны. 1939—1945», вышедшая в издательстве «Шенвал пресс». Будучи издана впервые в 60-х годах, она вышла повторно в дополненном виде. В условиях издательского рынка Британских островов это свидетельствует о том, что читательский интерес к литературе, повествующей о битве с фашизмом, отнюдь не угас. Большинство стихотворений, вошедших в книгу, написано либо во время войны, либо сразу после нее, причем их авторам в те годы было в основном по двадцать лет — поэтому общую тональность книги отличают непосредственность и живость восприятия суровой реальности.

Антология «Поэзия войны. 1939—1945» отражает ту своеобразную ситуацию — как социальную, так и литературную,— в которой оказались молодые английские поэты, ставшие участниками войны. В предисловии к книге ее составитель Ян Хамилтон (поэт и критик, получивший известность в 60-е годы) приводит слова одного из авторов антологии Алекса Комфорта, выразившего настроения молодых англичан в конце тридцатых годов: «Мы с самого раннего детства росли в полной уверенности, что будем убиты в бою. Наше поколение было воспитано на мрачных воспоминаниях о первой мировой, на сводках о войне в Испании, на возрастающей угрозе со стороны нацистской Германии и на ожидании неминуемого — как нам хотелось и казалось — краха капитализма». В самом деле, многие стихи антологии свидетельствуют о том, что «красные тридцатые» не прошли даром для молодых англичан. Бернард Гаттеридж пишет в стихотворении «Сентябрь 1939 года»:

Сегодня вновь припомнилась Испания,
Ее война, ее кровавая испарина,

И все, что видели в кино, в кошмарном сне,
Теперь явилось к нам в бомбежках и в огне[1].

В годы второй мировой войны положение английских поэтов было сложным. Милдред Дэвидсон в упомянутой книге цитирует высказывание одного из «окопных поэтов» первой мировой: «Теперь писать о войне трудней, чем было нам. Солдаты часто не видят противника, к тому же военная техника отделяет и отчуждает их друг от друга... Наконец мы к немцам относились часто как к товарищам по ту сторону окопов, а для нынешних солдат — это нацисты, звери».

Молодые авторы и сами сознавали неполноту поэтического изображения войны в своих стихах, написанных в короткие промежутки между боями. Роберт Конквэст, после войны ставший одним из лидеров «Движения» (направления в английской поэзии 50-х годов), верил,

...что должен
поэт появиться, который сумеет
скрестить свое сердце и этот разбитый мир
Ему я отдам все, что осталось
от меня, от Европы, от моей любви
после пяти годов бури. Пусть ему служит сырьем
этот в спешке рожденный, полузабытый стих.

(«Стихи 1944 года»)

Однако и в ту пору многие из молодых поэтов искренне стремились как можно полнее запечатлеть лик войны и чувства человека, защищающего людей от коричневой чумы в невероятно сложных условиях «войны машин». Стихотворение Доналда Бэйна «Военные поэты» — это мужественная и трезвая оценка происходящего:

Нет среди нас ни одного, кто б предсказал,
когда придет и как придет войны финал.
Но все запомнить нам дано, что перед нами —
в дыму, в разрывах, в перерывах меж боями.
Гроза утихнет, и для нас когда-нибудь
откроет время не подробности, а суть.
А нынче мы в планшетах делаем заметки
лишь для того, чтоб дым из легких выбить едкий.

Западные литературоведы подчас не замечают определенной двойственности, присущей сознанию молодого поэтического поколения, надевшего шинели. Британские солдаты, борясь с фашизмом и защищая свою страну, не могли не понимать, что именно социальная система, царящая в Англии и в Западной Европе, послужила почвой для фашизма и что правящий класс их страны ничего не сделал, чтобы помешать фашистам развязать эту войну. К подобному выводу приходит в предисловии составитель антологии, это подтверждают и многие из ее участников, критически настроенные по отношению к английским политиканам страны и в то же время с тревогой размышляющие о проблеме выбора, которую им предстояло решить.

...Моим друзьям, которых
Унес с собою ураган войны,
Не слышать больше политического вздора.
Но я-то дожил до победы, до весны,
И для меня вопросы подлости и чести,
Как до войны, еще не решены,—

пишет Джулиан Симмонз в стихотворении «На смерть друга».

Едва ли не первые свои стихи написал во время войны один из наиболее значительных поэтов сегодняшней Англии Чарлз Косли. Его «Песня умирающего пулеметчика» насыщена динамичными и сильными образами:

О, мама, во рту моем столько звезд,
Сколько в диске патронов!
Я кровью вытекшей в землю пророс,
Раскинув руки, как крону...

О расизме, процветавшем в английских и американских войсках, рассказывают стихи Нормана Камерона «Белые в плену у черных», напоминающие по своей форме самобытную солдатскую балладу.

Стихотворение Хэмиша Гендерсона «Семь добрых немцев» примечательно тем, что в нем звучит тема содружества народов, борющихся против фашизма. Мотивом союзнической солидарности проникнуты мастерски написанные стихи Алена Росса «Эсминцы в Арктике» (поэт сам служил на эсминце, сопровождавшем грузы в Мурманск). Американские поэты, отдельно представленные в антологии, тоже отдали дань этой теме. Запоминается полное высокого гражизма и в то же время светлой веры в будущее стихотворение Рэнделла Джарелла «Лагерь военнопленных», заканчивающееся следующими строками:

Распахнуты ворота! Дым тягучий
еще струится в адских дымоходах...
Но смех звенит за проволокой колючей —
взошла звезда людей звезда свободы!

Жаль, что в книгу не включены стихи одного из видных поэтов Англии Чарлза Баркера и других прогрессивных поэтов, участвовавших в битве против фашизма и воспевших интернациональную солидарность. Некоторые стихи, включенные в антологию при повторном издании, лишь снижают впечатление о творчестве английских поэтов в годы второй мировой войны. Это подчас либо пейзажные зарисовки, в которых дыхание войны не чувствуется даже в подтексте (в отличие, например, от напряженной и суровой лирики Кита Дугласа, погибшего на фронте), либо узколичные, дневниковые стихотворные заметки, также не несущие печати времени.

И все же большинство стихотворений этой книги говорит о мужестве и человечности поэтического поколения Англии, взявшего в руки оружие. Именно участие в войне, в борьбе против фашизма помогло многим авторам антологии ощутить веру в свое призвание и создать поэзию, не утратившую своего звучания и сегодня.

С. ЗОЛОТЦЕВ

[1] Здесь и далее перевод стихов принадлежит автору рецензии.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Газета английских коммунистов «Морнинг стар» сообщает о том, что к тридцатилетию победы над германским фашизмом издательство «Сентрал букс» выпустило в свет книгу «Курская битва». На трехстах пятидесяти страницах она рассказывает об одном из крупнейших сражений второй мировой войны.

Подчеркивая важность выхода книги на английском языке, корреспондент газеты пишет: «Западные историки склонны принижать роль Восточного фронта, на котором, начиная с 1941 года и до конца войны, были сосредоточены основные наземные и воздушные силы Германии».

В это издание вошли работы о событиях на Курской дуге, представленные на Московском симпозиуме 1968 года. Среди авторов книги — маршал Г. К. Жуков и советские военные деятели и историки.

ИНТЕРВЬЮ С ДЖОНОМ ЛЕ КАРРЕ

Внимание ведущих британских критиков посвящено последнему роману английского писателя Джона Ле Карре «Лудильщик, точильщик, сапожник, шпион». Рецензенты отмечают, что писатель вновь вернулся к жанру остросоциального политического детектива. Предыдущая книга Джона Ле Карре «Наивный и сентиментальный любовник», в которой автор решил попробовать свои силы в жанре психологического романа-бурлеска, была почти единодушно оценена англо-американской критикой как явная неудача. В интервью еженедельнику «Лиснер» Джон Ле Карре коснулся общих проблем, связанных с его творчеством.

Дж. Ле Карре начал свою деятельность учителем в средней школе, затем долгое время состоял на дипломатической службе. На вопрос, какое влияние оказал опыт этих лет на его творчество, Джон Ле Карре ответил: «В «Лудильщике, точильщике, сапожнике, шпионе» я постарался изобразить тягостную атмосферу, царящую в английской школе. Думаю, что опыт школьных лет во многом помог мне создать образ одинокого героя — постороннего, который всегда присутствует в моих романах. За годы службы в разведке я познакомился с политическими преступлениями, лицемерием, беспредельной жестокостью, с которой всегда сталкиваешься, находясь на дипломатической работе. Это ее оборотная, горькая сторона. Меня всегда интересовали различные социальные институты. Мне казалось, что я смогу сделать много полезного в этой области. Однако, когда я столкнулся с конформизмом, я почувствовал, что мне необходим какой-то внутренний выход, разрядка. И тогда я стал писать. Для меня это был единственный способ отстоять свою индивидуальность. Сейчас мне жаль, что я начал писать так поздно.

Мои книги называют детективами. Правда, критики всегда отмечают, что и идейно, и проблемно они отличаются от шпионских романов Я. Флеминга. Да, все это так. Но мне обидно что критики не замечают, что в основе моих книг всегда лежат романтические истории. Так, хотя я и согласен, что «Шпион, который пришел с холода» — политический детектив, все же лучшее, что есть в этой книге,— это романтика человеческих отношений, драматизм изображенной жизненной ситуации, то, что всегда интересует людей».

БОЛГАРИЯ

КНИГИ О СОПРОТИВЛЕНИИ

Среди многих десятков книг, посвященных антифашистской борьбе болгарского народа, видное место занимают книги воспоминаний. Второе издание сборника «День последний, день первый» дополнено мемуарами Г. Караславова, Ив. Аржентинского, К. Григорова и других писателей. Составители сборника поставили перед каждым автором вопрос: «Как и где вы встретили социалистическую революцию?» Ответы на этот вопрос свидетельствуют о том, какую роль играла литература в дни Сопротивления, представляют собой летопись революционизации болгарской прогрессивной литературы. Веселин Андреев, Давид Овадия, Димитр Методиев, Станислав Сивриев встретили свободу партизанами, с оружием в руках. Через фашистские тюрьмы и концлагеря прошли многие болгарские писатели, в их числе Младен Исаев, Александр Геров, Добри Жотев, Эмил Манов, Иван Цветков, Кольо Георгиев, Христо Радевский. Все 72 участника сборника внесли свой вклад в великую победу над фашизмом.

Творчество Веселина Андреева в основном посвящено теме Сопротивления. Книга «Умирали бессмертными» занимает особое место в мемуарной литературе. В ней сочетаются воспоминания с документальностью, личные переживания с эпическими полотнами. Автор говорит: «Я бы очень хотел определить место партизанского движения в жизни нашего народа, во всем прогрессе человечества. Постичь его великий смысл». Этому и посвящена книга, автор стремится показать внутренний, духовный мир тех, кто «умирал бессмертным».

Книга, выпущенная издательством «Народна младеж» — «Один день молодости», снабжена подзаголовком «Участники партизанского движения делятся своими воспоминаниями о самом волнующем дне борьбы». Бесхитростные отрывки из воспоминаний несут в себе эмоциональный заряд, страницы героической партизанской эпопеи раскрывают нравственный облик борцов Сопротивления. Книга предназначена для молодежи — учит мужеству, стойкости, патриотизму.

Болгарская Академия наук издала сборник документов и материалов «Единство действий болгарского народа и других народов Балканского полуострова в антифашистской борьбе (1940—1945)». Опубликованные документы обнаружены и собраны сотрудниками Центрального государственного исторического архива, Центрального государственного архива НРБ, Софийского городского и окружного архива, архива МВД.

В мемуарной литературе и в научных исследованиях есть труды, посвященные единству действий болгарского народа с народами Югославии и Греции в антифашистской борьбе 1940—1945 годов, но сборника документов на эту тему опубликовано не было. С тщательностью составлен научно-справочный аппарат книги. Богатая архивная документация дает возможность представить ход событий с начала войны до ее окончания.

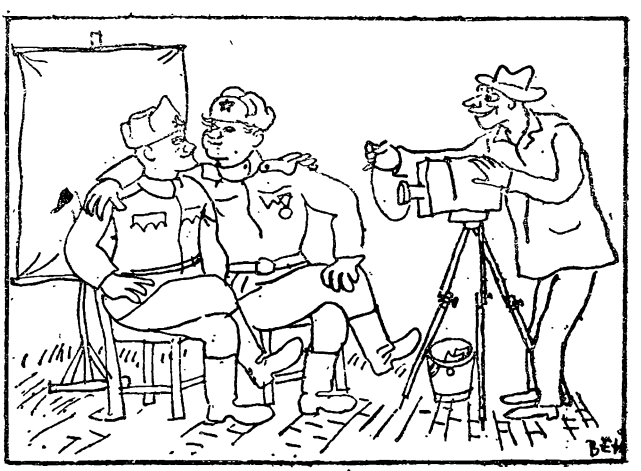
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК

Народный художник, Герой Социалистического Труда Стоян Венев с самого начала творческого пути, когда в «Червене смяхе» в 1916 году была помещена его первая карикатура, несмотря на преследования полиции, на аресты, никогда не изменял своему классу, не отступал от коммунистических идеалов. В 1931 году вместе со своим другом, скульптором Иваном Фуневым, он открыл выставку, на которой были представлены его реалистические произведения — живопись, графика, акварели. Эта выставка свидетельствовала о гражданском мужестве и революционном духе молодых пролетарских художников. Было совершенно естественным, что они стали одними из учредителей Общества новых художников, которое включилось в борьбу партии против наступления фашизма в литературе и искусстве.

После социалистической революции в Болгарии Стоян Венев своим творчеством

Рисунок Стояна Венева «Фотография на память».

(Журнал «Пламък»)



содействует укреплению народной власти, социалистическим преобразованиям в стране. Встрече Советской Армии — освободительницы посвящены лучшие работы художников.

В журнале «Пламк» в конце прошлого, 1974 года, когда праздновалось семидесятилетие Стояна Венева, отмечалось: «Разностороннее реалистическое творчество Стояна Венева является крупным вкладом в социалистическую художественную культуру. Оно сыграло большую роль в развитии нашего изобразительного искусства».

Рабочий момент съемки фильма «Женщина в бурю». Режиссер Левенте Молнаи и исполнители главных ролей — Ильдико Пирош и Иштван Авар.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

НОВАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ

Столичная библиотека имени Эрвина Сабо выпустила библиографический указатель произведений, посвященных борьбе за социалистическую Венгрию, «Так началась новая эпоха в истории». Составитель — Элона С. Рихлих.

Литература, учтенная в указателе, охватывает период с 1919 года по наши дни. Книга состоит из следующих разделов: «Библиографические справочники», «Сборники документов», «Статьи и книги общего характера», «Воспоминания», «Художественная литература», «Иллюстрированные альбомы». В ней содержатся сведения о публикациях, посвященных истории венгерского революционного рабочего движения и коммунистической партии, деятельности антифашистского Сопротивления, материалы о партизанском движении и венгерском Национальном фронте независимости. Значительное место занимают в указателе издания, в которых показана освободительная миссия Советской Армии.

Обширный материал посвящен теме строительства социализма, где отражена прежде всего руководящая роль Венгерской социалистической рабочей партии, приводятся данные о деятельности различных общественных организаций, становлении народного хозяйства, культурной революции и т. п.

Еженедельник «Элет эш иродалом» называет этот сборник «ценным информационным справочником, имеющим непреходящее значение не только для современных специалистов и читателей, но и для тех, кто будет пользоваться им в далеком будущем».

ФИЛЬМ О КОММУНИСТКЕ

«Женщина в бурю» — так называется телевизионный фильм венгерского кинорежиссера Левенте Молнаи, снятый им по мотивам одноименного романа Пирошки Дёме и повествующий о судьбе женщины из буржуазной семьи, пришедшей в коммунистическое движение в один из самых трудных периодов борьбы, в канун непосредственной оккупации Венгрии немецко-фашистскими войсками.

Поначалу Анна Шудар работает в качестве связной. Потом ей дают более трудные задания. Анне приходится скрываться, переезжать из города в город, она лишена возможности видеться с маленьким сыном, вынуждена жить под чужим именем. В довершение всего она узнает о гибели своего товарища по подпольной работе, своего любимого человека... Но горе не согнуло коммунистку. Выполняя ответственные поручения партии, она идет навстречу победе.

Премьера фильма «Женщина в бурю» состоялась в дни открытия XI съезда Венгерской социалистической рабочей партии.

ГДР

ПОВЕСТЬ МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Хельга Шюц вступила в литературу не так давно — ее первый прозаический сборник «Предыстории, или Прекрасный край Пробштайн» вышел в 1971 году. Манера ее повествования, темы, которые затрагивала

писательница, сразу привлекла к себе внимание. В 1973 году, после появления второй книги «Землетрясение под Зангерхаузеном» Хельге Шюц была присуждена премия имени Генриха Манна (см. «ИЛ» № 7, 1973).

Недавно издательство «Ауфбау» выпустило третью книгу Хельги Шюц — повесть «Праздничная иллюминация», в которой читатели снова встретят своих старых знакомых из «прекрасного края Пробштайн». Жизнь разбросала их по всему свету, и сейчас они снова должны собраться вместе, в маленькой деревушке в Федеративной Республике Германии. Все, кого могла отыскать Розмари Блюмель, приглашены на ее свадьбу. Жители Пробштайна хорошо помнят ее первую свадьбу десять лет назад, еще во время войны, окончившуюся трагически — на празднике жених был убит «паршивой овцой» Пробштайна — Ценшером.

Неторопливо идет повествование. Разные люди съехались на свадьбу Розмари Блюмель. По-разному сложились их судьбы. Время изменило многое, однако — действие происходит в начале пятидесятых годов — поднимают голову реваншисты, среди которых — тогдашний начальник почтового отделения Кунце, и через идиллические картины мирных разговоров и встреч все время проходит старая тема Хельги Шюц — тема «обыкновенного фашизма».

Бывшие жители Пробштайна — люди добрые, отзывчивые, они даже принимают неожиданно появившегося на свадьбе Ценшера. Он достаточно поплатился за свое преступление, которое, как они считают, было непредумышленным, и потом... «десять лет есть десять лет». Но возврата к временам фашизма они не хотят, и таким людям, как Кунце, в их среде места нет.

«Я считаю, что основное в моем желании писать — вопросы, на которые мне хочется найти ответы. Вопросы эти касаются реальной жизни под реальным солнцем и реальной луной»,— говорит о своем творчестве Хельга Шюц. По-видимому, писательница не расстанется со своими героями, а будет и дальше «отвечать на вопросы» об их жизни.

«Прозу Хельги Шюц отличают тонкие нюансы, поэтичность, юмор, интересные, часто совершенно неожиданные переходы»,— пишет еженедельник «Зоннтаг».

НА СЦЕНЕ — 1945 ГОД

Потсдамский «Ганс-Оттотеатер» поставил пьесу Альфреда Матуше «На двух берегах», которую драматург написал незадолго до своей кончины (об А. Матуше см. «ИЛ» №7, 1972 и № 6, 1974). Пьеса возвращает зрителей к 1945 году, к историческим событиям на Одере и Нейсе.

Еще не все страшное позади, еще гремят выстрелы, но люди уже полны надежд на скорое освобождение. За трагической историей врача Маргрет, которую фашисты успели казнить перед самым падением Дрездена, следует рассказ о спасении от казни других героев пьесы — Ганны и Шлиссера, рассказ о жизни силезских переселенцев.

«Пьесу Матуше можно назвать классической»,— пишет Мартин Линцер в журнале «Театер дер цайт».— Внешне спокойная, строгая по форме, она полна большого внутреннего напряжения». Рецензент отмечает интересную постановку спектакля режиссером Рольфом Винкельгрундом. Благодаря красочному оформлению спектакля хорошо передана природа, как бы символически оживающая вместе с людьми, очень удачна музыка, звучащая на протяжении всего спектакля.

«Успех постановки в Потсдаме еще раз показал, что смерть Альфреда Матуше — большая потеря для нашей драматургии,— пишет Линцер.— Матуше умел видеть правду жизни, умел отражать ее в своем творчестве. В пьесе «На двух берегах» он обратился к прошлому, но герои его очень близки и понятны сегодняшнему зрителю».

ФРГ

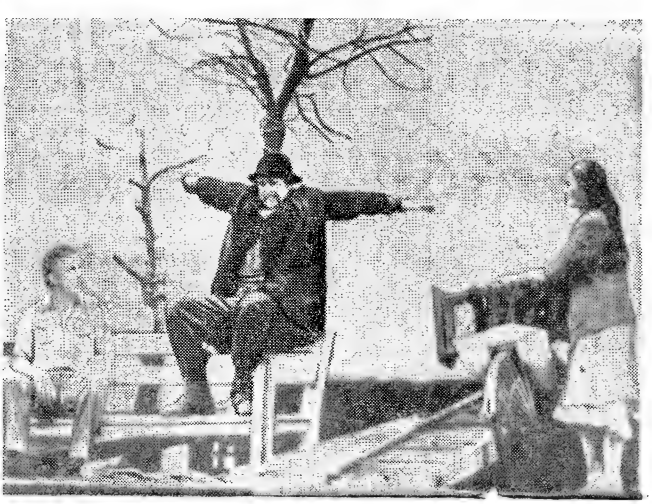
«БОЛЬШОЙ КРЕСТ ЗА ЗАСЛУГИ»

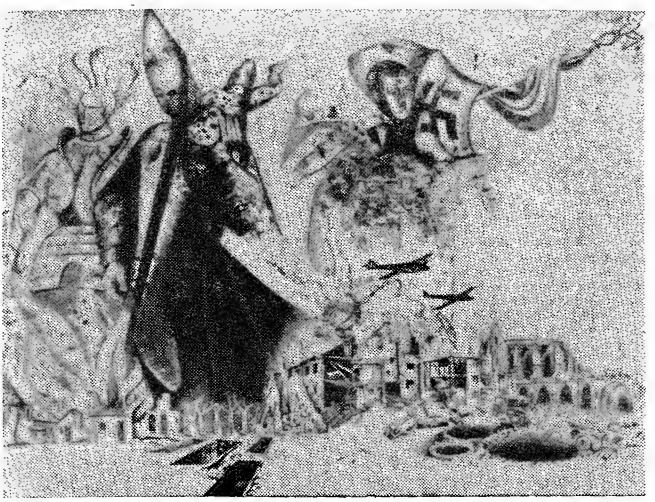
Известный западногерманский публицист Бернт Энгельман собрал обшир-

---

Сцена из спектакля «На двух берегах».

(Журнал «Театер дер цайт»)





У Альбрехта Дюрера есть знаменитая гравюра «Рыцарь, смерть, дьявол», символизирующая войну, разрушения, смерть. Современный западногерманский художник Карло Шеллеман переосмыслил дюреровский апокалипсический сюжет и воплотил тему войны в страстном антифашистском полотне. На снимке: картина Карло Шеллемана «Рыцарь, смерть, дьявол».

(Журнал «Тенденцен»)

ную документацию об активности бывших нацистов в Федеративной Республике Германии. Как пишет еженедельник «Ди цайт», в своей новой книге «Большой крест за заслуги» он показывает, что многие соучастники гитлеровских преступлений «сейчас относятся к числу самых богатых и могущественных людей ФРГ». Они, по существу, «могут действовать в прежнем нацистском духе», прикрываясь вывесками крупнейших буржуазных партий. Они даже отмечены высшими наградами ФРГ. Заглавие книги, по мнению «Ди цайт», как бы «символизирует скрытый процесс захвата» реакционными силами важных рычагов влияния и власти в стране.

Большое место в книге занимают документы, рассказывающие о том, как реакционные круги финансировали избирательную кампанию в пользу их кандидатов.

«1848 — ПЕСНИ НЕМЕЦКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Так называется долгоиграющая пластинка Дитера Зюверкрюпа, выпущенная в ФРГ в 1974 г.

Дитер Зюверкрюп, поэт, эстрадный певец и один из лучших джазовых гитаристов страны, подготовил музыкальный альбом народных песен времен революции 1848 г. Среди них — песни на слова Генриха Гейне, Георга Гервега, Георга Веерта, Людвига Пфау, Адольфа Гласбреннера. По словам рецензента журнала «Роте блеттер», Зюверкрюп поет их живо, просто и не без юмора. Он отказывается от музыкального украшательства, его гитара звучит сдержанно и скромно. Песни рассказывают о жизни народа, его проблемах, его заботах и тревогах и, наконец, о его борьбе.

В исполнении Зюверкрюпа они становятся новыми свидетелями прошлого, голосами, обращенными к сегодняшнему слушателю.

По мнению рецензента, песни Зюверкрюпа гораздо более актуальны, чем большинство нынешних шлягеров, они иллюстрируют историю демократического движения в Германии и подводят слушателя к мысли, что многие требования революции 1848 г. актуальны и по сей день.

ЕГИПЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА В КАИРЕ

С 29 января по 7 февраля этого года в Каире проводилась международная книжная ярмарка. Издательства таких стран, как Англия, Болгария, Египет, Индия, Канада, КНДР, Ливан, Сирия, СССР, США, Франция, ФРГ, Швейцария, прислали около десяти тысяч книг общим тиражом двести тысяч экземпляров. Тематика книг охватывала практически все сферы человеческого знания. Наиболее представительными кроме советских были экспозиции египетских издательств «Аль-Ахрам», «Аш-Шааб» и французского «Ларусс».

Всесоюзное объединение «Международная книга» предложило около тысячи изданий, начиная с трудов классиков марксизма-ленинизма и кончая детской литературой. Все десять дней работы ярмарки советский павильон был в центре внимания египетской общественности.

Коммерческий директор советского павильона Мамдух Абаза рассказал, что это седьмая по счету международная ярмарка в Каире, в работе которой принимает участие Советский Союз. За эти годы выбор книг, предлагаемых нашей страной, значительно расширился, тематика стала более разнообразной, а советские издательства отбирают литературу с учетом потребностей египетского книжного рынка. Результат не замедлил сказаться: в последнее время интерес к советским изданиям неизмеримо возрос. Только за десять дней работы ярмарки было продано десять

тысяч советских книг, большое количество репродукций, марок, граммофонных пластинок.

Египетское объединение «Аль-Ахрам» представило около двух тысяч книг общим тиражом сорок тысяч экземпляров. В 1975 году уже вышло или готовится к печати более 200 книг. Довольно скромное место в павильонах «Аль-Ахрам» было отведено детской литературе. Представители издательства объяснили это объективными трудностями, в частности нехваткой бумаги. Стремясь хоть как-то исправить создавшуюся ситуацию, «Аль-Ахрам» делает упор в основном на дешевые издания в мягкой обложке. Во время ярмарки книги издательства продавались с большой скидкой.

«ВОЛНЫ В БЕЗБРЕЖЬЕ»

Как сообщает журнал «Аз-Зухур», на экраны вышел фильм «Волны в безбрежье», снятый по одноименному роману известного египетского писателя Сарвата Абазы (режиссер Ашраф Фахми).

Произведения С. Абазы, в которых он правдиво рисует жизнь современного Египта, так же как и фильмы, снятые по его романам, пользуются большой популярностью в арабских странах.

ИНДИЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ДЕЛИ

К постановкам, о которых много говорят и пишут сейчас в Индии, нужно отнести пьесу «Больной» Саджада Захира (1905—1973), поставленную Ассоциацией народного театра Индии. Спектакль был приурочен к тридцатилетнему юбилею Ассоциации.

В центре пьесы — революционер, рабочий вожак по имени Башир. Действие пьесы происходит в сороковые годы, незадолго до обретения Индией независимости. Больной Башир находит пристанище в доме своего родственника Азиза, крупного чиновника колониальной администрации. Башир, роль которого блистательно исполняет артист Бадола,— человек цельный и страстный, не сломленный даже смертельной болезнью, он вносит дыхание больших чувств и отзвуки великих свершений в застойно-добропорядочный быт буржуазной семьи. Это ощущает жена Азиза (актриса Кусум Хайдер), которая видит в Башире вестника обновления. Азиз, не понимая настоящего смысла того, что происходит в его семье, упрекает жену в неверности.

Башир умирает, и хотя нельзя сказать, что в семье Азиза остался кто-нибудь из его единомышленников, ясно, что семья эта больше никогда не сможет жить узкими интересами своего крохотного мирка.

Внимание делийского зрителя привлекла и другая юбилейная постановка Ассоциации: комедия Мехенди «Бренные останки Галиба», поставленная Азизом Курейши.

Галиб, прославленный поэт средневековой Индии, тихо и благополучно скучает в раю, пока один из новоприбывших не рассказывает ему, как высоко чтут его имя потомки. Галиб решает спуститься на землю, чтобы самому убедиться в своей посмертной славе. Однако встречи со всевозможными «столпами культуры» и учеными-галибоведами, которые вкривь и вкось толкуют его стихи, приводят Галиба в такое смятение, что он поспешно удаляется обратно на небеса.

Остроумная сатира на наукообразие и безудержное культуртрегерство, судя по реакции прессы, долго не сойдет с театральных подмостков страны.

Руководитель Национальной школы драмы, известный режиссер и актер Эбрахим Алькази, возобновил постановку «Слепого века» — трагедии в стихах, написанной Дхармавиром Бхарати еще в пятидесятые годы.

Тема пьесы заимствована из «Махабхараты» — великой эпической поэмы древней Индии, повествующей о войне между двумя кланами: кауравами и пандавами. Ни автор, ни постановщик пьесы не делают попытки искусственно осовременить ее содержание. Напротив, чтобы подчеркнуть историзм пьесы, Алькази поставил ее под открытым небом, на развалинах делийской Старой крепости. Однако общая антивоенная направленность «Слепого века», настойчиво проводимая мысль о том, что война калечит не только тела, но и души людей, находит живой отклик у зрителей.

ИТАЛИЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ОЖИВАЕТ НА ЭКРАНЕ

Тридцатилетие свержения фашистского режима Муссолини широко отмечается итальянским прогрессивным кино. Проходивший во Флоренции «Фестиваль народов» посвятил движению итальянского Сопротивления лучшие свои фильмы. Под общим названием «Наша война» организаторы кинофестиваля продемонстрировали серию документальных фильмов об освободительной борьбе в Италии, снятых в славные дни Сопротивления. Некоторые из этих лент широко известны, некоторые появились на экране чуть ли не впервые. Были показаны: «Альдо говорит: 26×1» — фильм, снятый в 1945 году Фернандо Черкио по поручению Комитета национального освобождения Пьемонта; «Моменты партизанской жизни и борьбы» и «Набатный бой колоколов» — два фильма, снятые в 1943—1944 гг. священником-патриотом Джузеппе Поллароло в районе Павии; «Освобождение Аосты»; малометражные ленты об освобождении партизанами городов Флоренции, Пармы, Венеции. Кроме того, были представлены две ленты, вошедшие в золотой фонд итальянского кино: «Дни славы» — документальный фильм, снятый в 1945 году Марио Серандреи, Джузеп-

Коммунистка Джизелла Флореанини — первая женщина-министр итальянской республики в дни «республики Оссолы» в 1944 году (впоследствии одна из руководительниц Союза итальянских женщин, видная общественная деятельница); справа — актриса, воссоздающая ее образ в телефильме «Сорок дней свободы».

(Газета «Паэзе сера»).

пе Де Сантисом, Марчелло Пальеро и Лукино Висконти, и «Наша война», снятый в том же году Альберто Латтуадой и Марио Серандреи.

Газета «Унита», подробно освещая «Фестиваль народов», помещает статьи, рецензии не только о партизанских итальянских фильмах эпохи Сопротивления, но и о демонстрировавшихся во Флоренции фильмах о борьбе с фашизмом в наши дни — в частности, документальные ленты о кровавом перевороте реакционной военщины в Чили, о терроре, творимом режимом Пиночета. Давая общую оценку этому фестивалю, газета пишет: «Речь идет о мероприятии, имевшем огромное политическое и общекультурное значение как в информационном отношении, так и в плане осмысления прошлого и настоящего. Ознакомление с новыми фактами благодаря доступу к необнародованным или же мало известным ранее документальным материалам и углубление таким образом нашего понимания проблем Сопротивления помогает не только лучше понять истоки и идеалы этого движения, но и разобраться в некоторых нынешних событиях, дать сокрушительный отпор всяким гнусным попыткам подорвать наши демократические институты».

Столь же решительный антифашистский характер носил проводившийся уже в пятый раз в городе Савоне кинофестиваль под названием «Этапы современного итальянского кино». Центральное место на этом кинопоказе по праву заняла премьера антифашистского игрового фильма режиссера Джана Витторио Бальди «Последний школьный день перед рождественскими каникулами».

Итальянское телевидение к тридцатилетию Сопротивления выпустило телефильм в нескольких частях, посвященный одной из самых славных страниц итальянского партизанского движения: созданию на оккупированной гитлеровцами и итальянскими фашистами территории партизанской республики Оссолы. Телефильм называется «Сорок дней свободы» — сорок дней освобожденный партизанский край ожесточенно оборонялся, и за это время в Оссоле была создана настоящая демократическая республика со своим правительством и законами. Автор сценария — Лючано Кодиньола, поставил телефильм режиссер Леандро Кастеллани.

КУБА

БОРЦУ-АНТИФАШИСТУ

«Красное и коричневое» — так называется спектакль Политического театра имени Бертольта Брехта в Гаване, премьера которого состоялась накануне нового года. Пьеса была создана болгарским драматургом Иваном Радоевым в 1972 году к 90-летию со дня рождения Георгия Димитрова.

Пафос пьесы — в противоборстве «двух цветов времени — красного и коричневого». В центре произведения — лейпцигский процесс, борьба Димитрова с пришедшим к власти фашизмом. Пьеса документальна

в своей основе. В нее вошли фрагменты из исторической речи болгарского коммуниста на лейпцигском процессе, подлинные материалы допросов Димитрова высокопоставленными нацистами.

Рецензент газеты «Хувентуд ребельде» называет Ивана Радоева «одним из самых интересных писателей его поколения». Отмечая художественные достоинства спектакля, он говорит об интересном решении роли Димитрова кубинским актером Марио Бальмаседой.

Газета подчеркивает, что премьера — важная веха в развитии культурного болгаро-кубинского сотрудничества. Болгарские товарищи активно участвовали в подготовке спектакля: в течение месяца находился на Кубе Иван Радоев, из Болгарии были доставлены ценные кинодокументы и другие материалы о жизни и деятельности Димитрова, а также обмундирование нацистов и костюмы 30-х годов.

МЕКСИКА

ПАМЯТИ ВИКТОРА ХАРЫ

Памяти чилийского певца, замученного чилийской военной хунтой, будет посвящен фестиваль народной песни, который состоится в этом году в столице Мексики. В этом фестивале примут участие лучшие интерпретаторы народной и политической песни стран Латинской Америки, Азии и Африки. Среди участников намечающегося фестиваля — известные латиноамериканские исполнители Мерседес Соса, Соледад Браво, Исабель Парра и Орасио Гуарани.

МОНГОЛИЯ

НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА УЛАН-БАТОРА

В этом году на сцене Драматического театра имени Д. Нацагдоржа появятся три новых постановки. Уже состоялись первые репетиции пьесы М. Горького «Егор Булычев и другие». Национальная тематика представлена пьесой молодого монгольского драматурга Д. Мъягмара «Что случилось?». Как отмечает критика, драматург приобрел известность всего два года назад пьесой «Нандин Эрдэнэ», которая пользуется большим успехом у зрителей.

Под условным рабочим названием «Лекция профессора» театр готовит постановку по известному произведению старейшины монгольской драматургии Д. Намдага. Среди новинок предстоящего сезона театральная критика отмечает также воплощение на монгольской сцене пьесы «Кавказский меловой круг» Бертольта Брехта.

НОРВЕГИЯ

КНИГА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Роман Магнара Миккельсена «Черный океан», выпущенный издательством «Каппелен», привлек внимание норвежской критики.

Необычен сюжет романа — писатель предупреждает об угрозе экологического кризиса на планете. Герои романа — супружеская пара с сыном — едут отдыхать на остров в живописном фиорде. Ничто не предвещает беды — летний отпуск протекает безмятежно, никто не подозревает о разразившейся в мире катастрофе. Беда подкрадывается неожиданно — отравлена атмосфера, земля, и море превратились в сплошное ядовитое месиво. Герои Миккельсена, оказавшись в полной изоляции, гибнут.

«Роман Миккельсена, несмотря на его пессимистические мотивы, мы расцениваем как протест против возможной войны, которая приведет к тотальному разрушению. Эта книга интересна своим психологизмом, напряженностью сюжета»,— пишет литературный обозреватель газеты «Фрихетен».

ПОЛЬША

«ДОМ ИЗ НАШИХ РУК»

В издательстве «Шлёнск» вышла антология «Дом из наших рук», объединяющая рассказы писателей самых разных поколений, написанные в период с 1944 по 1974 год. Сквозной темой антологии является жизнь рабочего класса в Народной Польше. Как пишет Януш Термер в газете «Трибуна люду», «тема эта, огромная, важная и характерная для послевоенной польской прозы, не раз вызывала споры и горячие дискуссии. Антология, составленная Витольдом Навроцким, свидетельствует о том, что в польской послевоенной литературе, даже если мы будем говорить только о новеллистической прозе, широко представлены трудовые будни рабочего класса, эти произведения выдержали проверку временем и являются свидетельствами нашего недавнего прошлого не только с точки зрения познавательной, но и художественной».

В качестве примера Януш Термер приводит «Зимние рассказы, или Заботы власти» Богдана Чешко, «Молодые» Войцеха Жукровского, «Виктория» Густава Морцинека, «На деревне свадьба» Марии Домбровской.

Антология «Дом из наших рук» носит ретроспективный характер, и уже само ее хронологическое построение позволяет проследить изменения характера прозы, связанной с изображением труда.

При единстве темы многогранность ее воплощения является отличительной чертой антологии. В ней помещены такие «экзотические рассказы», как «Тропические дятлы» Ежи Пахловского, «Океан» Лешека Пророка. Их герои — польские моряки — вдали от родины получают и жизненный и общественный опыт,

ничуть не меньший, чем их товарищи на родине.

Януш Термер говорит и о представителях более молодого поколения прозаиков, рассказы которых посвящены рабочей теме.

В частности, он отмечает рассказы «Круги на дереве» Януша Конюша, «Долгий воскресный автобус» Эрнеста Брыля, «Худой и другие» Веслава Дымного, «Дом из моих рук» Леона Вантулы.

«Антология «Дом из наших рук»,— заключает Януш Термер,— заслуживает внимания как своего рода итог достижений нашей прозы, широко и непосредственно отображающей нашу общественную действительность».

«ПРОЦЕССЫ»

В основе спектакля «Процессы», поставленного на польском телевидении,— судебные процессы, которые действительно проводились в 1967—1972 гг. в Соединенных Штатах. Некая Херминия Браунстайнер, желая получить американское гражданство, пыталась скрыть от иммиграционного суда свое преступное прошлое. В годы войны она была надзирательницей в лагере смерти Майданек и не только отбирала жертвы для газовых камер, а собственноручно забила палкой до смерти нескольких человек, в том числе и детей. Ложь была выявлена, и началось дознание. Суд уже решал не вопрос гражданства, а причастность Браунстайнер к преступлениям гитлеровцев. Так начался второй процесс. Главным свидетелем обвинения была Данута Бжоско-Мендык, автор книги «Небо без птиц», в основу которой легли ее воспоминания о пребывании в Майданеке, куда она попала подростком и где ей пришлось пережить страшные мучения.

В сценарии, созданном режиссером Вацлавом Флёрковским совместно с Данутой Бжоско-Мендык, она выступает под именем Марии, роль которой исполняет замечательная польская актриса Ришарда Ханин.

Как видит зритель, Марии приходится очень нелегко, ее преследуют угрозы бывших эсэсовцев, создавших свою подпольную организацию в США, адвокат старался сбить ее с толку, считая, что «все поляки страдают комплексом войны». Мария очень одинока среди враждебного мира, но стремление доказать правду помогает ей выстоять. Аудитория в суде, в основном состоящая из корреспондентов, равнодушно наблюдает за процессом. Но постепенно отношение аудитории меняется, и она все больше начинает сочувствовать свидетельнице, понимая, что речь идет о чем-то большем, чем судейское крючкотворство. Свидетельница побеждает.

Она добивается справедливости — добивается судебного процесса над Херминией Браунстайнер, которую по решению суда передают властям ФРГ, для того чтобы судить как военную преступницу.

«И хотя эта пьеса о прошлом,— отмечает рецензент журнала «Экран»,— это в то же время пьеса и о современном положительном герое.

Сцена из спектакля «Процессы», поставленная на варшавском телевидении. В роли Марии — Ришарда Ханин, в роли судьи — Тадеуш Белошинский, в роли защитника Ирвинга — Август Ковальчик.

(Журнал «Экран»)

РУМЫНИЯ

КНИГА, УТВЕРЖДАЮЩАЯ ВЕРУ В ЖИЗНЬ

Так охарактеризовал критик Д. Мику новый роман К. Штефанаке «Надежда, которая нам остается». Местом действия является один из тех молдавских городков, которые М. Садовяну некогда назвал «местом, где ничего не происходит». Но в книге К. Штефанаке мирный провинциальный городок оказывается втянутым в водоворот кровавых событий, затрагивающих судьбы многих местных жителей: идут последние месяцы войны, в городе обосновался отряд фашистских карателей.

В жизни главной героини — учительницы Теодоры Медару — трагически слились воедино бедствия двух мировых войн. В первой

В роли Артиста — Тома Караджу в роли его жены — М. Погонат.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

погибли муж и отец, во второй — оба сына. И все же мужественная женщина не поддается чувству безысходности. Найдя после долгих поисков останки мужа и сыновей и похоронив их вместе, она решает посвятить свою жизнь внуку, продолжателю рода, тому, кто должен увидеть новую, свободную от ужасов войны жизнь. Залог грядущей победы она видит в подвигах тех, кто гибелью своей утверждает приход новой жизни, новых общественных отношений.

Книга К. Штефанаке, заключает Д. Мику,— заметное явление литературного года, успешная попытка воплотить средствами литературы события минувших дней, то прошлое, которое революция навсегда похоронила тридцать лет тому назад.

«АРТИСТ И ЛЮДОЕДЫ»

Режиссер Маноле Маркус закончил съемки фильма по сценарию писателя Титуса Поповича «Артист и людоеды». По свидетельству рецензентов Д. Сукяну («Ромыния литерарэ») и К. Кэлимана («Контемпоранул»), прототипом главного героя послужил известный румынский комик 30-х годов Константин Тэнасе. Конфликт в фильме построен на столкновении двух непримиримых позиций — неподкупного художника-гражданина и «людоедов», фашистов-железногвардейцев, готовых на любое преступление против разума и человечности.

По словам К. Кэлимана, герой фильма в талантливом исполнении Т. Караджу «выступает подлинным воплощением лучших качеств своего народа... Политическая ценность фильма заключена прежде всего в его разоблачительной силе, направленной против фашистского изуверства, в настойчивом призыве к уважению человеческого достоинства».

Рецензенты единодушно отмечают, что залогом успеха съемочного коллектива был прежде всего сценарий, написанный Титусом Поповичем. Отмечая его высокие литературные достоинства, Д. Сукяну считает целесообразным опубликовать сценарий как самостоятельное произведение.

США

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» РОБЕРТА СТОУНА

Известный советским читателям по роману «В зеркалах» (см. «Иностранную литературу» № 4—6, 1973) Роберт Стоун после семилетнего молчания опубликовал в издательстве «Хоутон Мифлин» новый роман «Солдаты-чернорабочие». Это одна из самых интересных новинок осеннего книжного сезона в США. Американская критика оживленно комментирует «возвращение» Роберта Стоуна, отмечая, что его талант окреп и мастерство заметно выросло.

Герой нового романа журналист Роберт Конверс, очутившийся в Сайгоне в разгар американской агрессии, знакомится с торговцами наркотиками и соглашается переслать через знакомых 40 килограммов героина в США. Его приятеля Хикса, везшего ящик с героином, в аэропорту Сан-Франциско встречает полиция; Хиксу удается бежать вместе с женой Конверса, и, скрываясь от преследователей, они ищут прибежища среди преступного мира Калифорнии и в коммунах хиппи. Сложные сюжетные узлы распутываются только к самому концу романа, который читается с неослабевающим интересом.

Детективная интрига не мешает в книге Стоуна развитию серьезной этической проблематики. Вместе с посылкой из Вьетнама на солнечное калифорнийское побережье, где царит атмосфера фешенебельного курорта, врывается жаркий воздух войны. Безоблачная жизнь преуспевающих отпрысков «великого общества», к числу которых принадлежат и Конверс, и Хикс, наполняется драматизмом — они открывают для себя «другую Америку», мир преступности, страданий, исковерканных судеб. По мысли писателя, вьетнамская авантюра обнажила истинную природу американского «процветания», скрывающуюся за ним жажду обогащения любой ценой и сопутствующую таким стремлениям грязь.

Стоун создал реалистическую картину американской жизни на рубеже 60—70-х годов, построив свой образ Америки на контрастном противопоставлении пустой жизни благоденствующих «баловней судьбы», которые глухи к происходящим у них на глазах процессам деградации американского общества и бытия отвер-

женных, обманутых, запутавшихся — «дна» большого города. Своих героев писатель судит строгим судом за их слепоту и глухоту, за неумение и нежелание понять трагизм американской действительности, за избранную ими для себя позицию «непричастности». И Хикс, и Конверс не в силах преодолеть потребительское отношение к жизни и исцелиться от равнодушия к тем, кому «не повезло».

Критики единодушно отмечают выразительность тех сцен романа, где описывается ущербный быт коммун бунтующей молодежи с ее культом «первозданной естественности», на деле оборачивающейся одичанием и разгулом стадных инстинктов. «Мне кажется, это первый роман, автор которого достаточно мудр, чтобы непосредственно ощутить и передать смысл контркультуры и, с другой стороны, воздействие войны во Вьетнаме на всех нас,— пишет в «Нью-Йорк таймс бук ревью» Ричард Лок.— И связь между войной, наркоманией и контркультурой в этом романе показана так убедительно, с такой проникновенностью, что картина выглядит пугающей».

Рецензент журнала «Тайм» Пол Грей приветствует новый роман Стоуна, высоко оценивая его художественные достоинства. «Подтвердилось впечатление, что романом «В зеркалах» заявил о себе талантливый писатель,— пишет Грей.— Мастерство Стоуна стало более зрелым... С беспощадной достоверностью Стоун описывает сошествие своих персонажей в ад, и его книга воспринимается как эпитафия целому историческому периоду, хотя он еще и не закончен в наши дни».

«ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ»

Под таким заголовком еженедельник «Сатердей ревью» опубликовал краткие сведения о семнадцати молодых американских писателях и журналистах, которые, по мнению издателей, критики и видных писателей сегодняшней Америки, имеют наиболее высокие шансы стать «звездами» американской литературы завтрашнего дня.

Первым названо имя Роберта Стоуна. Его новую книгу «Солдаты-чернорабочие» сравнивают с произведениями Хемингуэя и Конрада.

Самый молодой в этом списке — двадцатипятилетний Ричард Прайс. Его роман «Бродяги» о группе подростков, вступающих в мир взрослых, был самым ярким литературным дебютом прошлого года.

Джеймс Уэлч родился в индейской резервации. Первые его книги, роман «Зима в крови» и сборник стихов, отмечены не только ярким национальным колоритом, но и широтой гуманистического мировоззрения.

Тридцатисемилетний Эрнс Броули дебютировал в 1962 году. Первый его роман «Удар» — талантливый рассказ о жизни американской тюрьмы.

Высокую оценку творчеству молодого писателя и литературоведа Джека Маккола дает Теннесси Уильямс. В 1974 году повесть Маккола «Джек — Мишка» получила хорошую прессу.

Джон Гарднер хвалит первый роман молодого карикатуриста Чарльза Джонсона «Вера и хорошая вещь».

Томас Пинчон с восхищением отозвался о стихах и прозе Мардж Перси.

К числу подающих надежды отнесены также: Том Макхейл, Сьюзе Фромберг Шаффер, Генри Бромуэлл, Стивен Келмен. Молодые журналисты, пробующие силы в различных литературных жанрах: Кэтрин Уотерсон Беркхарт, Дэвид Ландау, Джеф Филдз, Боб Грин, Ира Седоф, Эндрю Уэйлл.

ФРАНЦИЯ

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»

Так называется книга Андре Арриса и Алена де Седуи, журналистов и киносценаристов, создателей получивших широкую известность документальных фильмов о Франции периода оккупации («Печаль и сострадание» и «Французы, если бы вы знали»). «Путешествие в глубь коммунистической партии» издательства «Сёй» — это социологическое исследование, написанное на основе бесед его авторов с самыми различными представителями партии и в Париже и в провинциях.

«Аррис и де Седуи не являются коммунистами, не собираются ими стать и не разделяют их идеологию. Поэтому книга не выражает мнения ФКП. Но исследование, предпринятое ими, завершилось немаловажными открытиями, которые заставляют нас отказаться от многих наших привычных и тем не менее необоснованных представлений»,— пишет буржуазный публицист Жан-Жак Серван-Шрайбер в журнале «Экспресс».

А вот как отзывается о «Путешествии» «Юманите»: «И с рядовыми членами партии, и с руководителями они беседовали без предвзятости. Они вошли внутрь ФКП, которая открыла перед ними все двери, а они открыли в ней всю весомость нашей истории... Они собрали свидетельства десятков коммунистов, спрашивая их, почему они вступили в ФКП, что они думают по актуальным вопросам современности... Они показали свободу внутрипартийных дискуссий и то, что партия поднимает своих членов на более высокий интеллектуальный и культурный уровень, развивает в них критическое мышление... Они показали также, что линия партии вырабатывается коллективно, что в партии существует обмен идеями».

«Путешествие» Арриса и де Седуи заставляет Ж.-Ж. Серван-Шрайбера сделать неожиданные для буржуазного публициста выводы:

«В мае 1974 года коммунисты вместе со своими союзниками получили почти половину голосов. А если бы всеобщие выборы были

сегодня, то, вероятнее всего, они сейчас пришли бы к власти... Для того чтобы понять их секрет, необходимо пойти к ним и быть среди них. Это сделали Аррис и Седуи... Они вынесли из своих исследований конкретную, объективную правду, которая станет отныне неотъемлемой частью любой честной оценки ситуации. Эта правда состоит в том, что у коммунистов есть «контакт», они общаются с людьми, слушают их, говорят с ними, поддерживают их, не считаясь с затратами ни времени, ни энергии. Принадлежат ли они к верхушке партии, как Ролан Леруа, или к ее рядовым членам, никто из них не замыкается в своем бюро, они имеют прямую связь с каждодневной действительностью, с каждой из проблем всех тех, кто их окружает... Коммунисты живут вместе с людьми и интересуются ими. Это все, но все именно в этом... Аррис и Седуи сделали работу, в конечном счете очень благоприятную для коммунистов, и сделали это добросовестно...» «Прекрасная профессиональная работа,— пишет о «Путешествии в глубь коммунистической партии» Жак де Бонн в «Нувель критик»,— то, что прежде всего поражает, это одновременно и единство коммунистов, и различие в происхождении каждого, в социальном положении, культуре, темпераменте... В этом разнообразии нет ничего удивительного, ведь оно присуще самому народу Франции, а Аррис и де Седуи во время своего путешествия ощутили, насколько глубоко укоренилась ФКП во французской нации, насколько национален ее революционный патриотизм».

ВОСПОМИНАНИЯ О СОПРОТИВЛЕНИИ

В серии «Воспоминания» издательства «Эдисьон сосьаль» вышла книга Андре Толле «Подземный тунель». Андре Толле — коммунист и деятель профсоюзного движения, после Парижского восстания назначенный председателем Парижского комитета освобождения. «Подземный тунель» — вторая книга воспоминаний Толле. Первая книга, вышедшая в этой же серии, называлась «Рабочий класс в Сопротивлении» и была посвящена самоотверженной борьбе рабочих с фашистскими оккупантами, в которой принимал активное участие сам Толле.

«Подземный туннель» — это повесть о жизни рабочего-коммуниста, непримиримого борца с фашизмом. В тридцатые годы Толле был квалифицированным рабочим в Сент-Антуанском предместье Парижа. Там он научился отвоевывать права своего класса в забастовках и ежедневных столкновениях с предпринимателями. В ноябре 1940 года Толле был арестован. Летом 1942 года он бежал из концлагеря в Компьене в числе девятнадцати человек, которыми руководил видный деятель компартии Жорж Коньо. После ряда неудачных попыток побег был осуществлен благодаря тому, что заключенным удалось вырыть подземный туннель. Одиннадцать человек из числа бежавших стали активными борцами Сопротивления. Остальные были вскоре вновь схвачены оккупантами: двое расстреляны, другие отправлены в разные лагеря. Из заключенных концлагеря в Компьене мало кто остался в живых, почти все были переброшены в лагеря уничтожения Освенцим и Бжезинку. Памяти погибших товарищей посвящает Толле свою книгу.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИТОГИ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ

Журнал «Литерарни месичник» в связи с тридцатилетием освобождения Чехословакии Советской Армией обратился с рядом вопросов к известным чешским писателям.

«Литерарни месичник» ставит перед писателями три вопроса: 1. Как вы смотрите на прошедшее тридцатилетие нашего общества и в связи с этим на развитие нашей литературы как оцениваете ее сегодняшнее состояние? 2. Каковы, на ваш взгляд, главные задачи и цели сегодняшней социалистической литературы, в чем состоят, по-вашему, дальнейшие возможности ее развития? 3. Как вы собираетесь содействовать своим творчеством осуществлению этих целей?

30 лет, пишет Донат Шайнер, отвечая на первый вопрос, «это половина моей жизни, неотделимая от того, чем жила вся моя страна... я убежден, что наша литература, которая соответствует великому маршу нынешнего этапа, преодолела уже много препятствий что ее фундамент уже заложен и на нем можно строить...»

Продолжая мысль Доната Шайнера, Иван Скала называет истекшее тридцатилетие «нашими 30 годами». «В них заключены,— пишет он,— наши мечты наши надежды, в них заключено 30 лет нашей повседневной работы... С той минуты, как Советская Армия принесла нам освобождение, с той минуты, как руководящей силой нового общественного строя стала коммунистическая партия наступила новая эпоха жизни и развития нашей страны. Это основной факт, основная правда, основная истина нашей современной истории. И абсолютно закономерно, что именно против этой правды наиболее упорно, но совершенно напрасно вели свои смехотворные атаки враги».

«Мы, писатели,— утверждает Мирослава Томанова,— подобны солдатам на фронте. Но сражаемся мы не огнестрельным оружием, а огнестрельным словом. Мы стреляем по капитализму, по фашизму, стреляем по реакции и будем стрелять до тех пор, пока это будет необходимо».

Касаясь последних лет развития чешской литературы, Мирослава Томанова отмечает:

«Два года кризиса пре-

рвали поступательное движение общества и литературы. Теперь эти годы уже позади и остались нам в назидание. Но в настоящее время для нас еще более поучительно пятилетие нового партийного руководства. То, чего некоторые не поняли в августе 1968 года, перед ними ставит сегодняшний день. Отступиться от социализма — значит встать на ложный путь, попасть в тупик. В то время как последовательное руководство государством по ленинскому принципу приносит, благодаря непрерывному экономическому и культурному развитию, пользу всем...»

Вилем Завада в своих ответах на вопросы редакции высказывает ряд критических замечаний. По его мнению, «бурное, многообразное и драматическое развитие нашего общества не оказывает достаточно выразительного влияния на литературу, а наша литература не глубоко проникает в жизнь». Чешской литературе, по мнению В. Завады, не хватает серьезной, большой литературной критики: «У нас нет таких ярких и требовательных к себе личностей, какими были в свое время Шальда, Вацлавек, Фучик, Пиша и другие».

Вилем Завада видит будущее чешской литературы в поисках новых талантов, в защите литературы от ремесленничества, конъюнктурности:

«Литературу создает не общая писательская масса, чаще всего она — результат деятельности немногих выдающихся талантов, которые оставляет на литературе своей эпохи свой «знак качества». Выдающиеся творцы не рождаются каждый день, и их потеря невосполнима. Надо терпеливо искать новые самобытные таланты и создавать им возможности для развития. По моему мнению, было бы разумно предоставить возможности и остальным одаренным писателям, которые бы хотели и могли содействовать развитию культуры».

В течение года журнал предполагает познакомить читателей с ответами на свои вопросы и других видных деятелей чешской литературы.

ЮГОСЛАВИЯ

ФРЕСКИ КРСТО ХЕГЕДУШИЧА

В выставочных залах Дома югославской Народной армии в Загребе и Белграде состоялась двадцать третья персональная выставка академика Крсто Хегедушича. Выдающийся художник представил для обозрения двенадцать больших картонов, по которым он создал галерею фресок, посвященных подвигу югославских партизан на Сутеске. Здесь, на Зеленгоре-Тьентиште, летом 1943 года шли ожесточенные бои. Стотридцатитысячная армия оккупантов и их пособников окружила возглавляемые Верховным штабом пролетарские партизанские дивизии, насчитывавшие шестнадцать тысяч бойцов и четыре тысячи раненых и больных тифом.

«Пока слышны будут на Любином горбе выстрелы наших винтовок, немцы не пройдут. А когда выстрелы умолкнут, знайте, что там нет больше ни одного бойца»,— дали клятву защитники Сутески. В одной из схваток на Зеленгоре, прикрывая со своим отрядом отступающих, погиб легендарный партизанский командир Сава Ковачевич.

Памяти погибших героев, доблести оставшихся в живых участников эпопеи Сутески посвятил свою новую грандиозную работу К. Хегедушич, которую ценители его таланта в Югославии единодушно считают «синтезом пятидесятилетнего творчества великого мастера». Фрески изображают наиболее трагические моменты событий на Сутеске. Зритель видит колонны раненых, больных тифом партизан; дети, старики, женщины уходят от фашистов в горы. На других картонах запечатлены полные величия и трагизма моменты прорыва партизанских частей, образы рядовых бойцов и руководителей героической битвы.

«В этом творении всей своей жизни,— писала белградская «Политика»,— Хегедушич создал не только панораму сражения, но отразил величие эпопеи, в которой весь наш народ, все наши люди проявили невероятную волю в стремлении к свободе...»

Талант замечательного художника, лауреата премии Антифашистского Веча народного освобождения Югославии раскрылся с новой могучей силой, ибо «Сутеска — это не просто битва. Это — песнь, фреска, скульптура, музыка... Художники, мастера всех видов и жанров, откликаются на призыв Сутески, чтобы силой искусства сражаться против насилия и зла».

ЯПОНИЯ

«ВОЙНА И ЛЮДИ»

Несколько лет назад японский кинорежиссер — коммунист Сацуо Ямамото задумал снять грандиозную киноэпопею, воссоздающую полную картину становления, развития и разгрома японской военщины.

В основу фильма был взят многотомный роман японского писателя Дзюмпэй Гомикава «Война и люди», события которого начинаются в 1928 году провокационным убийством китайского военачальника Чжан Дзо-лина и кончаются военным трибуналом в Токио в 1948 году, когда японские военные преступники были привлечены к ответственности после полного разгрома в войне на Тихом океане и на маньчжурских сопках.

В 1971 году, в год начала съемок первой серии фильма, японская кинематография переживала катастрофический спад, и никто не предполагал, что находившаяся на грани банкротства крупная кинокомпания «Никкацу» возьмет на себя риск производства такой дорогостоящей многосерийной картины. Если бы все четыре фильма (каждый из

двух серий) были бы сняты, как это задумал режиссер, то в результате появилось бы небывалое в истории японской кинематографии гигантское кинополотно с демонстрационным временем почти в пятнадцать часов.

— В этом фильме,— рассказывает Ямамото,— мне хотелось показать хищническую сущность агрессивных войн, которые вела Япония, и опровергнуть всевозможные легенды о благородстве и героизме японской императорской армии, в которых прославляются ее «ратные подвиги» как нечто возвышенное, патриотическое. Мне также хотелось показать в истинном свете, какое сокрушительное поражение потерпела Квантунская армия на Халхин-Голе, потому что до сих пор об этом стараются умолчать или рассказывают очень скупо, хотя тогда полегло свыше 18 тысяч человек. Между тем милитаризм в Японии не искоренен, в стране сейчас все больше набирают силы так называемые «Отряды самообороны», которые оснащаются самыми современными типами самолетов, танков и оружия, а молодежь охотно вступает в их ряды. Этим фильмом я хотел напомнить старшему поколению о преступлениях, допущенных в свое время правящими кругами и за которые до сих пор расплачивается наш народ; а молодежи, не знающей войны,— показать всю ее жестокость и ужас. Мне бы очень хотелось выразить свою искреннюю и глубочайшую признательность советским кинематографистам, особенно режиссеру Ю. Озерову и «Мосфильму» за содействие при съемках третьей серии нашего фильма. Без их помощи мы не могли бы мечтать о завершении этой серии. Ведь она кончается грандиозными боями на Халхин-Голе с участием советских танков и солдат... Кто в Японии предоставил бы нам такую возможность? В результате батальные сцены получились очень масштабными и достоверными. Фильм кончается бесчисленными гигантскими кострами на бескрайних просторах монгольских степей, в которых сжигают трупы японских солдат, павших бессмысленной жертвой агрессивной войны... Я очень давно вынашивал эти сцены.

Съемки эпизода боев на Халхин-Голе проходили в 70 километрах от Волгограда, в них участвовали советские кинематографисты, во главе с режиссером Никитой Орловым, и 250 солдат. К сожалению, третья серия оказалась последней, так как на четвертую, завершающую, серию фильма у компании не хватило средств.

Кадр из фильма «Война и люди».

(Журнал «Кинедзюн»)

Авторы этого номера

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ — JULES SUPERVIELLE (1884—1960).

Французский поэт. Окончил Сорбонну. Начало второй мировой войны застало Ж. Сюпервьеля в Уругвае, где прошло его детство. Поэт тяжело переживал оккупацию Франции гитлеровцами и отозвался на это сборником стихов «Стихи о Франции в беде» («Poèmes de la France malheureuse», 1941). Из-за океана они окольным путем проникли во Францию и были восприняты соотечественниками Сюпервьеля как его вклад в поэзию Сопротивления.

Отдельные стихотворения поэта печатались в СССР в русских переводах.

ПЬЕР РЕВЕРДИ — PIERRE REVERDY (1889—1960).

Французский поэт. Вырос в семье деревенских резчиков по дереву. В стихах Реверди явственны демократические симпатии, многое роднит его лирику с творчеством Поля Элюара. Вышедшая уже после освобождения Франции поэтическая книга «Чаще всего» («Plupart du Temps», 1945) писалась им в годы оккупации и представляет собой раздумья о месте поэта в суровой борьбе своего народа. Отдельные стихотворения П. Реверди публиковались на русском языке.

ЖАН КЕЙРОЛЬ — JEAN CAYROL (род. в 1911 г.).

Французский поэт и прозаик. Молодой юрист, в середине 30-х годов он издавал в Париже журнал «Кайе дю флёв»; в 1941 г. одним из первых вступил в ряды Сопротивления, сражался в диверсионной группе полковника Реми, был схвачен гестапо, сидел в тюрьме Френ, в 1943 г. был вывезен в лагерь смерти Маутхаузен. Его послевоенное творчество, в частности сборник «Стихи ночи и тумана» («Poèmes de la Nuit et du Brouillard», 1946), отражает ужас пережитого. Некоторые стихи Ж. Кейроля были опубликованы в русских переводах.

МАДЛЕН РИФФО — MADELEINE RIFFAUD (род. в 1923 г.).

Французская журналистка и поэтесса, героиня Сопротивления, член Коммунистической партии Франции. После войны Мадлен Риффо активно участвует в движении сторонников мира. Широко известны ее книги репортажей о борющемся Вьетнаме, об Алжирской революции. На русский язык переведена книга «От вашего специального корреспондента». В 1973 г. в Париже вышла книга избранных стихов М. Риффо «Конь красный» («Cheval rouge»).

АЛЕН БОСКЕ — ALAIN BOSQUET (род. в 1919 г.).

Французский поэт, романист, эссеист, критик. Участвовал в 1944 г. в высадке союзников в Нормандии. Сборник стихов «Жизнь ушла в подполье» («La vie est clandestine», 1945) отразил участие поэта в борьбе против фашизма. Стихи А. Боске переводились на русский язык.

ЛУИ ПАРРО — LOUIS PARROT (1906—1948).

Французский поэт, романист, критик. В тридцатые годы работал во Французском институте в Мадриде; перевел на французский язык сборник стихов Пабло Неруды «Испания в сердце». В годы войны Л. Парро активно участвовал в печати Сопротивления, в 1944 г. вместе с Элюаром основал в подполье журнал «Вечное обозрение». Автор книги «Интеллигенция в войне» («Intelligence en guerre», 1945) и нескольких сборников стихов.

Публикуемые стихи французских поэтов взяты из книги Пьера Сегерса «Сопротивление и его поэты» (Pierre Seghers «La Résistance et ses poètes» (France, 1940—1945). Editions Seghers, Paris, 1974) .

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Французская литература наших дней» (1967), ряда статей и предисловий. Переводил романы Роже Мартен дю Гара, Алена-Фурнье, Антуана де Сент-Экзюпери, Катеба Ясина, стихи Поля Элюара, Рене Шара, Андре Френо, Гильвика, Пабло Неруды, Бертольта Брехта, Янниса Рицоса, Десанки Максимович, Леопольда Сенгора и других поэтов.

ГЕРМАН КАНТ — HERMANN KANT (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель (ГДР), публицист, заместитель председателя Правления Союза писателей. В 1962 году опубликован первый сборник его рассказов «Немножко южного моря» («Ein bißchen Südsee»).

Известность Герману Канту принес роман «Актовый зал», который вышел в 1965 году и стал событием литературной жизни ГДР. «Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством Г. Канта, опубликовав романы «Актовый зал» (№ 1—3, 1968) и «Выходные данные» (№ 3—5, 1974).

Герман Кант удостоен литературных премий имени Г. Гейне и Свободных немецких профсоюзов. В 1973 г. ему присуждена Национальная премия I степени.

Рассказ «Объяснимое чудо» был напечатан в газете «Нойес Дойчланд» (октябрь, 1974).

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ — GÜNTER GÖRLICH (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Учился в Литературном институте имени Иоганнеса Бехера в Лейпциге. Дебютировал в начале пятидесятых годов рассказами и повестями для детей. Известность к Г. Гёрлиху пришла в 1960 году после опубликования повестей из жизни рабочей молодежи «Черный Петер» («Der schwarze Peter», 1958), «Честолюбивые» («Die Ehrgeizigen», 1959), за которые он был удостоен литературной премии Свободных немецких профсоюзов.

Перу Г. Гёрлиха принадлежат романы «Самое дорогое и смерть» («Liebste und das Sterben», 1963), «На шаг ближе к облакам» («Den Wolken ein Stück näher», 1971), повести «Автомобильная катастрофа» («Autopanne», 1967), «Летняя история» («Eine Sommergeschichte», 1969). В 1974 г. писатель опубликовал новый роман «Возвращение в чужую страну» («Heimkehr in ein fremdes Land»). По сценариям Г. Гёрлиха поставлено несколько телеспектаклей. Творчество Г. Гёрлиха отмечено Национальной премией ГДР и другими литературными премиями.

Рассказ «Открытие» был напечатан в журнале «Нойе дойче литератур» (№ 7, 1970).

ИРЖИ КРШЕНЕК — JIŘÍ KŘENEK (род. в 1933 г.).

Чешский прозаик, кинодраматург. Его рассказы стали появляться в литературных журналах в начале 60-х годов. И. Кршенек автор романа-хроники «Парни» («Chlapi», 1963), повести «Голубой парусник» («Modrá plachetnice», 1968), сборников рассказов «Убитое воскресенье» («Zabitá neděle», 1967), «Время озимых» («Čas ozimů», 1968), «Погребок во дворе» («Výčep ve dvoře», 1969).

Несколько произведений И. Кршенека экранизированы.

Творчество писателя отмечено литературными премиями: издательства «Наше войско» и Вита Неедлы.

Роман «Дички» («Pláňata», Praha, Československy spisovatel, 1973), публикуемый в этом номере, получил высокую оценку литературной общественности Чехословакии.

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА.

Советский переводчик, филолог-богемист. Перевела рассказы чешского писателя В. Ржезача, словацкого прозаика В. Шикулы, часть из которых опубликована в нашем журнале (№ 11, 1972) и др. Н. Шульгина — составитель и комментатор ряда сборников советской прозы и поэзии, выпущенных издательством «Прогресс» для Чехословакии.

АНДРЕ ПЬЕРРАР — ANDRÉ PIERRARD (род. в 1916 г.).

Французский публицист и общественный деятель. В годы второй мировой войны был участником движения Сопротивления. В 1943-м — один из членов-учредителей Комитета освобождения Па-де-Кале; участвовал в действиях франтиреров и французских партизан.

После Освобождения — главный редактор а затем директор газеты «Либерте» в Лилле. С 1946 по 1958 год был депутатом-коммунистом от Дюнкерка в Национальном собрании. Затем занимался проблемами народного образования. В настоящее время — член президиума Общества «Франция — СССР».

В соавторстве с Мишелем Ватреном написал публицистическую книгу «Жизнь в Сибири» («Vivre en Sibérie», 1966).

Мы публикуем авторизованный перевод его повести «С алым цветком в петлице» («Le jeune homme a la rose», Paris, Presses de la Cité, 1969), посвященной Герою Советского Союза Василию Порику, боровшемуся вместе с французскими партизанами против гитлеровских захватчиков.

РОЖЕ ШАТОНЕ — ROGER CHATEAUNEU (род. в 1920 г.).

Французский писатель. Автор четырех романов о жизни рабочего класса во Франции. «Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством Р. Шатоне, напечатав роман «Искры» (№ 11, 1967).

Предисловие к повести Андре Пьеррара «С алым цветком в петлице» написано для нашего журнала.

ЛАЦО НОВОМЕСКИЙ — LACO NOVOMESKÝ (род. в 1904 г.).

Словацкий поэт, народный художник Чехословакии.

Публикуемые стихи взяты из книги «Поэтическое творчество» («Básnické Dielo», т. I и II, Praha, Slovenský spisovatel, 1971).

МИРОСЛАВ ФЛОРИАН — MIROSLAV FLORIAN (род. в 1931 г.).

Чешский поэт.

Стихи М. Флориана были напечатаны в газете «Руде право», 1974, в сборниках «Инициалы» («Inicialy», 1972) и «Езда на кузнечике» («Jizda na lučni kobylice», 1974).

(О творчестве Л. Новомеского и М. Флориана см. вступительную статью Б. Шуплецова).

ПРИЙМА КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. в 1911 г.).

Советский журналист, литературовед. Автор около сорока научных работ о судьбах героев «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Донских рассказов», о восприятии творчества М. А. Шолохова за рубежом. В 1973 г. К. Прийма выпустил в Ростове-на-Дону монографию «Тихий Дон» сражается» — о мировом значении творчества Шолохова по документам 22 стран мира. За эту монографию Ученый совет Московского областного пединститута им Н. К. Крупской присудил ему ученую степень доктора филологических наук.

ИЛЬИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА.

Советский славист, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР. Автор статей по проблемам литератур народов Югославии XX века.

ЛАНДОР МИХАИЛ БЕЛОВИЧ (род. в 1935 г.).

Советский литературный критик, автор статей по западноевропейской и американской литературам, публиковавшихся в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Иностранная литература», «Советская литература» на иностранных языках и др.

МАРГАРЕТ БОРК-УАЙТ — MARGARET BOURKE-WHITE (1906—1973).

Американский фотограф и журналистка. С 1927 г. работала фотографом в разных отраслях американской промышленности — в системе железнодорожного транспорта, кораблестроения, а также в сельском хозяй-

стве. В качестве фотокорреспондента была аккредитована в 30-е годы в Канаде, Германии, Южной Африке; работая в авиакомпании «Панамерикен эйруэйз», побывала в 34 странах. С 1936 г.— фотокорреспондент журнала «Лайф». В годы второй мировой войны (1942—1945) — фотокорреспондент военно-воздушных сил США в Европе и Северной Африке.

Ее работы неоднократно отмечались наградами ведущих музеев США, библиотеки конгресса и др.

Автор многих книг, в том числе «Взгляд, обращенный на Россию» («Eyes on Russia», 1931), «СССР. Папка фотографий» («U.S.S.R., A Portfolio of Photographs», 1934), совместно с Э. Колдуэллом — «Вы видели их лица» («You Have Seen Their Faces», 1937), «Север Дуная» («North of the Danube», 1939), «Скажи, это США?» («Say! Is This the U.S.A.», 1941).

Мы публикуем отрывки (тексты и фотографии) из книги «С фотоаппаратом на войне в России» («Shooting the Russian War», 1942).

■

ЖАН-РИШАР БЛОК — JEAN-RICHARD BLOCH (1884—1947).

Известный французский писатель, публицист и общественный деятель. Жан-Ришар Блок приветствовал Великую Октябрьскую Социалистическую революцию и до самой смерти был верным другом Советского Союза. Член Французской компартии с 1921 г. После оккупации Франции гитлеровской армией ушел в подполье, участвовал в прессе Сопротивления, а потом переехал в Советский Союз. С июля 1941 по октябрь 1944 года регулярно выступал с комментариями по Московскому радио. По окончании войны был членом Совета Французской Республики. Редактировал журнал «Эроп» и газету «Се суар».

На русский язык переведены его романы «...и компания», «Сибилла», документальные повести «На грузовом пароходе», «Земляные орехи и бананы», публицистическая книга «Испания, Испания» и др.

Мы публикуем фрагменты из книги «От Франции, которую предали, к Франции борющейся» («De la France trahie a la France en armes», Paris, Editions Sociales, 1949), включающей его выступления по Московскому радио.

Книга была отмечена в 1950 г. Золотой медалью Мира.

■

ГУБЕРТ КУШНИК — HUBERT KUSCHNIK (род. в 1924 г.).

Западногерманский журналист и публицист. В послевоенные годы — корреспондент и политический редактор «Гамбургер фольксцайтунг», позднее — главный редактор прогрессивного еженедельника «Блинкфойер». С 1970 г — постоянный корреспондент газеты «Унзере цайт» в Москве. Автор ряда статей на темы рабочего и молодежного движения в ФРГ.

Рецензия «Пять веков немецкой политической песни» получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва, 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 5/III 1975 г. А04708 Подписано к печати 9/IV 1975 г.
Бумага 70×108$^1/_{16}$ = 9 бум. л. = 18 печ. л. (25,2) усл. п. л. + 1 вкл. Уч. изд. л. 27,82.
Тираж 615.000 экз. (1-й завод 1—365.000 экз.). Зак. 687.

Журнал выходит один раз в месяц.

Отпечатано с матриц издательства «Известия», в тип., № 13 Союзполиграфпрома,
Тираж 615.000 экз. (продолж. 1-го завода 166.000—365.000 экз.) Заказ 224

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394